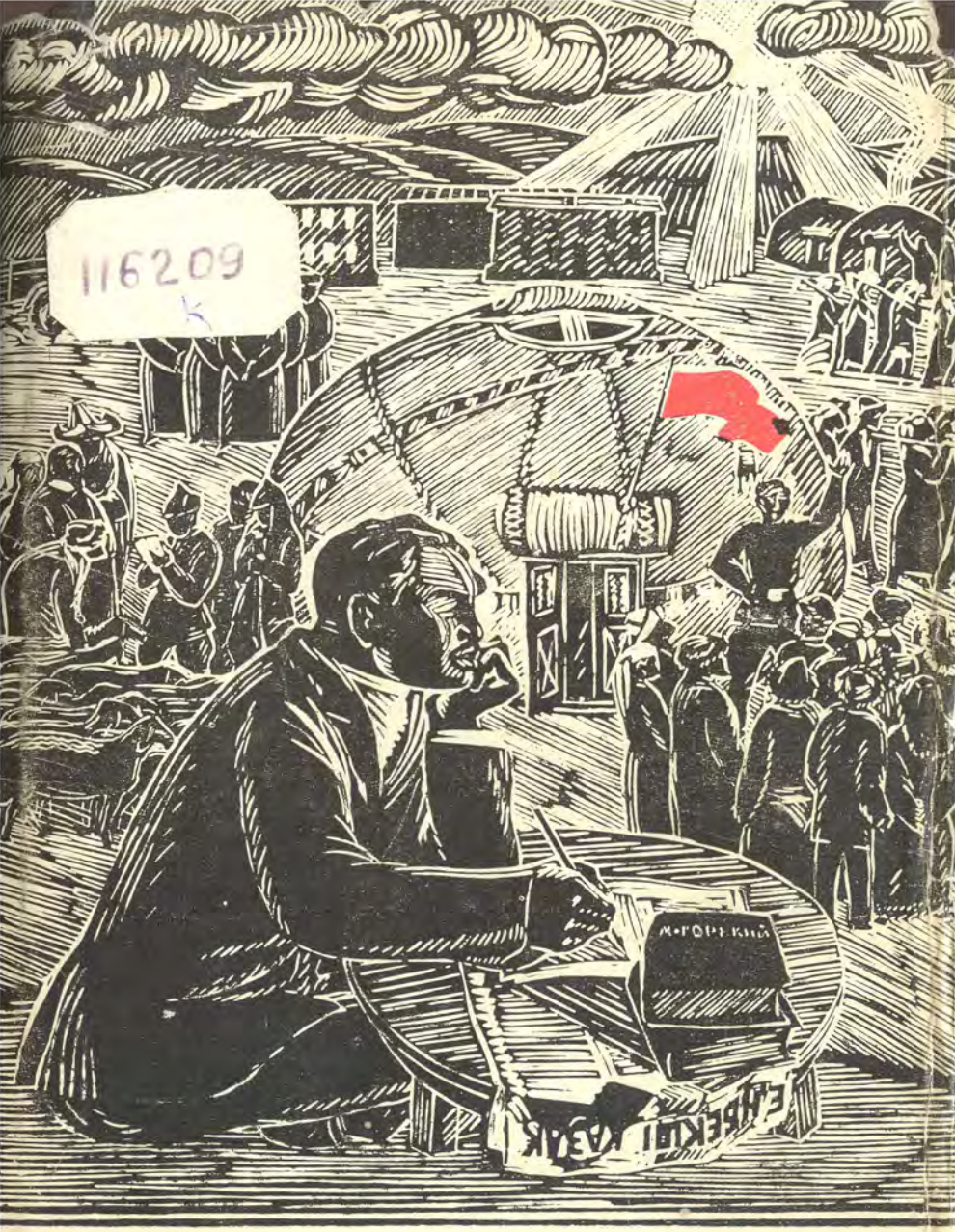
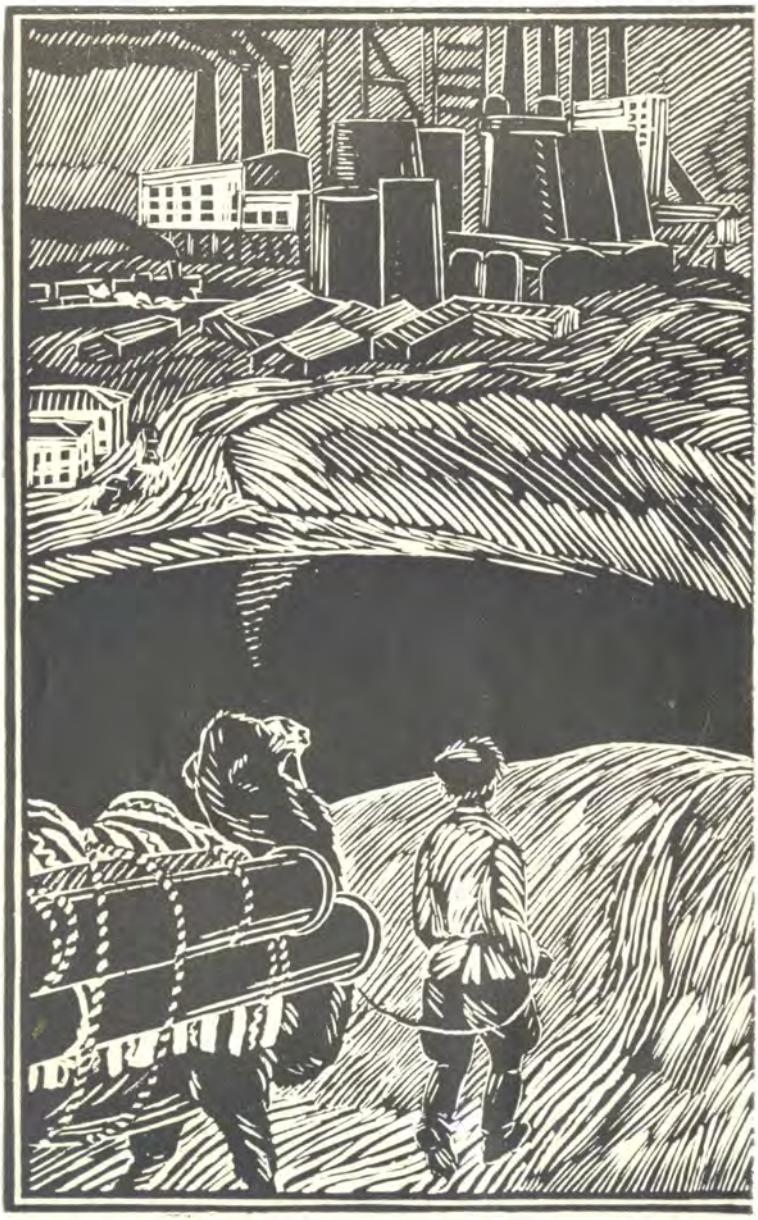
116209



С. МУКАНОВ

ШКОЛА ЖИЗНИ



С(К23)
М91

САБИТ МУКАНОВ

ШКОЛА ЖИЗНИ

Книга третья

ГОДЫ ВОЗМУЖАНИЯ

116209



Издательство «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1965

Каз 2
М 90

Авторизованный перевод
с казахского Алексея Брагина.
Перевод стихов его же.

Художник А. Рахманов.

Издание первое

7-3-3

Северо-Казахстанская
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
город Петропавловск

РЕСПУБЛИКА НАБИРАЕТ СИЛУ

Сакен — наша гордость

Скорбные дни после смерти Ленина я проводил в больнице. Давно прошел январь, уже в окна врывался весенний воздух, а я только-только выздоравливал и, опираясь на костыли, передвигался по палате.

Что же это была за больница, где мне пришлось провести так много времени?

Она находилась в рощице на берегу Яика. Сведущие люди позднее мне рассказывали, что здание больницы — одно из самых старинных в Оренбурге. Построено оно едва ли не в середине XVIII века. Сперва здесь помещался военный госпиталь пограничной комиссии, а столетие спустя в этом здании разместилась гражданская больница. Когда-то вокруг шумел бескрайний густой лес, но мало-помалу его вырубали горожане и жители окрестных станиц, и к нашим дням от леса осталась только небольшая прибрежная рощица. Тысячи вороньих гнезд чернели на голых верхушках осин и берез.

Изменилось, обветшало и само здание. Строили его прочно, надолго, из жженого кирпича. Приземистое, одноэтажное, оно напоминало, если смотреть сверху, букву П и въездными своими воротами было обращено к востоку. Запомнились мне толстые стены больницы — должно быть, у крепостей были такие стены — и вытянутые в длину корпуса. Но палаты в этих приземистых, низких с виду корпусах были просторными. Только вот

уж очень давно не ремонтировалось это здание. Об этом можно было догадаться и по осыпавшейся штукатурке, и, главным образом, по циничным надписям и многочисленным скабрезным рисункам, сделанным выздоравливающими. Новички на первых порах читали эти надписи, всматривались в рисунки, смеялись, а потом привыкли к ним, как нянюшки, врачи и больные со стажем.

Я же в первые дни болезни ничего не замечал вокруг и ни с кем не вступал в разговоры. Температура моя подскакивала выше 41°.

— Редко, очень редко встречается сердце, выдерживающее такую нагрузку,— с удивлением сказал врач.

Тут мне вспомнился давний случай. Было мне тогда лет двенадцать-тринадцать. Весенней непогодью, в распутицу, мне пришлось идти пешком в соседний аул к одному родичу. На пути разыгралась черная буря — резкий ветер швырял в лицо комки холодной грязи. Одет я был, на мою беду, плохо: какой-то тонкий латаный-перелатанный чапан, дырявые сыромятные сапоги. Насилу добрался я до своего родича, красный, распухший, падающий с ног. Казалось бы, две-три недели валяться мне в постели. Но я отделался пустяками — несколько дней поболела шея.

После моего рассказа врач больше не удивлялся:

— Да, такая закалка с детских лет много значит.

...Абдулла Асылбеков, второй секретарь обкома, во время моей болезни дружески заботился обо мне. Он почти ежедневно навещал меня, раздобывал новые редкие лекарства, еще не поступавшие в больницу, подкармливал меня. Если не мог побывать сам, то присылал кого-нибудь из своих работников.

И здоровье мое круто пошло на поправку.

— Кто это тебе так помогает? — спрашивали меня.

— Родственники,— отвечал я неопределенно.

Но однажды в палату зашла сестра и, отчеканивая каждое слово, произнесла:

— Муканов, вас приехал навестить председатель Совнаркома Сакен Сейфуллин.

Больные, мои соседи по палате, расшумелись:

— А-а-а-а! Вот, оказывается, в чем дело. Вот кто подкармливает нашего Сабита. А мы и не думали, что он такая важная шишка!

И в упор снова ошарашили меня вопросом:

— Не скрывай, не надо. Председатель Совнаркома, значит, тебе близкий родич?

Собираясь на свидание,— Сакен ожидал меня в кабинете главного врача,— я торопливо рассказал своим товарищам по несчастью, что не состою с председателем Совнаркома ни в каком родстве, что наши отцы и матери никогда не знали друг друга. И близость наша совсем иная. Он — большой писатель, а я — начинающий.

— Ишь ты! Значит, пишешь!

И уже вдогонку:

— Нет, ты не забудь о нас, замолви словечко, скажи, что плохо нас кормят.

Я пообещал исполнить их просьбу.

Меня привели в кабинет главного врача. Сакен, по своему обыкновению, ходил из угла в угол. Его пальто с бобровым воротником было расстегнуто. В такт своим шагам он раскачивал шапкой, зажатой в руке. Главный врач — сивоусый горбоносый человек,— нервно ерзая на стуле, бросал на Сакена сквозь толстые стекла пенсне тревожные взгляды.

Что касается меня, я просто несказанно обрадовался. Я хорошо знал — в горестные дни прощания с Лениным Сакен ездил в составе казахстанской делегации в Москву, но когда он возвратился домой и кто ему сказал обо мне, я не догадывался.

Я стал приветствовать Сакена, как приветствуют старших, но он чуть улыбнулся и, мягко перебив меня, очень просто спросил:

— Ты что ж это, брат, заболел?

Я в ответ что-то забормотал, но он не дослушал.

— Думаешь, мне неизвестно? Я все знаю. Сейчас вот разговаривал с врачом. Дней через пять тебя уже могут выписать.

И снова не дал мне выговориться:

— Ты не беспокойся. Я буду знать об этом раньше тебя и пришлю тарантас. Ну поправляйся, а я пойду.

Он надвинул на высокий лоб свою бобровую шапку.

И тут я решился: передал Сакену жалобу больных.

— И об этом слышал. Вот он, Ольденбург, виноват,— сердито взглянул на главврача Сакен.— Раньше о том, что в больнице тяжело с питанием, и не заикал-

ся. А теперь плачется. Значит, завтра в четыре будь у меня.

Последняя фраза относилась, понятно, к Ольденбургу.

Главврач поднялся, опустил голову.

Когда я вернулся в палату, обо всем откровенно рассказал моим соседям. Глаза их светились благодарностью и надеждой.

Надежда эта вскоре осуществилась. Если раньше нас кормили сизой от воды кашей, то теперь в ней появился желтоватый маслянистый блеск, щи стали наваристее, кусочки мяса в них уже не были редкостью; исчез сыроватый ячменный хлеб, его заменил белый, пшеничный. Перед сном каждый больной получал по стакану айрана.

Добрым словом поминали больные нашего Сакена.

К концу недели меня выписали из больницы. Накануне в моей палате побывал помощник Сейфуллина Алькей Утекин и предупредил, что заедет за мной.

Я подумал, где же я буду жить, и вспомнил, что холостякам, членам правительства, бесплатно предоставлялись номера в гостинице «Дом Советов». Мне ведь предлагали такую комнату в прошлом году, сразу же после выборов в КирЦИК. Но студенту рабфака гостиница показалась непозволительной роскошью. Теперь я решил воспользоваться этой возможностью. Врач сказал, что после болезни я должен жить в чистой, светлой, просторной комнате. Отбросив ложную скромность, я послал с одним из товарищей-рабфаковцев заявление в КирЦИК, и мне быстро сообщили, что просьба моя исполнена.

Об этом я и сказал приехавшему за мной Алькею. Но он замотал головой.

— Сакен-ага передал тебе свое приглашение. Поедем к нему, потом решите сами.

В приемной больницы меня уже поджидал мой сокурсник и сородич Габит Мусрепов. Я его прихватил с собой, и мы быстро домчались до сейфуллинского особняка.

Сакен встретил нас у калитки. На этот раз он был одет так, как одеваются по праздникам казахи Сары-Арки, глубинной нашей степи. Поэту порой нравилось пощеголять в национальном наряде. Меховой берик с

приподнятым краем, затянутый наверху зеленым шелком, легкий чапан с просторными рукавами, высокие, чуть ли не до бедер, сапоги, обшитые изнутри кошмой.

Чуточку отступив, он бросил свое краткое:

— Проходите!

И повел нас уже знакомым мне коридором. Неожиданно мы оказались в небольшой комнате окнами во двор.

— Здесь будешь жить,— молвил Сакен, словно не допуская и мысли, что я могу не согласиться.

Я и в самом деле ни в чем ему не решился бы тогда возражать. Я только робко и неуверенно его спросил, указывая на Габита:

— А мы с товарищем задумали поселиться вместе.

— Кто же он, твой товарищ?

Я рассказал Сакену о Габите.

— Что ж, пусть живет, если желает. Места вам на двоих, пожалуй, хватит. Только уж мебель поищите сами. Тут я вам не могу помочь.

Сакен вышел. Я обратился к Габиту, мол, как ты на это смотришь?

— Давай попробуем,— согласился Габит,— это все-таки лучше, чем в общежитии рабфака.

— Конечно, лучше. Вот только с двумя кроватями здесь будет тесновато. Знаешь что, будем спать на одной. Не такие уж мы толстяки.

У коменданта рабфака в этот же день мы раздобыли тяжелую железную кровать и втащили ее в наше новое жилье. Кровать была без сетки. На металлические перекладины мы положили фанерный лист, а фанеру застелили тонким одеялом. Вторым таким одеялом мы укрывались. Спали мы в обнимку, ворочались. Иногда фанера прогибалась, трещала, и вдруг мы оказывались на полу. Сонные, мы снова перестилали кровать, мостились и засыпали.

Живя в одной квартире с Сакеном, мы близко узнали его характер и привычки.

Он отличался не только красивыми чертами лица и статностью, но и хорошим здоровьем, о котором очень заботился и избегал всяческих вредных привычек. В ту пору среди казахской интеллигенции бытовал насыбай — молотый табак, который закладывают за губу. Сакен никогда не употреблял насыбая. Он высмеивал

его поклонников. Не был он и курильщиком, но всегда держал в ящике своего письменного стола хорошие папиросы в красивой упаковке. Сакен предлагал их курящим гостям, но тотчас прятал обратно, и второй раз заполучить от него папиросу было уже невозможно.

Сакен не питал пристрастья и к спиртным напиткам. В кругу друзей и знакомых он еще позволял себе налить маленькую рюмку красного вина и мог просидеть с ней весь вечер.

Придерживался Сакен умеренности и в пище. Его обычный скромный завтрак — тарелка творога со сметаной и стакан чая с молоком. Кстати, этот стакан с серебряным подстаканником хранится и теперь у его вдовы Гульбахрам. В обеденный перерыв он чаще всего довольствовался стаканом айрана — кислого молока, и сразу же уходил на прогулку. Ему нравилось бродить вдоль Яика зеленым прибрежным лугом.

Дважды в день он занимался гимнастикой: перед завтраком и перед сном. Утренние упражнения он проделывал на открытом воздухе, изменял своему правилу только в зимние холода или непогодь. После зарядки он тщательно умывался по пояс, зимой ему доставляло особое удовольствие растирать снегом свое крепкое тело.

В дни отдыха и по праздникам он любил выезжать за город верхом. Уж там он набирался сил!

Я уже говорил, что он любил одеваться со вкусом. На работе его почти всегда видели в европейской одежде.

В Оренбурге тогда стоял так называемый Киргизский полк, наше национальное воинское соединение. Сакен Сейфуллин был его почетным командиром, и ему порой нравилось облачаться в командирскую форму. Он знал, военная форма идет ему, и даже наивно гордился этим.

Думается, именно тут уместно вспомнить одно забавное происшествие. Осенью 1924 года в Оренбурге стало известно, что сюда приезжает всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. Город готовился к встрече. Для ее проведения из Москвы приезжали военные и гражданские люди. Решено было выстроить почетный караул под командованием военного комиссара республики Шлехманова.

Однажды Сакен оделся в свою парадную кавалерий-

скую форму и вместе с начальником военной школы Нурханом Мусиным отправился верхом в комиссариат.

— Слушай,— сказал он на пути Нурхану,— ты первый заходи к военкому и скажи, что его ждет заместитель Корка, командующего Московским военным округом.

— Где же он? — растерялся Нурхан.

— А я, по-твоему, кто?..

Тут Мусин понял шутку Сакена, но стал сомневаться — не обидится ли Шлехманов.

— Иди, иди. Мы с ним и не так шутим. Он не обидится. Только смотри, не проговорись...

Нурхан Мусин доложил Шлехманову по всем правилам о прибытии высокого гостя. Тот даже расстроился от неожиданности, выскочил на парадное крыльцо и, увидев всадника, стал на вытяжку, отдал честь и начал докладывать срывающимся голосом.

Нурхан крепился, крепился и прыснул. Улыбнулся и Сакен. Шлехманов узнал его и рассмеялся:

— Ну разве можно так шутить?..

Он мог при поверхностном знакомстве показаться человеком гордым, даже надменным. Впрочем, он и оставался таким для тех, кто не приходился ему по душе. А ему не по душе были чинуши, чуждые простым людям, и в особенности классовые враги. Но к тем, кого он считал своими, к тем людям, кто вышел из простого народа, Сакен относился по-настоящему просто и тепло. Его часто можно было встретить на предприятиях, в учебных заведениях Оренбурга, в общежитиях, он подолгу беседовал со студентами и преподавателями.

Сакен был очень гостеприимным человеком. Обычно за круглым столом в его гостиной встречались самые разные люди для живых, интересных бесед.

Хозяин довольно искусно играл на домбре. Играл он чисто, легко. Его длинные, тонкие пальцы мягко касались струн. Порою они едва приметно вздрагивали.

— Трясутся, что поделаешь,— однажды сказал он.— После трех месяцев лютого холода. Атамана Анненкова надо благодарить. В его вагоне смерти нажил в восемнадцатом году.

Когда Сакен играл на домбре, черные глаза его становились грустными. Брови то хмурились от напряжения, то распрямлялись, как ласточкины крылья. Порою

он подпевал в такт мелодии. Подпевал невысоким, очень выразительным голосом.

Сакен любил и умел слушать песни. Помню, с каким вниманием и теплом слушал он пение своего помощника в Совнаркоме Алькея Утекина. В искусстве исполнять песни у Алькея в Оренбурге, пожалуй, не было соперников. Он знал множество мелодий, помнил репертуар всех знаменитых певцов Сары-Арки.

Не следует думать, что только песни и шутливые застольные беседы были душою этих сборищ. В то время, время жарких классовых столкновений, в доме у Сакена серьезно говорили о политической жизни. После смерти Ленина на поверхность выплыли всяческие антибольшевистские течения: правые, левые, националисты. У нас в Казахстане самой опасной была деятельность буржуазных националистов, нашедшая свое выражение в алаш-орде. Алаш-ордынцы, боровшиеся против пролетарской революции и в печати, и с оружием в руках, начали снова вести активную контрпропаганду. Но однажды помилованные Советской властью, теперь они повели себя более хитро, замаскированно. Они избрали главным полем своей деятельности школы и вузы, газеты и журналы. Они всеми путями стремились подточить силы молодой казахской советской литературы.

Революционная молодежь, выступавшая против алаш-ордынцев, видела свою надежную опору в Сакене, идейно чистом, преданном социализму человеке. Хорошо это понимая, националисты стремились всячески опорочить его революционные произведения. Но эти-то произведения и восхищали молодежь.

Дома у Сакена часто возникали беседы о ходе борьбы с националистами, о ее тактике. Попутно молодые авторы нередко читали здесь свои новые произведения. Их тут же обсуждали и лучшие из них направлялись с визой Сакена в редакцию газеты «Энбекши-Казах» для опубликования.

Сам Сакен тоже любил читать в дружеском кругу свои новые вещи. До 1923 года у него вышли в свет сборник стихов «Асау тулпар» («Неукротимый конь») и пьеса «Путь к счастью». Это были произведения об Октябрьской революции, о советском строительстве. В 1923 году Сакен начал свою мемуарную книгу «Тернистый путь», впоследствии ставшую широко известной.

Мы слушали в его чтении главы из этой книги и радовались ее боевому революционному духу.

Неудивительно, что молодежь охотно помогала Сакену отыскивать по ходу его творческой работы нужные исторические документы в архивах и библиотеках. И эти поиски были для молодых своеобразной школой большевистской закалки.

Революционная молодежь восхищалась Сакеном Сейфуллиным. В нем она видела истинного большевика. И я тоже разделял до конца восхищение моих сверстников.

Мои огорчения

Мы недолго прожили у Сакена. Неудобно было его стеснять, и мы с Габитом перебрались в гостиницу.

...Шел второй семестр второго курса. Из-за болезни я отстал от своих товарищей. Надо было наверстывать, нажимать, иначе я мог потерять год. К тому же я был основательно загружен работой.

По совету Сакена и своему влечению я вел, как и до болезни, партийный отдел газеты «Энбекши-Казах». Теперь в редакции работать стало труднее, но интересней. Через наш отдел проходили все материалы по ленинскому призыву в партию, а их было очень много. Со всех концов поступали письма о вновь возникающих партийных ячейках, о том, как свет ленинизма проникает в самые дальние аулы. Среди этих писем часто встречались стихотворения. Они писались от чистой души, но художественно были очень несовершенны, а порою и просто малограмотны. Чтобы публиковать их на газетных страницах, требовалась терпеливая правка. Этим делом и занимались три человека в газете: Беимбет Майлин, Амангали Сегизбаев и я. Многие из этих стихов впоследствии вошли в сборник «Ленин», изданный в 1927 году в Кзыл-Орде под моей редакцией.

Но я занимался работой и другого плана — публицистикой и поэзией.

Однажды Сакен сказал мне:

— Слушай, для казахских трудящихся надо написать биографию Ленина. Займись-ка ты этим благородным делом.

Я познакомился с многочисленными статьями и книжками на русском языке, а потом на их основе написал первую биографию Ленина по-казахски. Она печаталась в нескольких номерах газеты «Энбекши-Казах» и в журнале «Қзыл Қазахстан».

Работая над биографией Владимира Ильича, вдохновленный его образом, я написал поэму «Ленин» и большое стихотворение, посвященное Надежде Константиновне Крупской. Мне казалось, стихи могут помочь читателям лучше понять, понять сердцем смысл великой деятельности вождя.

Дел у меня, как видите, было по горло.

В одной с нами гостинице жил старый учитель Абиш Тойбазаров. Он преподавал в Қазахском педагогическом институте, а его жена Ултуган вела домашнее хозяйство. Детей у них не было. Мы близко познакомились с этими очень симпатичными людьми и стали совсем как родные. Ултуган-женгей была радушна и заботлива. Она по-матерински встречала нас, кормила и даже следила за чистотой и порядком в нашей комнате.

Но это продолжалось не очень долго.

Абиш в том же году умер, а Ултуган-женгей возвратилась на свою родину в Актюбинск. Что с нею сталось, я так и не знаю.

Мы очень жалели, когда расставались с Ултуган. Ее забота делала нашу жизнь уютнее и краше.

И работа, и учеба пошли у меня на лад, и чувствовать я стал себя значительно здоровее, хотя временами сказывались последствия болезни. Врач мне посоветовал поехать в родной аул на кумыс, а если будет возможность — на курорт в Боровое, в Бурабай, как называют его у нас.

Необычно рано пришла весна в Оренбург. В прошлом году снег упрямо лежал еще в апреле, а нынче начало таять уже с середины февраля. Снег совсем сошел уже в начале марта. Земля почернела, а скоро теплый ветер и солнце стали подымать густую зелень. На Яике ледоход прошел не в мае, как бывало всегда, а в марте. Река широко разлилась и затопила долину под Оренбургом.

«Каз келсе — жаз келеди»,— говорят казахи.— «В гусиный перелет лето настает». В мартовском весеннем небе я разглядел гусиные стаи. Гуси летели с юго-

запада на северо-восток, к моему родному аулу Жамаш-Шубар, к берегам озера Дос. Они полетят еще дальше — на Бурабай. Мои думы, мои желанья поспешают за птичьими караванами. И, кажется, вместе с ними я вижу всю привольную нашу степь, что раскинулась от стен Оренбурга до Балхаша, до Зайсана. Особенно прекрасна степь весной. Я люблю ее, я должен вновь ее увидеть, мою родную, мою чудную степь!

Но, как это иногда бывает, дни светлого, крылатого настроения сменяются днями забот и невеселых раздумий. Так случилось и той ранней и трудной весною.

В середине мая в Оренбурге состоялась Четвертая партийная конференция Казахстана. Она приняла решение о дальнейшей работе по восстановлению народного хозяйства республики и уделила большое внимание аулу. На ней разгорелась острая борьба с национал-уклонистами.

Однако некоторые разногласия и полемика возникали и среди тех, кто боролся с национализмом. В частности, разгорались споры между Сейфуллиным и Мендешевым, которые тоже допускали некоторые ошибки.

Я хочу коротко рассказать об этих спорах, так, как это представляется мне по моей личной памяти.

Я вступил в Коммунистическую партию в 1920 году. Пусть мое общее и, в особенности, политическое образование оставляло желать много лучшего, но я был твердо убежден, что настоящий коммунист не свернет с избранной дороги. Он должен быть честным и мужественным. Ему не подобает быть мягким и податливым, словно нагретая на огне игла.

Жизнь показала, что не всегда так бывает на деле. В Казахстане это можно было особенно ясно видеть на примере группы садвокасовцев, которые отошли от линии Коммунистической партии, стали национал-уклонистами. Они выступили против программы той борьбы, тех преобразований, которые проводила партия в казахском ауле. Я уже говорил, что корни идеологии этой группировки уходили к алаш-орде. Садвокасовцы получили отпор со стороны настоящих коммунистов-казахов, со стороны всей партийной организации Казахстана. Но несмотря на это, идеология националистов оказалась живучей. Националисты изменили методы своей деятельности, ее окраску и искали любую лазейку для про-

таскивания и пропаганды своих идей. И уж, конечно, умело пользовались ошибками честных коммунистов.

До Третьей республиканской конференции (17—22 марта 1923 г.) настоящие коммунисты-казахи дружно боролись с националистическими течениями. Но именно на Третьей конференции споры проникли и в их среду, впервые была брошена искра разногласий.

Делегат конференции Алма Уразбаева резко и не во всем справедливо критиковала Сакена Сейфуллина. В сборнике Сакена «Асау тулпар» было опубликовано стихотворение «Азия», в котором Азия противопоставлялась Европе и совершенно игнорировалась борьба классов. Неверное по своей политической направленности стихотворение. Оно противоречило духу почти всех других произведений сборника. Алма правильно критиковала его. Но в своем выступлении она допустила серьезную ошибку: положительно оценила хвалебные стихи Сакена о Троцком. Емельян Ярославский, принимавший участие в работе Третьей партконференции как представитель ЦК РКП(б), поддержал Алму Уразбаеву в ее критических замечаниях по поводу стихотворения «Азия».

Делегаты партконференции, горячо одобряя выступление Емельяна Ярославского и справедливую, острую критику националистических идеек С. Садвокасова и его сторонников, с обидой восприняли, однако, слова о том, что элементы националистической идеологии присущи многим другим. В исторических документах существует так называемое «письмо четырнадцати». В этом письме делегаты конференции писали, что им чужд национализм, что они честные коммунисты. Письмо подписали Сейткали Мендешев, Абдулла Асылбеков, Сакен Сейфуллин, Жанайдар Садвокасов, Мирзабул Атаниязов, Шаймерден Токжигитов, Хамза Жусупбеков, Идрис Мустанбаев, Хасен Нурмухамметов, Мукатай Джанибеков, Нигмет Нурмаков, Мухтар Саматов, Нурмак Байсалыков, Нугман Залиев (стр. 117, стенограф. отчет III конференции). Однако Политбюро ЦК РКП(б) осудило это письмо как недостаточно принципиальное.

Теперь я расскажу о том, что не вошло ни в какие стенографические отчеты, а запомнилось мне по встречам и беседам с друзьями.

Дело в том, что в выступлении Алмы Уразбаевой

против Сакена Сейфуллина сыграли свою роль и личные, далекие от политики, причины. В двадцать первом году в Оренбург приехал знакомый читателю по второй книге «Школы жизни» Абдулла Асылбеков: он был делегатом Первой партийной конференции. Его избрали членом обкома, а затем на пленуме утвердили заведующим орготделом. В те времена заведующий орготделом являлся и вторым секретарем. Алма Уразбаева тогда заведовала женотделом обкома.

Алма и Абдулла жили в здании обкома, в одном коридоре, часто встречались за вечерним чаем, нравились друг другу. Любители посплетничать стали уже поговаривать и о женитьбе. Но Абдулла был женат. Его подруга Бану, светлый человек и честный коммунист, находилась тогда в Акмолинске. Сакен, давно друживший с Бану и Абдуллой, чтобы прекратились ненужные разговоры, вызвал Бану в Оренбург. Из-за этого вмешательства Алма, должно быть, и обиделась на Сакена.

А Сакен?.. Надо говорить правду, у каждого человека есть свои недостатки. Сакен болезненно относился к критике. Он часто выходил из себя и не желал признавать своих ошибок. На Алму он был в особенной обиде. Дескать, почему она не сказала ему лично о недостатках и ошибках в стихах, зачем она выступила именно на конференции. Он подозревал, что Алма взошла на трибуну критиковать его, Сейфуллина, отнюдь не по своей инициативе, а по чужой подсказке. Сакен был убежден, Уразбаеву уговорил не кто-нибудь, а Сейткали Мендешев, потому что он был ее воспитателем.

После конференции Сакен отдалился от Алмы и стал отчужденно, холодно относиться к Мендешеву.

Этими личными обстоятельствами и воспользовались садвокасовцы.

Один из сподвижников Смагула Садвокасова Абдрахман Байдильдин, видя растущее недружелюбие Сейфуллина к Мендешеву, стал чаще и чаще бывать и на службе, и в доме у Сакена.

Близкие товарищи Сакена были этим очень недовольны. Не по душе пришелся Байдильдин и мне. Но я уже говорил — напрасно старались друзья переубедить Сакена. Он стоял на своем. И когда я попробовал с ним поговорить о Байдильдине, он резко ответил:

— Только твоих советов мне и не хватало. Может быть, ты считаешь меня глупцом, который идет навстречу своей гибели?

Вот так я возвращаюсь к началу рассказа. Мне было горько, что Байдильдину удалось вклиниться между Сейфуллиным и Мендешевым. Это в какой-то мере сказалось и на обстановке Четвертой партконференции. Одни коммунисты поддерживали Сакена, другие Сейткали. Многим тогда казалось, что Мендешев одержал верх. Ведь именно Абдулла Асылбеков, давно считавшийся сторонником Сейфуллина, был сразу после конференции послан на учебу в Москву, а его место, место второго секретаря и заведующего орготделом, занял Измухан Курамысов, бывший, как говорили, близким к Мендешеву. Освободили от должности секретаря КирЦИКа и Жанайдара Садвокасова, ему на смену пришел Ураз Исаев, сторонник Мендешева. Произошел еще ряд перемен в составе руководителей республики. Но Сакен Сейфуллин по-прежнему оставался председателем Совнаркома.

Заместитель редактора газеты «Энбекши-Казах» Молдагали Жолдыбаев, достаточно проницательный и остроумный человек, сказал как-то мне:

— Сакен — председатель до поры до времени... Но и Сейткали Мендешев тоже недолго продержится... Знаешь пословицу: «Недружную стаю гусей вороны заклюют». Байдильдины вбили клин, теперь они расширят трещину.

Я передал свои опасения Сакену.

Но он оптимистически глядел вперед:

— Ничего! Пусть будут смещать отдельных лиц. Правда все равно победит.

— И все-таки жаль, очень жаль, что так происходит. Не правда ли, Сакен-ага?

Он помедлил, тяжело вздохнул и с грустью произнес:

— Да, правда...

Сватовство

Приближались летние каникулы, и я готовился к отъезду. Вот тут неожиданно и появился в моей комнате Жампеис Омаров, старый мой знакомый по ямщицким

степным дорогам и Кзыл-Жару. Читатель уже встречался с ним на страницах первой и второй книг моей трилогии. Добряк, острослов и часто легкомысленный не по годам человек. Едва он ввалился в номер гостиницы, как затараторил без умолку:

— Письма не посылал, салем не посылал, нагрянул сразу, чтобы тебя испытать. Не забыл ли нас, не загордился? Говорят, членом КирЦИКа стал. Говорят, деньги к тебе так и валят, так и валят. Как снег с неба. Ну что ж, похвастай, покажи, как живешь...

Я рассмеялся.

Но Жампеиса не так-то легко было унять.

— Не вытирай сухим сеном губы, не прибедняйся.— Он щурил правый глаз и, тыкая пальцем в мебель, продолжал ахать и удивляться: — Кресла-то у тебя какие, диван. Бархату сколько! А кровать? Никогда не спал на такой кровати. Шкаф-то, шкаф! У волостного не было такого шкафа. Да ты прикидывал, сколько все это стоит? Этого и за целый косяк коней не купить!..

— Вы и впрямь, Жаке, подумали, что все это мне принадлежит? Казенное ведь это добро,— отвечал я, с трудом сдерживая смех.

— Пусть так,— рассудил Жампеис.— Слышал присловье: не всякое добро добро приносит. Но это добро — к добру! Значит, богачам оно служило, да? Значит, они отдыхали в этих креслах? А теперь ты. Только смотри не занесись!

— И зачем вы такое говорите, Жаке? Разве вы заметили что-нибудь?

— Да нет, Сабит, это я просто к слову,— и Жампеис плотно уселся в одно из бархатных кресел.

Тут речь его потекла спокойнее, душевней.

— Думаешь, я о тебе ничего не слышал, думаешь, не справлялся у людей о твоем здоровье? Эх, Сабит, Сабит. Неужели ты до сих пор не знаешь, что я твой благожелатель? Как испугался я, когда узнал о твоей болезни! Клянусь, это так и было! Думал, ведь один ты одинешенек: ни родни вокруг, ни жены. Неужто, думал, бог считает тебя лишним на этом свете, когда ты только-только смог стать на ноги. Потом хорошая весть пришла. Выздоровел, говорят. В гору снова шагнул. Не знаю, как это происходит, но шепот в Оренбурге слышен и у нас. Нам известно все, что вы тут делаете и думаете.

Северо-Казахстанская
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА
город Петропавловск

Жампеис помолчал, взглянул на меня и хитро и грустно:

— Не осуди, Сабит, что не приехал во время твоей болезни. Времени было с нитку, из которой и петельки не свить. Ты ведь меня знаешь: один день в богачах хожу, на другой день — нищий. Всю зиму собирался к тебе в Орыбор, а видишь, когда добрался...

Мой гость еще раз осмотрел номер и воскликнул, млея от удовольствия:

— Шукиршилик!

Это выражало крайнюю степень восхищения.

— Шукиршилик! Самый богатый казах до Советов при удаче мог стать волостным. Самый образованный казах до Советов дослуживался при удаче до губернского толмача. А сейчас-то, а сейчас! Сын безвестного бедняка Мукана, сирота Сабит, только недавно научившийся вытирать нос...— Тут Жампеис остановился, потряс кулаком и почти прокричал: —...Стал членом правительства Киркрая. Шукиршилик! Ты знаешь, что это значит! Это, брат, тебе не царская Дума. Ты вот не помнишь, а я помню, когда от Акмолинской губернии в Думу был избран Шаймерден Кощигулов. Средних способностей казах и без образования. Милый мой, ты студент рабфака, поэт. У тебя все еще впереди. Только смотри не забывай родные места, из которых вышел. Помни старых друзей. И все у тебя будет хорошо.

...Я расспрашивал Жампеиса, что он сейчас делает. Оказалось, он теперь работает, и не где-нибудь, а в Акмолинском губернском угрозыске. Бывший конокрад, он знал воровские повадки и ловко расставлял сети и в городе и в степи.

Он очень гордился новой своей профессией и говорил о ней с доверчивой улыбкой:

— Польза от меня государству большая. В какую бы нору ни укрылся вор, я его все равно найду. Одно только меня тревожит: выждут, подкараулят, убьют. Но, как говорят казахи, воров бояться — скот не держать, саранчи бояться — хлеб не сеять. Опасно, конечно, но я пошел...

Я попросил Жампеиса подробнее мне объяснить, почему он взялся за это трудное дело.

— Э, милый! Много пинков досталось мне в молодости. Какой бай не пробовал на мне свою камчу? Вот я

и стал им мстить. У кого воровал? У баев... А теперь кто ворует? Думаешь, бедняки? Нет! Баи воруют. Наши с тобой враги. Вот я их и ловлю.

Мне оставалось только согласиться с Жампеисом.

— Так, Жаке, так...

— А если так, то я все их норы водой залью, чтобы они на поверхность всплыли...

Жампеис прожил у меня с неделю. Легкий, подвижный, неугомонный, он колесил по городу с утра до позднего вечера, ходил из учреждения в учреждение, перезнакомился чуть ли не со всеми руководящими работниками Киркрая. И перед тем как заснуть, рассказывал мне о своих странствиях, весело и метко обрисовывая своих новых знакомых.

Побывал он и в двухгодичной военной школе, где готовили национальные кадры красных командиров, и встретился там с комиссаром Нурканом Мусиным.

От военной школы Жампеис был в восторге.

— Как я люблю военную службу!—воскликнул он.— Сам мечтал стать командиром, да не выпала судьба. Думал, младший брат Уали будет удачливей. Так нет, не вышло! Свихнулся Уали, и подстерегла его смерть на неверном пути. Остался самый младший брат Макыжан. Хочу теперь его определить. Но Макыжану семнадцать, а в школу берут восемнадцатилетних. Ты, Сабит, помоги. Ты ведь знаешь Мусина, и он тебя знает. Неправда ли?

Я поговорил с Мусиным, и он пообещал помочь моему земляку.

— Ну, светик мой,— сказал мне Жампеис на исходе недели,— кажется, я узнал весь Орынбор. Всех повидал, даже руководителей Киркрая. У хорошего начала должен быть и добрый конец. Пора мне и домой собираться.

Я поблагодарил любознательного Жаке за то, что он проведал меня, узнал о моем житье-бытье.

— Какой вам буим-таим, Жаке, сделать? — спросил я его, соблюдая обычай дарить гостю то, что ему понравилось.

— Два буим-таима,— рассмеялся Жампеис.— Первый касается Макыжана. Мы уже с тобой о нем говорили. Выслушай напоследок и второй.

Жампеис лукаво прищурил глаз.

— Не томите меня, Жаке, рассказывайте...

Как всегда в таких случаях, он начал издалека:

— Известны ли тебе слова твоих предков: «Пока человек один, и скот не удваивается». А знаешь ли ты, что стыдно джигиту сидеть как старику, обнимая колени? Словом, милый мой, чтобы комната не пустовала, пора ввести невесту в дом.

Я сразу и не нашелся.

— А как же с моей учебой, Жаке?

— Разве, милый, жена помешает?

— Но где же невеста, о которой вы говорите?

— Невесту сам тебе найду. Поедешь домой на каникулы, жди меня в Қзыл-Жаре. Я повезу тебя такой дорогой, где девушки одна другой красивей, с лебедиными шеями, с глазами верблюжат. Ту, что понравится, и возьмешь себе в жены.

Я согласился, не желая продолжать этот разговор. Но вместе с тем мне не хотелось обижать Жампеиса. Однако он оказался достаточно настойчивым.

После его отъезда я недолго побыл в Оренбурге. Когда экзамены были уже сданы, врачи настойчиво посоветовали пожить с месяц в Боровом, подправить свое здоровье, а уж потом отправляться куда мне заблагорассудится.

В Боровое путь шел через Петропавловск, через мой родной Қзыл-Жар.

Жампеис уже поджидал меня на вокзале. Он был настроен веселее обычного. И, наскоро поприветствовав меня, но даже позабыв, как велит обычай, справиться о здоровье, стал быстро тараторить:

— Я уже съездил в родные места. Есть у тебя невеста, Сабит! Нашел. Во, невеста! — И он поднял вверх большой палец.— Об остальном узнаешь после.

Я попал в прочный дружеский плен Жампеиса. Нельзя было и помышлять о расставанье с ним. Он неподдельно радовался моему приезду и, разумеется, считал, что наши дальнейшие пути лежат вместе.

Когда мы вышли на вокзальную площадь, он меня удивил еще больше:

— Вот, Сабит, привел я двух иноходцев: рыжего со звездочкой и чалого. Рыжий — легкий, пугливый, диковат и красив, как жеребенок кулана. Чалый — крупнее поспокойнее, даже чуть с ленцой, но если его разогнать,

хоть день скачи, не устанет. Рыжий может вырваться вперед, мчаться, как ветер, но все равно — наступит срок, чалый его обгонит.

Жампеис знал толк в лошадях.

— Чьи ж это иноходцы? — спросил я Жампеиса.

Он только хохотнул.

— А твое какое дело? Чьи они были вчера — об этом не думай. Сегодня — оба мои. И поедем на них мы, а не кто-нибудь. Какие чудные иноходцы, Сабит! Во всем Кзыл-Жаре не найти таких красивых! На рыжего ты не садись. Уж больно пуглив, может шарахнуться в сторону и сбросить тебя. Чалый — другое дело. Пусть тигр лежит на дороге — он не испугается. Только поводья держи короче. Огрей его раза два камчой по брюху, к паху поближе, и он будет послушен. Помни одно: в беге и чалый горяч. Разгонится — и с ним нелегко справиться. Смотри, чтоб руки не свело...

Тем временем мы подошли к иноходцам. Жампеис не соврал. Он описал их мне со знанием дела. Рыжий, обеспокоенный вокзальным шумом, прял ушами, перестукивал ногами, храпел. Чалый словно застыл, опустив голову. Судя по снаряжению и подтянутым бокам, коней приготовили к дальнему переходу. Сбруя у обоих была отменная: на рыжем со звездочкой — кавалерийская, на чалом — казахская, с серебряной накладкой. Все было в порядке у коней — и подхвостники, и нагрудники. Но и этого оказалось мало. В довершение ко всему Жампеис прикрепил к челкам лошадей по связке совиных перьев.

— Ну поехали! — и Жампеис подошел к коновязи.

Рыжий заплясал, рванулся и взял плавную иноходь. Мой чалый сперва лениво двигался шажком, но когда я, по уговору, подхлестнул его, он легко и резво стал набирать скорость.

Вокзал от города в ту пору был отделен широким, застроенным нынче пустырем. Жампеис на рыжем первый достиг городских домов, придержал своего иноходца и дождался меня.

— Бей его камчой, как я говорил. Бей! Поближе к паху. А то плетется, словно кляча.

И поскакал, как на байге. Я сильно ударил чалого толстой камчой, ударил так, что он натянул поводья и заскрипел мундштуком.

Жампеис был прав. В несколько мгновений чалый догнал рыжего, опередившего нас на расстояние выстрела.

Мы поравнялись.

— Айда, айда! — кричал Жампеис.

Рыжий уже перешел на галоп.

— Айда! За тобой поспею. Выезжай на Ямскую, потом к горсаду.

— Горсаду...— Цоканье копыт и ветер заглушали его слова.— Поворачивай на Банковскую и жми к дому Кали, сына Аккатын... Аккатын, Белой бабы...

Так я и помчался.

Хорошо, что в те времена на улицах города не было машин. Изредка на мощеных мостовых встречались тарантасы. Но мостовых, в общем, было немного. Улицы мало чем отличались от степных дорог. Дорожные колеи, зелень по краям. Тишина, безлюдье. Трава кое-где выросла такой высокой, что хоть коси ее. Козы горожан паслись в траве на привязях. Улицы были пустынны, как в полдень в ауле. Никто на нас внимания не обратил.

Мы быстро домчались наперегонки до дома Кали, сына Аккатын, Белой бабы. Не так-то легко было остановить коней после десятиверстного пути. В этот душный, беспокойный час рыжий и чалый, как они ни были выезжены, взмылились и тяжело дышали.

Сдерживая коней, мы въехали во двор.

Нас уже ожидали, к моему удивлению, тетя Жаныл, Макыжан, которого Жампеис мечтал определить в военную школу, и еще какие-то люди.

— Хорошо, что приехал, кайным,— с почтительной нежностью назвала меня Жаныл младшим братом мужа.— Что-то прослышала я о твоих путях-дорогах. Удачи желаю твоей птице.

— Птице? — переспросил я и рассмеялся, начиная догадываться, в чем дело.

— Говорят, кайным, ты поручил найти невесту своему ага,— и Жаныл кивнула в сторону Жампеиса.

— Поручил? Нет, это он сам решил за меня.

— Поручил не поручил, дело не в этом,— отозвался Жампеис.— Самое главное, что невеста нашлась. Присмотрел я девушку.

И пошел опять тараторить, покуда его не остановила Жаныл:

— Да перестань ты, неугомонный! Что ты его за горло хватаешь? Пусть перекусит с дороги, утолит жажду. Тогда и о невесте приятней поговорить.

Жампеис волей-неволей согласился.

Большого богатства не было в этом доме, но тетушка Жаныл недаром слыла хлебосольной хозяйкой. Все у нее было вкусным, все у нее было свежим. И кумыс щекотал ноздри острым, пьяноватым запахом, и баурсаки из кислого теста — румяные, хрустящие, пышные.

Но только Жаныл, отправившись хлопотать по хозяйству, оставила меня наедине с Жампеисом, как он возобновил свое сватовство.

— Ты мне, Сабит, ответь, известен ли тебе род Шубар-ат-Самай?

Мне не надо было напрягать память.

— Баи Курке и Кошке из этого рода. Так ведь?

— Правильно, Сабит. А Кощигула ты когда-нибудь знал?

Тут я уже не мог сразу ответить Жампеису, но он мне подсказал, что речь идет о том Кощигуле, чей сын Кази учится в Оренбурге. С этим Кази Кощигуловым я был знаком и имел представление о его семье.

— Теперь о самом главном,— наконец-то добрался Жампеис до сути.— У Кощигула, отца Кази, есть дочка на выданье, Рахима. Не буду тебя обманывать. Она не очень красивая, но довольно симпатичная. Да разве в красоте дело, Сабит? Красота женщины не только в ее лице, но и в характере, в поступках.

— Всем известные слова говорите, Жаке,— перебил я его, но не таким был Жампеис, чтобы остановиться.

— Нет, дорогой, ты не прав. Не так уж просто узнать характер девушки-казашки. Ведь у нас взрослая девушка никогда не разговаривает свободно с людьми, только в кругу семьи она может быть откровенной. Она не на виду, она стремится быть в сторонке. Она со всеми вежлива, кто бы ей ни встретился. Она кажется человеком красивой души. Ты должен знать, что достойного юношу казахи называют джигитом с девичьим характером. И пословицу ты слыхал: «Все девушки хороши, откуда только плохие жены берутся...»

Я должен прямо сказать: Рахима меня нисколько не интересовала, но разговор с Жампеисом хотелось продолжить.

— Вот вы, Жаке, утверждаете, что трудно узнать характер казахской девушки. А как же вам удалось так хорошо познакомиться с Рахимой?

— Признаться, я пока не интересовался ее характером и поступками,— снова озадачил меня легкомысленный Жампеис. И вдруг замолчал.

Я уже начинал злиться. Ну что он крутит! То так, то этак. А Жампеис как ни в чем не бывало ухмыльнулся:

— Нетерпеливый ты, вижу я. Так вот, знай: Рахима— одна из лучших домбристок. Многих я видел, а такой еще не встречал. Какие тонкие длинные пальчики дал ей бог! Она не рвет ими струны, не колотит. Она слегка задевает их большим пальцем правой руки. И такое волшебство начинается, будто бы защелкала тысяча соловьев!

— Здорово вы умеете хвалить, Жаке!

— Хвала? Это не хвала, это правда, Сабит-джан. Такой домбристки ни разу я не слышал. Вот бы ее тебе в подруги!

— Ну, а если она только и умеет, что играть на домбре? Как, скажите, ее муж будет тогда себя чувствовать?

Жампеис не пожелал шутить:

— Я тебе серьезно, Сабит, говорю. Она будет тебе хорошей джар, подругой в жизни. Неспроста все вокруг ее хвалят...

Жампеис едва не сбил меня сразу с пути. Но я проявил некоторую твердость и решил, как было раньше задумано, ехать в Бурабай на отдых. Однако мой настойчивый дотошный приятель все-таки повлиял на меня. В самом деле, рассуждал я, почему бы не побывать потом вместе с Жампеисом в аулах? Ведь дорога в Оренбург все равно идет через Кзыл-Жар. И в конце концов, может быть, действительно стоит повидаться с этой девушкой!

Забавным он был человеком, мой Жампеис, милым, доброжелательным. Я никогда не забуду, как он позаботился обо мне в дни белогвардейского мятежа в Петропавловске. Трогала меня и теперь его забота. Он был наивным и честным. «Я был люмпен про-ле-та-ри-ем»,— старательно и не без гордости выговаривал он по слогам. Жил он, действительно, очень бедно: в жалкой землянке на окраине и редко имел к обеду кусок мяса. Так

было в недавнем прошлом. А теперь дела его пошли в гору. Тетя Жаныл прежде потчевала гостей горячей водицей да ласковыми словами. Времена переменились. Она постеснялась меня угостить мясом, купленным на базаре, и заколола жирную овцу.

Жампеис, пока я у него гостил, подробно рассказывал мне о своем житье. Он получал хорошее жалованье в уголовном розыске, а кроме того, ему платили проценты за ценности, отобранные у грабителей. В иные удачные дни Жампеису в счет процентов перепадало по нескольку сот рублей.

— Если так дальше пойдет,— подшучивал Жампеис,— то мы скоро переловим всех степных и городских воров. Скажи мне, Сабит, приношу я пользу государству?

И я не только ради вежливости, а убежденно соглашался с Жампеисом.

Однако уголовный розыск не был его идеалом.

— Знаешь,— как-то сказал он мне,— вот уничтожим всех воров и грабителей, и поеду я тогда в аул, и буду создавать артель. Как ты думаешь, хорошо это?.. Хорошо, говоришь? Ну, слава аллаху!

Эти набожные слова он произносил отнюдь не в шутку, потому что в душе был немного религиозным.

— Слава аллаху! — говорил он уже по другому поводу.— Народ стал жить легче, голод забывается, нищих не встретишь. Без работы никто не сидит. Все подешевело, деньги цену имеют. Вон мы овцу для тебя купили. Пять рублей стоила. Это в городе, а в селах и аулах три-четыре рубля. Не дороже. А дальше, в степной глубинке, и того меньше. И мясо, и хлеб. Только ситца маловато, сукна, словом, одежды. Но и она будет. Знаешь пословицу — «Кто жует, того джут не берет»? Сытый человек и с одеждой что-нибудь придумает. Согласен со мной?

Любил порассуждать Жампеис. Не все, конечно, он понимал правильно, не во всем разбирался, но нельзя было отказывать ему в наблюдательности, в своеобразном практическом уме.

— Нэп — мудрое дело, нэп — новая экономическая политика. Трудно было народу, вот покойный Ленин ее и придумал. Баи поначалу радовались — ага, не обошлись без нас. Они уже видели и власть в своих руках. Мол, и здесь без них не справиться. Но не тут-то было.

Советы этого не допустили. Они дали богачам немного воли, но вовремя взнуздали их прогрессивным налогом.

Так рассуждал Жампеис. О чем мы только с ним не говорили в эти несколько дней! И о нэпе, и о вопросе «кто кого», и о ренегате Каутском, считавшем, что дни Октябрьской революции сочтены. Мы-то прекрасно понимали — баям уже не сломить бедняков, а буржуазии не победить Советской власти.

Наступил день проводов. Я уезжал в Бурабай поездом. Он только что начал курсировать по новой линии в эти дни. На прощанье Жампеис заговорил на свою излюбленную тему:

— Казахскую пословицу знаешь: «Крылья батыра — конь»? Бери, пожалуйста, любого из двух моих иноходцев. Но что скажут люди, Сабит? А люди скажут: «Это конь Жампеиса». Ведь ты скоро женишься, да пошлет тебе аллах счастье! У тебя должен быть такой конь, которым бы все любовались. Слушай, вот что я тебе скажу: лучшие кони нашей степи — кокчетавские или атбасарские. До Атбасара ты не доберешься, а Кокчетав никак тебе не миновать. Запомни: неподалеку от Кокчетава, в окрестностях Бурабая, живет бай Шаким, сын Карамурзы. Слухом полнится степь,— прекрасные у него кони. Стройные, с гусиными шеями. Гривы волнами касаются земли. Самый дорогой конь стоит сейчас тридцать-сорок рублей. В Кокчетаве еще дешевле. Сабит, не скупись! Купи у Шакима одну «гусиную шею». Молва о тебе пойдет — Сабит из Кокчетава привел отменную лошадь. Кому не приятно слышать такое о себе! И поедем мы тогда в аул на трех конях, ты на своей Гусиной шее, я — на рыжем, а Макыжана посадим на моего чалого. Согласен?

Ну как я мог не согласиться?

И признаться, мне уже захотелось поскорее добраться до Бурабая, чтобы приблизить день нашего путешествия и, как знать, может быть, действительно встретить невесту.

С этими мыслями я и вошел в вагон.

Линия Петропавловск — Акмолинск доходила тогда только до Кокчетава, сто восемьдесят километров на восток. На этом пути были построены крупные станции: Смирново, Таинча, Азат. Сто двадцать километров до

Азата поезд шел двое суток. А дальше ехать было нельзя — разлилась речка Азат и размыла железнодорожную насыпь. Пассажиры ругались: ведь можно было их об этом предупредить. Пришлось махнуть рукой на поезд, искать лошадей и переправляться через речку Азат.

В Кокчетаве я встретился с моим товарищем и ровесником Галиянуром Балсеитовым. В двадцать первом году мы с ним вместе воевали с белыми бандами. Теперь Галиянур был председателем городского суда. Он болел туберкулезом, болезнь в последнее время начала обостряться, и врачи посоветовали ему с месяц отдохнуть на Бурабае. Лучшего попутчика мне было не придумать.

Мы с Галиянуром остановились у Казыгожи Лятаева. Он по-прежнему жил у подножия горы Кокчетау, в небольшом ауле. Я вспомнил, как мы охотились с ястребом и слушали искусных домбристов. Казыгожа был таким же приветливым и добрым, хозяйство его стало куда зажиточнее.

Когда он узнал, что мы здесь решили отдохнуть и подлечиться, то начал расхваливать родные места:

— Батюшка Бурабай хорошо болезни лечит. Далеко в Русийской эмпении о нем знали. Еле ты дышишь или скрутило тебе поясницу, поживи здесь два-три месяца и вернешься домой здоровым. С прошлого года курорт опять открыт. Только не везде еще там порядок. Да вы и не вздумайте туда ехать. Поставьте юрту у подножия Окжетпес — вот вам самый лучший курорт. Я уж постараюсь найти хорошую юрту. Там сейчас на летней кочевке роды Алшина и Кадыра — около пятисот дворов. Вот и будете у них почетными гостями. Позволите мне, и я с вами поживу. Стариков к вам приглашать буду, домбристов, сказителей. Словом, скучать не будете.

Я колебался. Конечно, было заманчиво пожить в белой юрте у подножия горы, но и курорт имел свои преимущества. Казыгожи был прав, когда говорил о гостеприимстве. Что там двух — двести человек могут принять оправившиеся после гражданской войны аулы. И все-таки мы с Галиянуром пробовали возражать. Но доводы Казыгожи оказались сильнее.

Мы окончательно убедились в этом, уже отдыхая в белой юрте, поставленной, как и было задумано, у подножия Окжетпес. Как по волшебству, появлялась у нас утрами самая вкусная пища. Кто-то, оставшийся неиз-

вестным, ежедневно привозил нам по кожаной сабе кумыса и жирному барашку. Нам доставляли свежие, еще теплые, баурсаки и густую сметану.

Қазыгожа не давал нам скучать.

Стоило только нам пожелать, как у юрты оказывались оседланные кони, и мы уезжали в сказочные уголки Бурабая — в сосновые леса предгорий, к берегам широких и чистых озер. И в любом ауле, лежащем на пути, нас встречали как близких родичей.

Понятно, борьба продолжалась. Объединенные в союз Қошчи аульные батраки и кедеи боролись под руководством Советов с баями-угнетателями. Но на фоне общего благополучия, сытости эта борьба приняла более скрытые, подспудные формы. А мы отдыхали, и многое, естественно, в эти дни проходило мимо нас.

Я поправлялся, набирал силы. Тощий как скелет Галиянур вскоре так располнел, что уже не влазил в одежду, сшитую прежде по его сухопарой фигуре: не сходились воротники рубахи и камзола, пришлось перешивать пуговицы.

Мы бы могли так отдыхать все лето напролет, благо гостеприимство Қазыгожи и его друзей не имело границ. Но у нас не было столько времени в запасе. Галиянуру надо было возвращаться на работу, а я все чаще и чаще подумывал о женитьбе. Жампеису все же удалось разбередить меня, вывести из равновесия.

Поблагодарив искренних и щедрых хозяев, мы заговорили об отъезде.

Но когда я упомянул при Қазыгоже имя Шакима Қарамурзина, знаменитого своими скакунами, он замотал головой.

— Так это же по пути в Қокчетав,— пробовал я его уговорить.

— Нет, нет! Не могу заехать, даже проводить до его дома не могу.

И в ответ на наши недоуменные вопросы рассказал:

— Ты должен знать, Сабит: у Шакима два сына — Нуган и Рахан. И у каждого сына по две жены. Случилось так, что я загляделся на токал, младшую жену Рахана, и понравился ей. В прошлом году я увез ее к себе. И с тех пор у Шакима не бываю.

Что ж поделаешь? Простились мы с Қазыгожой, и на его упитанных лошадях одни доехали до Шакима.

Богат был Шаким. Отец его Карамурза, говорят, был еще богаче. Десять тысяч лошадей считалось в его косяках. В двадцать первом году во время переписи скота я видел бумагу собственными глазами — в табунах Шакима паслось больше двух тысяч, а теперь их число перевалило за три тысячи.

Чернобородый, без единой сединки, семидесятилетний Шаким выглядел не намного старше сыновей — расплывшегося высокого Нугана и заметно начавшего полнеть младшего Рахана. Я смотрел на Шакима и представлял его себе щеголем и песенником в свите знаменитого певца-импровизатора Биржана-Салы.

Шаким и его сыновья встретили нас с добрыми улыбками. Не только глаза, брови излучали тепло, как говорят в нашем краю. О деле, по правилам аульной вежливости, я заговорил не сразу. Только на следующий день я намекнул Шакиму, что как, мол, счастлив джигит, у которого есть конь его табуна.

— Выбирай, дорогой мой, выбирай! — немедленно откликнулся Шаким.— Здесь можешь присмотреть. Три-четыре сотни коней рядом пасутся. Бери самого лучшего. И не за деньги, а как мой подарок.

— Что вы, отагасы! — обратился я к нему с почтением, как обращаются к уважаемому старшему.— Бесплатно мне не надо.

Но Шаким и слышать не хотел:

— Бог меня покарает, если я продам тебе коня.

Однако принимать коня в дар я не хотел. Улучив удобную минуту, поговорил с Нуганом. Сын оказался куда более податливым.

— Поехали к лошадям. Какая тебе понравится, ту и заарканим. Наш старик, конечно, не возьмет от тебя денег. Что правда, то правда. Но если ты хочешь — сунь мне что-нибудь в карман, не стесняйся.

Скоро Нуган, Галиянур, я и еще несколько джигитов уже были у табуна, пасшегося на берегу речушки Шарыктас.

Не доводилось мне до сих пор видеть таких коней. Шакимовские скакуны были на редкость высокими — вытянутая рука еле доставала до холки. А крупы у кобылиц — ну хоть стели постель и спокойно спи. Посмотришь на вымя, и представляешь, как ручьями хлещет в ведро густое молоко. Жеребцы в табуне — глаз не ото-

рвать. Толстые, стройные, диковатые, но красивые. С гордо выгнутых высоких шей — «гусиных шей» — волнами спускаются гривы, пышные хвосты волочатся по земле.

Богаты берега Шарыктаса травами: сухой травой — кау и типчаком — коде. Любят кау и коде шакимовские кони. Столько они нагуляли жира, что лоснятся их спины!

Отвыкли на воле кони Шакима от посторонних глаз. Завидев нас, они испуганно всхрапывали и убегали.

— Хур-р-р, эй! Хур-р-р, эй! — кричали табунщики.

И тогда кони останавливались и озирались по сторонам.

Но крупный вороной жеребец чуть опустил шею и отогнал еще дальше остановившихся коней. Потом он повернул и помчался прямо на нас галопом.

— Те-й, жануар! Стой, скотина! — зычно рявкнул на него старый табунщик.

Вороной послушался окрика, сбавил шаг и потрусил рысцой обратно к косяку.

Табунщик нам рассказал, что вороной не подпускает к лошадям ни волков, ни чужих людей. Если незнакомый всадник приблизится к косяку, он сбрасывает его с седла, а волков бьет своими крепкими копытами.

Да, было чему подивиться в этом табуне! Шаким владел редкостной красоты конями. У меня глаза разбегались: этот хорош, а тот еще лучше!

Но старый табунщик умерил мой пыл:

— Оставь их. Не надо!

И подвел меня к игреневому коню.

— Вот смотри! Только в прошлом году обучен седлу. Ездили на нем всего раз или два. Пять лет ему. Думаю, сильный будет конь, легкий, ловкий.

Игреневый мне понравился. Трудно его было поймать и привести к нам, но опытные табунщики знают свое дело. Испуганный конь тяжело дышал, смирившись со своей участью. Мы зануздали его и двинулись к аулу.

Я напрямик спросил у Нугана:

— Сколько стоит игреневый?

— Не знаю. Ведь ты — джигит, которому и бесплатно не жалко отдать коня. Отец сказал — садись и езжай!

— Назови цену,— настаивал я,— у меня же есть деньги.

— Ну если есть, прикинь сам,— уже не артачился Нуган.

Я повторил свой первый вопрос о цене и добавил:

— Пусть вам не будет обидно, а мне стыдно...

— Не знаю. Рассуди сам,— отвечал Нуган.— Ленивая лошаденка стоит на базаре рублей тридцать пять — сорок. А такую ты редко встретишь. И если уж приведут — купят не торгуясь. Цену девичьего калыма не пожалеют. Но мы же с тобой не на базаре. Поступай, словом, как хочешь.

Я подумал немного:

— Полсотни хватит, а?

— Я же тебе сказал, поступай, как хочешь.

Нуган улыбнулся, нехорошо улыбнулся. Похоже, он надеялся получить больше. Но я отсчитал пять червонцев и протянул ему:

— Не обидишься на меня, нет?

Сын Шакима молча сунул деньги в карман.

Но не повезло мне с игреневым, не повезло. Впрочем, расскажу обо всем по порядку.

Я с Галиянуром вернулся в Кокчетав, приведя на поводу своего коня — Гусиную шею. Попутчика в Кзыл-Жар долго искать не пришлось. Это был здешний финансовый работник Садык Колибаев, человек одних лет со мною. Он недавно женился, получил перевод по работе и теперь уезжал в Петропавловск на пароконной бричке.

Мы привязали к бричке моего игреневого и двинулись в путь. Маршрут был выбран степной — на этой дороге редко встречались аулы и села. Но именно это обстоятельство больше всего и устраивало молодых супругов — Садыка и Мукатай. Только мы отъехали от Кокчетава, как они начали целоваться. И целовались так, будто рядом никого не было — ни кучера, ни меня. Сперва я подшучивал над ними, потом начал злиться, но влюбленные не обращали на меня внимания.

Чмоканье продолжалось до вечера. А когда мы остановились на ночлег в степи, вдалеке от селений, поцелуи показались мне еще более жаркими. Мы с кучером решили не мешать молодоженам, стреножили коней и ушли подальше. На другой день все повторилось сызнова. Только ночь застала нас не в степи, а в небольшом березовом лесочке. Мы опять отошли в сторонку и при-

нялись стреноживать коней. Раздался странный резкий звук. Как потом я догадался, это взлетела сова. Мой пугливый игреневый вскинул голову, поводья выскользнули из моих рук, и я услышал удаляющийся топот.

Ничего нельзя было разобрать, конь словно растворился в темноте.

— Ой-бой, ушел игреневый! — в отчаянии кричал я кучеру.— Давай коней, догоним!

Мы сели на лошадей и поскакали вслед едва слышному перестуку копыт. Но куда там! Разве догнать Гусиную шею на лошадях, привыкших к упряжке!

Так и не нашелся мой игреневый.

Несколько лет спустя я прослышал, что конь тогда же возвратился в родной табун к берегам Шарыктаса.

— «Вернувшийся конь приносит удачу»,— ухмыльнулся Шаким и перегнал игреневого не то в Акмолинск, не то в Атбасар и снова продал его на ярмарке.

Невеста

Суеверный Жампеис посчитал пропажу игреневого недоброй приметой. Скорее всего, именно по этой причине он не отправился со мною в дорогу.

— Я вас догоню,— пообещал Жампеис. Он запряг бурого иноходца в легкий тарантас, усадил рядом со мною младшего своего брата Макыжана и, конечно, произнес назидательное напутствие: — Сдается мне, Кощигул уже догадался, что мы расставили сети его дочери. А ведь он упрямец! Трудно его переубедить. Но что он может предпринять, если дочь сама будет согласна? Постарайся с ней повстречаться. Не удастся самому, тебе Аблай-хаджи поможет. Посоветуйся с ним. Он уж устроит.

Я хочу сделать одно небольшое отступление.

Может быть, читатель недоумевает. Как же так? Студент рабфака, молодой коммунист, участник гражданской войны, да к тому же поэт, литератор, вдруг оказывается в плену давних родовых обычаев, едет к невесте, которой никогда в жизни не встречал! И советуется с баями, как будто бы у него, батрака в прошлом, есть с ними что-то общее. В том-то и дело, дорогой читатель, что жизнь совсем не так проста, как мы хотим подчас ее

представить. В том-то и дело, что родовое начало не так-то легко было истребить. И, возвращаясь из Оренбурга в родные аулы, я как бы попадал в свое недавнее прошлое; и новые отношения, черты новой жизни причудливо соседствовали со старыми. Что греха таить, и надо мною властвовали обычаи отцов и дедов, и я для своих земляков оставался Сабитом, сыном Мукана из Жаман-Шубара.

...Через несколько дней пути я с Макыжаном доехал до дома Аблая-хаджи. Его аул находился неподалеку от аула Қощигула, на берегу русла пересохшей речушки Қара-Томара, кое-где напоминавшей о себе мелкими грязноватыми водоемчиками.

Я начал, было, рассказывать о цели своего приезда, но Аблай перебил меня:

— Слыхал, а как же... Но знаешь ли ты, что Қощигулу нужен калым? И не просто калым, а полный калым. Сорок семь голов скота. Можно, конечно, и деньгами. Найдешь столько?

Скорее из любопытства, чем для дела, я попросил Аблая поточнее назвать сумму.

Он быстро пересчитал про себя:

— Пожалуй, не меньше двух тысяч.

Я ахнул от удивления. И в самом деле, откуда у меня могут быть такие деньги? Да если бы они и были, разве можно мне, члену КирЦИК а, платить калым? Что же тогда остается делать другим?

Едва я начал говорить об этом Аблаю, как он меня решительно прервал:

— Да не думай ты о калыме. Ты вначале повидай девушку. Вот когда она тебе понравиться и даст согласие, тогда возьми и выкради. Закон будет на твоей стороне.

Сомнения одолевали меня во время этого разговора. Собственно говоря, зачем я рвусь к ней? Стоит ли вообще стремиться к встрече, если так много препятствий на пути? Потом, что я знаю об этой девушке? Разве только то, что она домбристка, с которой никто не может сравниться. Запутал меня Жампеис. Все же повидаться надо обязательно. А там все решится...

И я стал расспрашивать Аблая, как же мне добиться свидания.

— Ты ведь должен знать Шакира, сына Жыдырмы.

— Знаю. Это ваш друг, такой высокий, полный. Не правда ли?

— Так вот и поезжай к нему и передай ему мой салем. Он тебе поможет.

...В юрте Шакира я сразу понял, что он уже предупрежден. Но при людях он мне ничего не сказал. Только после кумыса пригласил меня прогуляться. Мол, пойдем подышим свежим воздухом. Находящиеся в юрте сразу догадались, что Шакир хочет поговорить со мною наедине. И за нами никто не вышел.

Мы удобно расположились вдалеке от юрты на степной траве. Шакир извлек из кармана своей просторной неподпоясанной гимнастерки кисет и бумагу. Сворачивая внушительную цигарку, он начал мне же рассказывать о моей поездке.

— Стоит тебе жениться,— он сразу принялся расхваливать дочку Кощигула, жадно затягиваясь крепкой махоркой,— хорошая девушка. Но скрывать не буду: на твоем пути есть препятствия. Больше всего тебе помешают родственники того, за кого она сосватана. Знаешь ли ты детей Мыктыбая в роде Жангиш-Самай? Знаешь? Тогда назови.

Я знал этих знаменитых конокрадов, джатаков, что пасут коней в табунах казачьих станиц. Пять братьев — Жакиш, Абиль, Абильтай, Тынымбай, Шыныбай.

— Хорошо, оказывается, знаешь! — И Шакир так ловко ударил по мундштуку, что окурок его цигарки взлетел над нами и упал, задымившись в траве.— Но известно ли тебе, что дочь Кощигула помолвлена с Шыныбаем, младшим сыном Мыктыбая? А этот джигит уступает тебе только в образовании. До тебя эта весть не дошла, а сыновья Мыктыбая уже обо всем наслышаны. Вокруг в аулах который день говорят: Сабит едет за дочерью Кощигула. Особенно беспокоятся братья жениха. Они, один за другим, наведываются к Кощигулу. След коня старшего брата не успеет простыть, как уже скачет средний. Недавно Абиль заворачивал ко мне. Кто ему только мог сказать, но он об одном твердил. Говорят, Сабит остановится у тебя. Говорят, он здесь повстречается с девушкой. В сводничестве меня упрекал. Стыдил. «Ты ведь, Шакир, из рода Уак. Ты наш единокровный сородич. Как же ты решился изменить нам?» Злил-

ся, вопрос за вопросом задавал. Так окружил вопросами, что я еле-еле выпутался.

— И что же вы ему сказали в ответ?

— А что я мог сказать? — Шакир сделал строгое лицо.— Советское время пришло, говорю ему. Джигит и девушка вольны устраивать свою судьбу! И закон будет на их стороне.

— Так, Шакир, вы Абилю сказали. Ну, а если я вас спрошу: чем вы мне поможете?

— Скажу тебе прямо, светик, сам я тебе свидание с девушкой не смогу устроить. Младший мой брат Хасен— другое дело! Правда, он уже отрастил дедовскую бороду. Но по-прежнему льнет к молодежи и в уменье повеселиться не уступит джигиту. Я ему поручу собрать завтра вечером молодежь Кара-Томара поиграть на качелях, алты-бакан. Скажу, чтобы не забыл пригласить и дочь Кощигула. А ты уж поговори с девушкой сам. Будет она согласна, закон тебе поможет. Но меня в свои дела не впутывай.

Скоро Шакир познакомил меня с Хасеном. Младший брат оказался крупным смуглым человеком с представительной черной курчавой бородой. Когда Шакир изложил ему нашу просьбу, он загремел густым басом:

— Можно, это можно. Все будет так, как задумали. Все будет шито-крыто. Джигиты и девушки соберутся на алты-бакан. А я с Сабитом поеду по аулам, будто игры нас и не касаются. Только на обратном пути мы попадем на алты-бакан. Случайно попадем. Понятно?

Хитроватая затея Хасена понравилась и мне, и Шакиру.

Так мы и сделали.

...Поздним вечером Хасен и я вернулись из соседнего аула. В юрте Шакира нас нетерпеливо ожидал Макыжан. Со стороны Кара-Томара доносился веселый гул, отголоски песен. Значит, игры уже начались. Предвкушение праздника оживило нас, подняло мое настроение.

— Все идет как по маслу,— заговорщицки сказал Макыжан,— видел я твою девушку, беседовал с ней. Откровенная, прямая. Что ж, говорит, посмотрю на вашего Сабита, поговорю с ним. А что я могу пока сказать? Не отталкивает, словом, тебя. Кажется, интересуется тобой. Она пришла на алты-бакан не одна, а с женой стар-

шего брата — Зейнеп. Сноха тоже знает о нашем приезде. Придется постоять нам за свою честь!

В юрте Шакира уже был приготовлен ужин — пахло свежей бараниной и копченым мясом. Но разве можно было сейчас оставаться в юрте? Мы поблагодарили хозяев. Уж извините нас, поужинаем позже. И отправились на алты-бакан. Втроем: Хасен, Макыжан и я.

Рахат туни — ночь блаженства. Так называют в наших краях такие вечера. Вместо обычных в это время года густых дождливых туч, по небу плывут рассеянные облака. Комары, так часто докучающие степным жителям, прибиты к земле рано выпавшей тяжелой росой. Звезды вспыхивают между облаками, словно огни морских кораблей. Парус луны, перепрыгивая и скользя по облакам, как по льдинам, совсем приблизился к горизонту и скрылся в те минуты, когда мы подошли к качелям.

Но все равно ночь не закрыла наглухо землю своим черным покрывалом. Да она и бессильна это сделать в летние месяцы, когда день становится длиннее. В моей родной степи ночью на западе светится белая заря. Постепенно она передвигается на север и северо-восток и мягко соединяется с утренней зарей. Со второй половины июня до первых чисел июля актандак — белые зори — достигают предела своей яркости, хотя они и слабее белых ночей, воспетых Пушкиным. Читать «без лампады» при свете актандака, пожалуй, нельзя, но легко разглядеть каждую черточку лица.

В эту ночь белая заря была удивительно светлой. Обильная роса выступила на высоких, по пояс, травах. Мы брели степью, как широким озером. Аулы лодками чернели вокруг. Вблизи Кара-Томара, в низине лога, темнела вода настоящего озерца. Там, должно быть, в камышах, чуя близость рассвета, беспокойно галдели гуси, утки, чайки, чибисы. Откуда-то издалека доносилось слабое конское ржанье и приглушенный лай собак. Но над всеми этими шумами и над степной тишиной властвовал веселый и звонкий гомон. Игры. Алты-бакан. Молодость.

Стремительный легкий Макыжан опередил нас и скрылся там, где разгорался праздник. Меня тоже так и подстегивало идти побыстрее, но я стеснялся оставить Хасена, с достоинством вышагивающего рядом. Ночью

он казался еще выше, внушительнее, и я, человек среднего роста, выглядел возле него, как лошадка около верблюда. Ночная сырость приглушала зычный бас Хасена. Но и приглушенный, он напоминал мне бычий рев, какое-то фантастическое мычанье.

— Начали мы с тобой это сватовство,— ревел он,— стыдно будет и мне, и тебе, если не доведем до конца. Труса убивает страх, батыра — позор. Ты, Сабит, опозоришься, если дочка Кощигула откажется от тебя.

— А если она станет женой сына Мыктыбая?

— Не говори так, не надо. Погибнет она тогда.

Я не совсем понимал Хасена и попросил его объяснить мне ход его мыслей.

— Странный ты, Сабит. Здесь все ясно. Стань она теперь женой Шыныбая, он же ей будет мстить. Он не простит ей попытки выйти замуж за сына Мукана. Будет издеваться над ней, бить ее, поить из собачьей чашки. Она умная девушка, все понимает. Теперь тебе ясно, что она выйдет за тебя? Даже если ей ты не так понравишься.

Признаться, эти мысли прежде мне в голову не приходили. Неужели Хасен действительно прав? Неужели эти разбойники, дети Мыктыбая, не остановятся ни перед чем? И, значит, я буду виноват? Да, я. И никто другой. Так я думал, приближаясь к алты-бакану. И все больше и больше убеждался в том, что и для девушки, и для меня есть один-единственный выход — жениться.

Алты-бакан... Что же это такое? Представьте себе два треножника, составленные из высоких — до пяти метров — столбов. Расстояние между треножниками в основании — тоже пять-шесть метров. Треножники-пирамиды соединены перекладинами, а с перекладины спускаются три сдвоенных крепких аркана, сплетенных из конского волоса. Два повыше, один пониже. На высокие арканы садятся девушки и джигиты, упираясь ногами в нижний аркан. Снизу их раскачивают парни посильней. И пошли взлетать — вверх, вниз, вверх, вниз! Причем обязательно с песней. Пара сменяет пару, песни не умолкают. Веселье продолжается до утра.

Алты-бакан был сооружен на этот раз по всем правилам. Но игры еще не начались. Вокруг шумела и озоровала молодежь. Каждая шутка вызывала взрыв хохота. И если возникал веселый знакомый мотив, все тут же его

подхватывали. Аульная детвора сновала между джигитами, и крики ребятни нисколько не мешали забавам взрослых.

Важной своей походкой Хасен вошел в круг собравшихся.

— Что ж это вы не начинаете? Игра давным-давно должна быть в разгаре. Ты только посмотри на них!

Кто-то почтительно ответил:

— Вас вот ждем, ага-джигит.

— Чтоб тебя...—длинно выругался Хасен.— Выходит, если я умру, вы и играть больше не будете. И потом, что у вас тут за порядки: здесь джигиты, там девушки. Каждый сам по себе. Давно бы надо вас смешать, как мед с кумысом. Крепко смешать, на совесть!.. Что ж вы теряете время? Рассвет скоро наступит, джигиты. Вкусим веселья досыта. Ханом буду я сам. А где Шаукер, сын Аубакира?

И Хасен уселся в середине.

Шаукер сразу же отозвался. Я узнал в нем своего одногодка, молодцеватого джигита, охочего до веселых игр.

— Ты, Шаукер, будешь моим визирем,— проревел Хасен.

Мой одногодок только этого и желал.

— А теперь найди мне ханшу.

— Есть такая на примете. Жена Тохсанбая Зейнеп. Если согласится, мигом приведу.

— Попробует она не согласиться,— оглушил своим басом Хасен,— калым уплачен. Ты ее и не спрашивай, а тащи сюда.

— Неудобно мне, она же старше меня,— отнекивался Шаукер.

— Ну, тогда ты приведи,— мигнул Хасен какому-то бородачу.

Потом Хасен перешептывался со своим визирем Шаукером. «Ладно»,— едва слышно ответил визирь и ушел вслед за бородачом.

— Все о тебе беспокоюсь,— вполголоса сказал Хасен мне.— Предупредил Шаукера, чтобы, рассаживая девушек и джигитов, он не забыл дочери Кощигула дать место рядом с тобой. Смотри, не растеряйся! На первый взгляд она девушка тихая, но, ой, как остра на слова!

Договорить мы не успели. Уже возвращался бородач. Он вел за руку высокую сухощавую женщину. Она брела лениво и покорно. Бородач приблизил ее к Хасену:

— Ну вот и Зейнеп.

Хан рывком схватил ее повыше локтя и усадил рядом.

В это же время появился Шаукер, окруженный джигитами и девушками.

— Олеумет! Олеумет! — кричал он.— Начинаем игру «Хан жаксы ма?» — «Хорош ли хан?» Хан — Хасеке. Ханша — супруга Тохсанбая Зейнеп. Визирь я. Джигиты и девушки садятся вместе. Джигит, девушка, снова джигит. Рассаживать буду я. По большому кругу — Бурахотан. По верблюжьей крепости, как называли центр аула между юртами наши предки.

Шаукер назначил своих помощников — воинов-сарбазов и еще раз крикнул:

— Подчиняться мне во всем! Кто нарушит мой приказ, того посажу в острог шести баб.

И визирь со своими сарбазами принялся за дело. Он сперва широким кругом рассадил девушек, а потом стал перемежать их джигитами. Дошла очередь и до меня.

— Здесь твое место,— показал Шаукер, и девушки беспрекословно раздвинулись. Одну из них, дочь Шакира Магрипу, я узнал сразу. Магрипа познакомила меня с другой моей соседкой — Рахимой. «Неужели это моя невеста?» — с волнением подумал я.

По старинным обычаям, с мужчинами могли здороваться только пожилые женщины. Молодым, в особенности девушкам, этого не разрешалось. В ответ на приветствие они должны были скромно и коротко спросить о здоровье и больше ни полслова. Во время игры девушкам и джигитам, умевшим острословить, можно было соревноваться в шутках. Но девушка, лишенная такого дара, будет молчать и в час веселья.

Рахима не ответила на мое приветствие.

Озадаченный и немного раздосадованный, я внимательно разглядывал девушку. В белесом сумраке прохладной ночи ее круглое лицо показалось мне серым, даже тускловатым. Порою она вздрагивала, как вздрагивает осенью лист на ветру. Может быть, ей было просто холодно? Может быть, она не привыкла к таким иг-

рам? Или, всего верней, она волновалась потому, что рядом сел незнакомый джигит, уже объявленный аульной молвой ее женихом?

Она была одета, как одевались в молодости ее мать, ее бабушка. В круглой бобровой шапочке с бархатным верхом, украшенной пучком перьев филина; в широкополом плюшевом камзоле с воротником, прошитом серебряными и золотыми нитями; в шелковом платье кос-етек, с двумя оборками, скрывающими ноги.

Рахима молчала. Зато словоохотливая, острая на язычок Магрипа болтала без умолку, то и дело намекая, что ей хорошо известно, почему мы очутились рядом. Она подзадоривала то меня: «Сабит, что ты не начинаешь разговора?», то ее: «Рахима, тебе не надоело молчать?», то нас обоих: «Ведь вам есть о чем поговорить?». Я еще пытался беседовать, но Рахима упорно хранила молчание. Что бы это могло означать? Я слышал о ней, как об остроумной девушке. Почему она вдруг потеряла дар речи?

Не знаю, сколько продлилось бы это неловкое замешательство, но тут к нам подошел визирь с двумя сарбазами.

— Хан требует предстать перед ним.

Я и Магрипа поднялись, Рахима ни с места.

— Встаньте и вы, товарищ! — в шутку произнес Шаукер новое обращение, еще не вошедшее в аульный быт и странно звучавшее в старинной игре.

Но девушка не повиновалась.

— Рахима, встань, наконец. Это же просто неудобно.

Ей, должно быть, и впрямь стало неловко, и она поднялась, и пошла с нами, стройненькая, невысокая, даже маленькая рядом с Магрипой.

В игре «Хан жаксы ма?» в наших краях существовали строгие и сложные правила. Джигит, предстающий перед ханом, обязан был обнять своих спутниц за талию и приподнять их. Ему полагалось спеть определенное число куплетов — по три в честь хана, ханши, визиря и своих девушек. И еще он должен был исполнить *лживую* песню, *живую* песню, *мертвую* песню и *надменную* песню. Джигит не имел права повторяться или петь с чужого голоса. В игре испытывалось мастерство импровизации. А кому мастерство это было совсем недоступно или кто нарушал хотя бы одно из условий, тот отправлялся в

острог шести баб. Позор для джигита! Но что поделаешь, в игре надо выполнять приказ хана.

Впрочем, джигит-ага Хасен несколько облегчил мне задачу. Он позволил мне петь, не приподымая спутниц. Ну а сама импровизация не доставила мне большого труда. Я ведь сызмальства привык складывать песни на заданные темы.

В заключение предстояло еще одно испытание, более легкое. Я должен был поцеловать своих спутниц. Магрипа охотно подставила мне свои щечки, нисколько не стесняясь и старшего своего брата Хасена, и десятка других джигитов, собравшихся на алты-бакан. Но едва я попытался поцеловать Рахиму, как она отвернулась. Ничего не помогало: приказ хана, уговоры ханши, просьбы визиря.

Я вспомнил, как рассказывал Жампеис о чудесной игре Рахимы на домбре.

— Пусть лучше она сыграет. На домбре или на гармонике,— посоветовал я, и хан согласился со мной. Согласилась и Рахима.

Ей скоро принесли домбру, завернутую в плотную материю, чтобы струны не намокли от росы. Рахима поудобней устроилась возле Зейнеп и заиграла.

У каждого народа есть мастера-виртуозы, передающие языком музыки все свои раздумья и чувства. Много их есть и у казахов. В музыкальной памяти народа сохранилось немало кюев — сюжетных композиций, сложенных одаренными степными мелодистами.

Рахима исполняла на домбре один из таких волшебных кюев. Замолкли шутки, смех, разговоры. В чутком молчании слушала молодежь пленительную игру. Меня все больше и больше завораживала страстная и печальная мелодия. Кюй казался мне трагической поэмой. В его ритме чудились слова:

«...Я спокойно ждала своей судьбы... Но кончился мой покой... Вспыхнул пожар, и его огонь угрожает мне. Пламя обжигает меня. Пламя людской молвы. Говорят, ты женишься на мне... Огонь кольцом окружил меня... Я не выйду из этого круга... Я не могу уйти от пожара... Кто меня может спасти, кроме тебя... Или ты скажешь— сгорай, как сгорает уголь... Или ты спасешь меня?..»

Страстный и печальный кюй неожиданно оборвался. Струны еще продолжали дрожать, их слабый звон ста-

новился все тише и тише, пока замирающие эти звуки не заглушил плач. Рахима уронила домбру и заплакала, склонившись к коленям Зейнеп. Я заметил, как она торопливым нервным движением достала платок и закрыла им лицо.

Но свидание наше все-таки состоялось. Помог Шаукер, помогла ночь, алты-бакан. Мы обо всем договорились. Приветливо и доверчиво смотрела наедине Рахима. Только она поставила одно непременное условие: надо направить уважаемого человека к ее отцу Қощигулу и обязательно добиться его согласия на свадьбу.

Женитьба

Я возвратился в юрту Шакира на рассвете. Стих алты-бакан, спал аул. Только Шакир медленно и важно расхаживал перед юртой в своем чекмене из верблюжьей шерсти, в высоких сапогах, подбитых кошмой.

Мы сели за ужин, предложенный еще вечером. Потом Шакир позвал меня и Хасена прогуляться, чтобы выслушать мой рассказ об играх, о свидании. Нет, он не был слишком обрадован вестями:

— Милый мой, когда я с тобой говорил о трудностях на пути жениха, то, кажется, не сказал о главном. Думал, об этом лучше будет потолковать после свидания. Вот ты уже и договорился. Поздравляю тебя. Но ты сам сказал мне сейчас, чем кончилась ваша встреча. «Добейся согласия отца». Легко произнести, трудно сделать. Правду тебе говорю, мой свет. В нашем краю никого не найти, кого бы слушался Қощигул. Меня? Выругается только. Мол, кто это меня вздумал учить! Выругается и выставит вон вместе с моими советами. Да что там я! Даже у Аубакира Куркина и Жакыба Қошкина, не зря считающих себя осью рода Уан, нет слов, нет сил влиять на Қощигула.

— Тогда кого же он может послушать?

— Кого? — переспросил Шакир.— В самом деле, кого?

Помолчал и вдруг оживился:

— Да твоего дядю Нуртазу! Крепкий человек. С двойной глоткой и медным нёбом. Уж его-то он не прогонит. Не иначе как твой дядя может размягчить ста-

рика. Не зря Нуртаза побеждал в айтысах. И в сватовстве поднаторел.

Неожиданно для меня джигит-ага Хасен произнес слова, которые все эти дни вертелись у меня в голове и не давали мне покоя:

— Не бросить ли нам все эти старые казахские обычаи и просто обратиться к закону?

Мне понравилась эта мысль вчерашнего хана у качелей, но Шакир стоял на своем:

— Нет, сама Рахима никогда не пойдет на это. Почему, спрашиваете? Ясно почему! Отец вырастил ее. И она не станет позорить отца. Чтобы старого Қощигула из-за нее повели в контору? Нет, аульные наши девушки так не поступят. Выручить тебя может только дядя Нуртаза. А если и он не в силах или не захочет — прощайся с Рахимой.

Иного выхода не было. На том мы и порешили. Снова мой путь лежал в родной аул. Снова вдыхал я влажную прохладу озера Дос. Вдоль его берега мы ехали в тарантасе вместе с моим спутником Макыжаном. Я думал о своем детстве, о ранней юности, о трудном характере Нуртазы. Может быть, теперь дядя будет моим сватом?

От Қара-Томара до Доса верст двадцать пять-тридцать. Ехали мы неторопливо, чалому здорово доставалось в последние дни.

Начинался восход, когда мы достигли аула. Аул еще спал, но чабаны со своими отарами уже скрылись с глаз, и только коровы под щелканье пастушьих бичей лениво подымались и вразброд уходили в степь.

Я, как и всегда, остановил тарантас у юрты брата отца — дяди Мустафы.

Не так-то уж громко стучал тарантас, но он разбудил всех моих аулчан, будто грохот грома. Я услышал покашливанье Нуртазы. Отовсюду, изо всех юрт к нам навстречу выходили мужчины в чапанах, накинутых на плечи.

Вокруг нас вот уже образовался плотный круг. Верная наша пословица: «Сто ушей есть у аула». И еще говорят: «Вышло это слово сквозь тридцать зубов, слышат его люди тридцати родов». А еще находятся люди, которые утверждают, что узун-кулак, длинное ухо — это выдумка. В своем ауле снова я убедился и в меткости казахских пословиц, и в существовании узун-кулака.

Весельчак Шайкен сразу выболтал своей скороговоркой все, о чем поскорее хотелось узнать и другим:

— Говорили, что Сабит приедет вдвоем. А где же невеста? Неужели ее уже упрятали в юрту?

Зашумели мои родичи-аулчане. За словом — два, за шуткой — шутка, за улыбкой — хохот.

— Что вы тут разгалделись! — рассердился Нуртаза.— Мальчик сам скажет, справедливы ли эти слухи.

Да, в своем родном ауле для Нуртазы я был по-прежнему мальчиком. Но мне говорить было неудобно. Дело в том, что еще неженатый джигит, по обычаю, не делится своими замыслами со старшими. Считается неприличным рисоваться перед стариками, тем более произносить такие слова: «Я задумал», «я решил», «я хочу сделать так-то и так-то». Джигит может говорить в таком тоне только со своими сверстниками. Я тогда не стал нарушать этот обычай и, опустив глаза, ковырял сапогом землю. Вызволил меня из неловкого положения старший сын Нуртазы Мырзагазы, человек уважительный, открытый и не лазивший за словом в карман:

— Не годится так, не годится! Что это с вами сегодня? Не успел Сабит приехать, вы как пчелы налетели на него. Он же ехал всю ночь напролет, устал, посерел. Разве вы не видите? Дайте ему зайти в юрту, отдохнуть, а уж потом приходите, расспрашивайте.

Старики поддержали Мырзагазы, все согласились с ним. И вскоре разошлись по своим юртам.

А я выпил у Мустафы чашку айрана и сразу же лег спать.

Наверное, меня долго будили. Когда я, наконец, открыл глаза, увидел обеспокоенного Мырзагазы.

— Ты хорошо поспал, Сабит. Скоро полдень. В ауле только и разговор о тебе. Вокруг нашей юрты все время толпится народ. Говорят, что ты приехал с невестой, хотят ее посмотреть. Брат Жампеиса, правда, объяснил кое-что. Сказал, что дочь Кощигула осталась дома. Но люди не уходят, хотят от тебя все услышать.

Я обо всем рассказал Мырзагазы. И, прежде всего, о совете Шакира.

— Мне должен помочь дядя Нуртаза.

— Правильно! Отец поможет. Он, правда, об этом еще ничего не знает, но я ему сейчас передам.

Мырзагазы вышел из юрты и довольно скоро вернулся.

— Пойдем, тебя зовет кши-ага, младший дядя,— по старой привычке он так называл своего отца.

Людей собралось в юрте Нуртазы — не протолкнешься. В четырех аулах Андарбай-Отарбай урочища Жаман-Шубар, кажется, не осталось дома ни одного мужчины. Все были тут, и каждый уже насыщался кумысом. Я вспомнил кожаную сабу Нуртазы: в нее входило молоко двадцати с лишним кобылиц. Значит, и сегодня пиршественная эта саба была полна до краев. А за юртой в котле уже варился жирный валух, зарезанный в честь моего приезда. Я уселся и едва успел отхлебнуть несколько глотков кумыса, как мой дядя-краснобай Нуртаза заговорил торжественно и громко, чуть откинув голову и попеременно впиваясь в каждого своими маленькими глазками:

— Агаин! Родные мои! У кого есть потомки, тому и жить. Помню я, как в свои семь лет наш Сабит остался сиротой. Знаете присловье:

И козлик блеет у водопоя...
Ребенок плачет, растет в героя.

Счастье обделило в детстве Сабита, но он пошел по свету в поисках знаний, учился и учится, и вот теперь даже стал членом «Керсека»— Нуртаза не мог выговорить слово КирЦИК и произносил его на свой, аульный манер.— Наш предок Байбарак правильно предсказал: не может быть, чтобы из нашего рода в разное время не выходили хорошие люди.

Тут голос Нуртазы задрожал и в глазах появились слезы. Не берусь утверждать, что мой дядя был искренним до конца. Ловкий краснобай, может быть, он хотел произвести впечатление. Но не только я, все мужчины видели, как он вытер слезы рукавом рубахи, глубоко вздохнул и продолжил:

— И мне доводилось от имени нашего рода сесть на коня и ехать впереди. Тогда меня никто не отталкивал, не сбрасывал с седла. Кончились те времена. Бедняки стали хозяевами. И в эту пору еще один джигит из нашего рода сел на коня. Я радуюсь. Мне кажется, моя голова коснулась неба. Не верите, пусть скажет Тайжан

или ты, Аймолда. Да вот и Батижан-мулла может подтвердить.— Нуртаза снова провел по глазам рукавом рубахи.— Когда до меня дошла весть, что наш Сабит стал членом «Керсека», я устроил той для всех аксакалов и карасакалов пятидесяти домов Жаман-Шубара. Я положил в казан все, что осталось от согума, от зимнего забоя. Может быть, я неправду говорю, аксакалы?

Согласно закивали аксакалы.

— Правильно, Нуртаза. Правильно!

А он продолжал так же громко и торжественно:

— Я теперь узнаю — Сабит собирается жениться.— Снова дрогнул голос, снова рукав взлетел к глазам.— Я лишился рассудка от радости. Верите богу? Им клянусь!

— Верим! — дружно зашумели аксакалы.

— Значит, будем радоваться вместе. Будем радоваться вместе с душами Мукана и Балсары. Обзаведется Сабит семьей, пойдут дети. Так ли я говорю?

И гости большой юрты соглашались с Нуртазой.

А он продолжал:

— Вам известны аул и имя невесты. Я поделился с вами салемом и советом Шакира. Қощигула я знаю хорошо. Болтун и упрямец, он может целое лето твердить одно и то же. Склонить его на свою сторону нелегко, вы это знаете. Но если я откажусь быть сватом Сабита, кто же им будет? Родичи, у вас я спрашиваю совета!

— Все ясно! Что тут советовать? — откликнулся один из аксакалов.— Будь сватом, Нуртаза! Никто тебе не может сказать иначе...

— По-разному можно сватать,— отвечал мой дядя,— наши предки говорили: «Невеста без калыма — не невеста, жених без каде — не жених». В наше время калыма-выкупа вроде и нет, но каде — подарок аулу невесты — остался. Сумеют схитрить родители девушки — получат каде не меньше калыма. Вот я, седобородый, отправлюсь к Қощигулу. А он меня из седла выбьет: «Жених без каде — не жених». Как я с ним спорить буду? И он знает, и я знаю, что вокруг происходит. Еще можно встретить невесту без приданого, но жениха без каде никто не видел. Значит, и я должен о подарке подумать. В нашем краю считают так: если Сабит член «Керсека» — у него червонцы и за пазухой и за голенищами. И уж если я, старик, знающий обычаи дедов, приеду сватать, Қощи-

гул без хорошего каде даже не покажет свою дочь, а не то что замуж ее отдаст.

— Старик, ты сплел так много узлов, что и веревку не развяжешь,— раздался голос Хусаина, сына Итаяка, известного среди наших родственников крутым своим нравом.— Нашел время расщедриться на каде! Не царь Михолай сейчас правит, а Советы. Отдаст Кощигул дочь по доброму согласию — ладно, не отдаст — слава аллаху, есть Советская власть. Говорят, завтра приезжает Жампеис. Вот он и поможет Сабиту. Поедет с ним к Кощигулу, да не один, а с двумя милисинерами. И все обойдется проще простого.

Нуртаза, не желая перечить своенравному Хусаину, ответил очень спокойно:

— Отчасти ты верно говоришь, Хусаин. Я бы даже согласился с тобою. Но пойми: дело запутано не только Кощигулом, но и его дочкой. Она же попросила Сабита добиться согласия отца. Разве я рвусь платить калым или там подарки делать? Кощигула трудно насытить. Но и Сабиту надо помочь. Все мы должны внести свой пай. Начиная с меня. Четыреста-пятьсот рублей соберется в моем кармане, я готов идти. Не думайте, что я тут же отдам ему деньги. Нет. Я приложу все силы, истрачу все слова, призову на помощь аллаха и о новом законе скажу, только бы вернуться без убытка. Но уж если Кощигул не уступит, я ему не скажу — что ж, обойдемся без твоей дочери. Так сказать я не могу, не должен. Один наш джигит вправе это решить. Но от него мы, как я понял, не услышим слова отказа.

По обычаю аула, мне не полагалось говорить сразу же после Нуртазы. И я бы не нарушил обычая. Но старики уставились на меня так, что молчать было уже неудобно. Я собрался с духом и сказал напрямик:

— Зовите это калымом, зовите каде — все равно это плата за девушку. А платить не надо. Не захочет она согласиться с этим — ее воля.

Не знаю, пришелся ли по вкусу аксакалам Жаман-Шубара мой ответ, но спорить дальше они не стали и посоветовали Нуртазе ехать к Кощигулу, поговорить с ним, попробовать сломать его упрямство. Мол, сумеет наш дядя его уговорить, значит, удача, не сумеет — Сабиту найдется другая невеста, Рахиме — другой жених.

Больше, собственно, говорить было не о чем. Аксакалы и карасакалы допили кумыс и разошлись по своим юртам. Нуртаза, отложив все свои заботы, немедля отправился на пароконной бричке в сопровождении двух родичей к упрямцу Кощигулу.

Он возвратился через два-три дня, сумрачный, но по-прежнему самоуверенный:

— Хоть счастье и покинуло меня, но разум остался. Правильно я говорил — Кощигула не переубедить. Давайте, кричит, каде, и ни с места.

— А много ли он запрашивает? — спросил один из родичей.

В ответ Нуртаза сжал в кулак правую кисть.

— Думаете, сотня? Нет, не сотня! Целую тысячу требует, наглец!

Все, кто только был в юрте, возмутились:

— Ой-бо-о-ой! Так это же полный калым! Отдай мне, как говорится, заднюю луку седла, сам езжай, как хочешь...

— Вы бы только послушали этого хвастуна,— не сдержал своего раздражения Нуртаза,— дочь моя, говорит, не как у всех, дочь моя — не рабыня, дочь моя известна в степи. Если я с этого Сабита, говорит, приехавшего из самого Орымбора, не возьму каде, кто же мне его даст? И жена ему под стать. Только успели поздороваться, как она уже бормочет: «Говорят, у больного Нуртазы гниет добро от избытка; уж если сватает Нуртаза, значит, набьет деньгами наши карманы». Я уговаривал их и так и этак, но Кощигул разозлился, кричит: «Хватит, Нуртаза! Словами меня не проймешь. Заплатишь, приму как свата, откушаем бесбармак. Не хочешь, возвращайся той дорогой, которой приехал». Плохо обошелся со мной Кощигул, оскорблял. Я и ночевать у него не стал.

Нуртазу спросили, не пробовал ли он уговорить Кощигула через влиятельных его родичей, и назвали несколько громких в нашем краю имен.

— А как же, пытался. Но он их еще хуже принял. Даже на почетное место не усадил.

Вздыхали наши, кляли Кощигула, сочувствовали мне. Мол, зачем ты только, Сабит, связался с ними? Зачем туда Нуртаза ездил? Особенно злились старики. В про-

стодушии своем они считали, что оскорблен весь наш род Сыйбан.

Но всему свой срок. Повозмущались, погоревали и разошлись.

И только наступило затишье в ауле, как на своем рыжем иноходце примчался Жампеис. Остановился у юрты Нуртазы, стал кричать: «Где этот мальчишка Сабит?» В соседней юрте у Бирали,— мы там пили кумыс,— всех поднял на ноги отчаянный голос Жампеиса, и через несколько минут вокруг него уже собралась толпа.

Жампеис вытирал платком свой слезящийся глаз, а другой рукой натягивал поводья. Разгоряченный конь гарцевал, ударял копытами о сухую жаркую землю.

Пританцовывал конь, переминались мы с ноги на ногу, а Жампеис тем временем рассказывал о том, что произошло после отъезда Нуртазы.

— Я знал, Кощигул никого не послушается. И через своих людей нашел путь к братьям девушки — Тохсанбаю и старшему Хази. Просил их уговорить родителей. Не надо подставлять ноги Сабиту, пусть не упорствуют. Что изменится, если Рахима выйдет замуж? Солнце, что ли, перестанет всходить и заходить? Но Тохсанбай и Хази ничего толком не ответили. Только и твердили, что им старика и старуху не переспорить. Тогда втайне от них я послал еще одного человека. К девушке. И она сказала: «Не надо посредников, пусть Сабит приезжает сам, пусть попробует поговорить с отцом; если отец и на этот раз не согласится, я готова. По новому закону готова жить».

Родичи мои, и дяди и тетушки-женге, пораженные таким добрым известием, даже всплакнули от радости. А Жампеис, как ни в чем не бывало, зашел к Бидали, испил большую чашу кумыса и хитровато улыбнулся:

— Я вам дам верный совет: поезжайте в аул Кощигула и напугайте его там до смерти.

Не всем был понятен замысел Жампеиса. И тогда он растолковал нам его со всеми подробностями.

В нашем роду Сыйбан оказалось больше, чем в других родах, ученых жирык-етеков. Жирык-етек — платье с разрезом. Так шутливо называли казахов, одевавшихся на городской манер. К ученым жирык-етекам, по аульному представлению, принадлежал и я, студент раб-

фака. Принадлежал к ним и Габит Мусрепов. Жампеис и задумал собрать целый отряд таких учащихся. Он убеждал нас: Кощигул дрогнет и сдастся, завидя таких джигитов. Если у него сердце в груди, а не камень.

С Жампеисом согласились мои сородичи, согласился и я. Мы стали готовиться к поездке. Правда, старшие чуть охладили пыл Жампеиса. Неудобно-де собирать большой отряд. Не стоит так шуметь. Скромненько надо выехать...

В эти дни стало известно, что и Габит приехал в родной аул к своему нижнему Сыйбану и отдыхает верстах в семидесяти от нас.

— Продавать коня, так всем аулом,— сказали мне земляки и настояли, чтобы из нижнего Сыйбана были приглашены вместе с Габитом и Рустембай Машаков, и Андигожа Алдабергенов, и милиционер Шалабай Ботпаев. Но больше всего надежд возлагалось на Габита. Он был здесь раньше начальником милиции, военкомом. Строгим был на службе. Уж кого-кого, а Габита Кощигул и уважает и побаивается.

...Наконец-то мы запрягли лошадей в тарантасы и отправились. Жампеис предпочел, как и обычно в таких случаях, остаться в стороне. Он уверял, что у него есть кое-какие дела по уголовному розыску, и обещал позднее догнать нас.

Однако стоило нам прожить два-три дня в Кара-Томаре, чтобы мы убедились: ничегошеньки у нас не выходит и с этим, уж на что хитро задуманным планом. Кощигул попросту не пустил нас к себе. И опять утомительно торговался, требуя каде. Правда, он тут же оговаривался: мол, если дочь согласна, пусть уводят ее по закону.

Шакир, вероятно, правильно догадался: Кощигул и жадный и хитрый. Он старается сделать так, чтобы обелить себя и переложить вину на жениха. А между тем сам же никого не допускал к Рахиме.

Настал час, когда и мне, и родичам моим, и товарищам надоели эти упрямые козни Кощигула, и мы, вопреки ему, подробно узнали у девушки ее мнение. Оказалось, она не ожидала, что отец будет так упорствовать. Теперь и она видит, нечего ждать от него согласия. Но Рахима сдержит свое обещание. И поступит не по обычаям предков, а по новому закону.

Шакир предложил еще один неожиданный выход:

— Давайте, джигиты, привлечем Аблая. Только его одного слушает Қощигул. При нем он тих, при нем слова не скажет...

Аблай не возражал.

— Что ж! Пусть Сабит вместе с родичами и джигитами подъезжает вечером к юрте Қощигула. Я буду там ожидать. Посмотрю я, как будет выглядеть жадный этот самодур. Дочь согласна, а он противится!

Уже ночью мы остановились у юрты Қощигула и решительно вошли в нее. При свете тусклой керосиновой лампы лица сидящих были серыми, болезненно бледными. Хмурая тишина встретила нас. Опущенные головы, сдавленное молчание. У входа лежала, покашливая в подушку, сухая, должно быть, чахоточная старуха. «Мать девушки»,— сразу подумал я. На почетном месте — торе — сидел один Аблай. Откинул назад голову, важный, как гусак. Он гордился всем — своей городской русской одеждой, своей позой, своей камчой,— он плотно сжимал в кулаке ее рукоять. Мы сели по правую и левую руку Аблая.

— Габит, свет души моей,— заговорил Аблай,— я вижу тут образованных джигитов рода Сыйбан — и верхнего и нижнего. Ты их привел сюда. Я всем вам желаю удачи. А теперь о дочке Қощигула. Я слышал и раньше обо всем, что здесь происходит, и долго выжидал, чем же все это кончится. Побывал у меня Нуртаза. И я сказал ему — никто не принуждал тебя заниматься сватовством, но уж если начал, не отступай. Қощигул верен старым обычаям, тоскует о них. Ослеплен он прошлым и не видит, невежда, что наше время может оторвать ему бороду за это. Согласна девушка, что еще надо! А Қощигул до сих пор ерепенится. Вот я и приехал, чтобы его упорство сломать. Слышишь, Қощигул, тебе говорю...

Я увидел, как все ниже и ниже опускал свою голову Қощигул. Прав был Шакир: Аблая он слушает как старшего, не смеет ему возражать.

— ...Тебе говорю.— Мой новый сват повысил голос до крика.— Брось ты свои слова, заколи барашка, готовь угощение зятю и спутникам. И сегодня же ночью отправляй с ними дочку.

— Сегодня? Может быть, дождемся утра? — тихо, с трудом выговаривая слова, спросил Қощигул.

— Зачем нам ждать утра? — Аблай был еще упрямее хозяина юрты.— У нас в сутках нет неудачных часов. Неужели тебе не надоел топот коней и шум в твоем ауле? Если обманешь, помни: я увижу твою голову на тороке седла. Своей головы не пожалею, но и твоей щадить не буду.

Аблай оперся на рукоять камчи, поднялся и сделал решительный шаг к выходу. Кощигул уважительно и негромко попросил его подождать ужина.

— Успеешь меня угостить, позаботься лучше о гостях. Но знай, дойдет до меня слух, что ты снова артачишься, вернусь и сам усажу твою дочь в тарантас Сабита.

И он, удостоив Кощигула презрительным взглядом, кивнул на прощанье мне и моим джигитам.

Тохсанбай, молчавший до этого, с укоризной посмотрел на отца:

— Надо было тебе подымать весь этот шум! Сам себе беду накликал. Послушался бы умных советов! Сабит — взрослый джигит, самостоятельный. Кто может сказать плохое об этом браке? Не будем запутывать дело. Перестань упрямиться. Я пойду зарежу барашка угостить сыйбанов и потом провожу сестру.

Кощигул не произнес ни слова. А сухая чахоточная старуха в этой снова наступившей тягостной тишине раскашлялась еще сильнее и вдруг заголосила:

— Куда ты уходишь, Рахима, моя Раш-джан? Как ты решилась оставить меня? Еще мое молоко не высохло на твоих губах, еще след колыбели не сошел с твоей спины. Не могу я расстаться с тобой, Раш-джан! Так волк уносит ягненка, как берут сегодня тебя. Повезут тебя, Раш-джан, на чужой арбе. Горе мне, горе! Почему мы тебя отправляем ночью? Почему не устроили свадебный той? Разве ты опозорена, Раш-джан?.. Боже, что мне делать...

Старуха голосила, но на нее никто не обращал внимания.

Пока готовили ужин, оказалось, что уехал старший брат Хази. За ним все-таки послали. Пусть хоть самые близкие родные будут в сборе. Габит хотел пригласить девушку из соседней юрты, но она отказалась. Да и что веселого было в этом ночном ужине. Ели молча, мясо казалось невкусным.

— Қошеке,— обратился Габит к Қощигулу, — нам пора ехать, вы разрешаете?

В то самое мгновенье в юрте появился Хази.

— Аул уже спит, не будем его тревожить. Чтобы не было слез, не было крика. Раш я провожу до арбы. Давайте собираться без шума.

И шума действительно не было. Мы тихо выходили один за другим к своим тарантасам.

Но Рахима долго не появлялась. От Хази мы узнали, что она прощается с матерью и отцом. Из юрты в юрту люди перебегали, как тени. Снова послышался плач старухи. Она голосила еще громче, чем прежде. И снова никто ее не пожалел.

Наконец вышла Рахима. В той самой шапке, украшенной перьями филина, в которой я ее впервые увидел. С девушкой вместе прямо к моему тарантасу направлялись Хази и Зейнеп. Я видел заплаканное лицо и глаза, большие блестящие глаза. Брат и жена брата помогли моей невесте устроиться рядом со мной. Подали небольшой узелок с одеждой и постелью. Приданое Рахима пока оставляла дома. Тохсанбай обещал доставить его позднее. Так и нам было удобнее.

Провожать нас поехал Хази в повозке, запряженной чубарым иноходцем.

— Ну, тронулись, в добрый путь...

И один за другим тарантасы уходили от юрты Қощигула в светлую летнюю ночь.

Веселая наша молодость

Радовался я безгранично. Не только потому, что женился, нашел милую подругу. Я радовался еще одержанной победе. Не победе над соперником, как часто бывает в жизни. Мой соперник и не вступал со мною в борьбу. Совсем не меня он испугался, а новых времен, советских законов, несущих женщине свободу. Кто же боролся со мной, с моей невестой? Аульная старина, прошлое. Прошлое сопротивлялось лисьими увертками, но открыто в бой не вступало. Прошлое, как младший сын Мыктыбая, боялось настоящего.

Представьте себе, что могло произойти со мною в старое время. Сторона жениха, заплатившая калым, бро-

сила бы родовой клич — уран. На нас бы напали джигиты, вооруженные соилами. Они отобрали бы невесту, заполонили бы меня, заполонили, а может быть, и убили бы.

Но теперь я был в безопасности.

Ослабевает сила старых обычаев в аулах, власть вековых традиций. И все же они дают о себе знать. Они живучи, они гнездятся в душах. Я тоже в ту пору временами подчинялся им. И в поисках невесты, в борьбе за нее иногда следовал дедовским правилам и находил поддержку у родичей-сыйбанов.

В главном, однако, я опирался не на них, а на Советскую власть. Прежде всего, она помогла победить Кощигула. И это была не моя личная победа, а победа нового над старым. И радость была не только моей радостью, но принадлежала моим друзьям, всем моим многочисленным товарищам.

Радость владела мною в пути. Я и не заметил, как мы подъехали к длинному мыску, которым заканчивался Кара-Томар. И тут я услышал, к своему недоумению, гармонь. Удивились и спутники мои, стали напряженно всматриваться в темноту. Звуки гармони стремительно приближались. Неожиданно прямо перед нами возник всадник. Он пропустил два первых возка и остановился у моего тарантаса. Это был Жампеис. Он наклонился ко мне:

— Дорогой мой, пусть приносит счастье твоя птица.

И, пожелав нам дружной жизни, снова заиграл на гармони.

Он прикрутил поводья на руки, чтобы удобнее было и править и играть.

С Жампеисом впереди мы ехали с музыкой мимо старых зимовок, одиноко темнеющих у березовых колок, переваливали небольшие взгорья, а верст за пятнадцать до озера Дос дорога вывела нас на широкую равнину.

Здесь мы встретили рассвет.

Жампеис остановил коня на небольшом холмике и сделал нам знак. Мы задержались, полукругом обступив Жампеиса.

— Слишком быстро едем, джигиты! — он слегка тряхнул гармоникой.— Устали лошади. Пора бы и отдохнуть немного. Впереди аул за аулом. Как бы нам не

пришлось там кнутами размахивать! Засмеют. Скажут, едут с невестой на клячах.

Мы сделали передышку.

Перед тем как снова трогаться в путь, Жампеис весело подмигнул:

— А я вам что-то приготовил.

Милым был чудаком этот Жампеис. И мастером на все руки. Умел он тачать сапоги, плести бичи и арканы, делать отличные седла. Он выполнял не только мужскую работу, но и самую тонкую, женскую. Да так выполнял, что женщины завидовали его искусству: он мог вышивать самые замысловатые узоры и чудесный орнамент. Правда, вышивкой он занимался очень редко. Только когда его упрашивали. И ничего не брал за работу.

— Так вот, смотрите!

И в руках Жампеиса флагом заалела узкая полоска сукна. Во всю длину полоски светились красиво вышитые буквы. Я всмотрелся, прочитал: «Долой калым!» Суконную эту ленту Жампеис прикрепил к дуге моего коня. Каждый подходил, читал, восхищенно цокал языком. Здорово! Но, кажется, больше всех радовался сам автор лозунга:

— Я всегда был против калыма. Как начал понимать что к чему. Мою Жаныл-женге, вы ее знаете, я украл, а калым не заплатил. Теперь он, хотя и запрещен, но укутался в денежную шубу. В ней и живет. В знакомых мне аулах Рахима — первая девушка, за которую не заплатили калыма. И еще я вам скажу: Сабита и Раш-джан приглашают в гости все нижние и верхние сыйбаны. Вы не снимайте ленты. Пусть она будет с вами и в аулах, и в Кзыл-Жаре. Пусть она будет с вами до самого поезда.

Всем моим товарищам очень понравилась затея Жампеиса.

На рассвете и в полдень встречали аулы наш свадебный караван. Впереди на рыжем со звездочкой мчался Жампеис, не выпуская из рук гармони. И как только показывалась юрта, он начинал перебирать лады, и на звуки музыки люди выходили из юрт приветствовать нас. Порою всадник, пустив скакуна в галоп, догонял нас, приглашал в аул, расхваливал свой кумыс, завлекал бесбармаком. Но мы торопились, и гостеприимные степняки с сожалением глядели нам вслед. А если и случалась

краткая задержка на несколько минут, Жампеис непременно пользовался ею, чтобы обратить внимание на красную суконную полоску с лозунгом: «Долой калым!».

Грамотные с удивлением вчитывались в эти слова. Одни восхищались, откликаясь от души: «Правильно!» Другие посмеивались.

И лента на дуге, и наш свадебный поезд служили Жампеису как бы иллюстрацией к беседе о равноправии казахской женщины: «Смотрите, что дала казашке Советская власть».

У озера Дос мы увидели целый аул, севший на коней. Уже на заре в четырех аулах Жаман-Шубара знали, что мы выехали от Кощигула. Девушки и молодухи, джигиты и подростки по старинному обычаю встречали невесту. До аула она обязана идти пешком в сопровождении молодых. Два джигита или две невестки должны нести впереди покрывало, заслоняя молодую от посторонних глаз.

Мы, поборники нового, пробовали сопротивляться, спорить, но жена Мырзагазы Камель-женгей и слышать ничего не хотела.

— Что ты только говоришь, Жалкы-джигит! — назвала она меня давно придуманным ею самой прозвищем Одинокий джигит.— Первый, что ли, ты в нашем Жаман-Шубаре женился? Или твоя жена лучше всех других баб? Почему ты хочешь выделяться среди людей? Если твоя жена не продана за скот, так что она, необыкновенной будет от этого? Не нарушай обычай. Мы шутя дойдем пешком до аула.

Рахиму высадили из тарантаса и взяли под руки. Что ж! Жениху пришлось, как подобает в таком случае, ехать впереди. И мы первыми прискакали в аул. Жаман-шубаровцы, оказалось, держали совет и приготовили все для полного веселья. Вдали от аула нам поставили белую юрту Бирали. В юрте уже ожидала нас вместительная кумысная саба, а рядом паслись пять кобылиц из сотни Бикана. Зажиточные жаман-шубаровцы для праздничного тоя не пожалели двадцати баранов. Скачками, борьбой балуанов-силачей, народными играми решили отметить нашу свадьбу.

И в самой юрте все было готово для нас: ковры, постель, посуда, заботливо собранная сородичами.

К вечеру стала сходиться молодежь. Не только джи-

гиты и девушки наших четырех аулов, но и аулов, расположенных подальше — Телиек, Карагой-Шогасы и Сэпи.

Куда там гостям было вместиться в нашу юрту! Даже если бы юрта была вдвое, втрое больше. Поэтому веселились преимущественно в степи. На берегу озера Дос, на густом мягком типчаке, расцвеченном яркими цветами, на клевере, в котором прячутся ягоды. Как много ягод в здешних местах! Далеко разносится их душистый сладковатый запах.

Вечер был мягким, лунным, по небу плыли редкие серебрящиеся облака.

Радовались наши молодые гости. Среди них встречались и те, кого я в прошлом году отвез в Оренбург на учебу. Они, как и я, приехали на каникулы. Пели, играли, шутили.

За полночь стало холоднее. Небо затягивалось тучами. Незадолго до рассвета заморосил дождь. Молодежь разбежалась по юртам, а утром, когда ветерок разогнал тучи, гости снова сошлись, чтобы договориться о продолжении праздника вечером.

Но и на этом не кончилась свадьба.

Жампеис недаром предупреждал нас. Каждый аул нашего многочисленного рода Сыйбанов почитал обязательным приглашать нас. Словом, мы гостевали на всем пути до Кзыл-Жара. И повсюду к нам присоединялись учащиеся прошлогоднего призыва и те, кто сейчас решил поступать в школы, техникумы, на рабфак. Полные надежд подростки, преимущественно дети бедняков, сироты.

Мой свадебный караван одновременно становился и караваном учащихся.

Чтобы читателю было ясно, возвращусь к началу этой моей поездки по родным местам.

Когда я приехал из Оренбурга в Петропавловск, в любимый мой Кзыл-Жар, я не только гостевал у Жампеиса, но и хорошо помнил о некоторых общественных делах. В связи с ними мне пришлось побывать у тогдашнего председателя Акмолинского губисполкома (напомню, центром Акмолинской губернии был тогда Петропавловск) Узакпая Кулумбетова. Я познакомился с ним в трудные для него дни в доме Сакена. Узакпай, один из организаторов Советской власти в Актюбинске, а позд-

нее и председатель Актюбинского губисполкома, в ту пору попал под суд. Его обвиняли не больше не меньше, как в присвоении скота Помгола, то есть предназначенного в помощь голодающим. Насквозь лживое обвинение было составлено хитро и внешне убедительно. Доказать свою правоту он сумел только с помощью тогдашнего председателя Совнаркома Сакена Сейфуллина.

Узакпай Кулумбетов был народным учителем, учителем из школы Ибрая Алтынсарина. Профессия эта наложила отпечаток на его манеры и характер. Он говорил негромко, вел себя сдержанно и тактично. Загорался он, когда речь заходила о школьных делах, о просвещении. Узакпай много сделал для народного образования, в частности и в Петропавловске. Это при нем один из лучших домов в городе—так называемый дом Романовых—был передан педагогическому техникуму. Директор техникума Жумагали Тлеулин, в прошлом медицинский фельдшер, оказался способным и ревностным организатором. С помощью Кулумбетова он сделал техникум одним из лучших культурных учреждений Казахстана.

Стоило мне рассказать Узакпаю, что я хочу повторить свою прошлогоднюю затею — собрать из аулов ребят на учебу, как он меня поддержал и даже снабдил деньгами для отправки будущих учащихся.

Мне вряд ли придется в другом месте книги снова возвращаться к Кулумбетову и поэтому здесь мне хочется сказать несколько слов о его дальнейшей судьбе. Он стал заместителем председателя Совнаркома и позднее председателем ЦИКа Казахской республики, человеком государственных масштабов, неутомимой практической деятельности. Он не избежал и серьезных ошибок, но был верен ленинской партии. Конец его трагичен. Только после XX партсъезда было освобождено от ложного клейма доброе имя большевика Узакпая Кулумбетова.

...И помимо нашего каравана в Қзыл-Жар съехалось много аульной молодежи. На учебу! На учебу! Эта мечта владела подростками и юношами. Впрочем, я должен добавить, что на этот раз не только юноши, но и группа девушек, человек в десять, собирались в Оренбург. Габит отправился на два дня раньше нас, чтобы предупредить о приезде новой группы учащихся.

На вокзале нас провожал Жампеис. Он обнял меня и пожелал счастья. Но вот поезд тронулся, набирает

скорость, а Жампеис все бежит за вагоном и машет нам рукой.

В бесплацкартном вагоне третьего класса мы и доехали до Челябинска. О каких-нибудь удобствах нечего было и думать. Где кто сумел, там и устроился. Проходы были забиты мешками, спали и на полу. В тесноте, духоте, табачном дыму пассажиры то и дело затевали ссоры. Сейчас даже тихоходный почтовый поезд идет из Петропавловска в Челябинск меньше суток. А в те времена наш состав дотащился в Челябинск на третий день. Устали мы за дорогу, но еще больше устали во время вокзальной толчеи перед пересадкой на Кинель. Трудно было закомпостировать билеты. Добро бы один, два человека, а то ведь целый аул. В Челябинске скопилось столько народу, что и на привокзальной площади нельзя было найти свободной скамьи для ночлега. В многолюдной суете и шуме ловко шныряли воры.

В эти три-четыре дня я не раз позавидовал Габиту.

Даже Рустембай и Андигожа, мои ровесники, доставили мне немало хлопот. О подростках и говорить не приходится. У одного очистили карманы, другого побили. А третьи...

Вот об этих «третьих» я и расскажу.

Жусупбек Сатанов, шустрый мальчуган лет пятнадцати. Он понимал, что ему надо ехать в город учиться. Но ведь он впервые в жизни покинул родной аул и впервые в жизни видел железную дорогу. Его удивляло все: паровозы, вокзалы, людская толчея. Ему все хотелось увидеть собственными глазами. Семафор. А что это такое? Рельсы. А куда они ведут?

Одолеваемый любопытством Жусупбек, прихватив с собою несколько ребят, отправился по шпалам посмотреть, что же там дальше. Шли они, шли и набрели на стрелку. Остановились, рассматривали ее, потрогали рычаги и, сами того не ведая, перевели ее. Стрелочник, находящийся неподалеку, подбежал к ребятам, задыхаясь от гнева и страха. Жусупбека и его друзей, которые ничего не могли понять и ничего не могли объяснить, стрелочник привел в железнодорожную милицию, как злоумышленников. Хорошо еще, что мне удалось узнать об этом. На вокзале, однако, меня и слушать не захотели, как я ни объяснял, что аульные мальчики не имели и представления о железной дороге. Тогда я отправился в

город, в Губчека, и с помощью удостоверения КирЦИКа попал к самому начальнику, моложавому спокойному человеку. Он стал крутить телефон, нашел на вокзале нужных людей, и ребята были освобождены.

Как добрались мы из Челябинска до Кинели рассказывать не буду, как не буду рассказывать и о наших злоключениях на тамошнем вокзале, где повторялось все, кроме истории со стрелкой. И общий вагон, в котором мы ехали до Оренбурга, ничем не отличался от петропавловского.

Жара, духота, пыль. Прилечь негде, электричества нет. Проводник раздал свечи, посоветовал их зажигать только в крайнем случае. И еще предупредил, что надо бояться воров. Смотрите за вещами в оба!

Рустембай и Андигожа предложили свой план. Они настояли, чтобы единственную свободную среднюю полку занял я с Рахимой.

— Ведь ты, Сабит, устал. Устал больше всех. Неделя прошла, как мы из Кзыл-Жара. Забирайся на полку, отдыхай. А мы будем дежурить по очереди.

Мои товарищи посчитали, что самые ценные вещи — это пожитки Рахимы. Позорно будет, если обворуют единственную среди нас женщину. Вот и решено было поочередно нести караул.

Андигожа зажег свечу, вооружился карандашом и бумагой и стал вместе с Рустембаем по всем правилам составлять список. Чтобы наши караульщики не скучали, мы даже раздобыли для них игральные карты.

Усталые и довольные, мы легли на среднюю полку. Мы помнили казахское присловье:

Под подушкою брюки — к хорошей дороге.
Сапоги под подушкой — к несчастью, к тревоге.

И поэтому положили свои сапоги у ног, а не в изголовье. Мы уснули спокойно, потому что знали: нас охраняют.

...Я проснулся из-за резкого внезапного шума. Стало почему-то страшно. Вслушался. В вагоне снова было тихо. Только храп раздавался со всех сторон. Свеча погасла или догорела. Никаких караульщиков не было и в помине. Я приподнялся, пошарил рукой по верхней полке, там, где должны быть пожитки Рахимы. Ничего

не нашел. Спрыгнул вниз. В это время проснулась и Рахима. Испуганно спросила:

— Сабит, это ты? Что случилось? Что-о-о? Вещи, говоришь, пропали. Ой-бай!

Мы еще раз, на этот раз вдвоем, обшарили всю полку. Рахима всхлипывала. Вещей как не бывало. Но тут мы обнаружили еще одно исчезновение: украдены и наши сапоги. Вместе с сапогами «сбежали» и наши уики — плотные шерстяные носки.

Ну что за напасть! Вечно меня обкрадывают. Вечно случаются со мной какие-нибудь смешные неприятности.

Милая, веселая молодость наша!

Нипочем нам были лишенья и беды. Не огорчила нас пропажа сапог. Босиком так босиком!

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ БОРЬБЫ

В Москву!

Мое участие осенью 1923 года в срыве юбилея Ахмета Байтурсунова не прошло даром. Грустная для меня история произошла после этого.

Как мне уже приходилось рассказывать, я начал писать стихи в 1917 году. Спустя семь лет я стал перебирать написанные за эти годы стихи и поэмы. Их оказалось довольно много. Почему бы, подумал я, не отобрать лучшее и не попытаться издать сборник?

Тогда в Казахстане не было своего национального издательства. Все книги рекомендовались к печати так называемым Академическим центром Комиссариата просвещения. Им руководил Молдагали Жулдыбаев, которого я знал очень хорошо. Начиная с 1922 года, я часто встречался с ним — он был заместителем редактора газеты «Энбекши-Казах». Он производил впечатление сурового человека: грузный, широколицый, толстогубый. Особенно запомнились мне его густые жесткие брови, нависающие над глазами. Он был старше нас всех, старше меня, например, на целый мушель, как по казахскому летоисчислению называют цикл в двенадцать лет. Мы обращались к нему почтительно: Молдеке, но он-то с нами держался уважительно, просто, душевно, не подчеркивал разницу в возрасте или положении. Он был большим остряком. Русские, казахские, татарские ли анекдоты он рассказывал с необыкновенным искусством.

В быту он был удивительно небрежным. Он мог отправиться на работу, не зашнуровав ботинки или обмотав их веревочками. Сакен обожал таких чудаков. Может быть, поэтому он и выбрал Молдеке себе в заместители, когда работал редактором газеты «Энбекши-Казах». Они были друзьями и в Алма-Ате, жили вместе в одном большом деревянном доме.

Молдеке кстати и некстати любил упоминать, что он «издавна марксист». Но в партию, помнится, он вступил только в двадцатом году. Любил он рассказывать и о своем участии в гражданской войне, о встрече с Дмитрием Фурмановым, комиссаром легендарной Чапаевской дивизии. Фурманов, как утверждает Молдеке, после нескольких встреч сказал ему: «Из всех казахов, с которыми я познакомился, ты самый стойкий марксист». Думаю, Молдеке несколько преувеличивал свои достоинства и не очень точно изложил мнение Фурманова, если и в самом деле разговаривал с ним. Дело в том, что Молдеке был, как говорится, «жалпак шеше» — каждому брат и кум, если перевести на русский язык. Никогда он не выступал как марксист в пору жестокой классовой борьбы и оставался для всех — и для большевиков, и для националистов — добреньким Молдеке.

Он был необыкновенно плодовитым автором, писавшим статьи почти во все казахские газеты и журналы, выходившие в то время. Молдеке выбрал себе в качестве псевдонима римскую букву «V». Каждый, просматривающий подшивки газет «Енбекши-Казах», «Жас Кайрат» и журналов «Кзыл Казахстан», «Айел тендиги» за двадцатые годы, часто встречает эту букву под статьями на темы культуры и искусства. Кроме того, Жулдыбаев писал и переводил работы по вопросам исторического и диалектического материализма. Помимо своих литературных занятий, он еще читал лекции в Казахском педагогическом институте, вернее, вел там курс так называемой политической грамоты.

Все стихи и поэмы для моего первого сборника я аккуратно переписал от руки (пишущих машинок с казахским шрифтом тогда и в помине не было) и понес в Академический центр. Молдеке встретил меня своей обычной добродушной улыбкой:

— Оу, Сабит, дорогой, как хорошо, что пришел!

После долгих приветствий и восклицаний мы перешли к делу, и я сказал Молдеке о своем намерении. Он зажурчал:

— Хорошо, очень хорошо. Рождение пролетарского писателя — большая радость для всех нас. Читал, читал твои стихи в газетах и журналах. Некоторые доставили мне прямо-таки наслаждение. А теперь ты оставь-ка мне свой сборник. Внимательно посмотрю с карандашом в руке. О недостатках скажу прямо, ведь мы с тобой коммунисты. Только вот со сроками ты меня не стесняй. Знаешь, работы у меня много, а времени мало. Как прочту, сразу дам тебе знать.

Шли дни, проходили недели. Молдеке что-то медлил с ответом. Вначале мне было неудобно его беспокоить. Позже, при одной из встреч, я ему напомнил о сборнике. «Все некогда, милый, потерпи немного». Я подождал еще некоторое время. Обруч терпения растягивался и готов был вот-вот лопнуть. И вот однажды я решился и пошел к Молдеке. Во время разговора я убедился, что он к рукописи и не прикасался. Тогда я попросил вернуть мне сборник.

Молдеке на этот раз скорее зарычал, чем зажурчал:

— Дорогой Сабит, в каждом учреждении есть свои порядки, свои правила. Они существуют и у нас, в Академическом центре. Чтобы все то, что мы называем художественным творчеством — будь это поэзия или проза, — стало книгой, нужна виза Ахана...

— Ахана? — перебил я Молдеке. — Уж не Ахмета ли Байтурсунова имеете вы в виду?

Молдеке утвердительно кивнул и улыбнулся своей обычной добродушной улыбкой.

— Вы отдали ему мой сборник? — в упор спросил я.

— Нет,— Молдеке покачал головой,— еще не отдал, но теперь думаю передать. С твоего согласия, конечно.

— На это нет моего согласия.

Молдеке пожал плечами и изобразил на своем лице недоумение, даже растерянность. Но не сдавался и я:

— От врага добра не ждут. Он мне враг. Если вы так решили, то лучше верните мне рукопись.

Молдеке с его добреньким характером не любил споров и боялся их. Когда он был заместителем редактора газеты, то всячески избегал ставить проблемы, которые могли бы повлечь за собой широкую дискуссию. Даже



к стр. 58

если кто-нибудь пытался обвинять его в какой-либо ошибке, он тут же охотно соглашался: «Ты прав, милый дружок, прав».

И на этот раз Молдеке остался верен себе:

— Милый дружок, не волнуйся! Ты долго терпел, осталось совсем немного подождать. Думается, Ахан не будет упрямиться. А если и заупрямится — поправим. Я передам ему твой сборник для формальности. Все в наших руках,— начал было он увещевать меня. Но сладенькие эти речи только подлили масла в огонь.

— Верните, Молдеке, рукопись! Иначе я пойду в обком.

Впрочем, в обком я все равно бы не пошел. Я только попугал Молдеке. Дело в том, что первый секретарь обкома, знавший меня с 1922 года, надолго уехал куда-то лечиться, а заведующий орготделом, мой друг и наставник Абдулла Асылбеков, еще с прошлой осени учился в Москве. Вместо Асылбекова работал Ежов, мало симпатичный мне человек. Позднее он был в Москве наркомом внутренних дел и в 1937 году за беспощадность к так называемым «врагам народа» его прозвали «Саблей Сталина». Уже в двадцатые годы он славился своей жестокостью и надменностью. В Оренбургский обком он попал из Семипалатинского губкома. Низенький, тощий, смуглый, с большим шрамом на шее, с быстрыми пронзительными черными глазками, Ежов производил на меня очень неприятное впечатление: два-три раза приходилось мне встречаться с ним, и все, что я запомнил — хрипловатый голос, холодный взгляд, полное равнодушие к собеседнику. Неужели же я пошел бы к нему по поводу своего сборника?

Сакена Сейфуллина в это время не было. Словом, я не знал, кто мог бы мне помочь издать первую книжку стихов. К тому времени обострились разногласия между сторонниками Сакена и Сейткали Мендешева, и Молдеке, как считал не только один я, лавировал между теми и другими.

Быстро взвесив свои возможности и припомнив, как долго тянул Молдеке с окончательным ответом, я взял рукопись обратно и в предстоящие каникулы решил поехать с нею в Москву.

Со мною вместе собрался в столицу мой однокурсник Умитбай Балкашев.

Кажется, впервые в жизни нам удалось взять билеты в плацкартный вагон. Мягких и международных вагонов на линии Оренбург — Москва тогда не было. Но мы и плацкартные места считали раем по сравнению с обычными общими вагонами и теплушками, в которых часто приходилось ездить в свой Кзыл-Жар.

Все было бы хорошо, если бы не мешочники. Бог весть что скрывалось в их огромных мешках. Железнодорожная милиция и стрелки ТОГПУ (Транспортный отдел ГПУ) чуть ли не на каждой станции задерживали и обыскивали их. Это были, конечно, спекулянты. Одних штрафовали, других арестовывали, третьих просто ссаживали с поезда. Мы уже знали наперед: приближается станция — значит, будет шум, ругань, а может быть, и драка.

На пятые сутки мы приехали в Москву.

И Умитбай, и я еще никогда не бывали в столице. Все для нас в ней казалось удивительным. И Казанский вокзал — сколько раз с той поры я видел его стрельчатые башни, его огромные часы, его широкие перроны! — и людская сутолока, и серое зимнее небо, и мягкий медленный снежок,— все мне представлялось тогда необычным и чужим.

Конечно, мы задержались на вокзале дольше остальных пассажиров. Глазели, разинув рты. А потом, когда немного освоились, начали спорить. Умитбай говорил, что студент во время каникул может получить в любом городе бесплатное место в общежитии. В любом городе, а в Москве и подавно! Я же одним ухом слышал, что в Москве есть гостиница «Дом Советов» и там всегда предоставляют комнаты членам республиканских исполнительных комитетов. Еле-еле уговорил я Умитбая отправиться на поиски этой гостиницы.

В Москве, как и в Оренбурге, пассажирских автомобилей, такси днем с огнем нельзя было найти. Ехать трамваем? Но как нам объяснили, и круг придется делать большой, и пересадок много. Оставалось взять извозчика. Однако еще дома нас предостерегали: мол, смотрите, не очень-то им доверяйте, а то увезут вас куда-нибудь на окраину, прямо к ворам. Разденут, оберут до нитки, а на худой конец и самих убить могут.

С опаской прошли мы с Умитбаем по вокзальной площади вдоль выстроившихся в ряд извозчиков. Присма-

тривались к откормленным, но не гладким, как в нашей степи, лошадям. Трусовато поглядывали на возниц, важно восседавших на козлах своих фаэтонов. Все, как один, пожилые люди с заиндевевшими бородами, в добротных овчинных тулупах, узко перехваченных в поясе. Посмотреть на них со стороны — на их меховые шапки, на их исполненный достоинства вид, ничего дурного и подумать нельзя. Может, притворяются?

Но иного выхода, как нанять извозчика, у нас все-таки не было. Москва большая, незнакомая. В ней и заблудиться легко. Да и как мы доберемся пешком до своей гостиницы? Походили мы, походили у стоянки извозчиков и, наконец, начали переговоры с одним бородачом, неизвестно почему внушившим нам доверие.

Не могу припомнить, долго ли мы ехали, что мы видели на пути. В памяти до сих пор остались оглушавший нас звон трамваев, высокие дома, уходившие своими крышами в зимний тяжелый туман, и тревожная мысль: благополучно ли довезет нас этот молчаливый бородач?

И вдруг он совершенно неожиданно остановился:

— Вот то, что вам нужно.

Мы поскорее расплатились, как бы торопясь освободиться от прежних беспокойных опасений, и вошли в дом. В конторке симпатичная, уже немолодая женщина внимательно посмотрела на мой членский билет КирЦИКа:

— Что ж, можем дать вам номер. Вероятно, лучше двухместный?

Нам хотелось прыгать от радости, но мы сохранили свое достоинство.

Комната показалась нам преотличной. Чистота, уют, большие окна, две богатые кровати.

Дежурная нас предупредила, что столовая на ремонте и может нам предложить только чаю. Но мы отказались и от чая. Отдохнуть от шума, от сутолоки, отдохнуть, как следует выспаться!

Казахские рабфаковцы в столице

Только я погрузился в сновидения, как над самым ухом загудел Умитбай:

— Ау, Сабит, пора подыматься.

Спросонок я приоткрыл глаза и увидел сухонького, маленького Умитбая, по-казахски усевшегося на кровати. В комнате было совсем светло.

Умитбай не писал стихов и критических статей, не работал в газете, но от природы был наделен художественным чутьем, любил на досуге покритиковать новые произведения и всегда шумно и искренне восхищался тем, что ему понравилось.

Вот и теперь, разбудив меня, он тянул свой тонкий палец в сторону окна:

— Смотри, смотри! Разве можно дрыхнуть, когда рядом с тобой такая красота?

И впрямь за окном открывалась невиданная нами восхитительная картина. Над высокими крышами золотистыми многоцветными красками павлиньего хвоста переливалась утренняя заря. Вчерашний туман рассеялся, часть неба отсвечивала голубизной, другую часть еще затягивала тучка. Тонкий легкий снежок кружился в окне, и от тучки, от снежка наше первое утро было еще краше, еще удивительнее.

По ворсистому ковру мы подбежали к окну и прижались к чистым холодным стеклам.

Перед нами в утренних лучах сияла и звала к себе Москва, вернее, та ее часть, которую можно назвать сердцем города, сердцем страны, сердцем мира. Широкая, выложенная камнем площадь. Красная площадь. Два высоких островерхих дома из кирпича — теперь здания Исторического музея и музея Ленина. Крепость справа — это, понятно, Кремль. Слева — другая крепостная стена буровато-коричневого цвета. «Должно быть, Китай-город»,— предположил Умитбай. Он много читал и отличался хорошей памятью. Мы смотрели и смотрели. Мы узнавали в глубине площади витые цветные купола собора Василия Блаженного. Что ни здание, то памятник, что ни кирпич, то история.

Сразу возникло решение побродить по городу в этот утренний час. К овладевшему нами нетерпеливому желанию скорее увидеть столицу примешивалось и другое, менее высокое чувство: мы ведь не ужинали вечером, и нам очень хотелось есть.

Внизу, в вестибюле, дежурная подробно объяснила нам, как надо пройти в ближайшую столовую.

— Видите эту короткую улицу? Она называется

Охотным рядом. Вон в том низеньком доме продают птицу, рыбу, зайчатину. Тут же и харчевня. Только они открываются позднее. А пока — погуляйте...

На улице было морозно, свежо. Даже воздух показался мне чудесным, словно я нахожусь не в огромном городе, а в родной степи.

Двухэтажный дом, в котором мы остановились, стоял как раз на углу Охотного ряда и Тверской, так называлась тогда улица Горького. Дóма этого — он выглядел низеньким и в те годы — давно уже нет. Наискось от него теперь возвышается шестнадцатиэтажный дом Совета Министров СССР. Не узнать сейчас и Тверскую. Прежняя Тверская была раза в два у́же нынешней улицы Горького, широкой, прямой, застроенной многоэтажными зданиями-красавцами.

...Два оренбургских рабфаковца-казаха шли по Тверской. Шли неуверенно, даже робко, оглядываясь вокруг. Один за другим, звеня и громыхая на стыках, проносились трамваи. Их, казалось нам, было так много, что мы побаивались перейти с одной стороны на другую. Особенно поражала нас толчея и шум на трамвайных остановках. «Сколько же пассажиров может попасть в один трамвай?»— удивлялись мы. А москвичи как ни в чем не бывало осаждали вагон, ругались, кричали, висли на подножках.

Словом, мы довольно быстро отказались от мысли сесть в трамвай и до открытия харчевни поездить по городу.

Пройдясь по Тверской, мы с Умитбаем повернули обратно к Кремлю. Подошли к Троицким воротам, поговорили с дежурным военным. Он объяснил нам, что получить пропуск в Кремль можно только после десяти часов в здании канцелярии Совнаркома, там, где теперь находится ГУМ.

Подумали мы, куда бы нам еще пойти, и отправились бродить по Китай-городу и вокруг него. Он и в самом деле выглядел городом в городе — большим и шумным. С особенным чувством остановились мы у многоэтажного дома, выложенного серым мрамором, с бронзовыми позолоченными буквами на фронтоне — «ЦК РКП(б)». Эта надпись словно дохнула на нас родным теплом.

— Непременно побываем здесь. Правильно, Умитбай?

Мы шли по направлению к Лубянке. Здесь, у подножия Китайгородской стены, несмотря на ранний час и крепкий мороз, уже расположились букинисты. Некоторые из них разложили книги на газеты или на широкие листы картона, а иные свой товар держали прямо на заснеженном тротуаре. Они продавали преимущественно подержанные книги. Торговля уже с утра шла очень бойко. Помнится мне, я очень дешево купил тогда «Войну и мир» и «Анну Каренину». Шесть одинакового формата томов в темно-коричневых обложках с металлическим профилем Льва Толстого в левом верхнем углу. И еще я приобрел многотомную книгу Элизе Реклю «Человек и земля».

В первой половине тридцатых годов Китайгородская стена была уже снесена. Только неподалеку от гостиницы «Метрополь» остался, должно быть, для потомства, кусочек стены Китай-города. Я видел, как ломали эту старинную крепость. Широченные и прочные были у нее стены. Такие прочные, что под них приходилось подкладывать динамит. Не зря специалисты утверждали, что древние эти кирпичи были надежнее и крепче позднейших.

...Тем временем уже открылась харчевня в Охотном ряду. Мы ее сразу отыскали среди всяческих мясных, зеленых и бакалейных лавок. Сейчас на этом месте высится одна из самых красивых гостиниц столицы — «Москва».

Мы плотно поели и отправились разыскивать Абдуллу Асылбекова. Он, как я уже рассказывал, учился в Тимирязевской академии. Мы переписывались с ним и помнили его адрес: Москва, Лихоборы.

Трамваи до Лихобор не доходили. Пришлось поехать туда пригородным поездом.

Там, где теперь раскинулся один из новых районов Москвы с высотными зданиями, было тогда небольшое, с бревенчатыми избами село. В одной из таких изб Нижних Лихобор снимал комнатку Хасен Нурмухамметов. Друг Абдуллы и в какой-то мере его ученик, Хасен помог снять ему комнату рядом. Абдулла приехал учиться не один. С ним вместе были его жена Бану и дочь Дилькен.

С прежней душевностью встретил нас Абдулла. Мы целый день провели у него — в Лихоборах и Сельскохозяйственной академии.

Я не раз удивлялся тому, что под боком у Москвы сохранилось такое небогатое, можно сказать, серенькое село. Даже мне, степному жителю, оно показалось отсталым по своей культуре. Вокруг густой сосновый бор, а в самом селе — старые перекосившиеся избы, запущенные дворы, грязные сараи. Убогим выглядел и домашний быт крестьян. Старая посуда, никаких тебе удобных диванов и хороших кроватей; только многочисленные иконы в углах. Случилось нам пройти и мимо сельской церковки, мы заметили, там было много молящихся. Как рассказывали Абдулла и Хасен, хозяин их дома слыл тоже очень богомольным. Но православный дух не мешал ему и обжираться, и драть три шкуры со своих квартирантов. Они не пользовались мебелью и услугами его домашних, а платили за свои комнаты очень дорого по тем временам. Но нашим землякам ничего не оставалось делать, как смириться. Академия не имела тогда возможности давать общежитие семейным студентам в своем небольшом городке в Петровско-Разумовском. Я только мельком видел этот городок. Говорят, он неузнаваемо разросся теперь, да и учащихся в академии стало во много раз больше.

Хасену и жить, и учиться было куда легче, чем Абдулле. Он, рослый молодой джигит, поступил в академию сразу после окончания рабфака: у него была и хорошая подготовка, и привычка к лекциям, к самостоятельным занятиям. И обеспечен он был материально: летом ему удалось поездить с экспедицией академии по Восточному Казахстану и неплохо подзаработать.

Иное дело Абдулла Асылбеков. Ему уже было под сорок, а он закончил только учительские курсы. Абдулла очень нуждался. Правительство Киргизской республики первые месяцы посылало ему обещанную стипендию, а потом по непонятным причинам деньги перестали поступать. Сбережений у него не было. Пробовали устроить на работу Бану — не вышло. Если бы не помощь Хасена, Абдулле пришлось бы возвращаться домой.

Но что удивительнее всего — Абдулла в своих письмах ко мне в Оренбург ни разу не пожаловался на свои материальные затруднения.

...Однажды вечером, снова навестивши Лихоборы, я показал Абдулле заявление в Центральный Комитет РКП(б) о своем сборнике стихотворений и поэм. Заяв-

ление было написано на русском языке. Асылбеков лучше многих из нас знал русский язык. Он хорошо говорил, бегло читал, быстро писал левой рукой. Крупные четкие буквы бусинками примыкали одна к другой — такой уж редкостный почерк был у Абдуллы. И вот этими-то своими бусинками он слегка подправил мое заявление и посоветовал его в таком виде отдать в ЦК. У меня сохранилась копия этого важного для меня документа. Никаких поправок я сюда не вношу. Читайте мое заявление в таком виде, как оно тогда было написано. Я только сделал необходимые купюры в местах, не представляющих общего интереса.

«ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ РКП(б)

от члена РКП(б) с 1920 года, № билета 517640, жителя города Оренбурга, студента Госрабфака Муканова Сабита.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Осенью в 1924 году Киргизская республика отпраздновала пятилетие своего существования. Этот день, день учета прошлого и день обдумывания перспектив.

Обращаясь к прошлому, приходится сказать, что многое сделано, но и многое упущено. С сожалением приходится отметить, что лозунг культстроительства в Киррепублике часто остается на бумаге.

Литература вообще, в частности отсталых народов, в деле подъема культурного уровня масс должна, казалось бы, занимать одну из главных ролей. Распространение среди темных масс народа художественной литературы, близкой по своему духу пролетарской идеологии, казалось бы, должно входить в основные задачи органов просвещения в Киргизской республике. Но этого не видно.

Органы просвещения Киррепублики (Наркомпрос и Академический центр Киргизской (национальной) Художественной литературы) мало уделяют внимания этому. Академическим центром и Наркомпросом за все время существования Киррепублики изданы: 1) сочинения Жумабаева, 2) Дулатова — драматические пьесы, 3) Байтурсунова — националистические стихи и другие произведения.

Все эти авторы по своей идеологии чужды пролетариату. Не вдаваясь в критику художественной стороны их сочинений, нужно прямо и откровенно говорить, что по своему содержанию они носят характер чисто контрреволюционный или националистический. Да иначе и не может быть. Жумабаев, Дулатов и Байтурсунов, бывшие активные руководители в национальной киргизской партии алаш-орде, ныне приспособившиеся к Советской власти, не могут писать о том, что им чуждо. Академический центр состоит из Байтурсунова, Дулатова, Омарова, Шонанова и Жолдыбаева. Из всего этого состава только последний, тов. Жолдыбаев, член РКП(б), а остальные четыре ныне «беспартийные» в кавычках, а в недавнем прошлом члены алаш-орды. И вполне понятно, что один Жолдыбаев подпал под влияние четырех беспартийных. Поэтому произведения с чисто пролетарским духом Академическим центром не пропускаются под разными предлогами, как, например, недостаточность обработки и прочее.

С детства имея влечение к литературе и в то же время будучи выходцем из бедняцкой среды, я написал ряд стихотворений на киргизском языке о быте, о судьбе, о новой доле киргизского темного народа. В этих же стихах я критиковал алаш-ордынцев. Рукопись была мною предложена тов. Жолдыбаеву для издания. Тов. Жолдыбаев мне ответил: «Стихи ваши приму и передам на заключение Байтурсунову». Так как Байтурсунов принадлежал к алаш-орде, это был отказ. Стало ясно, что стихи мои Академическим центром не будут пропущены.

Такое положение вынуждает меня обратиться непосредственно в ЦК РКП(б) и просить об оказании содействия — издать мои стихи в Восточном издательстве. Одновременно прошу передать мою рукопись на заключение члену РКП(б) тов. Асылбекову, знакомому с киргизской художественной литературой и знающему мою жизнь. К заявлению для характеристики своей личности прилагаю свою автобиографию».

С этим письмом, датированным 25 декабря 1924 года, и краткой автобиографией, я отправился на другой день в Центральный Комитет. Для того, чтобы войти в этот дом, тогда достаточно было предъявить партбилет. Человек у входа в обычной гражданской одежде оказался милиционером, потому что милиционеры в двадцать пя-

том году не носили формы, и только револьвер с кобурой отличал их от других. Взглянув на мой партийный билет, он рассказал, куда мне нужно обратиться с моим заявлением.

Меня приняла пожилая женщина. Я протянул ей свое заявление в ЦК.

Женщина быстро пробежала его:

— Понятно. А рукопись с вами?

— Вот!..— показал я.— Со мною.

— И телефон у вас есть?

Я назвал телефон нашего номера в гостинице.

— Оставляйте у нас и рукопись,— сказала женщина,— мы вам позвоним.

Все свободное время мы с Умитбаем без устали ходили по городу. Вдоль Садового кольца, которое словно обруч опоясывает районы Москвы, тянулись скверы, росли могучие деревья. По кольцу ходил тогда трамвай «Б». Мы два-три раза прокатились на нем, сходили чуть ли не на каждой остановке и знакомились со столицей. Потом стали ездить и другими маршрутами до конечных остановок трамвая и постепенно узнавали не только центр, но и окраины Москвы.

Однажды мы с Умитбаем получили разрешение в бюро пропусков Совета Народных Комиссаров и зашли в Кремль. Целый день мы знакомились с его архитектурными памятниками, заглядывали почти во все уголки, и никто нам не сказал: «Кто вы такие? Что вы здесь делаете?» Только перед Домом правительства стояли вооруженные часовые. И больше мы нигде не встречали ни одного милиционера. Мы даже забирались на Царь-колокол и Царь-пушку. Из многих башен Кремля не осталось, пожалуй, ни одной, которую бы мы ни осмотрели. Побывали мы и в школе кремлевских курсантов имени ВЦИК, в бывших военных казармах. Видели Андреевский зал, Оружейную палату. В восточной части площади есть «Царская беседка». Мы с Умитбаем отдохнули там. Кончили мы посещением какого-то двухэтажного дома из красного кирпича, с маленькими окнами (это, оказывается, гостиница с буфетом и комнатой отдыха, мы там и покушали и даже вздремнули).

Должно быть, не осталось в городе музея, в который бы мы ни заходили. Неторопливо прошлись и по зоопарку. А вечером ходили в кино и театры. Стоило мне пока-

зать членский билет КирЦИКа, как в любой кассе мне протягивали пару билетов и притом бесплатно.

Вспоминаю я и первое знакомство с писательскими организациями Москвы. Один совет мне дал учитель по литературе нашего Оренбургского рабфака Карл Карлович Безин.

— Если,— сказал он,— хочешь быть революционным писателем, бери пример с Маяковского. Будешь в Москве — обязательно повидай его, постарайся познакомиться, побеседовать.

И еще мне как-то советовал Сакен Сейфуллин, если я буду в Москве, найти литературное объединение «Кузница» и потолковать там с такими известными писателями, как Гладков, Бахметьев, Березовский.

Раньше, чем познакомиться с Маяковским, я побывал у «кузнецов». Секретарем их литературной группы был Владимир Кириллов. Худой, невысокого роста, пожилой человек с болезненными мешками под глазами приветливо встретил меня. Он, оказывается, хорошо знал Сакена и лично и по книгам, ценил его как культурного, истинно пролетарского писателя из национальных меньшинств. Мне было очень приятно слушать доброжелательные теплые слова Кириллова. Потом он мне рассказывал о «Кузнице». Я интересовался не только творческими делами писателей объединения, но и всяческими организационными вопросами. У нас ведь тоже была думка создать Союз трудящихся писателей Казахстана. На прощанье Кириллов подарил мне с авторской надписью небольшой сборник стихов, отпечатанный на желтой шершавой бумаге. Как только я в этот день вернулся в гостиницу, сразу принялся за чтение книги и тут же перевел на казахский язык особенно понравившееся мне стихотворение «Карл Маркс». Позднее этот перевод публиковался во многих моих сборниках.

В дни нашего приезда в Москву временный деревянный Мавзолей В. И. Ленина был закрыт. И только в первых числах января он снова открылся, и мы с Умитбаем поклонились нашему любимому вождю.

Каникулы подходили к концу, пора было возвращаться. Мы беспокоились, но ответ из ЦК РКП(б) все не приходил, а для меня было очень важно дождаться результатов.

На деревянных заборах между лавками и харчевнями Охотного ряда с утра вывешивались афиши о новых спектаклях, концертах, лекциях. Наше внимание привлекли две афиши. В одной шла речь о философском диспуте с каким-то мудреным названием, в другой я увидел имя Маяковского, который должен был выступить в Политехническом музее.

Наши мнения разошлись. Умит — недаром он стал впоследствии преподавателем философии — решил идти в Коммунистическую академию, я же, хорошо помня наказ своего учителя Безина, выбрал Политехнический музей. Впрочем, мы даже не уговаривали друг друга: каждому свое!

Холодным морозным вечером я пришел в Политехнический музей. В музее было холодновато — печи топились плохо. От дыхания собравшихся, как на улице, стлался пар. Лица виделись словно в тумане — не хватало электрической энергии.

Посетители двигались по кругу,— и от их шагов, от разговоров стоял гул, как в огромном пчелином улье. Спорили, понятно, о литературе, и почти у всех на устах было имя Маяковского. Равнодушных не было; одни хвалили, другие ругали. Но и сторонники, и противники с одинаковым нетерпением ждали поэта.

Где же Маяковский? Ведь он не должен опаздывать...

Может быть, память мне изменяет в деталях... Не одно десятилетие прошло с тех пор, но я пишу так, как представляю себе эту первую встречу с поэтом.

...Внезапно у входа в фойе послышались лады гармоники. Кто-то бойко наигрывал песню. Русскую красивую песню, как показалось мне. Кто-то подпевал и, еще я помню, пронзительно подсвистывал.

Разом стихли разговоры, и гуляющие по кругу остановились. В слабом свете я увидел: в фойе входили трое. Посередине вышагивал высокий человек, справа от него шел гармонист, слева — низенький и самый молодой из них. Высокий был в полосатой широкой кепке, сбитой набекрень, в красном пуховом шарфе, в короткой меховой куртке. Помнится мне, и его товарищи были одеты очень похоже.

— В середине Маяковский! — услышал я возглас.

— А гармонист — Василий Каменский!..

— Слева маленький — Кирсанов.

Так они прошли через фойе — веселые, уверенные в себе, прошли, наигрывая и насвистывая. И скрылись за дверью, ведущей на сцену.

Помню обрывки разговоров. Уже одно появление Маяковского возбуждало споры. Весел он или сердит? Одолеет ли своих противников? И почему он вошел с песней? Разве он артист?

Раздался звонок. Собравшиеся стали заполнять зал. В нем было не теплее, чем в фойе. Но света от многочисленных люстр — куда больше. Я сел, осмотрелся — зал был набит до отказа. Когда поднялся занавес, на сцену вышел лысоватый толстый мужчина. С ним еще несколько человек.

— Демьян Бедный,— шепнули мне, указывая на толстого. Так это и есть, радостно подумал я, тот пролетарский поэт, чьи стихи я читал чаще других и полюбил за простоту и боевой дух!

Он, Демьян, и открыл литературный вечер. В своем вступительном слове он рассказывал о пролетарских писателях, о революционных писателях России. Он говорил о различных творческих методах и едином направлении, которое определила советская тема. Перечисляя многие нерешенные проблемы, он сказал, что об одной из них будет идти речь и на этом литературном вечере. Тут он предоставил слово Владимиру Маяковскому.

Он вышел уже без куртки, в хорошо сшитом костюме. Теперь я мог его разглядеть. Я старался запомнить каждую его черту — и чуть оттопыренные уши, и нахмуренные брови, и упрямый подбородок, и бледноватый цвет лица. Ярче всего мне запомнились глаза — большие, внимательные, с крупными белками.

Маяковский заговорил не сразу. Высокий, длиннорукий, он задумчиво прошелся несколько раз тяжелым шагом перед столом президиума, резко остановился и произнес:

— Товарищи!

Его могучий густой голос заполнил зал.

...Я не записывал выступления, не удалось мне его обнаружить ни в собрании сочинений Маяковского, ни в многочисленной литературе о нем. Воспроизвожу по давней памяти и оговариваюсь, что могу ошибиться.

Маяковский начал несколько анекдотически. Представьте себе, говорил он, что в профсоюз пригласили трех поэтов: Александра Пушкина, Валерия Брюсова и меня, то есть Владимира Маяковского.

Где-то в задних рядах зашумели, раздались выкрики, и снова наступила тишина.

Он продолжал рассказывать, как три поэта вместе пришли бы в ВЦСПС к самому председателю Томскому и стали отчитываться в своих делах.

Вначале председатель, конечно, побеседовал бы с Пушкиным, как старшим из поэтов.

В порядке отчета Александр Сергеевич прочитал бы свое стихотворение «Поэт и толпа». Тут Маяковский постарался говорить за Пушкина более высоким голосом.

Одни горячо аплодировали, другим это показалось насмешкою над великим поэтом. В зале поднялся разноголосый шум, и долго его не мог остановить Демьян Бедный своим колокольчиком.

— Послушает председатель профсоюзов эти стихи,— невозмутимо продолжал Маяковский,— и скажет Пушкину: «Не очень вы довольны своим положением. Должно быть, у вас есть на это основания. Не отапливается квартира, не хватает продуктов, одежда поизносилась. Не беспокойтесь, мы скоро создадим вам все необходимые условия».

После коротенькой паузы Маяковский стал рассказывать, как зашел бы к председателю профсоюзов Валерий Яковлевич Брюсов. Снова краткий разговор и снова стихи. Стихи, далекие от революционных дней и несколько формалистические.

Как и в первом случае, зал реагировал очень бурно. Раздавались выкрики:

— Правильно!

— Не глумитесь над памятью покойного.

— Прекратите!

— Браво, Маяковский!

И снова звенел колокольчик, утихомиривая зал.

Воображаемый разговор председателя профсоюза с Брюсовым был более жестким: «Пушкина я не осуждаю за его недовольство. Возможно, он не понял социалистической революции. Ну, а вы-то, Валерий Яковлевич. Вы же коммунист! Я не могу простить вам вашего хны-

канья. Отстали вы от жизни. Надо вам почаще бывать на заводах. Идите!»

В зале опять разгорелся спор.

Часть аудитории поддерживала Маяковского, другие нападали на него. Но не так-то легко было сокрушить поэта!

— А потом председатель вызовет меня,— отчеканил Маяковский.— И на его вопрос: «Как мои дела?» — я отвечу: как у всех советских граждан.

Председатель попросит ответить поточнее. Я скажу тогда: «Мы — страна, строящая социализм. Ее трудности — мои трудности. К ее достижениям причастен и я». Председателю понравится мой ответ, и он спросит у меня: «А что ты пишешь?» Я доложу, что недавно закончил поэму «Владимир Ильич Ленин». И прочту ему.

Тут Маяковский приступил к чтению отрывка из поэмы. Как я узнал позднее, это была третья глава.

Вот когда я почувствовал, какой поэт Маяковский. Он прекрасно владел своим мощным голосом, оказался великолепным чтецом. На протяжении моей жизни многих мне приходилось слышать, но такого мастерства я не встречал. Мускулы его лица и тела приходили в движение, подчиняясь ритму стиха. Слова оживали, дышали. Стихи, и без того превосходные, приобретали новые краски, становились доходчивее и проще.

А голосище сотрясал зал.

«Вот это чтение,— с восхищением подумал я про себя.— Вот он, Маяковский!»

Своим голосом, своим мастерством, своим сердцем Маяковский покорил не только меня, но и весь зал. Пока он не кончил читать, все замерли, затихли, все — и друзья его, его сторонники, и противники.

— Я вам прочитаю еще одно стихотворение.

Это был знаменитый «Левый марш».

Грозно и гулко звучали в тишине его строки.

А потом — снова шум и снова споры. Споры об образах, о строчках, о строфах.

В словесной перепалке громовой бас Маяковского то появлялся, то исчезал, как лодка в шторм.

Маяковский был яростным спорщиком. Если вопрос был искренним и доброжелательным, он так же и отвечал. Но на вопросы «с подковыркой» давал издевательские ответы, зло и весело высмеивая своих противников.

Однако и противники не сдавались. Их выкрики, их раздраженные голоса захлестывали даже председательский колокольчик.

Тогда Маяковский подошел к краю сцены, широко расставил ноги, как бы подготавливаясь к удару, и вдруг, заложив три пальца в рот, так свистнул, что зал оторопело замолчал.

— Кто ненавидит меня,— перекатывался его гулкий голос,— тот ненавидит пролетариат. Что, хотите задушить нас? Не вый-дет! Мы сокрушим вас!

Крики «Браво!», «Долой!» неслись со всех концов.

Демьян Бедный решил, что вечер продолжать нельзя, и объявил его закрытым.

После, когда я читал стихи Маяковского, мне казалось, что я слушаю его самого. О чем бы он ни писал, я воспринимал его произведения глубже и ярче, чем раньше.

Среди его многообразного и большого наследства с особой любовью я читаю одно из последних произведений — вступление к поэме «Во весь голос». Я уже не говорю о ее высоких идейных и художественных качествах. Мне всегда представляется, что в этих стихах звучит голос Маяковского, голос победившего в боях пролетариата, голос Великого Октября. И мне хотелось сказать:

Древний мир,
не шуми
напрасно.
Не гордись
мишурой
и лоском.
Будем слушать
звуки прекрасные.
Ваше слово,
поэт Маяковский! [1]

Судьба первого сборника

Как я узнал, моя рукопись была передана на рецензию Габбасу Тогжанову. Он тогда работал в отделе печати ЦК РКП(б). Шли дни, а рецензии все не было и не было. Умитбай Балкашев ждать больше не мог. Он уехал

[1] Перевод Дм. Снегина.

в Оренбург с моим письмом директору рабфака Шейнессону. Я каждый день терпеливо ждал звонка из отдела агитации и пропаганды.

Наконец-то этот день пришел.

— Завтра утром зайдите в ЦК,— сказал мне сотрудник отдела агитации и пропаганды.

Я всегда буду помнить это утро. Пожилой русоволосый человек с открытым лицом тепло поздоровался со мною и сразу же протянул мне листок бумаги: «Прочитайте-ка вот это».

Он углубился в дела, а я читал, читал и не верил своим глазам.

Копия этой рецензии — она была написана по-русски и отпечатана на машинке — хранится у меня до сих пор. Мне хочется привести ее полностью, не меняя стиля, не заменяя новыми вышедшие из употребления слова.

«В ЦК РКП(б)

О СБОРНИКЕ СТИХОВ ТОВАРИЩА САБИТА МУКАНОВА

Тов. Муканов в своем сборнике, предложенном к изданию, представил все стихи, написанные им с 1916 по 1924 год. Стихи написаны на различные темы. Во многих своих стихах тов. Муканов разоблачает националистов, карьеристов и лжекоммунистов, пишет о жизни киргизского батрака, рабочего. В нескольких стихах он знакомит киргиз с Лениным, Калининым.

По своему содержанию и направлению его стихи, в общем, выдержаны, и он старается подходить ко всем вопросам общественной жизни с коммунистической точки зрения. Во всех своих стихах он выступает как представитель трудящихся, ненавидящий эксплуататоров-угнетателей.

Но следует отметить, что в некоторых его стихах иногда проявляется непоследовательность и противоречивость в оценке классовой борьбы. Например, в одном стихотворении он, описывая киргизский патриархально-родовой быт, до некоторой степени идеализирует этот быт, утверждая, что в давние времена киргизская степь жила другой жизнью, когда бедные и богатые одинаково радовались, не зная угнетения и нужды. Тут сказывается незнакомство автора с марксизмом. Когда он передает свои наблюдения, описывает жизнь батрака, рабочего или пишет на конкретную злободневную тему — его сти-

хи в общем хороши. Но когда он берется описывать прошлую жизнь киргиз, либо рассуждает о силе науки или пытается рассказать о борьбе рабочего класса, он спотыкается, его стихи слабы.

По своей художественности, по форме его стихи неодинаковы. Есть среди них хорошие, есть и слабые. По-моему, форма стихов тов. Муканова часто отстает от содержания. Картинности, красоты в его стихах еще маловато. Его образные описания порой утомляют читателя и затушевывают основную идею стиха.

Несмотря на все эти недостатки, все же в лице тов. Муканова мы видим первого молодого поэта-киргиза, коммуниста. Как я уже говорил, все стихи по направлению — коммунистические. А таких стихов у нашего народа еще очень мало. Мукановы — первые ласточки новой советской киргизской художественной литературы.

Он еще молод. Вчерашнему малограмотному батраку в ауле предъявлять сейчас строгие требования, мне кажется, нельзя. Он только что начинает писать и подает большие надежды на будущее. Его надо нам поддержать, поощрить.

По моему мнению, сборник стихотворений тов. Муканова нужно напечатать, но необходимо одновременно сделать выборку — слабые и по форме и по содержанию стихи следует изъять.

Г. Тогжанов.

19.I — 25 года».

Перечитывая рецензию, я обратил внимание на резолюцию в левом уголке:

«МОСКОВСКОМУ ВОСТОЧНОМУ ИЗДАТЕЛЬСТВУ!

Отобрать лучшие стихи из сборника товарища Сабита Муканова и издать сборник.

И. Сталин».

Можете себе представить, как я был обрадован.

— Надеюсь, вы довольны рецензией? — спросил меня пожилой русоволосый работник отдела.

— Еще бы! — воскликнул я.— Очень правильная рецензия.

Русоволосый улыбнулся и сразу перешел на ты:

— Тогда вот какое дело: возвращайся, дорогой, в

Оренбург. Я вызову заведующего Восточным издательством Назира Тюрекулова и сам вручу ему твою рукопись. Ладно?

Я ответил не сразу. И для того, чтобы читателю было ясно мое замешательство, я должен хотя бы кратко рассказать о моих взаимоотношениях с Назиром Тюрекуловым.

В 1922 году в Москве было создано Восточное издательство, выпускавшее и журнал на казахском языке «Темир казык» («Полярная звезда»). Директором издательства и одновременно редактором журнала стал Назир Тюрекулов. В первом номере журнала за 1923 год он написал рецензию на сборник стихов Сакена Сейфуллина «Асау тулпар» («Строптивый скакун»). Статья была несправедливой. Он не только подверг стихи более чем резкой критике, но и позволил себе оскорбительные и несправедливые нападки на личность поэта. В ответ на эту рецензию я в 16 номере оренбургского журнала «Қзыл Қазахстан» за 1923 год написал статью «Критика на критику». В ней я утверждал, что у Тюрекулова нет объективной точки зрения, что цель его выступления не только перечеркнуть сборник Сакена, но и его самого. Тюрекулов, писал я далее, обходит молчанием хорошие стихи и выискивает только слабые или ошибочные места. В моей статье было сказано, что Сакен останется зачинателем казахской советской литературы, невзирая на критику Назира.

Вполне понятно, Тюрекулов очень разозлился на меня. Вот я и высказал свои опасения работнику ЦК. Мол, сумеет ли Тюрекулов после этого правильно оценить мой сборник и тем более издать его.

— Если мы предлагаем, то напечатает,— успокоил меня русоволосый.

И мне ничего не оставалось делать, как согласиться с ним.

На другой день я зашел в Восточное издательство к Тюрекулову. Незадолго до этого я встречался с Абдрахманом Байдильдиным, заведующим отделом казахской литературы в Востиздате. Он мне рассказал, что Тюрекулов, один из организаторов Советской власти в Туркестане и руководителей Туркестанской республики, в последние годы значительно поправел. Он находится под влиянием руководителя алаш-орды Алихана Букейха-

нова и буржуазного поэта Магжана Жумабаева. Правду ли говорил мне Байдильдин? Можно предположить, что сам он попал под их влияние и напускал туман, чтобы дезориентировать меня. Впоследствии я узнал политическую биографию Байдильдина.

Что касается Назира Тюрекулова, то он был видным деятелем Коммунистической партии в Средней Азии и Казахстане. О нем с большой теплотой отзывался В. В. Куйбышев в своем письме в Средазбюро ЦК РКП(б). Он был одним из первых советских дипломатов.

Ну, а если у меня с Тюрекуловым сложились не совсем добрые отношения, то это, понятно, не может набрасывать тень на его репутацию, как не могут повлиять на его доброе имя и ошибки в области литературной критики.

Тюрекулов принял меня, как и следовало ожидать, очень холодно.

— Мне прислали вашу рукопись из ЦК. Но сейчас у меня нет времени познакомиться с ней. Вы поезжайте. Мы сообщим наше мнение.

Я возвратился в Оренбург, совсем неуверенный в том, что мой сборник будет скоро издан.

В Оренбурге я с новым рвением взялся за учебу. Надо было наверстывать упущенное. Однажды вечером, возвратясь после занятий на рабфаке, я увидел на столе пухлую бандероль. Взглянул на обратный адрес: «Москва, Восточное издательство». Грустное предчувствие охватило сердце. Это ведь не книга. Значит, рукопись. Возвращенная мне рукопись. Осторожно надрезал бандероль...

...Но тут я хочу, дорогие читатели, забежать лет на восемь вперед. В 1933 году в Казахском издательстве художественной литературы вышли два тома моих поэм и стихотворений. Первый том открывался вступительной статьей — «От писателя». В ней-то я и рассказал о том, как Восточное издательство возвратило мне мой первый сборник. Невзирая на рецензию Тогжанова и рекомендации Центрального Комитета, издательство передало рукопись на просмотр Алихану Букейханову. Вполне понятно, что он разгромил в пух и прах мои стихи и поэмы и сделал самый резкий вывод: «Нельзя печатать такую демагогию». Вот почему мне был возвращен мой сборник.

Это мое предисловие, правдивое от начала и до конца, неожиданно обернулось против меня самого. Еще через несколько лет после выхода двухтомника, осенью 1937 года, когда в разгаре был культ личности Сталина, по наущению клеветников и меня исключили из партии, обвиняя в связи с врагами народа. На собрании, где разбиралось мое «дело», мой давний знакомый и даже товарищ Эльжас Бекенов неожиданно стал меня обличать.

— Большую ошибку совершил Сабит,— говорил он.— В своей книге Алихана Букейханова он поставил выше нашего вождя товарища Сталина. Он сказал, что книга, которую Сталин предложил напечатать, не вышла в свет потому, что ее запретил Букейханов. Этим самым он признал Букейханова влиятельнее Сталина. Настоящая политическая слепота, непростительное политическое преступление.

«Доказательства» Эльжаса Бекенова были приняты как должное. Многие, даже хорошо знавшие меня, послушно подняли руки за мое исключение из партии. С горечью они сознавали свое бессилие и боялись оказаться на моем месте.

После этого я и сам в статьях и автобиографических заметках вынужден был писать, что первый сборник моих стихотворений увидел свет после резолюции И. Сталина.

А в действительности моя первая книга была напечатана только летом 1927 года.

О красном стекле

Вскоре после возвращения из Москвы я узнал о многих переменах, предстоящих в жизни нашей республики. Две области — Сыр-Дарьинская и Джетысуйская, отошедшие после размежевания республик Средней Азии к Узбекистану, ныне снова присоединялись к нам. Оренбургская губерния отходила к России, и столица Казахстана из Оренбурга переносилась в Ак-Мечеть, которую решили переименовать в Кзыл-Орду.

К вестям этим примешивались и другие слухи, касавшиеся уже отдельных лиц. Поговаривали, что Сакен Сейфуллин будет снят с поста председателя Совнаркома и его место займет нынешний наркомюст Ныгмет Нурма-

ков, а председателя КирЦИКа Сейткали Мендешева заменит Жалау Мынбаев, рабочий революционер из Адаевского уезда. Туркестанца Бегайдара Аралбаева прочили секретарем КирЦИКа вместо Ораза Исаева. Среди возможных новых партийных руководителей чаще называлось имя Султанбека Ходжанова.

Слухи шли дальше. Слухами перемещались и снимались многие работники губернских и уездных масштабов.

Говорили, целая плеяда казахов приезжает к нам из Туркестана. О них мне больше всех рассказывал Дюсебай Нысамбаев, с которым я познакомился прошлой осенью в доме Сакена.

Но прежде чем передать рассказы Дюсебая, я должен хотя бы кратко описать его самого.

Он был чуть старше Сакена. Я как сейчас вижу его удивленные глаза на полном круглом лице. Он много учился, хорошо знал русский язык и служил писарем, а эта должность для аульного жителя считалась в дореволюционные годы очень высокой. В 1917 году он примкнул к большевикам. Его учителем и другом стал известный революционер-большевик П. А. Кобозев. Однажды Дюсебай скрывал его, спас ему жизнь. В начале тысяча девятьсот девятнадцатого года Сакен Сейфуллин бежал из колчаковской тюрьмы и к лету добрался до Туркестана. Там он не только познакомился с Дюсебаем Нысамбаевым, но и жил у него. Они продолжали дружить и в Оренбурге, когда Дюсебай стал не без помощи Сакена наркомом внутренних дел нашей автономной республики.

Нысамбаев любил Сакена и как революционера, и как поэта.

По словам Дюсебая, у казахских коммунистов Туркестана существуют две группы: одна — возглавляемая Тураром Рыскуловым, другая—Султанбеком Ходжановым. Сам Дюсебай одобрительно отзывался о Рыскулове и его сторонниках, а группу Ходжанова не жаловал, обвинял в национализме.

— Когда Ходжанов после Рыскулова взял руководство Туркестанской республикой в свои руки,— говорил Дюсебай,— все увидели, какой он напористый и хитрый человек. К правым, таким, как Смагул Садвокасов, он сумел приноровиться, примазаться, а других крепко зажал в кулак. С ним в дружбе Сергазиев, Аралбаев, Тох-

табаев — люди крутые, жестокие. Руководят они, можно сказать, окриком: стой, а то стрелять буду. Оренбургским джигитам не поздоровится.

А ведь не только от Дюсебая я слышал плохое о Султанбеке Ходжанове. Я знал, что он в 1923 году в Ташкенте издал сборник стихов и поэм алаш-ордынского поэта Магжана Жумабаева, неустанно выступающего против Советской власти. И не только издал сборник, но и написал к нему предисловие, расхвалив автора. По инициативе Ходжанова 50-летний юбилей лидера алаша Ахмета Байтурсунова, провалившийся осенью 1923 года в Оренбурге, был пышно отпразднован в Ташкенте. В ведущей республиканской газете Туркестана «Ак жол» («Светлый путь») появились статьи, восхвалявшие Байтурсунова, напечатан его портрет. Когда Ходжанов руководил Туркестанской республикой (1922—25 гг.), лидеры алаш-ордынской партии Халил Досмухамбетов, Миржакип Дулатов, Магжан Жумабаев, Хайретден Булгамбаев, Мырзагазы Есполов, Джусупбек Аймаутов и другие нашли под его крылышком приют в Ташкенте. Он содействовал публикованию их националистических, а порою и открыто антисоветских произведений в той же газете «Ак жол», журнале «Шолпан» («Венера») и «Сана» («Мысль»). «Да,— задавал я себе вопрос,— если Ходжанов будет руководить Казахстаном, то что хорошего можно ожидать?»

— Плохие у нас дела,— Дюсебай словно угадывал мои мысли.— У этого человека мертвая хватка. Если бы все наши коммунисты были дружны, как прежде, то, может, и сумели бы дать ему отпор. Но ведь сейчас Сейфуллин и Мендешев не в ладах, а другие пользуются этим. Знаешь, как говорят в народе:

В раздоре шестеро — и каждый без куска...
А дружат четверо — достанут с потолка.

Вот увидишь, объединятся садвокасовцы и ходжановцы — плохо будет и Сейфуллину и Мендешеву.

Пока мы ждали приезда джигитов из Туркестана, снег на оренбургских полях растаял, земля покрылась зеленью. Яик вышел из берегов и затопил долину с тугайными рощами. Наступила пора, когда рабфаковцы начинают напряженно готовиться к летним экзаменам. Погруженный в занятия, я, может быть, ничего бы и не

узнал о приезде туркестанцев, если бы не жил в гостинице «Дом Советов».

Обычно я вставал чуть забрезжит рассвет, умывался и бежал за пять-шесть кварталов в общежитие рабфака. Там в этот час уже работала наша студенческая столовая. Не в пример прошлым годам, страна оправилась после гражданской войны, после голода и разрухи — кормили нас в столовой и обильно, и вкусно, и дешево.

Однажды, когда я только что проснулся, меня поразило, что в обычно пустынном коридоре раздаются громкие голоса, шарканье шагов.

Я пошел умываться. По тускло освещенному коридору прохаживались совсем незнакомые мне люди. Я узнал казахов по разговорам, по шуткам. В сапогах и полугалифе, как принято было тогда одеваться, они прохаживались с переброшенными через плечи полотенцами.

В комнате с общим умывальником я умывался рядом с высоким худощавым казахом. Плескаясь водой, он отпускал остроты, вызывающие общий смех. У него был дефект в произношении. Чуть прикусывая кончик языка, он не мог отчетливо выговаривать букву «с». Я слыхал, что Ходжанов немного косноязычен, и предположил, что это именно он. Разумеется, не время и не место было тогда знакомиться с ним.

...Я уже рассказывал, что вместе со мной на рабфаке учился Нурмак Байсалыков. Бывший рабочий Спасского медеплавильного завода до революции, в первые же годы Советской власти он стал чекистом. Нурмак был человеком недоверчивым, странным. Рассказывают, его подозрительность дошла однажды до того, что он старую свою мать, вернувшуюся из гостей, стал расспрашивать, о чем они говорили. «Ты что ж и меня проверяешь!» — обругала его мать. Перед самым моим отъездом в Москву зимою 1924 года он вбежал, запыхавшись, ко мне в комнату и стал настойчиво уговаривать отложить свою поездку, остаться в Оренбурге.

— Погибнет все, если ты уедешь,— то и дело повторял он.— Алаш-орда все испортит.

Я никак не мог понять Нурмака.

С трудом мне удалось выяснить, что речь идет всего-навсего о первой букве арабского алфавита, который в ту пору являлся основой казахского.

Буква «а», так называемая «алип», изображалась протянутой сверху вниз черточкой. Поэтому о неграмотном казахе обычно говорили, что он даже не знает «алип», похожую на палку. Принято было над вертикальной этой черточкой ставить еще продольную. Казахи прозвали ее «кас» — бровкой. Так вот, если эта бровка отсутствовала, то строгие грамотеи одну вертикальную палочку не желали считать буквой.

В первые же годы советского культурного строительства обнаружилась непригодность арабского алфавита для казахской письменности. Некоторых арабских звуков вообще нет в казахском языке, и, с другой стороны, не для всех звуков казахского языка находилось обозначение в арабском алфавите. Как же преодолеть эти трудности? Об этом думали многие, в том числе и алаш-ордынец Ахмет Байтурсунов. Пробовали видоизменять начертания букв арабского алфавита, приспосабливая его для казахского языка. То лишней точкой, то новой черточкой, то упрощением рисунка. Упрощение это коснулось и буквы «алип». Бровку у нее решили убрать. Бровка «алип», как и хвостики некоторых других букв, затрудняла создание пишущей машинки с казахским шрифтом.

Эта небольшая предполагаемая реформа привела в смятение Нурмака Байсалыкова. Ему она казалась бедой, посягательством на культурные завоевания Советской власти.

— Если ты уедешь,— горячился он,— алаш-орда уничтожит «кас алип».

Я только рассмеялся. Стоит ли беспокоиться. Ведь от того, что уничтожат «кас алип», не будет никакого вреда ни мне, ни Нурмаку, ни казахской письменности. А он, Нурмак, разволновался лишь потому, что это исходило от Ахмета Байтурсунова. Он считал — опасно все, что идет от алаш-орды.

Нурмак всех классовых врагов называл русским словом «гады». Гадами называл он и сторонников Ходжанова, и его самого.

Когда в Оренбург приехали туркестанцы, у меня не было времени для бесед и разговоров, занятия поглощали все время. Сказывалась зимняя поездка в Москву. Много уроков было пропущено, и мне было труднее, чем

другим, готовиться к летним экзаменам. Я сидел над учебниками с утра до вечера.

Нурмак нашел это время, которого так не хватало мне. Он жил на пути к общежитию рабфака, недалеко от моей гостиницы, и вставал так же рано, как и я. Каждое утро я стучался в окно низенького дома, и до общежития мы шли с ним вместе.

Наш распорядок не был нарушен и в дни приезда туркестанцев. Я стучал в оконце, на стук выходил Нурмак, и мы по пути сообщали друг другу все последние новости. О приезде туркестанцев Нурмак узнал от меня. Но зато он рассказывал мне о всех последующих событиях.

— Прежде всего,— и Нурмак доверительно зашептал,— ты слышал, что в обком приехал новый секретарь? Не слышал, говоришь? Эх, ты... Он еще позавчера приехал. В твоей гостинице живет. На втором этаже. Я познакомился с ним. Грузин. Фамилия — Ненайшвили. Средних лет человек. Полный, лысый мужчина. Что он представляет, с первого взгляда не определишь. Только очень смешливый. Боюсь, не окажется ли он безвольным. Тогда бог нас накажет — националисты возьмут верх. У, гады!

— А ты, Нурмак, ему рассказывал о националистах? — спросил я Байсалыкова.

Нурмак, по его словам, рассказал, однако Ненайшвили в ответ рассмеялся. Я так и не понял почему. То ли потому, что Нурмак представился ему забавным, то ли опасность национализма — пустяковой.

Новости не исчерпывались одной этой. От Оренбургского обкома выделился обком Казахстана, теперь он будет Казкрайкомом, а Ненайшвили его первым секретарем. Заведующим организационным отделом назначается тот самый туркестанец Султанбек Ходжанов. Говорят, на первом заседании бюро крайкома только и проходили его предложения. А Ненайшвили смеялся без всякой причины и молчал.

И еще одна новость, сообщенная Нурмаком:

— Сакен уже не председатель Совнаркома, на его месте — Ныгмет Нурмаков.

Я вспомнил все, что знал о Нурмакове. Впервые мне довелось услышать о нем из книги Сакена «Трудный путь, тяжелый переход», которую он писал тогда и от-

рывки читал нам. Нурмаков — один из первых казахских революционеров. Он окончил в 1917 году Семипалатинскую учительскую семинарию и в том же году принял участие в революционных делах. Ныгмет был одним из первых создателей Семипалатинского совдепа. Во время колчаковщины его упрятали в тюрьму. С трудом он вырвался оттуда и скрывался в степях Каркаралы. С победой Советской власти он деятельно принялся за работу, а осенью 1919 года стал членом Коммунистической партии. Как рассказывает в своей книге Сакен, Ныгмет был его задушевным другом. Ныгмет приехал в Оренбург осенью 1923 года и был назначен наркомом юстиции. Сакен однажды даже водил меня к нему на квартиру. Он очень располагал к себе, хотя на первый взгляд производил впечатление скрытного человека. Но, как я убедился, он был простым, искренним, не умеющим лгать. Он был, как я думал, настоящим коммунистом. Подумав еще раз, я вслух сказал своему приятелю, что не вижу ничего худого в назначении Нурмакова председателем Совнаркома. Байсалыков никак не хотел соглашаться со мною.

— Конечно,— говорил он,— Нурмаков не пойдет дружить с националистами, не будет шататься из стороны в сторону. Но дело в том, что Ходжанов поддерживает его для отвода глаз. Чтоб не сказали про него — мол, всех убрал, которые не нравятся. Но долго усидеть Нурмакову он не даст. Придет время, причина отыщется. Вот посмотришь. А своими людьми он окружает себя плотно, хотя и осторожно. Говорят, уже вчера на бюро освободили наркомпроса Нугмана Залиева. Кто, спрашиваю тебя, на его месте? Не знаешь? Смагул Садвокасов! Вот кто! И его же утвердили членом бюро крайкома. И еще одно назначение. Председателем Госплана и членом бюро Ходжанов провел, говорят, Сергазиева, свою правую руку.

Я огорчился. Слова Байсалыкова подтверждали то, что я уже слышал от Дюсебая. Я спросил о Мендешеве. И Нурмак мне объяснил, что председателя КирЦИКа, должно быть, заменят после съезда Советов. Пятого съезда. Он состоится в самое ближайшее время.

Всезнающий Нурмак рассказывал мне и о множестве других перемещений, и мне не без основания показалось, что националисты кое-где одерживают верх.

— Так что же это получается? — спросил я в замешательстве.

— Не могу сказать, ума у меня не хватает,— отвечал Байсалыков.— Одно посоветую тебе: разберись во всем как следует, осторожней размахивай пером, попридержи язык, пока все не прояснится. Пока в их руках сила. Гады, почувствовав силу, не побоятся уничтожить тебя. Прошу, не давай им для этого поводов.

Не ведая, что будет завтра, я продолжал заниматься своими делами — учеба, экзамены. Но как только появилась возможность уделить толику времени журналистике, я снова принялся за статьи для газеты «Энбекши-Қазах» и стал участвовать в подготовке материалов для печати. С приходом к руководству Ходжанова редактором газеты был назначен Смагул Садвокасов, а его заместителем — Молдагали Жолдыбаев. Он был таким покладистым, что и Сакен оставался им доволен, и Смагулу теперь казалось, что лучшего заместителя и не найти.

Жолдыбаев стремился никого не обижать, и его никто не трогал. И все-таки я его подвел. Дважды подвел и навлек на тихого Молдеке «высочайший гнев» Садвокасова.

Отец Зейнеп Токбердиной, одной из трех казашек, учившихся у нас на рабфаке, решил вернуть дочку в аул. Ему уже когда-то заплатили калым, и теперь студентка рабфака должна была идти замуж за человека, которого она и в глаза не видела. Зейнеп, как это ни странно, повиновалась отцу. Но мы решили спасти бедную девушку и обратились за помощью в советское учреждение. Нас выслушали и сказали: «Не вмешивайтесь в это дело». Так силен был казахшылык, верность старым обычаям. Не только в аулах, но и в советских учреждениях. Девушка вышла замуж. Вот об этом обо всем я и написал статью, а Жолдыбаев ее напечатал. Как только вышла газета, кто-то из влиятельных родичей мужа обратился к Садвокасову с жалобой. Садвокасов хорошо знал и уважал жалобщика. Поэтому он вызвал к себе Жолдыбаева и разнес его за опубликование такой статьи без ведома редактора. Тихий Молдеке тут же признал свою «ошибку».

Другой случай имел более серьезные последствия.

Многое тогда огорчало и удивляло меня. В учреждениях появились алаш-ордынцы, в учебных заведениях —

байские дети. Меня это злило, и я опубликовал в нашей газете фельетон «Сухая мечта». Краткое содержание фельетона сводится к следующему. Я вхожу в здание КирЦИКа. За дверями из красного стекла весь мир мне кажется красным. Значит, со всей наивностью моих молодых лет думаю я, коммунизм уже наступил. Я вижу: кто-то красный приближается к дверям, я готовлюсь принять его с почетом. Я распахиваю двери и вдруг узнаю хорошо известного мне врага Советской власти — байского сына. Я вздрагиваю от неожиданности и тут же делаю вывод: хоть ты и кажешься красным, но природа твоя осталась прежней.

Этот фельетон пришелся не по душе уже самому Ходжанову.

Он вызвал к себе в крайком Садвокасова и сказал ему с упреком: «Когда же, наконец, вы перестанете давать дорогу этому леваку?» Садвокасов обрушился на Жолдыбаева, предложил ему освободить меня на время от работы и опубликовать в газете заметку с критикой моего фельетона. У Молдеке, понятно, не хватило сил задержать выполнение этого приказа. Но, увольняя меня, он проворковал с обычной своей обходительностью: «Светик мой, не надо больше писать таких фельетонов».

Вскоре после этого я читал в газете «Энбекши-Казах» статью, подписанную псевдонимом Саскан — Растерявшийся. Но и в этой статье Молдеке не написал ничего обидного для меня. Самый резкий абзац выглядел так: «Разве все красное — коммунизм? Раньше на мундирах урядников была красная подкладка. По Сабиту выходит, и урядник человек коммунизма?..»

Необычайная поездка

Я уже писал, что после объединения областей в Ак-Мечети должен был состояться пятый съезд Советов Казахской республики. К нему начали готовиться в Оренбурге с начала апреля. Понятно, не оставалась в стороне от этого и наша газета «Энбекши-Казах», в которой я снова продолжал работать.

Смагул Садвокасов, наш новый редактор, не слишком жаловал меня. При каждом удобном случае он при-

дирался к подготовленным мною заметкам, зло и насмешливо ругал. Но выгнать меня опять не решился.

Смагул недели за две до открытия съезда уехал в Ак-Мечеть; на его месте, как и обычно, оставался Молдеке Жулдыбаев. Меня даже удивило, что нерешительный Молдеке однажды объявил, что от редакции корреспондентом на съезд поеду именно я.

Почти все делегаты пятого съезда собирались в Оренбурге, чтобы отсюда всем вместе выехать специальным поездом в Ак-Мечеть. С востока ли, с севера ли, но путь на Ак-Мечеть лежал через Оренбург. Проехать в новую столицу республики другим железнодорожным маршрутом тогда было нельзя. Ведь Турксиб еще и не начинал строиться.

Эшелон для делегатов готовился долго и, что называется, с размахом. Я, конечно, не утерпел и, воспользовавшись правом корреспондента, за несколько дней до отъезда побывал на станции. Жаль, думал я, не попасть мне в салон-вагоны... Их было всего два, и предназначались они для руководителей партии и правительства республики. Остальным делегатам предстояло разместиться в десяти обыкновенных купированных вагонах. На всех вагонах были натянуты кумачовые полосы-транспаранты с лозунгами, укреплены алые флажки.

...Наконец настал день отправки праздничного съездовского эшелона. Мне досталось место в середине состава. Смотрю, среди делегатов вместе со мною в этом же вагоне оказались четыре, смело можно сказать, знаменитых человека: певец Амре Кашаубаев, акын-импровизатор Иса Байзаков, цирковой борец, заслуживший звание чемпиона мира, Хаджи-Мухан Мунайтпасов и композитор, собиратель казахских народных песен Александр Затаевич. Я хорошо был знаком с каждым из них.

Амре, Иса и Хаджи-Мухан получили места в одном купе, а Затаевичу досталась полка в соседнем, рядом со мною.

Только мы с Александром Викторовичем стали располагаться, как я услышал нарастающий с каждой секундой бас Хаджи-Мухана, прерываемый тоненькими, с легкой хрипотцой, выкриками Исы. Похоже, там разгоралась крупная ссора.

Я выскочил из купе разузнать, в чем дело, мне навстречу летел испуганный Амре.

— Что случилось?— воскликнул я.

На Амре лица не было.

— Ой-бой, мир переворачивается. Хаджи-Мухан убивает Ису. Ой-бой, не спрашивай меня ни о чем. Разнимать их надо. А то плохое случится. Идем!..

И он втолкнул меня в купе.

Я увидел картину — и забавную, и грустную, и страшную поначалу.

Огромный высоченный Хаджи-Мухан схватил за грудки худощавого невысокого Ису. Богатырь приподнял слабосильного поэта так, что макушка его касалась потолка. А когда Иса начал отбрыкиваться, схватил его за брюки и прижал к стенке так, что он замолчал и словно стал задыхаться.

Я повис на могучих и толстых руках Хаджи-Мухана:

— Агатай, дяденька, отпусти его.

Хаджи-Мухан шлепнул мясистыми оттопыренными губами. Он сощурил свои и без того непропорционально маленькие, как у слона, глаза и прошепелявил рыкающим басом:

— Уведете вы отсюда, наконец, этого сумасшедшего?

Иса уже не говорил. Он только хрипел. Прерывисто, жалобно, как хрипят умирающие.

Я продолжал виснуть на борцовских руках, упрашивал его и ласково и умоляюще. Но будь нас четверо или даже пятеро, мы все равно не справились бы с одним Хаджи-Муханом.

Но нашлись слова, которые подействовали на борца:

— Хорошо, мы уведемИсу отсюда.

Хаджи-Мухан осторожным движением положил акына на полку.

Иса вытянулся и замер, как в обмороке. Но я знал артистическое умение поэта притворяться и не очень-то верил ему в эти минуты.

А тут вмешался и проводник — рыжеусый, пожилой, похожий на Тараса Бульбу. На ломаном казахском языке он принялся уговаривать Хаджи-Мухана:

— Ах ты, верблюд одногорбый. Ты же можешь убить этого ягненка...

— Убить? — удивился Хаджи-Мухан.— Да его сколько ни бей, он не умрет. Дам ему водки, он сразу выздоровеет. А? Иса? Хочешь арака?

Иса слабо шевельнулся и чуть кивнул головой в знак доброго согласия.

— Теперь ты отвечай мне,— повернулся Хаджи-Мухан к проводнику.— На какую из этих двух полок мне ложиться?

И, растопырив пальцы разлапистых ладоней, Хаджи-Мухан вопросительным молчаливым жестом повторил свои слова.

— Вам, батыр, и на двух полках не поместиться,— сокрушался Тарас Бульба,— а ему...— и он ткнул пальцем в Ису,— ...ему я уже нашел место.

— Ой, дорогой мой, спасибо тебе...

Хаджи-Мухан состроил самую любезную улыбку, на которую только был способен.

В купе неожиданно появился секретарь КирЦИКа Аралбаев. Должно быть, Амре сообщил и ему о стычке борца и акына.

— Значит, вам, батыр, не хватает места. Ничего, мы вас устроим. Вы будете ехать в купе один. А остальных переселим. Ведь для них найдутся полки?

Рыжеусый Тарас Бульба подтвердил, что найдутся.

— Вы слышали, батыр?

Но Хаджи-Мухан вместо того, чтобы прямо ответить Аралбаеву, показал на полки и, еще больше шепелявя, засомневался. Мол, сможет ли он и на них уместиться?

...Аралбаев и рыжеусый переглянулись.

— Соединить полки надо. Попробуйте отыскать доски.

— Ничего невозможного нет,— отвечал проводник, как бы измеряя взглядом Хаджи-Мухана.— Пойду к дежурному по вокзалу.

— Торопись, торопись, а то поезд вот-вот отправят...

Проводник вышел. Секретарь КирЦИКа и я — вместе с Хаджи-Муханом, конечно,— со всех сторон обсуждали эту поистине ответственную и не так легко разрешимую задачу: как поудобнее устроить нашего богатыря в этом тесном купе.

Прикидывали мы и так и этак и, в конце концов, снова сошлись на том, что Хаджи-Мухан будет ехать один в четырехместном купе, потому что иначе верхним пассажирам придется шагать по его могучим телесам. Уж мы как-нибудь разместимся. Затаевич переселился к пассажирам постарше, а я устроился с Исой и Амре.

К тому времени вернулся проводник с широкой скамьей — она была вровень с полками и вплотную стала между ними.

— Только подымите вы, ради бога, этого сумасшедшего,— показал проводник на замершего, словно в глубоком обмороке, Ису и отправился за матрацами, чтобы Хаджи-Мухану было не только просторно, но и мягко спать.

Скоро мы все удобно устроились, и поезд двинулся в Ак-Мечеть.

Я думаю, читателям не терпится подробнее разузнать о моих прелюбопытнейших спутниках. Но прежде чем повествовать о них, мне так хочется вспомнить степь, летящую в окне вагона... Степь на юго-восток от Оренбурга,— ее я видел впервые.

Оренбургская степь — так ее можно назвать — тянется до Актюбинска. На волнистом ее просторе с густым кустарником в балках еще встречаются лесные островки. За Актюбинском, почти до самого Аральского моря, расстилается гладкая равнина. Кроме Мугоджарских гор, здесь и холмика не встретишь. Не считать же холмами песчаные барханы. Край полыни, край сухих горячих ветров. Между Аралом и Ак-Мечетью рельсы словно струятся вдоль Сыр-Дарьи. Вправо и влево от реки такой простор, что не окинуть глазом.

Меньше чем за два дня проходит теперь скорый поезд расстояние от Оренбурга до Кзыл-Орды. А наш специальный состав, я уже не говорю о ленивых почтовых, шел в Ак-Мечеть трое суток с лишним.

Но никому не показалась скучной долгая дорога. На каждой станции, где только останавливался поезд, нас уже ожидали сотни пеших и всадников. На верблюдах и даже волах, на быстрых степных конях съезжались жители окрестных аулов приветствовать эшелон делегатов. Встречающих иногда было так много и так велико было их желание сказать доброе слово своим посланцам, что они стеной загораживали путь паровозу. Митинги, речи, поздравления. К вагонам несли подарки — кумыс в сабах, бараньи головы, бесбармак на широких медных подносах. И я писал обо всем этом в своих корреспонденциях для «Энбекши-Казах», отправляя их на каждой большой станции.

Кончался митинг, трогался поезд, и снова в окне вагона расстилалась степь — бескрайняя, грустная, обнаженная. Я думал о том, что здесь не могла бы найти покоя душа одинокого человека. Сказочный странник Асан-Қайгы, в поисках обетованной земли Жидели-Байсын проехавший все края от Каспия до Алтая, так сказал об этой степи:

Из птиц — лишь кукушку нашел человек,
Из трав — низкорослый и жесткий кокпек.

Попробуй пройти эту степь пешком — редко ты встретишь путника, еще реже показывается на горизонте верблюжий караван.

И в этой-то степи весело нам было ехать в делегатском эшелоне.

Мне все представлялось интересным: встречи, митинги, даже пустыня.

Но самыми интересными для меня оказались мои спутники. Пусть я встречался с ними прежде и уже не раз наслаждался чудесным искусством Амре и Исы. Но сталкиваться с ними так близко, так подолгу и откровенно беседовать, мне еще не приходилось.

Вот я и подошел к рассказу о них.

Амре — ему первому мое слово. Поездка с ним была, я бы сказал, путешествием песни.

Многое, что известно об Амре Қашаубаеве, уже вошло в историю казахского искусства. Что он, как певец и композитор, занимает в нем особое место; что пленительная красота его высокого голоса удивляла не только казахов, но и москвичей; что осенью 1925 года на этнографическом концерте, проведенном в Париже, во время Всемирной выставки, он был высоко отмечен жюри и получил премии; что тонкий знаток искусства Анатолий Васильевич Луначарский назвал его соловьем казахских степей.

Чтобы подробно, полно описать Амре, раскрыть его талант, показать его композиторское искусство, искусство певца,— потребовалась бы отдельная большая книга. Не имея музыкального образования, я наверняка не смог бы написать такую книгу. Моя попытка — куда скромнее. Насколько хватит мне сил и слов, я расскажу о нем и его песнях по личным впечатлениям.

Его возраст в двадцать пятом году уже подходил к сорока. Он был невысок, круглолиц, отнюдь не красавец. Не производил он впечатления и пышущего здоровьем человека, особенно из-за бледной желтизны лица.

Слыхал я, что его отец Қашаубай убил волостного и, спасаясь от преследования, бежал в Семей, в Семипалатинск. В городе нашлись друзья и помогли ему заняться мелкой торговлей. Десятилетнего бойкого Амре Қашаубай отдал в услужение какому-то купцу — мальчиком на побегушках. Позже Амре стал помогать купцу продавать ткани в лавке. А когда хозяин услышал, как хорошо поет и играет на домбре его помощник, сделал Амре конюхом. С той поры Амре сопровождал купчика во всех поездках и услаждал его слух пением и игрой. Везде, где случалось бывать купцу, восхищались песнями Амре и стали приглашать его на праздники.

О даровитом певце заговорили в окрестных селениях и аулах, а потом его слава начала шагать и дальше. В 1914 году казахская интеллигенция Семипалатинска отмечала десятилетие со дня смерти Абая. Амре принял участие в этих торжествах. Все были поражены красотой и силой его голоса. Литературно-музыкальный вечер, посвященный Абаю, принес новую славу Амре.

До совместной поездки в делегатском эшелоне я слушал Амре только на вечерах отдыха со сцены. Қазахского национального театра тогда еще не было, а концерты, случалось, устраивали. Но если в таком концерте пел Амре, собравшиеся не желали слушать никого другого. Десятки раз певца вызывали на бис, и он, бывало, вынужден был один проводить весь концерт. Песни Амре нравились не только казахам, но и людям других национальностей.

Конечно, мне было приятно ехать вместе с Амре. Однако после первых наших бесед я начал убеждаться, что главное достоинство певца — его голос, его песни. Амре был неграмотным человеком и обо многом в жизни имел самое отдаленное представление. Впрочем, ему никак нельзя было отказать в остроумии и сообразительности.

Когда осенью двадцать пятого года Амре приехал в Париж, его отыскал алаш-ордынец Мустафа Чокаев, бежавший в годы революции во Францию. Амре мало разбирался в политике и даже не знал, что есть на свете такой «известный» Мустафа.

— Слыхал обо мне, должно быть? — обратился к Амре Чокаев.

— Ничегошеньки не слышал,— со всей искренностью отвечал Амре.

Мустафа удивился:

— Значит, там у вас решили даже моего имени не называть?

Амре еще раз сказал, что он не встречал человека, который бы называл его имя.

— Как же так случилось? — и злился и недоумевал Мустафа.— Это, значит, большевики запретили упоминать обо мне.

Амре начинала надоедать беседа, и он напрямик сказал, что дело не в запрете, а просто в том, что его, Мустафу Чокаева, действительно, никто не знает.

— Как так не знают...— и Мустафа принялся хвастать, как он боролся против революции, против Советской власти. Но Амре не дал ему договорить:

— Распрягай свою болтовню. Ты и так еле стоишь на ногах (Чокаев, вероятно, был худощавым и тонконогим), ты и так похож на лист, изъеденный червями (лицо Чокаева, должно быть, покрывали рябинки), а туда же лезешь задираться. Ты решил потягаться с нашей властью, не зная своих сил. Теперь скули, сколько влезет. Ты как привязанный щенок, забытый на месте стоянки. Аул откочевал, а щенок воет.

— А-ой-а! — заплакал Мустафа.— Так оно и есть.

И ушел, даже не попрощавшись с Амре.

Когда Сакен Сейфуллин услышал от Амре во всех подробностях эту историю, ему очень понравилась отповедь, которую дал певец эмигранту-алаш-ордынцу.

Природа одарила Амре хрустально чистым голосом приятного тембра и тонкой музыкальностью.

Этот голос сейчас звучал в нашем купе. Песни степи, песни Сары-Арки, в том числе и песни самого Амре, начинаются, по выражению Абая, «очень остро». Иными словами, на высокой ноте и громко, во всю силу легких певца. Легко взяв высокую ноту, он без усилий, не переводя дыхания, то снижал голос, то опять брал высоко. По мелодичности и красоте исполнения я могу сравнить Амре только с Ибраем Сандыбаевым, создателем знаменитой песни «Гакку», прозвучавшей на весь мир в исполнении Куляш Байсеитовой. Но когда я видел и слушал

Ибрая, он был уже стариком. К концу песни голос его дребезжал, как домбра с надтреснутой декой. Не так пел Амре. Как говорится в одной песне:

С утра я начну байгу —
Под вечер всех обгоню.
Разгон возьму на лугу —
Подъем одолеть коню.

Амре словно птица. Он мог петь с утра до вечера, и, как бы он ни уставал, каждая новая песня звучала с прежней свежестью и чистотой.

Так звенел его голос и в нашем купе.

Напрасно заманивали Амре к себе пассажиры других вагонов, восхищенные его пеньем. Он-то сам и не прочь был пойти, но надежный страж Хаджи-Мухан не пускал его.

— Тай, жеребеночек мой, сиди спокойно,— рычал борец и щурил свои маленькие глазки.— Сиди и пой. А кто хочет тебя послушать, у нас места хватит.

Пассажиры и проводники других вагонов знают: с нами едет борец, слава о котором прошла по всей земле, с нами любимый казахский певец Амре, с нами знаменитый акын Иса. И поэтому часть подарков на ходу поезда переправляется к нам.

Не смолкают у нас восклицания и смех. То Хаджи-Мухан рассказывает о своих удивительных похождениях, то взвивается птицей высокий голос Амре, то Иса задумчиво напевает свои жиры — легенды в стихах с музыкальной мелодией. Гости из других вагонов толпятся у дверей наших купе.

Пожалуй, самый внимательный слушатель Амре — Затаевич. Несправедливо было бы с моей стороны умолчать о нем.

Уже немолодой (ему перевалило за пятьдесят), полный, высокий мужчина, с достоинством носивший рыжую с проседью бородку, он отличался сдержанностью и изяществом. Слышал я, он родился и рос в интеллигентной польской семье, с детства увлекался музыкой, позднее получил музыкальное образование. Он виртуозно играл на фортепьяно и был пусть не очень известным, но своеобразным композитором. Говорили, до революции он служил музыкантом у какого-то богатого генерала на Украине.

Не знаю, какими судьбами занесло его в Оренбург. Здесь он проявил горячий интерес к казахской народной музыке, стал ее собирателем, исследователем и глашатаем. В начале двадцатых годов я наблюдал, как он неустанно ходил по казахским школам города, по учреждениям и искал людей, знающих песни. С одинаковым вниманием слушал он старых и малых, образованных и неграмотных. Единственным мерилом для Затаевича была музыкальность людей, их музыкальная память. Он записывал ноты мелодий, слова песен и краткие сведения о тех, с чьих слов, с чьего голоса он вел записи. Если в Оренбурге проводилась конференция или совещание, Затаевич оказывался тут как тут. Он не успокаивался до тех пор, пока не находил нового знатока и ценителя казахских песен. Порою на него злились за навязчивость, отмахивались от него, но он никогда не обижался и с прежним упорством продолжал свои поиски.

В Оренбурге, пожалуй, не осталось ни одного казаха, мало-мальски знающего песни, с которым бы ни беседовал Затаевич. Потом он отправился в степь. Сотни аулов объехал он, встречался с певцами и домбристами. И аккуратно записывал все, что слышал.

Итогом этих самоотверженных и долгих поисков явилась большая книга «Тысяча киргизских песен», изданная в Оренбурге Наркомпросом в 1924 году. Нотные записи сопровождаются текстами — и в подлинниках, и в русском переводе. И в России, и за рубежом высоко был оценен упорный и вдохновенный труд собирателя. Знаменитый французский писатель Ромен Роллан писал Затаевичу: «Вы мне открыли неизвестный доселе чудесный мир Востока. Это восхитительный подвиг и красота».

Во время своих степных странствий Затаевич не однажды встречался с Амре и записал немало его песен. И вот теперь судьба свела их снова в одном поезде, в одном вагоне. Надо было видеть, как слушал Александр Викторович певца. Упоенно, не шелохнувшись. Но вдруг его большие голубые глаза становятся еще больше, пенсне вздрагивает, перекашивается... Это значит, зазвучала новая, незнакомая Затаевичу песня. Он сразу становится похожим на беркута, завидевшего лисицу. И начинает испещрять свой альбом нотной скорописью... А после, когда Амре уже потянулся к пиале чая или кумыса, За-

таевич снимает пенсне, блаженно и победоносно улыбаясь, оглядывает всех нас и медленно произносит:

— Вот тебе и Амре! А я-то думал, что записал все его песни. Порадовал меня певец. Сколько же у него еще хранится! Родник неиссякаемый... Нельзя его испить до дна...

Родник неиссякаемый! Простые и верные слова. С каким наслаждением пили мы из этого родника на всем пути от Оренбурга до Ак-Мечети. Пили и не могли утолить жажду. Никто из современников Амре, никто из казахских певцов младших поколений не может сравниться с ним силою, богатством, красотой голоса.

Таким я помню живого Амре, таким мне рисуется Затаевич.

Амре умер в 1934 году. Затаевич — спустя два года.

Затаевич похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На его могиле — скульптура из белого мрамора — бюст композитора, собирателя наших песен. На постаменте памятника изображен казах в малахае, с домброй. Если внимательно всмотреться в изображение — легко убедиться, что это не вообще казах, а Амре Кашаубаев. Так памятник Затаевичу стал памятником и нашему певцу.

Здесь я кончаю рассказ о путешествии песни и начинаю новый, который можно было бы озаглавить путешествием стиха.

Я буду вести речь о следующем моем спутнике в делегатском эшелоне Оренбург — Ак-Мечеть. О талантливом и вспыльчивом, о добром и легкомысленном Исе Байзакове.

Он происходил из Баян-Аула и был почти моим ровесником. Родился он в 1900 году, в бедной семье, рано осиротел и сызмальства приходилось ему батрачить. С детских лет он говорил складно и умел забавлять своих слушателей. Он с ходу сочинял свои стихи, и память его была восхитительной. А жизнь он вел горькую, бедную, полную лишений. У него стали выпадать волосы, голова сделалась пятнистой, и он получил прозвище Таз-акына. Иса долго не имел возможности лечиться, и болезнь одолела его. Только в двадцать третьем году в Ташкенте за него взялись врачи и восстановили волосы. Но они теперь росли не мягкими, шелковистыми, а как трава на пожарище — жесткими и ломкими.

С Исой я познакомился летом двадцать второго года в Петропавловске. Кто-то мне сказал, что из Павлодара к нам приехал молодой акын. Я разыскал квартиру, где он остановился.

Джигит меня поразил своей легкостью и подвижностью. В мыслях я его сравнивал и с быстроногой серной, и с конем, побеждающим в кокпаре — козлодранье. У него было маленькое лицо и широкий покатый лоб, лоб, про который говорят, что на него не натянешь тюбетейку. Я запомнил еще широко расставленные узкие глаза, вздернутый носик, острый подбородок, тонкие губы. И длинную, почти детскую шейку с большим кадыком. Одет он был, что называется, картинно. Поверх городского костюма был наброшен чекмень из верблюжьей шерсти с воротом, отороченным черным бархатом. Он и дома не снимал войлочную остроугольную шляпу с отогнутыми впереди полями.

Но и забавная внешность, и франтовской наряд Исы как-то сразу забывались, когда он начинал импровизировать.

В его петропавловскую квартиру пришел не я один,— многие почитатели песен собрались его послушать. Иса быстро откликнулся на просьбу.

И вот тут-то произошло нечто удивительное.

Иса запел. Слова песни неслись как вихрь. Страстно. Яростно. В бешеном темпе. Его голосу подчинялось все: мимика лица, движения рук, головы, тела. Телу не было покоя, не было покоя и домбре. Пальцы ритмично носились по деке; Иса то раскачивал домбру, то поднимал над головой, то вдруг начинал вертеть инструмент, стремительно кружить им; то — это было уже совсем неожиданно — приставлял к спине, и домбра все равно продолжала звучать.

Кружилась моя голова — от ловких и быстрых этих движений, от вихря слов, от музыки, от виртуозности мастера.

Иса, владевший арабской грамотой, в те времена не писал стихи, а устно их складывал, импровизировал. Но он далеко не во всем походил на прежних акынов, обычно вольно слагавших песню и на тему и не на тему. Иса более строго относился к словам и избегал лишних отступлений. Между тем в самом искусстве импровизации он мало имел равных себе. Его не останавливала

любая тема, он обладал даром сочинять и краткие стихи, и поэмы. Ему удавались стихи о природе — «Сад», «Весна», «Дождь», «Ручей», «Начало зимы», «Буран», «Восход и закат». С такой же охотой и силой он мог импровизировать на темы больших событий из жизни народа. Увлекали его и сказки. Без труда он перекладывал их в дастан — поэмы.

Как и Амре, Иса мог петь, не уставая, часами.

К сожалению, талантливый Иса очень рано пристрастился к водке. Он сам рассказывал мне с полной откровенностью, как это произошло.

— Нет, я не учился у муллы,— начал Иса издалека.— Я самостоятельно постиг арабскую грамоту и стал читать тюркские книги. Вначале — более понятные, простые, позднее — казахские киссы. Много книг я проглотил. Порою думал, что нечитаных уже не осталось. А когда свергли царя, в Семипалатинске выходила газета «Сары-Арка» и журнал «Абай». Попались они мне на глаза, стал читать и газету, и журнал. Как раз в это время встретил меня один хитрец-алаш-ордынец и увез от байского аульного плена в Семей, Семипалатинск. Увез к образованным казахам, называвшим себя тогда гражданами алаша. Им понравилось мое искусство акына, и они наперебой стали приглашать к себе в дома.

— И на какие же темы ты пел?

— Выходит, об алаш-орде,— простодушно отвечал Иса.— Да я и понятия никакого не имел тогда о Советах.

Толком не знал я и что такое этот «алаш». Говорят мне — это Казахское правительство, я верю. Говорят мне — хвали, я хвалю. И пить я научился на этих сборищах. Там, где гости и песни, там и арак, водка. А меня приглашали часто. Поем, пьем, закусываем. Песен — много, водки — много, мяса — много. Вот так ваш Иса-еке и превратился в пьяницу.

Иса об этом рассказывал и с грустью, и с легкой лукавинкой.

— Вот и остался бы я поэтом алаша, если бы не Советская власть.

Тематика стихов Исы приобрела наш, советский дух, лично он давно отошел от алаш-ордынцев. Но долго еще давали знать о себе следы их воспитания. Вплоть до кон-

ца двадцатых годов некоторые стихи и поэмы он слагал в стиле Магжана Жумабаева.

Иса был человек задиристый. Ему ничего не стоило поругаться. Доставалось преимущественно тем, кто ему не нравился. Многие с позором покидали поле боя, сраженные остротой и меткостью языка Исы.

Но совсем другим был Иса, если он уважал человека. Перед лицом таких людей он казался джигитом с девичьим характером.

Вспоминаю приезд Исы в Кзыл-Жар в 1923 году. Одновременно с ним Петропавловск навестил и акын Ибрай Сандыбаев. Они не знали друг друга. Три интеллигентных казаха — педагоги и литераторы Есим Байгаскин, Абдулла Байтасов и Шакир Баймаханов, снимавшие второй этаж в двухэтажном купеческом доме дрессировщика лошадей татарина Хасена Яруллина, решили пригласить к себе в гости Ибрая и Ису. Пригласить так, чтобы эта встреча оказалась неожиданной для них, и устроить айтыс — соревнование.

Иса не знал в лицо Ибрая, но слышал о нем. В молодости Ибрай соревновался на айтысе с учителем Исы акыном Кудайбергеном. Иса с его слов запомнил наизусть этот стихотворный спор.

Иса впервые увидел Ибрая в доме Яруллина.

— Апырай! — воскликнул он после приветствия.— Я вижу крутой подбородок и рот острослова. И львиную шею — знак широкого дыхания. Должно быть, в байге песен долго может скакать этот старик-акын?

Ибрай тоже представлял себе Ису по слухам. Слава о молодом акыне из Кереку, Павлодара, дошла и до нас. И, не желая уступать младшему в остроумии, Ибрай сказал:

— Ты похож на асык (коленную косточку) серны. Ты можешь вертеться волчком, словно асык в руке игрока. Но я тебя сравню и с доненом — трехлетним скакуном, тренированным для скачки. Скажи, молодой джигит, значит, ты и есть тот самый Иса-акын?

Мы все, собравшиеся в доме Яруллина, ждали: вот-вот начнется айтыс. Уже по первому обмену любезностями можно было убедиться, что молодой и старый соперники достойны друг друга. Но случилось не так. Айтыс не состоялся. Иса уклонился на этот раз от поэтического спора. И в ответ на наши просьбы говорил:

— В айтысе есть победитель и есть побежденный. Каждый из соперников старается быть победителем. Любое острое слово — оружие айтыса. Жалеть друг друга нельзя. Уважение надо отбросить. А Ибрай-ага годится мне в отцы. Я давно склоняю голову перед его даром акына и певца. Я сегодня впервые встретился с вами, Ибрай-ага. Мне неприлично быть вашим соперником.

Благодарный старик прижал Ису к своей груди:

— Будь счастлив, джигит. Пусть сбудутся твои стремления, пусть летит вперед твоя песня.

В этот вечер в доме Яруллина старый и молодой акыны мирно порадовали нас своим искусством.

...Осенью двадцать третьего года Иса приехал в Оренбург и поступил в Институт народного образования. Уж не знаю, как ему удалось туда поступить — ведь он самостоятельно выучился читать по-арабски и не имел систематического школьного образования. Но так или иначе Иса стал студентом. Впрочем, не очень старательным. Он охотно принимал приглашения и стал желанным гостем всех тех, кто любил домбру и песни. Вечный непоседа, вскоре он уехал в Ташкент, подлечил там свои волосы и вернулся в Оренбург весною двадцать пятого года в канун нашей поездки в Ак-Мечеть.

В поезде Иса не изменил своим привычкам и пил, как на праздничных вечерах.

Скажу откровенно, грустно мне было смотреть на грубые поступки Исы, раздражало меня его пьянство, но я уважал акына за песни, за его неистощимый дар импровизации.

И во время нашей поездки все, кто его слушал: соседи по купе и вагону, гости из нашего эшелона — забывали его проделки, когда он начинал импровизировать и покорял всех, пускай не очень красивым и сильным, но приятным и страстным голосом, сердечностью интонации, образностью стихов. В разные годы наслаждался я искусством Исы и должен сказать, что поэтический его темперамент не убавлялся, а мастерство росло и росло.

Мне остается добавить к рассказу об Исе Байзакове еще несколько строк.

Он был женат на Шарбану, милой, умной и скромной женщине. Выросла она в ауле, не получила никакого образования, но обладала артистическим талантом и

очень удачно сыграла несколько ролей в Казахском драматическом театре. Шарбану была хорошей женщиной. Да и сам Иса, вспыльчивый и придирчивый, с нею был очень мягким. Умерла Шарбану в 1930 году, Иса — в 1946 году. Его сын Ертыс стал преподавателем, дочка Макен — актрисой.

...Пришла очередь рассказать о моем четвертом спутнике — Хаджи-Мухане.

О его жизни, о его победах на спортивной арене мой современник писатель Калмахан Абдыкадыров написал целую книгу, которую и сейчас читают с живым интересом. Я не стану повторять то, о чем повествует Калмахан. Моя задача проще. Я буду говорить только о том, что лично видел и слышал, сам наблюдал в дни нашей совместной поездки. Мне кажется, не будет лишним, если я поделюсь воспоминаниями и о первой своей встрече с Хаджи-Муханом.

Тысяча девятьсот восемнадцатый год приближался к концу. Стояла лютая сибирская зима. Я учился в Омске на учительских курсах и одновременно работал дворником и кучером. В Омске жил мой земляк Кази Торсанов, деятель областного комитета алаш-орды. Не умевший тогда распознавать друзей и врагов, я часто заходил домой к Торсанову.

Однажды я застал у него довольно много гостей. Рядом с Кази на почетном месте восседал незнакомый мне человек, выделяясь среди других своим ростом, как выделяется одногорбый верблюд в табуне коней. Кази Торсанов тоже был крупным человеком, но рядом с незнакомцем он выглядел верблюжонком. Дивясь его могучему телосложению, массивным чертам лица, где непропорционально маленькими были только глаза, я удивленным шепотом спросил у жены хозяина Камили:

— Апырай, что это за великан?!

Она тихо произнесла имя Хаджи-Мухана. О, я слышал о нем и раньше. Кто из подростков не мечтал увидеть Хаджи-Мухана! Меня ведь тоже считали в этом доме подростком и не принимали всерьез. К тому же и одет я был кое-как. Поэтому я и сидел у порога, не за столом, где, поглощая водку и обильное угощение, возбужденно беседовали и спорили гости Кази.

Я вслушался в разговор. Больше всех говорил Хаджи-Мухан. Мне показалось, он несколько расхвастался.

Он утверждал, что уже успел побывать в пятидесяти шести государствах, пятьдесят шесть раз получал звание чемпиона мира — и в знак этого пятьдесят шесть медалей. Сколько было у него медалей, я точно не помню, но их действительно было много и притом из разных стран. Не думаю, чтобы каждая медаль присуждалась ему как чемпиону. Хаджи-Мухан продолжал рассказывать, что не встречал борцов, одолевавших его. Он бывал побежденным только в тех случаях, когда директор цирка заранее обязывал его падать. Но в Гамбурге, где раз в три года собирались сильнейшие борцы мира для честной борьбы, он победил всех. Во время гамбургских соревнований ему повредили ухо и так разбили губы, что шрамы остались на всю жизнь.

Кто-то из гостей Торсанова спросил:

— Неужели и вправду нет в мире никого сильнее вас?

— Была одна женщина,— медленно проговорил Мухан.— Из Канады. Я тогда был еще совсем молодым джигитом. Узнал про нее, решил померяться силой. Встретились. Играю перед ней двумя гирями, пуда по два каждая. Девушка посмотрела, подождала, взяла две трехпудовые гири. Подбрасывает их высоко и ловит на лету. Я убедился, что она сильнее меня. А вслух сказал, что у нас народ считает позорным бороться с женщиной. И отказался вступить с ней в борьбу.

Хаджи-Мухан и в самом деле был удивительным силачом. После этой встречи у Торсанова я видел его на арене Омского цирка. Чего он только там не делал! Он становился с железными балками за плечами. С двух сторон на балках повисали по пять человек. Сгибаясь, балки касались своими концами пола. Хаджи-Мухан продолжал невозмутимо стоять. После номера с балками он без видимых усилий подпоясывался толстенным железным прутом и так же легко его разгибал. Наш богатырь приносил на сцену каменный жернов весом в двадцать пудов и разбивал его на куски огромным молотом. Но самое большое впечатление было от последнего номера. Сначала Хаджи-Мухан сделал борцовский мост — он выгнул спину, запрокинув голову и опираясь руками и ногами об пол. Ему на грудь положили настил из досок. И по этому двойному мосту проехали лошади, запряженные в телеги с тяжелой кладью. Помнится, в этот

вечер проходили соревнования и по борьбе, в которых Хаджи-Мухан тоже взял первое место.

После Омска мне не раз приходилось видеть выступления Хаджи-Мухана и даже разговаривать с ним, но ближе всего я познакомился с ним во время этой поездки.

Все мы очень подружились в пути. И с Амре, и с Исой, и с Хаджи-Муханом. Хаджи-Мухан был человек малообразованный, он слабо представлял себе, что такое литература, кто это такие писатели. Но, прослышав, что я «молодой из тех самых», он старался не отпускать меня от себя и время от времени напоминал: «Смотри, не забудь и про меня написать в газету».

Иногда он говорил со мною наедине. Доверчиво и простодушно. Говорил как со своим ровесником, несмотря на то, что я был значительно моложе его. Рассказывал о своем детстве, о трудной своей юности. И я узнал, как стал Хаджи-Мухан борцом.

Его отец Мунайтпас с детства батрачил у баев. Сам Хаджи-Мухан еще подростком пешком отправился в Кзыл-Жар и нанялся в работники к одному богатому баю-татарину. Случилось, бай послал Хаджи-Мухана за сеном в долину реки Есиль. На обратном пути перегруженная бричка завязла в грязи, и лошадь никак не могла ее вытащить. Хаджи-Мухан разозлился. Он так ударил лошадь палкой по голове, что она замертво упала. Силач не растерялся. Он забросил сдохшую лошадь на бричку, сам впрягся в оглобли и доставил сено во двор. Удивленный силой Хаджи-Мухана, хозяин даже не отругал его за погубленного коня. Бай стал гордиться перед всеми знакомыми своим могучим батраком. Слух дошел до властей, до проезжего цирка. И тогда Хаджи-Мухана пригласили сначала обучаться цирковому делу, а потом уже и на арену. Было ему тогда восемнадцать лет.

В дни нашего путешествия Хаджи-Мухану уже перевалило за сорок. С некоторым сожалением он говорил, что до сорока лет его мышцы были твердыми, словно камни, и весь он был крепок и сухощав.

— А теперь, видишь, начал округляться. И хотя сам я толстею, вес мой уменьшился.

— Сколько же вы теперь весите?

Хаджи-Мухан взмахнул своей тяжелой рукой:

— Не стоит и говорить. Верьте мне, легче стал.

— А все-таки?

— Тринадцать пудов пятнадцать фунтов,— с трудом выговорил Хаджи-Мухан и огорчился, как ребенок.

— Неужели вы, Хаджике, считаете, что этого мало?

— Эх, джигит, в полной силе я весил без малого четырнадцать пудов.

И замолчал, не желая продолжать разговора.

Хаджи-Мухан шепелявил, рассказывал негладко, но всегда занимательно. У него в карманах хранились пачки фотографических карточек, и он часто показывал их в подтверждение своих слов. А иногда просто извлекал фотографии,— вот, мол, посмотрите, полюбуйтесь.

Одно фото я запомнил особенно четко.

В казахских сапогах и малахае, бородатый грузный Хаджи-Мухан держит за загривки шесть мертвых волков. Он их приподнял так, что морды их были почти вровень с его головой, а хвосты касались земли.

Мы смотрели на фотографию и ахали.

— Расскажите нам, что это за волки?

— Рассказать просите, хорошо, сейчас расскажу.

И мы приготовились слушать.

Но тут я должен сделать читателям одно предупреждение. Я, кажется, уже говорил, что Хаджи-Мухан любил выпить. Но я не слышал, чтобы он когда-нибудь напивался. Неразговорчивый в обычное время, после горячительного он становился красноречивым. Самые интересные истории мы слышали от него именно в эти часы.

Больше всего, пожалуй, Хаджи-Мухан любил мясо и кумыс. Кумыс никогда не надоедал ему, впрочем, как и баранина. Ему не составляло никакого труда съесть за один присест раннего и жирного ягненка.

— Ау, давайте прежде подзакусим! — вот его обычное вступление к беседам.

Зная эту его слабость, спутники заботились, чтобы в купе борца и мяса было вдоволь, и кумыс лился рекой.

Надо ли объяснять читателю, что к своему рассказу о волках Хаджи-Мухан приступил после обильной трапезы. И начал он, как подобает степенным рассказчикам, издалека:

— Это было зимой в тот год, когда бежал Колчак и наступали красные. В эти беспокойные дни судьба за-

бросила меня в Павлодарский уезд, в аул моих родичей — кипчаков. Голодновато мне было у них. Бедствовали многие вокруг. Прошлое лето было засушливым, осенью не сумели собрать урожая, войска, проходившие в этих местах, вытаптывали жнивье. Зимою начался падеж скота, джут. Обнищавший аул не смог бы долго кормить меня. Я уже начал худеть, как вдруг услышал, что в город Славгород приехал цирк. Решил я пробраться туда. Один добрый и зажиточный человек дал мне лошадь и сани. Я с женою отправился в путь. Чуть отъехали — вижу: лошадка слабая, жену еще довезет, а нас вдвоем вряд ли, далеко нам так не уехать. Что ж, думаю, не усталости же бояться, если гибель грозит. Я оставил в кошеве жену, а сам взял лошадь под уздцы и пошел вперед по снегу. Холодно, тяжко. Зимой и в груди иней...

Тут Хаджи-Мухан замолчал. Должно быть, он вспоминал подробности того нелегкого путешествия. Он вытирал глаза, прикладывал платок к губам, освежался кумысом. И, наконец, продолжил:

— Много буранов прошумело той зимней аульной дорогой, и мало путников прошло по ней. Снега намело видимо-невидимо, и он затвердел. Трудно идти пешком, еще труднее тащить сани лошаденке. Что ж, пусть путь и далек, и тяжел — идти все равно надо. Никуда не денешься, нельзя не добраться до Славгорода. Иду. Слежу за лошадью. Как только устанет, подкормлю ее малость сеном. И опять пошли, поехали... Спустя несколько дней Павлодар уже остался позади. Разве у нас было время ходить по гостям, угощаться? Подкормим лошадку — и вперед. День, ночь — не все ли равно. Сибирский лес встретил нас морозцем. Деревья потрескивают, поскрипывают. Сквозь ветви проступает лунный свет. Поднялся ветер. И вдруг лошадка наша всхрапнула и стала. Тревожно так сделалось. Чтобы это могло значить? Всмотрелся вперед, и страх меня взял. Словно в поземку, шипит и взлетает снег. А сквозь снег мерцают слабые зеленые огоньки. Не могу ничего понять, напрягаю глаза. Разглядываю, наконец, или скорее догадываюсь. Нас окружили волки. Они скребут когтями и отбрасывают снег. Слабые зеленые огоньки — волчьи глаза.

— А сколько их было, Хаджике? — полюбопытствовал кто-то.

— Сколько? Да что они, жеребята на привязи, чтобы я их мог сосчитать! — рассердился Хаджи-Мухан.— Много, вот и весь разговор.

Он не любил, когда его перебивали. В рассказе наступила пауза. И ею воспользовался пожилой казах:

— Должно быть, вы встретили волчью свадьбу. В это время самцы стаей ходят за волчицей. Злые, жадные. Если у коня нет силы, а у путника оружия,— набросятся, разорвут, сожрут. Так что же было дальше? Рассказывайте!

— А вот что было дальше... Вы не глядите, что я такой сильный и большой. Я — человек трусливый, говорю откровенно. И пуще всего на свете боюсь зверей, особенно волков. Как только я понял, что они нас окружили, я тут же бросил лошадь и, сам не знаю как, разом очутился в тальниковой кошевке рядом с женой. Кляча наша взвизгнула и замолчала. Слышу, как ее раздирают. И не могу подняться, трясет меня, словно в лихорадке. А тут еще жена ахает, стонет. Прыгая в кошевку, я, наверное, ее придавил.

Все мы переживали... Кто-то из нас так близко к сердцу принял рассказ Хаджи-Мухана, что не выдержал и возмутился:

— Ну что за человек!.. С вашей силой вы могли бы вступить в борьбу со зверями, поубивать их.

— А я так и сделал,— спокойно ответил Хаджи-Мухан.— Только вы не перебивайте меня, а слушайте. Значит, дело было дальше так. Не знаю, успели волки сожрать лошадь или нет, но из жадности своей то ли один зверь, то ли два бросились на меня, и шуба моя затрещала от их когтей. Я выскочил из кошевы. Волки меня не отпускают. Напрягая всю силу и ловкость для защиты, я вдруг почувствовал, что вцепился руками в загривки двух волков. Собрался с духом и как стукнул их лбами друг о друга. И отбросил. На меня кинулись еще два. И с ними так же расправился. А последних двух раскрутил и об сани, об сани. Очнулся — вижу: стая сбежала. Эти шесть сдохли. Погрузил их в кошеву, сам впрягся в сани и дотащился кое-как до Славгорода.

— Берекельды! Берекельды! — раздались в купе и коридоре возгласы одобрения. Слушатели, как дети, радовались победе Хаджи-Мухана.

А он продолжал:

— Слухи подтвердились. В Славгороде гастролировал цирк. И директор, и многие циркачи были моими старыми знакомыми. Они радушно встретили меня и, понятно, прежде всего накормили. И я принялся за работу. Кстати, там, в цирке, меня и сфотографировали с убитыми волками... Ау,— неожиданно закончил Хаджи-Мухан.— Давайте снова подзакусим.

Флаг с полумесяцем

Чудесный певец Амре, изумительный акын Иса, могучий силач — балуан Хаджи-Мухан. С такими спутниками я и не заметил, как позади осталась бескрайняя пустынная степь с ее утомительными для глаз песчаными барханами. Поезд приближался к Ак-Мечети и неожиданно остановился на каком-то маленьком, ничем не примечательным разъезде.

— Что за остановка? — спросил кто-то из нас кондуктора.

Он пожал плечами:

— Таков приказ.

Так нам и не удалось сразу узнать в чем дело. Кондуктор твердил одно:

— Не знаю. Не знаю.

Хаджи-Мухан попросил меня как младшего пойти разведать, долго ли мы будем стоять на разъезде.

Я увидел, что у вагона, в котором ехали руководители республики, толпится народ. Кое-кто вышел и из других вагонов. Я сразу почувствовал атмосферу ожидания и оживления.

Я протиснулся к «правительственному» вагону и узнал первого секретаря крайкома Ненайшвили, беседующего с заведующим орготделом Султанбеком Ходжановым.

Здесь я расскажу несколько слов о Султанбеке. С ним я раньше познакомился в Оренбурге. Он сам явился инициатором знакомства и сказал, путая, как всегда, звуки «с» и «т», «ш» и «с»:

— Табит, ты почему не заходис к нам?

Я сослался на экзамены, на занятость, но он остался недовольным моим объяснением. Мол, как это так мож-

но отказываться от приглашения столь значительного лица.

Султанбек, как я слышал, не отличался мирным и кротким характером. Говорили, что он эгоистичен и мстителен. Я подумал: почему же, в самом деле, мне не сходить к нему, не побеседовать с ним, а дальше — посмотрим...

Впрочем, оказалось, что у себя в кабинете Султанбек ведет себя радушнее и проще, чем это могло бы показаться на первый взгляд. С удивлением узнал я, что он пишет стихи. И не только пишет, но и публикует их под известным псевдонимом Токпак в газете «Ак жол» и журнале «Чолпан», выходящих на казахском языке в Ташкенте.

Даже в этот первый наш разговор он был очень откровенен со мной и высказывал свои мысли о будущем Казахской республики, о прошлом нашего народа. Он оказался очень начитанным человеком, хорошо знакомым с художественной литературой, в особенности с казахской. Внимательно следил он и за творчеством молодых писателей. Не прошли мимо него и мои произведения. Он поучал меня на правах старшего по годам:

— Не туда ты тянешь, Сабит. Не стремись, пожалуйста, стать пролетарским писателем. Не подражай Сакену. Это Сакен хочет сделать из ничего свой литературный дом. А что у него пролетарского? Забыл он, что казахи говорят: «Если ты Байулы — будь Адай, если ты Аргын — будь Алтай». Значит, держи равненье на сильных в своем роду, не отрывайся от степи. А ведь Сакен из рода Алтай и принадлежит к очень известному семейству Джанибека. Отец Сакена Сейфулла только и знал, что ездил из аула в аул, как певец, как веселый серэ. Баловнем судьбы вырос и сам Сакен. И в революции он участвовал чисто случайно. Такие, как он, не бывают революционерами.

Мне не понравились слова Султанбека, возражения переполняли меня. Но я взял себя в руки и промолчал. И тут Султанбек неожиданно начал меня восхвалять. Он назвал меня одним из талантливых молодых писателей:

— Мне хорошо известна твоя жизнь, Сабит. Ты и в литературе должен оставаться самим собой — батраком,

кедеем. Выбирай верное направление! С художественной формой у тебя еще не все хорошо, но ты молод и достигнешь своего. Работай с материалом. Упорно работай. И перестань всюду употреблять красную краску. Вот тебе мой совет старшего, совет от чистого сердца.

Я и здесь не противоречил Султанбеку, не вступал с ним в спор. Он, должно быть, догадался, что я не хочу откровенничать, бросил свои нравоучения и ни с того ни с сего начал яростно нападать на Ненайшвили.

Уж как только он его не бранил!

И за смешливость ему попало — дескать, истекает смехом, как дырявое ведро водой. И за плохую память— сегодня забывает то, что сказал вчера.

— Поеду в Москву, попрошу Сталина: заберите своего Ненайшвили, пришлите кого-нибудь поумнее.

Я так и не знаю, зачем мне все это говорил Султанбек. Скорее всего, он хотел мне внушить, что сам займет место Ненайшвили и одновременно набивал себе цену. Знай, мол, с кем разговариваешь.

Но я по-прежнему вел себя сдержанно и замкнуто. И, убедившись, что его слова не произвели на меня должного впечатления, Султанбек холодновато и резко сказал:

— Ну что ж, Сабит, давай распряжем коней нашей встречи.

— Ваша воля,— ответил я.

Он протянул мне руку и только ради одной вежливости пригласил заходить, когда будет время.

С тех пор я не встречался с ним, покуда снова судьба не свела нас однажды в одном вагоне поезда. И снова беседа завязалась по почину Султанбека Ходжанова. Он был и в самом деле довольно общительным человеком. Недаром про него рассказывали, что он часто бывал на базаре, в школах, в студенческих общежитиях и других людных местах. Побывал он и у нас, в общежитии рабфака, правда, в мое отсутствие. Обошел все комнаты, беседовал со студентами, шутил, даже поел в студенческой столовой.

Одни находили в этом подтверждение природной общительности Султанбека, другие подозревали, что он такими способами стремится приобрести популярность.

Не изменил он своим привычкам и во время этой памятной поездки в Кзыл-Орду. Однажды, когда поезд

шел особенно быстро, он заглянул к нам в вагон. Он был еще далеко от нашего купе, но громко произнесенные им несколько фраз с отчетливо проступавшим акцентом не оставляли никаких сомнений: да, это был Султанбек.

— Где тут знаменитый балуан, где тут певец, где акын? — раскатисто выкрикивал он.

Я вышел из купе ему навстречу.

— Оказывается, и ты здесь, Сабит? — он протянул мне руку.— Покажи, где Хаджи-Мухан. А Иса? А Амре?

Султанбек всех нас позвал к себе в гости, сопровождая свое приглашение размашистыми движениями руки.

Все отозвались охотно, за исключением Хаджи-Мухана:

— Спаси меня, аллах! — воскликнул борец.— Как же я пройду между вагонами? Поезд мчит, я могу упасть и умереть...

И нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно.

Если мне не изменяет память, мы все-таки дождались остановки и спокойно прошли в салон-вагон Ходжанова.

Мы провели несколько часов в острой беседе. И как бы настороженно я ни относился к Султанбеку, каким бы властолюбивым он мне ни казался, надо отдать должное: у него были многие приятные человеческие качества, он умел шутить и остроумно беседовать, ценил литературу и искусство.

И вот, наконец, встреча у разъезда, неподалеку от Ак-Мечети. Встреча, с которой я начал этот свой рассказ.

У салон-вагона толпились люди. Все внимательно поглядывали в сторону паровоза. Я присоединился к наблюдающим и скоро увидел довольно забавную картину. Ни раньше, ни позднее мне не приходилось встречать ничего подобного. К паровозу подкатили открытую вагонетку и усадили на нее председателя КирЦИКа Сейткали Мендешева и секретаря ЦИКа Бегайдара Аралбаева. Состав должен был теперь идти до самой Ак-Мечети тихим ходом.

— Садись и ты, Сабит! — сказал мне Султанбек.

— Ну, а мне-то зачем?

— Как зачем? Ты же газетчик, и поэт к тому же. Набирайся впечатлений!

Султанбек оказался прав. Ехать в открытой вагонетке действительно было интересно.

Медленно двинулся паровоз. За ним легко поспел бы и пешеход. Если бы не болотца, поросшие камышом по обе стороны железнодорожного полотна, наш состав шел бы еще тише. Почти все жители окрестных аулов встречали правительственный поезд. По наивности своей и восторженности и пешие, и конные появлялись впереди нас, преграждали нам путь живой стеною и давали дорогу только после пронзительных гудков паровоза. Людские возгласы, ржанье коней, верблюжий рев, гудки сливались в ярмарочный пестрый шум, от которого глохли уши.

Но к чему только не привыкает человек. Скоро и вагонетка перед паровозом показалась мне вполне удобной для передвижения. Вспоминая эту поездку, я сравниваю ее почему-то с бессюжетной кинокартиной, быстро промелькнувшей на экране. Мне были в равной степени интересны и встречавшие нас сыр-дарьинские всадники, и те, кто ехал со мной — Мендешев и Аралбаев.

Люди помоложе уважительно называли Мендешева Сейдаканом. Впрочем, так его величали и многие ровесники, подчеркивая свое расположение.

Он учился с малых лет в русской школе и еще до революции стал учителем в ауле. Это наложило отпечаток на его спокойный, скромный характер. Он разговаривал со всеми мягко, как с учениками. Внешне робкий, даже застенчивый, он был, однако, душевно богатым человеком, хорошо знающим прежнюю и современную жизнь. На первый взгляд он производил впечатление замкнутого, но стоило с ним разговориться, как он становился общительным и нередко откровенным собеседником. Он находился в гуще событий по борьбе с казахскими националистами, участвовал во многих спорах. Но и в тех случаях, когда борьба достигала накала, он не менял тихого, мягкого тона. Однако за словом в карман он не лазил. В принципиальных вопросах Мендешев не шел ни на какие уступки и соглашения и крепко держался своей позиции. Он был честным коммунистом и интернационалистом в высоком смысле этого слова. Он не знал лжи, сплетен, наушничанья и высказывался напрямик, в лад со своей совестью. В течение пяти лет он был председателем КирЦИКа — это было трудное время, и он много сделал для того, чтобы вывести республику из тяжелого положения, поднять ее экономику и культуру.

Мы с ним не были табактас, то есть не сиживали за одним столом, но он мне очень нравился, и я проникся к нему самыми теплыми чувствами.

Я еще тогда подумал, что поездка в вагонетке для него, скромного человека, была в какой-то мере унизительной. Ему не доставляло никакого удовольствия, больше того, он чувствовал себя неловко, что встречающие глазели на него. Вероятно, ему в голову приходили мысли и о том, что кое-кто догадывается — его могут в ближайшее время снять с поста председателя КирЦИКа. Словом, он чувствовал себя униженным и, съежившийся, невеселый, вяло отвечал на приветствия.

Не скрою, очень я жалел тогда Сейдакана.

Иное дело Бегайдар Аралбаев, дородный, широкоплечий мужчина, уверенный в себе, франтоватый, броский. Подражая, как и многие туркестанцы, Ходжанову, он перепоясывал гимнастерку широким кожаным ремнем, носил круглую лисью шапку с верхом из черного бархата и аккуратно подбривал свои щегольские усики.

Он был горласт, держался картинно и горделиво. Отвечая на приветствия, он кричал так, что вздувались вены на шее. Порою, в избытке восторга, он срывал с себя лисью шапку и потрясал ею в знак благодарности встречающим. У него было, на удивление, много знакомых. Они называли его по имени, стремились пожать руку.

Наконец поезд остановился в Ак-Мечети. Делегация вышла из вагонов на привокзальную площадь.

На площади, окаймленной зеленью, была установлена в центре высокая трибуна. На нее поднялся и открыл митинг секретарь Сыр-Дарьинского обкома партии, известный читателю по второй книге «Школы жизни» Абильхаир Досов.

Много ораторов подымалось на трибуну, много речей было произнесено. Конечно, и речи эти, и фамилии выступавших не сохранились в моей памяти. Но одного оратора я помню как сейчас. Высокий, худенький подросток с лицом смуглым и выразительным. Он приветствовал делегатов съезда Советов от имени пионеров. Позднее я узнал имя и фамилию подростка. Это был Абдильда Тажибаев, ныне один из самых известных казахских поэтов.

Прежняя Ак-Мечеть — небольшой провинциальный городок Азии на левом берегу Сыр-Дарьи. Городок пре-

имущественно одноэтажных, сложенных из кирпича-сырца плоскокрыших домов. За каждым домом — фруктовый сад. По бокам узких и кривых улочек зеленели деревья, особенно много было ясеней. Под их тенью струились арыки. Замощены были только две улицы — Маркса и Энгельса.

Большие дома, крытые железом, можно было сосчитать по пальцам. В них и решено было разместить делегатов съезда. Я хорошо запомнил один из таких домов, огороженный высокой кирпичной стеной. Впоследствии в нем находилось одно из советских учреждений. А до съезда в этом здании размещалась психиатрическая лечебница. Джиндыхана — дом сумасшедших в просторечии.

— Ты, юноша,— сказал мне Хаджи-Мухан еще во время митинга у вокзала,— будь со мной.

И когда Хаджи-Мухан узнал, что ему предназначается комната в Джиндыхане, он пришел в ужас.

— Нет, нет. Я не буду жить там, где были джины и шайтаны. Я боюсь. Лучше убейте меня сразу. Лучше найди, светик мой, найди мне отдельный дом, на краю города, подальше от шума.

Председателю комиссии по устройству делегатов ничего не оставалось делать, как согласиться с желанием героя.

— Вы один будете жить, батыр? — спросили Хаджи-Мухана.

— Нет, давай мне вот этого Сабита, а больше никого!

Вот и поселили нас в казахском домике. Он стоял на западной окраине города в глубине большого сада с поэтическим названием «Айрам-баг» — «Сад Ирана».

Однако меня не соблазнило и это название, символизирующее в персидской поэзии красоту и свежий воздух. Я не мог долго усидеть в этом саманном домике. Он был слишком далек от центра, а ходить приходилось пешком. И, самое главное, слишком беспокойно было у Хаджи-Мухана. К нему и ночью и днем шли люди с богатыми угощениями. Кумыс тащили сабами, мясо — блюдами. Его стремились повидать все. К нему обращались с самыми разными просьбами.

Словом, я сбежал и от обильных угощений, и от посетителей.

Съезд открылся дня через три-четыре после нашего приезда в Ак-Мечеть. За это время я обошел почти весь город. Когда его рассмотришь попристальнее, он выглядит еще беднее, еще хуже, чем на первый взгляд. На окраинах Ак-Мечети не дома, а конурки, сложенные на скорую руку из серой глины. Среди них много разрушенных, покинутых жителями. Они мне напоминали не жилые дома, а провалившиеся могилы...

Что меня по-настоящему удивило, так это множество больших и маленьких базаров. Горы урюка, изюма, вяленых и свежих дынь! Такое не встретишь в наших северных степных городах. Повсюду продавали белое лакомство — так называемую нишаллу — дешевое сладкое варево из кукурузной муки и сахара. Мелькают поварешки, и нишалла из казанов так и шлепает, так и шлепает в посуду покупателей. Уличная пыль оседает на белое варево, оно становится сероватым, грязным, но берут, все равно берут. Ложками, чашками, кастрюльками. Потому что и дешево и сладко. А на что-нибудь другое, подороже и повкуснее, денег не хватает...

По сравнению с ней такие города Казахстана, как Петропавловск или Семипалатинск, были куда благоустроенней, красивей. А Оренбургу Ак-Мечеть и в подметки не годится.

Ак-Мечеть не понравилась мне.

Многие, в том числе и я, задавали вопрос: почему же именно Ак-Мечеть, а не какой-нибудь другой, более подходящий город, стала столицей нашей автономной республики?

Иной политический грамотей отвечал:

— Другие города лежат в стороне, с ними трудно сообщаться жителям нашей степи.

— А разве Ак-Мечеть не в стороне? И западным казахам далековато сюда приезжать. Жителям северных губерний еще дальше — через Челябинск и Оренбург. Семиреченским казахам придется добираться несколько дней на конях до Арыси, а уж потом на поезде. Тоже не ближний свет. Какие же преимущества у Ак-Мечети?

Но грамотей не терялся:

— Правильно говорите. Но это сегодня. А надо смотреть вперед. В ближайшие годы железные дороги проникнут во все уголки Казахстана. Тогда и расстояния станут меньше, и новая наша столица быстро вырастет.

— Так ведь здесь нет основы для роста,— отвечали грамотею.— Поблизости нет промышленного сырья, да и сельское хозяйство вряд ли будет здесь быстро развиваться. Значит, город сможет расти только за счет учреждений, школ, техникумов. А много ли будет учебных заведений в городе без больших предприятий. И еще вы забываете о климате. Не каждый здесь сможет летом вынести палящий зной и духоту.

Возникал новый вопрос: кто же тянет столицу в этот пыльный город?

— Султанбек Ходжанов,— неожиданно раздавалось в ответ.— Здесь его родные места. Его деды, его отец — уважаемые ходжа. Город до революции назывался Перовском, потом в советское время ему было возвращено прежнее имя Ак-Мечети. А завтра на пятом съезде его назовут Қзыл-Ордой. Он станет столицей Қазахстана и, может быть, действительно станет красивым городом.

— А получится ли так?

— Жизнь покажет...

Мой сбивчивый рассказ о Қзыл-Орде будет совсем неполным без краткого описания реки Сыр-Дарьи. Я впервые видел эту реку, знаменитую по истории Востока. Я удивлялся ее желтой густой воде, так непохожей на прозрачную нашего Ишима. Я впервые видел такие низкие берега, сливающиеся со степью. В годы сильных разливов Сыр-Дарья затопляет большие пространства и наносит урон жителям окрестных аулов. Но разливы — это не только горе, но и счастье для прибрежных жителей: поливные земли после разлива Сыра славятся своим богатым урожаем.

Я сумел найти свободное время и покатался на лодке по реке. Сыр-Дарья достигает у Қзыл-Орды километра в ширину. Словно желая показать свой изменчивый характер, свое непостоянство, она может скрыть утром островки, которые отчетливо были видны прошлым вечером. А бывает и наоборот. Утром, на том месте, где вчера нельзя было достать дна, вдруг появляется песчаный остров. Кое-где попадались булькающие, бурлящие воронки, где воду будто сливали в какую-то глубокую яму. Беда, если лодка попадет в такую воронку. Неопытный гребец может не вырваться из водоворота и вместе с лодкой пойдет ко дну.

Вдоволь накатавшись по Сыр-Дарье, я переправился

на тот лесистый берег. Там росли доселе невиданные мною кустарники — джангиль и джида. Остро колется на берегах Сыр-Дарьи даже самый обыкновенный тростник — курай. По влажной земле среди колючек то и дело шелестят змеи, таятся скорпионы и каракурты. Должно быть, поэтому говорят в народе: «Тысяча бед на Сыре, одна в степи».

Я познакомился с аулом земледельцев на том берегу Сыра. Он назывался Қырк-кепе — Сорок кепе. «Кепе» здесь называют вырытое в земле жилище. Наверное, вначале таких кепе было здесь сорок. А сейчас поди попробуй сосчитать их! Жители аула завели обширные бахчи и огороды. Арбузы, дыни, тыкву, лук, морковь и другие овощи они возят на продажу в город. Из зерновых больше всего сеют рис. Посевные площади невелики: самый «богатый» хозяин обрабатывает самое многое — гектар, а другие и того меньше: довольны, если два-три мешка получат себе на пропитание.

В ауле этом плугов нет и в помине. Их заменяет омач — убогое орудие предков — деревянная рогатина, к концам которой прибито железо. Да и омачи есть только у зажиточных: ведь нужны лошадь или бык, чтобы тянуть омач. А те, у кого нет ни того, ни другого, пользуются только кетменем.

Все посевы аула Қырк-кепе поливаются из арыков, вручную. Никакой механизации в поливном земледелии тогда ведь не было. Но, естественно, кулаки и зажиточные располагали вначале большими возможностями, чем бедняки — кедеи. Но борьба продолжалась, и в эту пору уже начинали брать верх кедеи, объединенные в свой союз Қошчи — союз земледельцев. Кулаки мало-помалу уступали свои позиции.

Должен сказать, что такой бедности, такой нищеты в своих родных приишимских степях я не видел. Народная песня «Қара-борбай», «Черноногий», казалось мне, сложена именно про этот сыр-дарьинский аул. Особенно жалко было смотреть на детей — худых, черных, словно обугленных южным солнцем, одетых в лохмотья.

На этом пока и закончилось мое знакомство с городом на Сыр-Дарье. Свободного времени больше уже не было. Подошел день открытия съезда.

В дореволюционной Ак-Мечети — в Перовском — был большой длинный сарай — конюшня для верховых лоша-

дей уездной администрации. Ко времени V съезда Советов это здание наскоро было превращено в клуб. Из досок сбита сцена, на земляной пол поставлены скамьи. Плакаты, лозунги и флаги украшали клуб с фасада. Вся энергия единственной тогда небольшой электростанции с мощностью в пятьдесят киловатт была отдана в дни работы съезда клубу. И поэтому по вечерам и без того подслеповатые улицы погрузились во мрак.

Съезд еще не открылся, а я уже успел побывать в клубе. Я увидел стол президиума на сцене, знамена по бокам и в глубине. Все было так как надо.

Но то, что прошло мимо меня, привлекло внимание Угара Джаныбекова. Старый большевик, я о нем много писал во второй книге «Школы жизни», работал в последние годы в Оренбурге начальником школы милиции. После объединения с Джетысуйской и Сыр-Дарьинской губерниями и прихода к руководству таких националистов, как Султанбек Ходжанов, с Угаром стало происходить что-то неладное. Он и работал хуже, и одевался небрежнее, да к тому же начал сильно попивать.

В час открытия съезда, в толпе, окружившей клуб, меня схватили в охапку чьи-то крепкие руки. Я оглянулся — Угар! Крепкий большерукий Угар. Он и в обычное время был смуглым до черноты. А сейчас он совсем почернел. Он мог напугать, кого угодно, непохожий на самого себя. Маленькие узкие глаза налились кровью, а губы — наоборот — казались серыми, синеватого оттенка. По лицу ходили желваки.

Я впервые видел его в припадке непонятной ярости.

Он протискивался сквозь толпу к входу в клуб, и я не отставал от него ни на шаг.

В клубе он подвел меня к сцене и показал на многочисленные знамена:

— Читай!

— Что читать? — недоумевал я.

— Видишь зеленое знамя с бахромой и золотой окантовкой. Читай, что там написано!

Я вгляделся и вдруг нашел среди алых знамен зеленое, выцветшего сукна знамя. Не веря своим глазам, увидел арабские строчки. В середине «Ля иллаха иллаалла, Мухамадун-Расул алла». Знаменитое мусульманское изречение: «Нет бога, кроме бога, и Магомет его посол на земле». Вокруг лозунг: «Да здравствует Алаш-

ская автономия!» Над нижней каймою знамени надпись: «Уильский конный алашский полк».

Не успел я спросить, как могло попасть сюда это знамя, а Угар уже вскочил на сцену и рванул его за древко. Но вместе с алашским упали и наши красные знамена. Угар не смутился. Он схватил зеленое полотнище, наступил на него ногой и в неистовстве разорвал в клочья.

...Это не плод моей писательской фантазии, не чья-то выдумка, а горький реальный факт, свидетелем которого я был.

Когда журнальный вариант этой книги публиковался на страницах казахского журнала «Жулдуз», некоторые читатели не поверили эпизоду с алашским знаменем и даже подняли шум: мол, такого не было и не могло быть. Именно поэтому я считаю необходимым привести один исторический документ. Недавно в институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС в Москве найдено письмо Сакена Сейфуллина о борьбе с казахскими националистами, адресованное Центральному Комитету ВКП(б), написанное в 1925 году. Там, наряду с изложением других действий националистов, есть и такие слова: «В зале V съезда Советов КазССР, проведенном недавно в Кзыл-Орде, среди алых знамен было широко распластано зеленое со словами из Корана — знамя Алашского правительства, руководимого Досмухамметовым. Некоторые товарищи, разозленные этим, сорвали знамя. Когда стали доискиваться, почему оно было вывешено, некоторые руководители пытались объяснить тем, что сцену оформлял русский и случайно вывесил это знамя. (А как же оно оказалось здесь, в зале?) После съезда, когда мы возвращались в поезде в Оренбург, бывший алаш-ордынец, позднее работавший в Народном комиссариате просвещения, старый учитель (Эльдес Омаров — С. М.), при двух моих товарищах, с нескрываемым торжеством посмотрел на меня и сказал: «В конце концов вышло по-нашему (т. е. по желанию алаш-орды). Съезд открылся под зеленым знаменем нашей алаш-орды [1]...»

Может ли после этого оставаться хотя бы капля сомнения в достоверности этого факта! Зеленое знамя было вывешено не случайно, а с вполне определенной полити-

[1] ИМЛ ЦПА, ф. 17, с. д. 307, стр. 68—71.

ческой целью. Иначе откуда бы оно взялось здесь, в Кзыл-Орде, на клубной сцене?

Как неожиданно появился Угар в клубе, так неожиданно и скрылся. Тщетно его пытались найти. Но не осталось человека, который не слышал бы о том, что именно он, Угар, сорвал знамя алаша. Об этом эпизоде много тогда говорили, возмущались, спрашивали, как это могло произойти, и не получали ответа. Оформитель сцены пытался объяснить это ошибкой. Но неужели люди, знающие арабский алфавит, не прочитали четкой надписи на полотнище?

Зеленое знамя было как бы сигналом и к другому событию.

Дело было уже за полночь. В окна общежитий, где расположились делегаты, с улицы стали бросать камни.

Кое-кто склонен был винить в этом Угара. Но его уже не было в городе. Одни рассказывали, что он поехал в родные места, в Каркаралинск. Другие намекали на запой. Даже распространили слух, что он пытался покончить жизнь самоубийством.

Но ничего достоверного об Угаре тогда узнать не удалось...

История с алашским зеленым флагом и внезапное исчезновение Угара прочно запали в мою память. Четыре десятилетия прошло с тех пор. Не так-то много участников V съезда Советов республики осталось в живых. Я потому и рассказываю о тех деталях обстановки съезда, которые могут быть хорошо известны только современникам.

Но эти, важные на мой взгляд, детали не должны заслонять и того главного, что произошло на съезде.

V съезд Советов вошел в летопись больших дат республики. Трудящиеся всех казахских районов были представлены на нем. В центре работы съезда были вопросы советского строительства в ауле и в деревне. Лозунг: «Лицом к аулу, кишлаку и деревне!» нашел свое практическое воплощение в директивах съезда — вовлечь в Советы как можно больше рабочих, бедняков, середняков, улучшить и упростить работу государственного аппарата. Съезд принял постановление о перспективном плане землеустроительных работ, о развитии ирригационного стро-

ительства. Любопытно, что именно на этом съезде впервые шла речь и об освоении Голодной степи. Большое внимание уделил съезд укреплению позиций государственной и кооперативной торговли, поддержке производственной кооперации в борьбе с частниками-спекулянтами, баями, кулаками.

Я до сих пор не могу без волнения читать строки воззвания съезда к трудящимся республики:

«Позади остались великие трудности. Позади осталась тяжелая борьба с угнетателями. Позади остались тяжелые годы гражданской войны. Позади остались голодные 1920—1921 годы. Позади осталась историческая полоса по созданию и укреплению КАССР.

А впереди еще много дела, много творческой работы и немало трудностей. Впереди полоса экономического возрождения Казахской республики, полоса борьбы за поднятие производительных сил страны, за поднятие материального благосостояния всех трудящихся, населяющих КАССР».

С V съездом Советов республики связано еще одно событие, способствовавшее укреплению нашей казахской социалистической государственности. Съезд отменил исторически неверное, навязанное царскими колонизаторами наименование казахского народа. «Впредь именовать киргиз — казаками»,— сказано в решении съезда. Киргизская республика с той поры, с апреля 1925 года, стала называться Казакской республикой, а ее тогдашняя столица Ак-Мечеть — Кзыл-Ордою.

Одиннадцать лет спустя постановлением президиума ЦИК КАССР принято было еще более точное наименование, и Казакстан стал именоваться, как и ныне, Казахстаном, а казаки — казахами.

Из жизни одного волкома

Закончился пятый съезд. На этот раз я, понятно, уже не был избран членом КирЦИКа. Вместо бывшего председателя Сейткали Мендешева избрали Жалау Мынбаева, а секретарем — Аралбаева. Произошли изменения и в Совнаркоме. Правда, Ныгмета Нурмакова вновь утвердили председателем Совета Народных Комиссаров, и наркомом просвещения по-прежнему оставался Смагул

Садвокасов. Наркомом земледелия и водного хозяйства назначили одного из ближайших соратников Садвокасова Жагыпара Султанбекова, наркомом внутренних дел стал Сулеймен Ескараев. Что касается крайкома партии, то вторым секретарем и заведующим организационным отделом оставался Султанбек Ходжанов.

Естественно, политику партии осуществляло все руководство крайкома, но если в нашей среде заходила речь о правых и националистических извращениях, то эти извращения связывались прежде всего с именами Ходжанова и Садвокасова. Это они старались проталкивать своих людей, наводнять учреждения алаш-ордынцами и всяческими байскими прихвостнями.

Подымалась новая волна национализма.

Меня, снова работавшего в последние месяцы корреспондентом газеты «Энбекши-Казах», вызвал к себе после съезда Садвокасов. Он заявил напрямик:

— Мы оба хорошо знаем друг друга. Что я этим хочу сказать, думаю, ты понимаешь. Там, где я работаю редактором, тебя не должно быть.

Я притворился обиженным:

— Куда же мне теперь идти?

— Это уж ты сам решай,— спокойно, но язвительно отвечал он,— подыскивать работу не мое дело, на это есть биржа труда.

Разговаривать дальше было не о чем. Я выходил из кабинета, думая про себя: ничего, мужайся, все образумится, да и работа найдется. Вдогонку мне он крикнул:

— Помни, пока я здесь редактор этой газеты, ни одно твое произведение в газете не появится!

Не появится, так не появится, продолжал я размышлять. Но если он мне закрыл дорогу в газету, что же мне все-таки делать? Никакой другой профессии у меня нет. Добро, был бы холостой. А ведь у меня жена, и осенью нас будет уже трое. На рабфаковскую стипендию не проживешь. Как же мне закончить рабфак? Наступает последний год учебы...

Озабоченный и удрученный вернулся я в Оренбург. Сакен Сейфуллин, с которым я хотел посоветоваться, собирался на родину.

— Надолго ли, Саке?

— Кто его знает,— задумчиво отвечал он,— многое зависит от обстановки. Изменится она к лучшему, вер-

нусь поскорее, а нет, буду жить в родных краях, пока не прояснится.

— А если и дальше не будет ничего хорошего?

— Почему же не будет? — И Сакен рассмеялся.

Мне не пришелся по душе этот его смех, и я в упор смотрел ему в лицо. Вероятно, Сакену стало даже неловко, он согнал улыбку и спокойно заговорил:

— Это временные затруднения, Сабит. Расстояние от нашей партии до националистов, как от неба до земли. Нет между нами ничего общего. Дай срок, партия выбьет их из седла. Конечно, они все не исправятся. Разве что некоторые поймут. Ты должен знать, ведь они представляют угнетателей. Существуют баи, значит, существуют и националисты. Не будет баев, и они сойдут со сцены. И это время не так уж далеко.

Я и сам думал так. Конечно, когда-нибудь и классовой борьбы не будет. Но я-то сейчас страдаю от притеснений националистов, и мне надо находить выход из бедственного своего положения. Я попробовал все это объяснить Сакену.

— Говорил тебе в прошлом году, не женись. А ты... Говорил тебе, надо сначала закончить рабфак... Ну что ж. Помню я, ты рассказывал, родители у нее богатые. Отвези к ним жену на время. А сам учись.

Когда я передал жене совет Сакена, она расплакалась и твердила сквозь слезы: «Помешала тебе учиться, помешала». Понял я, горько ей будет жить у отца с матерью, не хочет она ехать в аул.

Теперь оставался только один человек, кому я мог поведать свои печали — директор рабфака Шейнессон. Еще до революции он участвовал в политической борьбе, стал коммунистом в 1917 году, а после демобилизации ему было поручено организовать Оренбургский рабфак.

Моему сближению с Шейнессоном помогла совместная партийная работа. Мы дважды избирались членами бюро партячейки. Секретарем у нас был Буденный, однофамилец Семена Михайловича, ветеран гражданской войны. Ему было тогда уже за тридцать. Частенько он мне говорил: «Ты — молодой, а я — старый. Ты уделяй больше времени партработе, а я буду напирать на занятия». Хорошим он был человеком, и я соглашался с ним. Работать в ячейке было нелегко. Большинство наших рабфаковцев прошло через гражданскую войну. Чувст-

вовали они себя уверенно. Давала знать о себе и их привычка к митингам и шумным революционным собраниям. Критиковали они открыто и жестко, не выбирая выражений, но отличались честностью и прямотой. Доставалось от них и Шейнессону. Но, покритиковав его как партийца, они подчинялись ему как руководителю рабфака. А он внимательно выслушивал их критику и охотно признавался в своих ошибках.

Вот с этим Шейнессоном я и поделился своими горестями и тревогами.

— В самом деле, трудненько тебе стало,— вздохнул он,— ты, пожалуй, езжай сейчас в родные края, устраивайся с семьей. Но помни, что летом тебе надо самостоятельно заниматься. Осенью вернешься и сдашь экзамены.

Не очень я был уверен в том, что сумею летом выкроить время для учебы. И хотя Шейнессон всячески успокаивал меня и обещал помочь, я понимал, что гладкая дорога нас не ждет.

Больше раздумывать было нечего, и мы с женой отправились в путь. Решил я на первых порах завезти жену не к ее родителям — она, как и многие молодые казахские женщины, стыдилась перед ними своей беременности, — а к своим родственникам. Сам я думал найти работу либо в Кзыл-Жаре, либо где-нибудь в близких аулах.

Снова замелькали знакомые станции — Кинель, Челябинск. Мы сошли на Лебяжьем, станции, самой близкой к нашему аулу. Один из родичей привез нас на пароконной телеге к Габбасу Мустафину. Продырявился войлок юрты, одна корова на всю семью, одна лошадь, никакой тебе овцы или козы. Но, соблюдая честь родича, Габбас не позволил мне отвезти жену к дяде Нуртазе или таким, как он, богатеям:

— Спокойно отправляйся в Кзыл-Жар, Сабит. Не оставлю твою жену голодной. Свои будут недоедать, а уж о ней позаботимся...

Отдохнув денька два у Габбаса, я продолжил свой путь в Петропавловск. Я не мог миновать Тонкерисскую волость, в которую вошли несколько мелких прежних. Председателем волисполкома был здесь Капез Мустафин, секретарем волкома партии — Шаймерден Бектурганов.

Прошлой осенью мы с ним поспорили в газете «Энбекши-Казах». Точнее говоря, на ее четвертой странице, которая еженедельно посвящалась комсомолу и называлась «Лениншил жас». Из этого приложения впоследствии возникла наша республиканская комсомольская газета, сохраняющая и сейчас свое прежнее название.

На одной странице в номере 33 был напечатан фельетон Шаймердена Бектурганова «Уши семидесяти пяти овец». В нем шла речь обо мне. Автор обвинил меня в том, что я легкомысленно провел лето в родных краях. Дескать, праздновал свою женитьбу, разъезжал по аулам, пировал на многих тоях и, как почетный гость, съел уши семидесяти пяти овец. Мол, где только не был Сабит. Но он не нашел времени побывать в волостных учреждениях и помочь их работе и после обильных угощений вернулся в Оренбург.

Через неделю, в номере от тридцатого октября, я ответил Шаймердену заметкой, названной «Демагогия». Я писал, что даже в кожаной суме — коржуне, приторочennом к седлу Капеза, нельзя было найти летом конторы волисполкома по той простой причине, что волисполкома не было еще и в помине. Я писал, что он был создан значительно позднее. Что касается Капеза, то он жаловался на меня, потому что в нем заговорило чувство родовой мести. Он не мог мне простить женитьбу на девушке, сосватанной за другого. Капез ввел Шаймердена в заблуждение. Поэтому и обвинения фельетона — несправедливые. Соли и перца в наших статьях было больше чем достаточно. И вот теперь мне захотелось встретиться с Шаймерденом.

Волком находился в ауле Уан, неподалеку от Кара-Томара, где происходили события, связанные с моей женитьбой и где по-прежнему жил мой тесть Кощигул. Встретил он меня не очень любезно. Когда я был членом КирЦИКа, он гордился мной и даже хвастался. Знайте, мол, зять у меня большой человек. А теперь, когда меня не избрали, с издевкой говорил:

— Недолго ты ходил в правителях. Пенка от супа годится только на один день. Как ты теперь кормить свою семью будешь? Знаю я твоего Габбаса — у него от бедности сухожилья выпирают. Поступишь ты на службу — хорошо. А нет — тяжело вам придется. Я подожду

немного. Но если ты в Қзыл-Жаре задержишься, заберу дочь к себе и не отдам, пока ты на ноги не станешь.

Таким невеселым был мой разговор с тестем. Зато встреча в волкоме с Шаймерденом Бектургановым оказалась неожиданно теплой и приятной. Он прямо смотрел мне в глаза, но порою мне казалось, что он чувствовал себя несколько скованным. Чтобы расположить его к откровенной беседе, я даже извинился перед ним и сказал, что был слишком резким и грубым в нашем газетном споре.

— Стоит ли об этом говорить, — отвечал Шаймерден,— спорщики чего только не наговорят друг другу. Я ведь тоже жалею, что не сдержал языка. Я не сразу понял, что Қапез меня натравил. Он крепко стоит за казахские обычаи. Но и его не стоит корить за это. Он совсем неграмотный, представления о политике не имеет. Вот только что смышленый, живой. Пусть пока поработает председателем, а на ближайших выборах мы его заменим. Нужен нам человек образованнее.

В волкоме было всего два канцелярских работника — секретарь и делопроизводитель. А из руководителей, кроме уже упомянутых мною Шаймердена и Қапеза, заведующим волостным земельным отделом работал Шугаип Башилов.

Қазахские аулы тогда еще не были оседлыми. Зиму они проводили в дерновых землянках, а летом выезжали на джайляу, оставляя зимовку без хозяина. Волостные работники тоже купили себе какую-то землянку, а весной за три рубля в месяц «сняли квартиру» — белую юрту Жакыба, сына Қошке. В юрте — и жилье, и контора. Мне рассказывал Шаймерден, что государство обещает выделить деньги, чтобы волостные организации смогли построить себе дома в удобном месте, неподалеку и от летних кочевий, и от зимовок. Словом, уже идет речь о волостном центре с конторой, жилыми домами, школой и больницей. Но, понятно, без помощи правительства всего этого осуществить нельзя. «Трудно нам работать при кочевом образе жизни,— жаловался Шаймерден.— Вот мы получили задание губкома готовить советских работников из среды местных батраков и бедняков. И средства для этого в губернии нашлись. Думали, думали, как же быть. Опять пришлось у баев арендовать две юрты и разместить там курсантов. Человек со-

рок собрали. Многие из них были неграмотными, нынче их немного подучили. Сейчас среди курсантов не найдется такого, кто бы не читал газет. Вот вблизи Қара-Томара и появился маленький новый аул, который здесь называют аулом волкома».

Еще я узнал, что в прошлом году в волости было всего три коммуниста, а теперь семнадцать. Шаймерден с гордостью говорил об этом.

— Но понимаешь, большинство из них кандидаты. Самое трудное для нас — рекомендации. Не могут же трое дать рекомендации всем семнадцати. Вот и лежат заявления, и не знаем, как быть.

— Может быть, ты, джигит,— обратился ко мне Шаймерден,— дашь рекомендации нескольким своим землякам?

Шаймерден рассказал мне и о батрачкоме, комитете батрачества, созданном несколько лет назад. Первое время дела у него были никудышними. Комитет почти не заключал договоров между баями и наемными работниками. А если и заключал, то не проверял их выполнение. На бумаге было написано одно, в жизни все продолжалось по-старому.

Так было, пока сюда, в приишимские края, не пришли вести, что в Туркестане создан союз Кошчи, отстаивающий по-настоящему права бедняков.

Весной 1925 года он возник и здесь, в Тонкерисской волости. К союзу Кошчи присоединился и батрачком.

Союзу повезло на председателя. Им был избран каркаралинский бедняк Ибрай Турегельдин, получивший крепкую рабочую закалку на шахтах Экибастуза и Караганды. Может быть, за то, что в его кожу въелась угольная пыль, а может быть, и за богатырский рост и черные волосы здешние баи наделили его прозвищем. Таскомыр — Каменный уголь, Асау кара — Черный строптивец и даже Косеу кара — Черная жердь. Подсмеиваться-то они над ним подсмеивались, но боялись пуще грозы.

Ибрай горячо принялся за дело. Он взял себе на заметку все зажиточные хозяйства волости, пользующиеся наемной силой. А таких было больше ста пятидесяти. Кошке, Альти, Сапэ, Курымбай и другие богатые баи держали каждый до десяти батраков. Теперь батраки

стали работать по договору, а в договоре точно указывались и продолжительность рабочего дня, и время отдыха, и еда, и обязательство выдавать рабочую одежду, и — это, конечно, главное — размеры и сроки оплаты труда.

Турегельдин умел заставлять баев безоговорочно выполнять каждый пункт договора.

Рассказывая мне об Ибрае Турегельдине, Шаймерден не жалел красок.

Ибрай, оказывается, был не только энергичен и настойчив. Он отличался яростной грубостью и любил, что называется, хамить. Во время дождя он врывался в байскую юрту, не снимая грязных сапог, и ему доставляло истинное удовольствие шагать по коврам и шелковым одеялам. Если он примечал свежее мясо в котле, то тут же бросал клич батракам и раздавал баранину кусками с ножа. Случалось, он брал на время байского коня, но не возвращал его в срок и старался вконец заездить.

— Я ему не раз говорил, что нельзя так делать,— сокрушался Шаймерден,— но разве он послушается. А если и попытается стать мягче, то хватит деликатности ненадолго. Но за тружеников он горой стоит, и они считают его добрым человеком.

Понемногу я начинал представлять себе Ибрая. И все-таки впечатления от личной встречи с этим воинствующим защитником бедняков и батраков внесли многие поправки в портрет, нарисованный Шаймерденом.

Да, это верно, он обладал богатырским телосложением и был, по крайней мере, в полтора раза выше меня. Да, нелегко было вынести тяжелый взгляд его больших глаз. Он смотрел на тебя исподлобья. И совсем не отличался воздержанностью в речи.

Но при всем этом он был очень доверчив и общителен. Он принадлежал к тем откровенным людям, про которых у нас в народе грубовато говорят: откроет рот, всего насквозь видно.

В тысяча девятьсот двадцать третьем году он поступил в школу ликбеза и научился казахской грамоте. С той поры он стал усердным читателем газет и журналов. И не только журналов. Попадалась ему книжка — он читал ее от корки до корки. Заполучал сборник стихов — стихи заучивал наизусть. Он при мне продекламировал на память чуть ли не весь сборник Сакена Сейфул-

лина «Асау тулпар». Ибрай подкупил меня тем, что знал наизусть и мою поэму «Вчерашний жалчи и сегодняшний жалчи». Стихи он не напевал, как обычно напевают акыны, а читал в задушевной разговорной интонации.

Ибрай накрепко вошел в мою память. Необычной биографией, резкими поступками, самобытным умом. Он — плод своего времени, своей среды. Ни в какие другие годы я его просто представить себе не могу.

Он никогда не стал бы самим собой вне того исторического отрезка времени, который именуется военным коммунизмом. Он не одинок, наш Ибрай. Многие, подобные ему, пришли из самой гущи трудящихся и оказались на виду. Их сознание еще недавно было темным. Но Октябрьская революция осветила им путь. И, еще не понимая, что их ждет на этом новом пути, они метнулись вперед, словно птицы на свет. Куда и зачем они идут, они узнали позднее. Их духовный рост был стремительным. Они стали сознательными борцами социалистической эпохи. Но не у всех у них была одинаковая участь. Некоторые отстали, не сумели овладеть культурой и приспособиться к иным условиям. Они били себя в грудь, пили и, в конце концов, оказывались не на гладкой дороге, а где-то в боковом тупике. Другие погибали так, как шолоховский Нагульнов.

Я знал и таких, которые, лишившись портфеля, уже не смогли вернуться к прежней своей скромной профессии и чуть ли не нищенствовали.

Не знаю, как дальше сложилась жизнь Турегельдина, хочу надеяться, что он не сошел с круга.

А воспитанники Ибрая Турегельдина старательно учились на курсах. Многих из них я хорошо знал, тем более приятной были мне встречи с ними.

И это было лишь сотой долей работы, которую проводил волком моей родной Тонкерисской волости. Я так подробно вспоминаю эти, в сущности, небольшие дела потому, что это были первые шаги партийных комитетов, ставших потом крупными организациями в аулах и районах. Во многих тогдашних волостях Казахстана происходило нечто подобное.

Я недолго пожил в родных местах и вскоре, отыскав попутчика, отправился в Кзыл-Жар.

В первый же день приезда зашел в губком партии и встретился с первым секретарем Гримблатом. Смуглый латыш, кудрявый и бородатый, тепло и внимательно выслушал меня.

— Ты здешний уроженец, ты здесь вступил в ряды партии,— сказал Гримблат,— как же мы можем не устроить тебя на работу. В печать хочешь — и в печати найдем. Правда, у нас всего одна газета. Штаты, кажется, заполнены. Но все равно что-нибудь придумаем.

Он сразу вызвал по телефону временного редактора газеты Жанузака Джанибекова.

Пришел Жанузак, сразу узнал меня. Видимо, из уважения к Гримблату он тут же сделал лестное предложение:

— Секретарь редакции у нас слабоватый. Его надо бы куда-нибудь перевести, а на его место определить товарища Муканова.

Гримблат согласился:

— Хорошо. Пока пусть будет по-вашему, а потом посмотрим.

Минуя отдел пропаганды и агитации, Гримблат пригласил к себе заведующего орготделом, полного достоинства, широкоплечего Нургали Кодаленко. В придуманной им самим фамилии он сочетал свой казахский корень с украинским окончанием, а на внешнем его виде лежал отпечаток и суровости и щеголеватости. Слышал я как-то, что Кодаленко был одним из самых сильных перьев в правом крыле Смагула Садвокасова.

Но и Нургали не стал мне чинить никаких препятствий, и на ближайшем заседании бюро меня назначили ответственным секретарем газеты «Бостандык туы» («Знамя свободы»).

Я расскажу о двух своих редакторах, чтобы читатель яснее представил себе обстановку в губернской казахской газете той поры.

Жанузаку Джанибекову было тогда лет около сорока. Кажется, он уже начинал лысеть, но белое безбородое лицо было очень моложавым.

Хотя Жанузак родился в бедняцкой семье, он полу-

чил хорошее по тем временам образование в татарской школе, именовавшейся медресе Хасана Панамарова. Когда начались волнения 1916 года, Жанузак по годам своим подлежал мобилизации на тыловые работы, но сумел их избежать. Ему помог в этом знавший его раньше Миржакип Дулатов. Миржакип был секретарем редакции газеты «Қазах», выходившей в Оренбурге. Он-то и устроил Жанузака газетным экспедитором. В годы революции, когда в Оренбурге подняла голос алаш-орда и создавалась алашская армия, Дулатов стал ее комиссаром, а Джанибеков — каптенармусом. Армия алаш под Тургаем была разгромлена Красной Армией. Разбежались солдаты, разбежались и офицеры. Джанибеков спасался в родных краях — в Кзыл-Жаре. Когда здесь, в Петропавловске, осенью 1919 года, была установлена Советская власть, Жанузак сделался ее горячим сторонником, работал в области просвещения, а через год вступил в Коммунистическую партию. Сказался ли тут алашский период его биографии, а может быть и по характеру своему, но Жанузак и в те годы был, на мой взгляд, непостоянным человеком. Мусульманское образование, вероятно, помешало ему своевременно овладеть русским языком. Помню, в 1921 году, во время белогвардейского восстания, мы были с ним рядовыми бойцами в одном отделении отряда ЧОН.

...Работалось мне в первые месяцы в газете неплохо. Вскоре после того, как я стал секретарем, по непонятным для меня причинам, постоянным редактором газеты был назначен Зейнулла Торегожин, служивший прежде в губернском отделе торговли. К печати он никакого отношения не имел. Обычный, как говорится, «чиновник из учреждения», только половчее других. Отличался он завидной способностью произносить на собраниях длинные речи — и по-казахски, и в особенности по-русски. К тому же он был членом бюро губкома. Сын одного из аткаминеров, приспешников местных баев, он, как я слышал, был убежденным сторонником Садвокасова, вероятно, поэтому Нургали Кодаленко и выдвинул его на пост редактора.

Мне даже приходила в голову мысль, что Торегожина поставили в качестве контролера надо мной, потому что было известно отрицательное отношение ко мне Садвокасова. Но с каждым днем я убеждался, что никакой

контролер из Торегожина не получится. Джанибеков доверял мне, а все статьи, подготовленные работниками редакции, читал я. Торегожин интересовался преимущественно хозяйством и утверждал макеты. Очень редко он заставлял Жанузака читать вслух какую-нибудь статью, а чаще всего просто расписывался на первой странице макета. Словом, редактор совсем не беспокоил своих сотрудников, а сотрудники старались не беспокоить редактора.

Жил я в Петропавловске не хуже, чем в Оренбурге. Правда, коммунальных квартир было немного, их занимали руководящие работники, а все остальные снимали частные квартиры. Снял и я комнату в большом деревянном доме имама казахской мечети Мяхди Агисова. Платил я ему червонец в месяц, по тому времени это цена двух баранов. Имам был не только образованным человеком, но и в какой-то мере прогрессивным. Он знал многие восточные языки, бойко говорил и по-русски, выписывал много газет. Мяхди возглавлял местное отделение мусульманской организации, которая боролась против английского империализма. С ним было всегда интересно беседовать. Словом, я устроился неплохо. А когда после моего письма Габбасу Мустафину приехала из аула жена, мы зажили и совсем хорошо. До поры до времени, правда.

Хотя газета выходила три раза в неделю, работать приходилось много. И сотрудники были неопытными, и авторы из местной интеллигенции неохотно писали нам. Иногда необходимость заставляла публиковать статьи специалистов. Трудно они нам доставались. Одни вообще не умели писать, другие писали так, что при всем желании нельзя было их печатать, а третьи приносили статьи на русском языке, и надо было переводить их на казахский.

Ставший замом Жанузак Джанибеков стремился во всем угодить новому редактору Зейнулле Торегожину, а Зейнулла требовал одного — «смотри в оба!». И Жанузак смотрел! Он придирался к каждому материалу, идущему в номер, но сам ничего не мог ни посоветовать, ни добавить. С ним, как со старшим по возрасту и замом, никто не спорил, не пререкался. Однако часто шли на невинную хитрость: переписывали статью заново, ничего в ней не изменяя, и почтительно приносили ее Жанузаку.

Вот, мол, читайте, исправили, как вы просили. Он просматривал и радостно восклицал: «Хорошо! Теперь другое дело! Я же вам говорил...»

В связи с этими странностями Жанузака редакционный работник поэт Мажит Даулетбаев сочинил эпиграмму:

Сабир ушел, пришел другой,
С большою лысой головой.
И головы морочит нам,
Не зная, что же хочет сам!

Мажит, к слову сказать, был моим давним товарищем. Он родился здесь, в Қзыл-Жаре, и мать его была татаркой, а отец Даулетбай Шикы — казах, темный человек, не видевший дальше своего аула. Даулетбай приходился родным племянником знаменитому акыну середины XIX века Орымбаю Кертаги, Орымбаю из Кокчетава. Свою способность к стихам Мажит называл наследственной.

Даулетбай работал мясником на городской бойне и оставил в наследство Мажиту небольшой двухкомнатный домик, построенный на трудовые рубли. Когда умер отец, Мажит был совсем мал. Семье пришлось туго. Мать не была приспособлена ни к какой другой работе, кроме забот по дому. Скота у них не было, имущества тоже. Домик быстро состарился, скособочился, осел на прогнившие нижние бревна. Удивляюсь, как только учился Мажит. Выручало разве то, что после уроков он шел к татарским купцам, и те порой доверяли мальчугану лотки с товарами.

Вырос Мажит несуразным, кривоногим, с непропорционально большой головой. Он очень походил на отца, но глубокие светлые глаза достались ему от матери-татарки.

Он не только получил среднее образование в татарской школе, но научился хорошо говорить, читать и писать по-русски. Очевидно, у него были незаурядные способности и отличная память. Он знал наизусть стихи многих татарских поэтов. Лет тринадцати-четырнадцати он и сам начал писать стихи. Естественно, на татарском языке. После Октябрьской революции он стал пробовать писать и по-казахски. Тут ему пришлось нелегко. Запас казахских слов у Мажита был очень ограничен, если не

сказать беден, да и сам язык не отличался правильностью. Как это ни скрывал Мажит, его выдавало неточное употребление заученных им наизусть старых казахских слов.

Но это не останавливало Мажита. Должно быть, ему и заработать хотелось побольше — жил он небогато, да и стремление к литературе было неудержимым,—так или иначе, но писал он очень много. В разных жанрах. Больше всего, пожалуй, казахские стихи и фельетоны. Он пользовался тем, что и требования к литературе тогда были невысокими, а стихов и рассказов не хватало. В чем особенно преуспевал Мажит, так это в пьесах. Они быстро выходили из-под его пера и охотно ставились на клубных сценах. Плохая пьеса после одной-двух постановок забывалась. Мажит тут же поставлял новую. Некоторые пьесы его были довольно удачными. Например, пьеса «Сорпакпай» шагнула за пределы Петропавловска и не без успеха прошла в клубах других городов республики.

Плодовитым автором был Мажит. Увлекали его и литературные переводы, печатавшиеся и в газетах, и в журналах. В его переводе на казахской сцене впервые были поставлены «Гамлет» Шекспира и «Ревизор» Гоголя. Много он переводил русских классиков и современных революционных писателей.

Свои оригинальные произведения и переводы он подписывал по-разному — «Мажит», «Мажит Даулетбаев» и еще «Мажит Мурийский».

— Что это за Мурийский? — спросили мы его.

— А это значит Нуринский! Ведь отец мой приехал с берегов Нуры.

Казахи считали, что татарский язык отличается остротой, язвительностью. В совершенстве знавший его Мажит и в казахских своих произведениях был именно таким. Да и характер у Мажита был особенный — и ломкий, и острый, как стекло. Хлебом его не корми — дай поспорить. Кажется, я никогда еще не встречал такого большого задиру.

Несмотря на эти странности, Мажит был, в сущности, очень честным человеком. Он не сплетничал, не нашептывал начальству, не носил камней за пазухой и любую правду говорил прямо в лицо. Он не был членом партии, но принадлежал к числу идейных советских людей. В газете «Бостандык туы» за двадцатые годы мож-

но обнаружить очень много его стихов, фельетонов и статей, высмеивающих и разоблачающих купцов, аульных и городских воров, двурушников-властолюбцев. Он был убежденным противником колониализма и национализма и много писал на эти темы. В стиле своем он хотя и подражал временами националистическому поэту Магжану Жумабаеву, но не останавливался перед тем, чтобы высмеивать и его.

Во время моей работы в газете «Бостандык туы» там был еще один занятный человек, о котором мне хочется немного рассказать. Это Садвокас Джандосов. Он окончил в городе Троицке татарскую среднюю школу —медресе «Расулия», до революции основал во многих аулах татарские школы, учительствовал сам, а когда в Казахстане установилась Советская власть, пришел вначале в газету «Кедей сёзэ» («Слово бедняка»), выходившую в Омске, а затем с 1920 года — в нашу газету «Бостандык туы». Смирный, тихий человек, полная противоположность Мажиту, он молча занимался своим делом в редакции и типографии. Садвокас прекрасно знал грамматику и синтаксис казахского языка и мастерски владел газетной техникой. Последняя читка номера целиком доверялась ему. Он не уйдет из типографии, пока не убедится, что в газете ошибок нет. И, возвращаясь с дежурства под утро, он все равно приходил на работу без опозданий.

Выпускающим у нас был Карим Балтабаев, полутатарин, полуказах. И хотя в разговорной речи он часто употреблял татарские слова, в правке казахского текста он, пожалуй, не уступал Садвокасу Жандосову. Хорошо понимал Карим старинные казахские слова, совсем незнакомые нам.

Словом, мы были совершенно спокойны за язык нашей газеты, зная, что у нас есть Жандосов и Балтабаев.

В тот год в газетах появилось новое выражение — тілші — корреспондент. Так стали называться люди, постоянно пишущие в газеты из своего аула или города. Зарплаты у них не было, получали они только небольшой гонорар. В каждом городе, в каждой волости нашей Акмолинской губернии был у нас такой тильши — наш корреспондент. Обычно ему посылалось удостоверение. Предприятия и учреждения по этому удостоверению были обязаны сообщать корреспонденту все необходимые

факты. Партийные и советские органы строго наказывали тех, кто пытался преследовать тильши.

Помнится мне, тогда, в 1925 году, тильши—корреспондентов в газете «Бостандык туы» было больше ста. Среди них выделялся Жакан Сыздыков, здравствующий и ныне известный наш поэт. А тогда он работал скромным финансовым агентом в Каракоинской волости Атбасарского уезда. Вместе с информациями он присылал нам много стихотворений. Под одними стояла подпись: «Жакан», под другими «Сакан». Позднее я узнал, что Сакан—это имя жены поэта, но все стихи принадлежали ему, Жакану. Из Ишимской волости, из Атбасара часто приходили к нам письма Мукаша Мажикеева, теперь одного из наших старейших журналистов. Он, помимо заметок и статей, отправлял нам много своих записей устного народного творчества. Некоторые из них мы публиковали в газете.

В конце 1925 года был созван губернский съезд тильши, на нем впервые собрались вместе многочисленные представители растущего рабселькоровского движения.

На съезде один из докладов был посвящен проблемам развития молодой казахской советской литературы, объединения ее сил. Доклад поручили сделать мне. В области литературы съезду предшествовала небольшая подготовка. Еще в июле на страницах республиканских газет было напечатано постановление бюро крайкома партии Казахстана о создании Союза пролетарских писателей Казахстана (КазАПП). В постановлении указывалось, что в оргбюро Союза входят Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин и Абдрахман Байдильдин. Оргбюро приняло платформу российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). Она была опубликована на казахском языке. В эти же месяцы вокруг газеты «Бостандык туы» стала объединяться со всех городов и сел Акмолинской губернии молодежь, пробующая свои силы в художественной литературе, преимущественно в поэзии.

О Мажите Даулетбаеве и Жакане Сыздыкове я уже рассказывал. Хочется назвать еще несколько имен. Это слушатель Петропавловской совпартшколы Галым Малдыбаев, ставший потом одним из наших видных поэтов. Это мой сокурсник по рабфаку Ельжас Бекенов, зарекомендовавший себя впоследствии профессиональным прозаиком и критиком. Только-только начинал тогда писать

учащийся Петропавловского педагогического техникума, а теперь известный драматург Шахмет Хусаинов. Уже выступал с фельетонами и рассказами Абдрахман Айсаргин, выросший в крупного казахского журналиста. Первые свои произведения написал Абдулла Садвокасов, погибший в конце тридцатых годов в расцвете своих сил.

Осенью 1925 года в нашем городе один за другим стали возникать литературные кружки, обычно собиравшиеся по субботам. Кружком при совпартшколе руководил я, в педтехникуме с литературной молодежью занимался Мажит Даулетбаев. В казахской средней школе «Актас» старшеклассники были в литкружке, созданном завучем этой школы, преподавателем языка и литературы Байбатыром Ержановым. Он и до революции широко печатался в журнале «Айкап» и газете «Қазах», выпустил даже сборник своих стихов под названием «Встань, казах!», сотрудничал в нашей газете и писал пьесы для клубной самодеятельности.

Губком партии пошел навстречу начинающим писателям и разрешил выпускать два раза в месяц литературное приложение к газете «Бостандык туы». Несколько номеров приложения до сих пор хранятся в моем архиве. С его выходом стихи и рассказы дождем полились в редакцию. Скоро нам стало известно, что и в Акмолинске, и в Кокчетаве, и в Атбасаре,— словом, едва ли не во всех городах нашей губернии появляются литературные кружки. Это были свежие ростки молодой казахской литературы. На съезде корреспондентов возникла мысль, что и в нашем губернском городе нужно создать литературный центр. По моему докладу было принято постановление о литературной организации и избрано ее бюро, в которое вошли Мажит, Ельжас, Шахмет, я и представители от литературных кружков совпартшколы, педагогического техникума, воинского гарнизона и даже работников типографии.

И литературные кружки, и губернское бюро после съезда корреспондентов работали горячо, с накалом. Редакционная наша жизнь по-прежнему была деятельной и увлекательной. С большой радостью я участвовал и в литературных делах, и в газетной работе. Настроение у меня было приподнятое. Душевному моему подъему помогало еще одно, важное для меня событие.

Осенью появился на свет мой первый сын. Тревожными были дни ожидания. Казахи говорят про беременную женщину — одна нога у нее на торе, другая в могиле. Иначе сказать, будущая мать находится между смертью и жизнью. Мое беспокойство возрастало с каждым днем приближения родов. Что будет с женой, думал я. Что будет с ребенком?

Я и подростком был бала-джанды, то есть человеком, любящим детей. Оставшись сиротой, без крова, я и в чужих юртах любил качать детские колыбели, возиться с ребятишками, играть с ними. И людям, должно быть, нравилось это. Ведь не ради корысти, не ради жирного куска мяса или мелкой лести родителям ласкал я ребятишек. Нет, меня тянула к ним искренняя любовь. И в ауле, и в станицах, когда я батрачил у богатых казаков. Однажды меня даже побили за это. В Екатериновке — мы, казахи, называли ее Кутырлаган — я работал у Ивана Севастьянова, смуглого черноволосого казака. Следуя своей привычке переиначивать имена, казахи окрестили Севастьянова Мальке, а его брата Николая — Кольке. Хорошо я их помню — и Мальке, и Кольке. Братья имели офицерские чины, бывали станичными атаманами. Оба крепко выпивали, буянили, а при случае и дрались. Проделки их оставались безнаказанными. Что спросишь с богатых казаков, у которых к тому же много родственников? Братья Севастьяновы свободно говорили по-казахски и считались тамырами — приятелями многих баев и биев. На своих резвых скакунах они состязались в аульной байге и частенько оказывались победителями. Они любили жирное конское мясо, щедрое угощение и сами никогда не скупились.

Я очень привязался тогда к сынишке Кольке — Банке, как легко догадаться — Ваньке. Был он таким пухленьким, симпатичным, кудрявеньким. Мне он казался моим младшим братишкой. Вся моя забава, когда я отдыхал, а его родителей не было поблизости,— взять его на руки, полюбоваться смородинками-глазками, расцеловать его. При родителях я бы не посмел этого сделать. Разве они позволили бы мне, киргизу, да к тому же батраку, которого они и за человека-то не считали, взять даже на руки свое дитя.

Однажды, когда я играл с Ванькой, откуда ни возь-

мись появился его отец и выпорол меня, не слушая жалобных причитаний сына.

И все-таки я продолжал нянчиться с моим любимцем.

Представьте теперь, с каким радостным нетерпением я, любивший и чужую ребятню, ждал появления на свет собственного ребенка.

По издавна сложившимся обычаям отец больше радуется сыну, чем дочери. В то время и я был по своей психологии таким же казахом и страстно хотел, чтобы у нас родился сын.

В течение нескольких дней я не знал ни сна ни отдыха и торчал у ворот городской больницы на Ямской. Я уже устал ждать, подкашивались ноги, но тут появилась акушерка и улыбнулась мне: «Сын!»

В эти минуты я понял смысл выражения: «От радости сердце бушует».

И на работе трудно, и дома беда

Он пахнет, мой малыш, как мед.
Он слаще меда для отца.
Меня усталость не берет,
Когда держу я первенца.
Пускай тяжел степной мой труд,
Но руки с ним не устают.

Кенен Азербаев

Моего мальчика назвали Арыстаном. Я не мог от него оторваться, все притягивало меня к нему. Каждое его движение казалось мне интересней всего на свете. Сколько я бы ни работал, я не чувствовал усталости, потому что он был рядом.

А работать приходилось мне много, и обстановка у нас была довольно сложной.

Я уже говорил, что у руководства в нашем губернском городе находились Нургали Кодаленко и Зейнулла Торегожин, сторонники Садвокасова. Таким же садвокасовским тавром был отмечен и председатель Акмолинского губисполкома Мукаш Орымбаев. Противники садвокасовцев окрестили их «святой троицей».

В первые дни моей работы в «Бостандык туы» я несколько опасался «святой троицы», а потом убедился, что больших оснований для беспокойства нет. Нургали Ко-

даленко далек от меня, и если мне надо обратиться в губком, я могу пойти к заведующему отделом агитации и пропаганды Дейнего. Связь с руководством губкома осуществлял заместитель редактора Жанузак Джанибеков. Что касается Зейнуллы Торегожина, то его вмешательство в редакционные дела ограничивается подписью в конце номера газеты: «Ответственный редактор». Вначале он хоть интересовался макетами, а позже и не смотрел их. «Вы уж, пожалуйста, выпускайте сами», говаривал наш редактор. Когда Джанибеков заболевал, а зимой он часто был подвержен простудам, я чертил макет очередного номера и нес его к Торегожину. Иногда он делал вид, что интересуется макетом, спрашивал, что к чему, но чаще всего равнодушно говорил: «Ладно!» или отсылал меня домой к больному Джанибекову. Словом, трудно было заподозрить Торегожина в излишней активности. Одно лишь название «садвокасовец». Впрочем, и председатель губисполкома Орымбаев был далек от общественных забот. Замкнутый кабинетный работник, человек с тяжелым характером — достаточно было увидеть его холодное лицо, — он был, пожалуй, еще равнодушнее нашего редактора.

В одном лишь преуспевала «святая троица» — они наводняли и губернские, и уездные учреждения своими родичами, земляками и знакомыми. Торегожин повсюду расставлял атбасарцев. Орымбаев и Кодаленко — семипалатинцев. Среди них были и алаш-ордынцы, и байские сыновья. Но что я мог сделать в то время?.. Хоть бы уж мне не мешали работать в газете.

И должен сказать, работал я с увлечением.

Так и протекала моя жизнь. И в редакции хорошо, и дома весело. Прихожу с работы, ждет меня забава и радость — мой Арыстан. Он растет здоровым, пухлым мальчишкой, и кажется мне самым красивым на свете. Я просто души не чаял в моем Арыстане...

Но едва только все у меня успело наладиться, как снова начали надо мною собираться тучи.

Весною 1926 года я ушел из дома муллы Мяхди Агисова. Случилось это вот как: вместе со мною у Мяхди жил мой ровесник джигит Сары Тельбаев. Собственно, он был работником муллы. Еще в голодный двадцать первый год Сары приехал в Петропавловск из Жана-Арки и батрачил то у одного, то у другого хозяина.

У муллы ему жилось неплохо. Мулла его одевал и сытно кормил, а Сары, здоровенный парень, ухаживал за коровой и лошадью, топил печи и носил воду. Для Сары это не составляло никакого труда, а проехаться с муллой на санках только приносило ему удовольствие. Короче говоря, Сары не уставал от работы. Но вот Сары совершил поступок, который мулла ему не простил.

Дело в том, что у Мяхди была младшая жена — токал, лет на двадцать моложе мужа. Сары посматривал на нее, а она — на сильного джигита. Однажды мулла застал их в постели. Мулла Мяхди, тоже не обделенный силой, избил Сары и выгнал его из дома. С тех пор Мяхди стал подозрительным. Пришлось уехать и мне из этой теплой уютной квартиры. Выбора у меня не было, я поселился с семьей в ветхом домишке старика, которого все называли мельником Елюбаем, хотя он никакого отношения к мельнице не имел.

Стены этого домишки настолько прогнили, что даже смазанные глиной и снаружи, и в комнатах не спасали от холода. В сильные петропавловские морозы они промерзали: днем там не усидишь без шубы, ночью можно спать только под толстыми одеялами.

В один из таких дней жена сходила на базар, изрядно замерзла, не смогла согреться дома и слегла с высокой температурой. Сразу положить в больницу было трудно: больниц в городе тогда не хватало. Не удалось в тот же день вызвать и врача. Когда я, наконец, привел к жене старого доктора Купицкого, ей было уже совсем худо. Она просто задыхалась от кашля. Купицкий отвел меня в сторону:

— В роду у нее кто-нибудь болел туберкулезом? — спросил он.

Я сказал, что ее мать болеет чахоткой.

Купицкий покачал головой:

— Ничем не могу утешить вас. Похоже на скоротечную чахотку. Положим в больницу, но ручаться ни за что не могу...

Жене не стало легче. Я не знал, что мне делать. Бегу на работу, потом в больницу, а дома заливался плачем мой Арыстан, отнятый от груди...

Но беды не приходят в одиночку. В середине апреля секретарь губкома Гримблат уехал отдыхать, за него остался Нургали Кодаленко. Вот тут он и показал свои

коготки. Однажды он вызвал меня к себе. С надменным видом сунул он в мою протянутую руку кончики пальцев и с места в карьер спросил:

— Скажи, ты хорошо знаешь партийные решения? Пленумов, съезда?

— Знаю,—ответил я, не понимая еще, куда он клонит.

— А о таком лозунге партии ты слышал: «Лицом к деревне»? Если сказать по-казахски — «Лицом к аулу!» Ты ведь в газете работаешь. Должен понимать.

Понимать-то я понимал, но мне было неясно, почему именно об этом говорил со мною Кодаленко.

А он продолжал наседать:

— К аулу надо повернуться лицом. Кадров казахских у нас не хватает для посылки на места...

Теперь мне уже становилось яснее, куда струится дымок его слов. И я напрямик спросил:

— Так что же вы мне предлагаете?

— Ты еще спрашиваешь... Мы отправляем многих губернских и уездных ответработников в волости и аулы. Вот и тебя хотим послать.

Я приготовился сопротивляться:

— А куда же?

— В ближние волости могут выезжать и те, кто работает в городе. Уж если мы посылаем, так подальше! Приходилось тебе слышать о таких местах, как Улутау или Кшитау. Что ты на это скажешь?

Еще бы не слышал! Это были самые отдаленные волости. Километров тысяча от Петропавловска. А до самого близкого к ним города Атбасара, по крайней мере, пятьсот. Злоба закипала во мне. И когда Кодаленко, бросив загадывать загадки, сказал яснее ясного, что решил меня послать именно туда, я наотрез отказался.

— Это почему же, товарищ Муканов?

Сухой ехидный тон Кодаленко не предвещал ничего хорошего. Но у меня еще теплилась надежда, что он по-человечески сумеет разобраться в бедственном положении моей семьи, и я ему коротко рассказал о болезни жены и моем Арыстане.

— Я верю тебе,— спокойно произнес Кодаленко, однако взгляд его по-прежнему был неприязненным. — Но кроме семейного долга, есть еще общественный, партийный долг. Решениям партии подчиняется каждый большевик. Я слышал о тебе как о преданном партии чело-

веке. Партия у нас — это губком. И если ты против губкома, значит, ты против партии. Товарищ Сабит Муканов, ты ведь здешний, коренной. Тебе известно, что у кедеев, особенно в дальних аулах, сознание еще не проснулось. Кто же их разбудит, если не такие, как ты? Значит, надо прекратить разговорчики о семейном положении и отправляться в волость без всякой задержки.

— Нет, товарищ Кодаленко! Пока жена в больнице, пока ребенок без присмотра, никуда я не отправлюсь.

Он разъярился:

— Ты забыл, с кем разговариваешь!

— Нет не забыл,— уже без всякой выдержки отвечал я.— Разговариваю с заведующим орготделом губкома, с его секретарем. Он временно исполняет обязанности первого секретаря.

— Да! Именно с секретарем! — закричал Кодаленко, вонзая в меня негодующий взгляд.— Кто ты такой, собственно говоря. Почему ты не считаешься с решениями партии? Партия не может терпеть анархии. Клади партбилет на стол или отправляйся и выполняй партийное решение.

— Это не партийное решение! — возмутился я.

— А чье же? — тихо проговорил Кодаленко, вскочив с места и задыхаясь от злобы.

— Решение Кодаленко, садвокасовца Кодаленко.

Я не ожидал, что эти мои слова произведут такое действие. Кодаленко молчал. От раздражения, от гнева он ничего не мог произнести. А может быть, сразу и не нашелся.

Воспользовавшись долгой паузой, я бросил ему в лицо: «Вот мой ответ!» — и вышел из кабинета.

Немного успокоившись, я подумал, что и в раздражении поступил правильно. Недавно к нам в Петропавловск приезжал Смагул Садвокасов. До меня даже дошел слух, что он в беседе с Кодаленко выразил недовольство: зачем, дескать, взяли Муканова на газетную работу. И еще я подумал, что влияние Садвокасова сейчас усилилось. Мог ли Кодаленко, и прежде считавшийся своим человеком у Смагула, ослушаться его теперь. Вполне возможно, именно Садвокасов предложил отправить меня в Улутау. Но это вовсе не означало, что я перед Кодаленко должен держать руки по швам.

...Прошло всего несколько дней. Несчастье свалилось

на меня. Старый врач оказался прав. Жену мою не спасли и в больнице. Умерла. Около двух лет я прожил с ней в дружбе и согласии. Я похоронил жену. Печально и смутно было на душе. Не хотелось думать ни о работе, ни об отъезде. Но на другой же день после похорон рассыльная губкома принесла мне пакет. Меня вызывали на заседание бюро. Что ж, пришлось подчиниться.

На бюро вся «святая троица» была в сборе.

— Мы знаем о смерти твоей жены, товарищ Муканов, сочувствуем тебе, —говорил Кодаленко. — Ты оставь ребенка кому-нибудь из своих близких и выезжай в Атбасарский уезд, в Улутау. Бюро посылает тебя туда председателем волисполкома.

Я понял, что сопротивляться дальше нельзя:

— Хорошо, я согласен. Сразу же дам телеграмму, чтобы выехали родители жены и забрали ребенка. И тогда отправлюсь в Улутау.

— Нет, так не пойдет! — Глаза Кодаленко опять стали такими, как тогда в кабинете.— Почему не пойдет, спрашиваешь? Да потому, что нельзя так сопротивляться решению партии. То жена, то ребенок.

— Товарищ Кодаленко, но кому же я его оставлю?

— А я откуда знаю. Кзыл-Жар — твой город. У тебя тут много и родственников, и знакомых. Оставляй ребенка и немедленно выезжай.

Как я ни доказывал Кодаленко, что у меня нет таких людей, он и слышать ничего не хотел.

— Распущенный ты все-таки человек! Секретаря губкома не ставишь ни во что, решению бюро не подчиняешься.

— Подчиняюсь, — перебил я Кодаленко. — Готов ехать в Улутау. Некому мне здесь оставить ребенка. Родители жены откликнутся быстро. Буду спокоен я за судьбу сына, тогда и выеду.

— Нет, ты отправишься немедленно! — закричал Кодаленко.

Я молчал, спорить дальше все равно не было смысла.

— Отправишься ты или нет? — В голосе Кодаленко звучало некое торжество. Молчишь, мол! Значит, нечего тебе больше сказать. Сдался, брат!

А я и тут промолчал.

Мое молчание стало раздражать, наконец, Кодаленко:

— У тебя что, язык отнялся?

За меня ответил Зейнулла Торегожин.

— А что ему говорить? Надо принять, товарищи, это предложение. Не выполнит он его — будет видно.

Кодаленко обвел глазами членов бюро:

— Может быть, есть другие предложения? Нет, говорите? Так и запишем.

Только я вышел из губкома, как сразу дал две телеграммы: одну родителям жены, другую — Гримблату: он, по моим расчетам, должен был в это время находиться в Кзыл-Орде. Из нашей столицы ответ пришел очень скоро: телеграмма была направлена в два адреса: в губком Кодаленко и мне. Под телеграммой, к моему удивлению, стояла подпись не Гримблата, а Голощекина — секретаря Казкрайкома. Текст ее гласил: «Прекратить дело об отправке Муканова в аул тчк Рассмотреть этот вопрос после приезда Гримблата». Я догадался, что телеграмма, конечно, была отправлена по просьбе Гримблата. Откуда бы мог узнать Голощекин подробности моего конфликта.

С этой телеграммой я снова пошел в обком. Кодаленко уже не кричал на меня, он был сдержанным и тщательно скрывал свое раздражение.

— Да, да! — говорил он как можно равнодушнее.— Телеграмму эту и мы получили.

— Что же вы теперь предложите мне делать? — осторожно спросил я.

— Что тебе делать? Ждать! — Кодаленко по-прежнему разговаривал сдержанно и неискренне, но под конец все-таки выдал себя.— Ведь это ты послал телеграмму в крайком? Что ж! Крайком может склонить все бюро к твоим ногам. И тогда я уйду из губкома. А нет — ты выполнишь решение. Время покажет. Посмотрим.

— Посмотрим! — повторил я вслед за Кодаленко.

Наступила весна, приближался День печати — 5 мая. Я решил воспользоваться этой датой и разоблачить садвокасовцев. Для этого я задумал коротко изложить историю казахской периодической печати и показать корни садвокасовщины. Я хорошо представлял себе два направления печати — байско-националистическое и демократическое. В 1905 году в Петербурге вышла первая газета на казахском языке «Серке». Газетой руководил тогдашний член кадетской партии Алихан Букейханов.

Позже, в 1913 году, в Оренбурге выходила газета «Казах». Ее редактировали Байтурсунов и Дулатов, впоследствии тоже лидеры алаш-орды. А ведь Садвокасов был не только их учеником. Связанный узами родства с Букейхановым — он был женат на его дочери — Смагул всячески помогал алаш-ордынцам.

Обо всем этом я и написал в своей статье. Я писал ее в дни, когда из аула ко мне приехал старший брат жены Тохсанбай вместе со своей супругой Зейнеп. Еще когда жена лежала в больнице, мне пришлось взять домработницу. Звали ее Марфой. Это была душевная, спокойная женщина, чистюля и заботливая няня. За нашим Арыстаном она ухаживала как за родным. Поэтому сын рано стал на свои пухленькие ножки, скоро стал делать первые шаги. И в лопотанье его уже угадывались слова — «апа, ата, тете...» Ему показывали карточку матери. Кто это, Арыстан? Апа! Он называл Марфу тете, а меня — ата. Завидев меня, тянул ко мне свои ручонки. Такой он игрун был, такой всегда веселый...

С приездом Тохсанбая и Зейнеп и я, и Марфа загрустили: жалко было расставаться с Арыстаном, а не отдать — нельзя. Скоро должен был возвратиться Гримблат, скорее всего меня куда-нибудь переведут.

Оставался единственный выход: отдать ребенка Тохсанбаю.

Настроение у меня было плохое. Именно в эти дни я готовил против садвокасовцев статью.

Чтобы продвинуть статью, мне пришлось проделать настоящую конспиративную работу.

Вначале я решил обвести вокруг пальца нашего осторожного заместителя редактора Жанузака Джанибекова. Я спросил его, он ли будет читать эту ответственную статью, или лучше показать ее редактору. Жанузак боялся даже самого слова — «ответственная».

— Ой-бай, милок,— залебезил он,— лучше покажи редактору, пусть сам прочтет и подпишет.

Сердце у меня замирало, когда я входил в кабинет к Зейнулле Торегожину. А вдруг осечка? Редактор, как и обычно, выглядел очень занятым. Кажется, он готовился проводить заседание. Едва я заговорил о статье, как он меня перебил: «А Джанибеков видел?» Я сказал, что нет.

— Слушай, тут все правильно написано?

— По-моему, все правильно,— отвечал я, глазом не моргнув.

— Ладно, давай тогда в набор.

— Ваша подпись нужна, — настаивал я. — Вы прочитайте статью. Понравится она вам, подпишите.

— Некогда мне, понимаешь, не-ког-да!

— Но я не могу отправить в набор без вашей подписи.

Тогда Торегожин взял протянутые листы, пробежал несколько строк, перевернул страничку, остановился на каком-то абзаце, кивнул головой и, поленившись читать дальше или и в самом деле не имея времени, красными чернилами наложил резолюцию: «напечатать». И расписался.

— Пусть идет! — Он снова погрузился в свои дела, давая знать, что беседа наша закончена.

В ту ночь я не знал сна. Я сам отправился в типографию и освободил усердного Садвокаса Джандосова от дежурства по выпуску. При мне наборщики набирали статью. Я читал корректуру так же тщательно, как это обычно делал Садвокас. Номер был при мне сверстан, при мне был отпечатан весь его трехтысячный тираж. Вместе с нашим экспедитором Маликом Токушевым я наклеивал адреса и помог ему сдать на почту кипы газет. Только тогда я ушел домой и сразу крепко уснул.

Я проснулся, почувствовав, что меня настойчиво будят. Кто бы это мог быть? Смотрю — наш заместитель редактора Жанузак Джанибеков. На нем лица нет, глаза выкатились, руки дрожат, как на морозе.

Спрашиваю его как ни в чем не бывало:

— Ой-бой, Жаке, что случилось, что с тобой?

Жанузак продолжал дрожать:

— Испортил ты все, Сабит!.. Уничтожил нас... Убил...

— Скажи толком, что случилось.

— А вот что! — И Жанузак сунул мне в руки свежий номер «Бостандык туы», тот самый, который я выпустил ночью.

— А что тут такое? — удивился я, будто не догадываясь, в чем дело.

— Читай передовую!

И тут я ему преспокойно ответил:

— А зачем мне читать? Я ведь сам писал ее...

Жанузак был настолько миролюбив и сдержан, что не умел ругаться и грубить. Вот и сейчас только движения лицевых мышц выдавали, что в нем клокочет злоба, как в кипящем котле. Другой в его состоянии ругал бы меня на чем свет стоит. Но Жанузак не был способен на это. В бессильной своей злобе он закрыл лицо руками, опустился на стул и заплакал. Мне даже жалко стало.

— Жаке, агатай! — уговаривал я его самыми ласковыми словами.— Не плачь. Свалится беда, я всю вину возьму на себя. Где угодно скажу — только я виноват!

— Как я тебе верил, как я тебе верил...

Но слова мои все-таки немного успокоили его.

— Ничего ужасного, Жаке, не случилось. В этой статье нет ничего опасного. Только факты, историческая правда.

— Историческая правда, история, — передразнил меня Жанузак. — История — это резина. Куда хочешь, туда и тяни.

— Нет, дорогой мой,— сказал я как можно уверенней. — Знаешь русскую пословицу: «Что написано пером, то не вырубишь топором!» Если бы у меня в статье доказательств не было, тогда другое дело!

Но успокоить Жанузака было не так-то легко. Напуганный статьей, он тяжело и часто вздыхал:

— И зачем, Сабит, ты только связался с этой красноглазой бедой. Не понимаешь, о ком я говорю? О Смагуле Садвокасове. Сам Алихан Букейханов не так силен сейчас, как его зять Смагул. А ты на Смагула замахнулся. Плохо будет тебе, плохо! И нам будет плохо.

Я засмеялся. Мне показался смешным страх Жанузака. Я вспомнил басню Крылова «Мышь и крыса» и прочитал из нее кусочек:

...Коль до когтей у них дойдет,
То, верно, льву не быть живому:
Сильнее кошки зверя нет!

Жанузак не сразу уразумел, что к чему. Он с недоумением смотрел на меня. Наконец-то до него дошло:

— Понял. Ты хочешь сказать, что для мыши «сильнее кошки зверя нет»? А я, по-твоему, мышь? Все возможно, но и Садвокасов не кот. Скорее он собака!

Я еще раз рассмеялся.

— Чего смеешься! — разозлился Жанузак.

— Да, правильное имя дал ты Смагулу!.. Собака он на поводу Букейханова, вот он кто! Но многие еще ладят с ним...

Злость придала сил Жанузаку, он мало-помалу приходил в себя:

— Ты мне о дальней политике не говори, Сабит. Ты скажи, что делать сегодня. Как нам выпутаться? Наделала беды твоя статья. «Святая троица» негодует. Ведь они уже прочитали газету. Кто-то прибежал на квартиру к Торегожину с номером «Бостандык туы» и спрашивает: как это напечатали. А Торегожин ничего и не знал. Стал он читать, схватился за голову и рысью помчался в губком. Кодаленко перепугался не меньше Торегожина и вызвал Орымбаева. Втроем они судили-рядили, призвали меня к ответу да так нажали, что я чуть дух не испустил.

Жанузак сделал передышку. Ему бы и надо начинать с главного, а он мне до сих пор морочил голову своими причитаниями. Я попросил его толком рассказать, что же произошло в губкоме. Оказалось, Жанузаку предложили остановить рассылку номеров, задержать газету хоть на вокзале, статью переделать, вычеркнуть из нее все имена, а газету набрать и отпечатать заново. Но увы, газета уже пошла по губернии, на почте осталось всего несколько номеров. Тогда Торегожин распорядился послать во все уезды телеграмму с требованием вернуть газету.

Я сказал Жанузаку, что дело поправить уже нельзя. Городские подписчики, а их больше трехсот, уже получили газету. Должно быть, и в ближних волостях уже прочитали. Словом, нечего и надеяться, что Торегожину удастся что-нибудь поправить. Газету обратно не вернуть...

— Пожалуй, ты прав! — вздохнул Жанузак.— Одевайся, пойдем. Придется и тебе объясняться в губкоме. Потрясут нас с тобой Я буду молчать, как бы они ни ругались, и тебя прошу: брось свои привычки, не огрызайся, тебе же хуже будет!

Я не стал мешкать. На улице — об этом растерявшийся Жанузак мне сразу не сказал — нас уже ожидал тарантас редакции.

По дороге в губком Жанузак снова расхныкался и стал упрашивать меня не впутывать его в это дело.

— Ты ведь знаешь, за мной нет никакой вины. Не отказывайся от своих слов, скажи, что один виноват...

— А почему бы с тобой не поделиться?—пошутил я,

Но Жанузак принял мою шутку всерьез и перепугался так, что мне не захотелось больше над ним подсмеиваться.

— Успокойся, Жаке, я пошутил. Легко ли мне, тяжело — за все отвечу сам. Тебя никто ни в чем не упрекнет.

Когда мы зашли в кабинет Кодаленко, «святая троица» была в сборе. Я ожидал услышать от секретаря губкома много резких слов. К моему удивлению, он не набросился на меня с руганью, хотя говорил достаточно зло и холодно.

— Ты знаешь, Садвокасов член крайкома. Никто без разрешения крайкома не должен публиковать материалы, порочащие его. Этой своей статьей ты перешагнул партийные нормы, облил грязью не только Садвокасова, но и крайком. Об этом мы еще будем говорить на следующем бюро. А пока идите с товарищем Джанибековым в типографию, вычеркните из передовой все фамилии и сегодня же выпускайте этот номер заново!

— Я не могу этого сделать,— сказал я.

Кодаленко впился в меня глазами.

— Да, не могу, потому что почти весь тираж разошелся. Подписчики уже прочитали газету. Вы только представьте, что они скажут, если завтра получат такой же номер и не найдут в статье имена, которые упомянуты вчера?

— Задал бы себе этот вопрос раньше,— подал голос Торегожин.— Тебе будет стыдно перед людьми, а не нам.

— Мне нечего стыдиться — я писал только чистую правду.

Не глядя на меня, Кодаленко сказал своим товарищам:

— Он совсем распоясался.

И, сузив глаза, другим тоном, сухим и официальным, обратился ко мне:

— Так ты выполнишь наше поручение или нет?

Я еще раз отказался.

— Это окончательно?

— Да, окончательно.

Кодаленко указал мне на дверь:

— И без тебя решим.

На следующее утро я взял в руки свежую газету «Бостандык туы». Оказалось, это повторный выпуск вчерашнего номера. Только в передовой нет имен, названных мною. Позднее я прочитал и решение бюро губкома. За использование газеты в личных целях, за неуместные обвинения члена бюро крайкома Смагула Садвокасова мне был объявлен строгий выговор с занесением в личное дело. И, кроме того, губком обязал издательство удержать из моей зарплаты стоимость конфискованных номеров.

Не скрою, это решение показалось мне неожиданно мягким. Действительно, Губиздат удержал из моей зарплаты сорок пять рублей за конфискованные экземпляры. Что касается строгого выговора, то я написал жалобу в партийную коллегию при крайкоме партии. Моя жалоба была рассмотрена 5 октября этого же года и по ней было вынесено решение: «Так как в статье тов. Муканова показана историческая правда, строгий выговор, вынесенный ему Акмолинским губкомом, снять».

Я понял, почему Кодаленко не расправился со мною, когда из Кзыл-Орды вернулся Гримблат. Он участвовал в недавно состоявшемся пленуме крайкома. На этом пленуме Садвокасова резко критиковали за право-националистические действия. Он был оставлен наркомом с испытательным сроком, но выведен из членов бюро крайкома и снят с поста редактора газеты «Социалистик Казахстан». Об этом, видимо, уже знала «святая троица» и поэтому ограничилась сравнительно мягким решением.

Гримблат отсоветовал мне оставаться на работе в губернской газете. Он сказал, что товарищи из крайкома положительно смотрят на мое возвращение в Кзыл-Орду.

Дела мои как будто устраивались.

Больше всего меня продолжал тревожить сын. Горько я переживал предстоящее расставание, но ничего не мог придумать. Однако судьба рассудила иначе. Мальчуган заболел. Он спал под боком у меня, и однажды утром я почувствовал, что тело его стало жарким, как пламя. Через день на теле выступила густая красная сыпь. Опытные люди сразу определили корь.

Что же я могу рассказать еще? Арыстан промучился несколько дней и умер у меня на руках в час восхода двенадцатого мая.

Убитый горем я написал тогда стихотворение «На смерть ребенка». Я его напечатал спустя много лет. В этих стихах я искренне рассказал о моем несчастье.

Говорят, ребенок — это сердца часть...
Сердце мое, сердце рвется, горячась...
Все в груди пылает, рана душу жжет...
Что могу я в горе написать сейчас?

Арыстан мой милый, жеребенок мой.
Нет, тебя не вырвать из сердца долой.
Видно, я старею, гаснет свет в глазах...
Разве человек я, зверем горе вой!

Взор отцовский застит горьких слез поток,
Но твоей улыбки я понять не мог.
Так душа ребенка покидала плоть.
Почему не крикнул?
Как ты занемог?
Почему, скажи ты, жив я, невредим?
Я в бездонном море с бедствием своим.
Вытянулись ножки, в тельце нет огня.
Кровь остановилась, сын мой недвижим.

Арыстан! Не слышу, как ты плачешь — «нга!»[1]
Хороню тебя я — все закрыла мгла...
На могилу свежую падаю без сил.
Бьюсь о землю горько, мой ушедший сын!

[1] «Н г а!» — название детского плача (каз.).

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

Путь, решивший многое в моей судьбе

В дни моего большого горя меня часто навещал Жампеис. Однажды он пришел ко мне особенно озабоченным: его встревожила весть о моем скором отъезде в Кзыл-Орду. Он тяжело вздохнул и спросил меня:

— Когда ты отправляешься, мой светик?

Но что я мог сказать в ответ? Дни бежали за днями. Уже на исходе был месяц. А ведь именно месячный срок мне дали в губкоме, чтобы я побывал в своем ауле и добрался до Кзыл-Орды. Я же, откладывая отъезд со дня на день, никак не мог встать на стремена. Я с легким сердцем расстался бы с этим городом, но мне трудно было покинуть могилу моего сына. Я прощался с ним сегодня, а завтра снова шел на кладбище. Я слишком много раз нарушал сроки отъезда и поэтому не мог прямо ответить на вопрос Жампеиса.

Жампеис обычно хорошо понимал даже мое молчание и не стремился в таких случаях развлекать меня разговорами. Вероятно, он понял меня и сейчас, но, вопреки обыкновению, заговорил неожиданно весело и легко:

— Я хочу пригласить тебя в гости, Сабит.

Собственно, ничего неожиданного в самом приглашении не было. Жампеис и раньше, до этого разговора, ревниво соблюдал казахский обычай — как можно чаще навещать и звать к себе в гости человека, которого по-

стигло несчастье. Так было после смерти жены и после смерти сына. Но меня удивил сам тон Жампеиса — прежде он приглашал иначе. И, кроме того, мне было просто неловко — я ведь знал, что мой старинный приятель последнее время жил более чем скромно. Говорят, худому коню и камча тяжела. Я подумал: разорительно для Жампеиса угощать гостей, и очень откровенно сказал ему об этом. Жампеис и глазом не моргнул, отвечая невпопад:

— У меня гость не ты, у меня главный гость Абылай-ходжа. Для него я зарезал скотину, а ты будешь табактасом, разделишь с ним угощение.

— Человек ты бедный, но тратишься как богач,— воскликнул я.

— Почему бедный? — немного обиделся Жампеис.— Сегодня бедный, а завтра богатый. Скопидомничать не в моей привычке. Есть сейчас достаток — трачу, откладывать на завтра не люблю. Подвернулась скотина — вот я ее и под нож. Абылай-ходжа давненько не пробовал свежего мяса в моем доме. Был я когда-то холостым, делал, что хотел, надо мною подсмеивались, звали меня однолошадным гольцом. В те годы Абылай часто помогал мне, и я его уважаю как старшего брата. Есть у меня хоть малая возможность — угощаю его от души. Но о другой причине, по которой я тебя зову, ты узнаешь после, Сабит.

Я не мог отказать Жампеису и был у него в назначенное время. Кроме хозяев, я застал там только одного Абылая. Других гостей не было. После смерти жены и сына я встретился здесь с Абылаем второй раз. Он во время этого своего приезда из аула уже заходил ко мне посочувствовать моему горю.

Мы отпробовали кумыса. Вместе с нами осушил чашу и Жампеис. Потом он вышел на несколько минут к Жаныл-женгей, хлопотавшей на кухне. Может быть, затем и вышел, чтобы оставить меня с Абылаем с глазу на глаз. Крутой открытый человек, Абылай в упор глядел на меня. Взгляд его казался холодным, словно он собирался выругать меня. И когда он заговорил, голос его и впрямь звучал сердито:

— Ты это что же делаешь с собой? Посмотри на себя. Ведь исхудал совсем. Давно ли твое лицо было круглым, широким... А теперь? Поварешка в бедной юрте, а не

лицо. Одежда, бывало, плотно сидела на тебе. А сейчас? Не одежда, а пустеющий торсук от кумыса. Я думал, ты будешь сильным джигитом. Хлюпик ты, а не джигит. Разве у одного тебя умирала жена или ребенок?

И Абылай вспоминал жестокие пословицы прежних времен, говорил мне, что я не старик, у которого кончилась жизнь, корил меня за то, что я так поддался горю.

— Тайт! Перестань! — крикнул он под конец.— Тебе сталью надо быть, крепче перепоясайся, вернись к жизни!

В это мгновенье из кухни просунулась тетушка Жаныл. Рукава ее платья были закатаны.

— Думаешь, Ходжа-еке, мы другое говорили нашему племяннику? — Она показала на меня. — Только наши слова легкие для него. А в твоих жив дух предков, аруах! Легкими словами не поставишь на ноги. Строже, строже разговаривайте с ним, Ходжа-еке. Поднять его надо.

Абылай не терпел, когда женщина перебивает беседу мужчин. Он так гневно взглянул на Жаныл, что она поспешно сунулась назад, в кухню.

— Значит, ты скоро уезжаешь в Қзыл-Орду? — спросил Абылай, словно Жаныл и не было.

Я ответил утвердительно.

— Но, говорят, ты уже давно должен быть там, на Сыр-Дарье, а ты все ходишь на могилы жены и сына.

Я молчал. Что я мог ответить, если это было правдой. А он продолжал испытывать меня своим взглядом:

— Скорбь не сбросит свой тяжелый гнет,
Пока в землю прах твой не уйдет.

Так говорили в старину. И еще говорили, что переживания ведут к болезни. Смотри, не заболей, Сабит. Тебе надо скорее уезжать из этого города. Нельзя так часто видеть могилы близких. Удалишься от них — удалится и горе... И пойми еще одно...— Тут Абылай заговорил так, будто вбивал последний гвоздь в мои сомнения.— Пойми, дорогой. Правильно считали в старину, что от горя может излечить только радость.

Наставления Абылая совсем сбили меня с толку. Я ничего не понимал. Я не мог представить себе никакой радости после несчастья, постигшего меня.

И все-таки я спросил Абылая, что скрывается за его намеками.

— Ты не понял меня, Сабит? Жениться тебе нужно! Вот что!

Должно быть, Жампеис подслушивал наш разговор. Уж слишком быстро открылась дверь, и Жампеис словно на лету подхватил слова Абылая:

— А что я ему говорю, Ходжа-еке! Он отмахивается от меня, как лошадь от овода. Знать ничего не хочет, кроме своего горя.

Они ругали меня так, как будто меня не было рядом, но слова были нацелены точно.

Я слушал и недоумевал: неужели это речь обо мне, неужели женские имена, которые они так откровенно называют, предназначены для моего слуха?

Ведь они мне подыскивают невесту. Встать? Уйти? А может быть, в мыслях старших есть и какая-то своя правота?

— Ой-бой, Ходжа-еке! — смутно доносилось до меня. — Так где же мы найдем девушку этому Сабиту?

Абылай курил. Сворачивал из газеты махорочную цигарку, с достоинством зажигал спички, выпускал клубы дыма, и черные его усы становились молочно-седыми. Жесты Абылая были размеренными, важными. Затягивался он редко и глубоко, говоря как бы всем своим видом, что думает серьезную думу. Он молчал до тех пор, пока не накурился.

— Девушек много. Какую-нибудь можно найти и здесь, в Кзыл-Жаре. Но Сабиту нужна настоящая жена джигита.

И тут Абылай принялся перечислять все достоинства, которыми, по его мнению, должна была обладать моя будущая подруга—и послушание, и прилежность в работе, и услужливость, и стыдливость, и честность.

Жампеис поддакивал ему:

— Все это так, ходжа, но где взять такую девушку?

— Несдержанный ты человек,— недовольно пробурчал Абылай.— Ты хочешь, чтобы я уладил дело? Ведь ты для этого позвал меня. Так?

Жампеис почтительно склонил голову.

— Так неужели ты думаешь, что я, седоголовый, пришел к тебе, не подумав сначала над тем, что же нам делать?

— Я так и предполагал, еке, — польстил Жампеис Абылаю.

— Тогда слушайте меня, но не подумайте, что я хочу породниться. Мы Керейцы. Ты Сыйбан,— он посмотрел в мою сторону, — а я Кошебе. Как ты знаешь, Кошебе делится на два подрода — Жоламан и Таузар. Жоламан в свою очередь распадается на Мамбет и Умбет. Мамбет— это я, Умбет — Жампеис. От Мамбета идут Жарылгап и Калжан. Я — Калжан. От Калжана — Майлы и Мусаит. Я правнук Майлы. От Мусаита—Азынаш и Кошер. У Кошера сейчас десять домов, и каждый дом ломится от сыновей... Из женщин дома Мусаита — их всего около пятидесяти — самая воспитанная Зейнеп-байбише.

Жампеис согласился с этим, а Абылай продолжал:

— Сатан умер, когда Зейнеп было чуть больше тридцати лет. Она не вышла снова замуж и воспитала своего единственного сына Кожахмета, который достиг возраста, женился и оставил после себя двух детей. Сын его умер, а Мариам — ей скоро исполнится шестнадцать — растет приятной умной девушкой...

Тут Абылай прервал свою речь. Ничего не сказал и Жампеис. Он только вытирал свой слезящийся глаз и не без лукавства глядел на нас другим здоровым глазом. Абылай снова закурил цигарку и сквозь клубы дыма невозмутимо и испытующе улыбался: мол, догадывайтесь об остальном сами. Наконец, Абылай нарушил молчание. Голос его был неожиданно тихим.

— Теперь мое слово к вам подходит к концу. Я уже сказал, что у Кожахмета осталась дочь по имени Мариам. Мать ее Бят была женщиной, пожалуй, легкомысленной и болтливой. После смерти мужа ее выдали за шурина — Хаджимурата. Мариам росла не у нее, у своей бабушки Зейнеп. Я давно знаю Мариам. Она часто приходила в наш дом, дружила со своей ровесницей — покойной дочкой Мухамеджана Хаирджамал. И я нередко бывал у Зейнеп. Старушка баловала единственного в доме ребенка. Мариам и сейчас мне кажется несколько своенравной. Но задатки у нее хорошие. Ее воспитали честной и доброй. Растет она, как молоденькое стройное деревцо. С губ ее еще не сошло материнское молоко, со спины — след колыбели. Чудная девушка! Я не мог найти Сабиту лучшей невесты.

Жампеис осведомился, нет ли у нее жениха.

— В детстве ее, как и многих, сватали. Но сейчас связь порвана. Правда, я слышал недавно, что сын

ходжи Нурпеиса, бая из рода Таз, собирается ее взять в жены. Похоже, между ними уже идет сговор.

— Как же быть тогда, Ходжа-еке? — заволновался Жампеис.

— Все будет по-нашему. Девочка слушается Зейнеп. А Зейнеп не бросит мои слова в степь, на ветер.

— Значит, так и порешим,— скороговоркой произнес Жампеис и осторожно взглянул на меня:

— Ну что ты скажешь, Сабит?

Разумеется, ничего определенного я сказать не мог. Я как-то безучастно слушал разговор Абылая с Жампеисом, я не понимал, куда он может меня привести. Горе еще слишком владело мною, чтобы я думал о счастье. Да и сам деловой разговор о невесте казался мне странным. Но так было. И еще очень сильна была моя связь с родовым аулом, и не сразу я мог отказаться от верности старым обычаям.

— Ну что ты скажешь, Сабит?

— Посоветуемся, посмотрим,— выдавил я, наконец, ни к чему не обязывающие слова.

И тогда они продолжили разговор о моем сватовстве, как о чем-то уже окончательно решенном. Особенно торопил события Жампеис:

— Когда же Сабит увидит Мариам, поговорит с ней?

Абылай сказал, словно отдал приказ:

— Приходи, Жампеис, ко мне завтра. Я подумаю и решу.

На другой день Жампеис пришел ко мне от Абылая. Он настоял, чтобы я уже больше не откладывал свой отъезд в родные края и Қзыл-Орду. По пути к себе в аул я должен был задержаться у соседа Мусаита в ауле Қара-Томар и остановиться у тети Рабиги, дочери Нуртазы.

— Весть от Абылая,— сказал Жампеис,— опередит твой приезд. Верные ему люди устроят тебе встречу с девушкой. Ты обо всем узнаешь в доме тети Рабиги.

И я согласился. Ехать все равно мне было надо, все сроки уже прошли. А если мои родичи и друзья хотят, чтобы я посмотрел на девушку, почему же я должен отказываться. Ведь никто не может заставить меня жениться!

К вам, дорогие читатели, обращаюсь я с просьбой: не требуйте от меня подробного рассказа о первой встрече

с Мариам, о тех словах, которые мы говорили друг другу. Мариам — ведь это моя байбише, моя верная подруга в жизни. У нее уже седина на висках. Дома, в семье, я называю ее мамой. Люди уважительно обращаются к ней — Маке, ценят ее человечность и честность. Тридцать седьмой год живем мы, не зная ссор и раздоров, живем дружно и весело. Она родила и воспитала четырех сыновей и двух дочек. Семерых внуков целую я, их тоже любовно воспитывает моя байбише...

Но, умолчав о нашем свидании, я расскажу о том, что сопутствовало ему.

Бабушка Зейнеп вняла весточке от Абылая, поступила так, как он ее просил. Внучке она сказала: «Была бы ты согласна, я не буду тебе перечить». А когда узнала, что внучка готова выйти за меня замуж, передала через верных людей — надо действовать по закону. Бабушка Зейнеп побаивалась мести богатых сватов. Поэтому она и попросила прибегнуть к помощи милиции. Она, Зейнеп, будет делать вид, что сопротивляется. Но милиция будет считаться только с желанием внучки, а внучка сдержит свое слово.

Договорившись так с хитрой бабушкой, я поехал к берегу озера Букен, в аул Курымсы, в волостную Тонкерисскую[1] контору. Председатель волисполкома Баязит Тлегенов — мой хороший товарищ (он потом долгие годы работал в финансовых отделах)—выслушал меня внимательно и спокойно.

— Послать милицию легче всего, милиция, кого хочешь, доставит. Но беда, Сабит, в другом. Ты ведь сам говорил, девушка очень молоденькая. Приведут ее в контору, испугается она, не пожелает обидеть родственников и откажется от тебя. Об этом ты думал? Тогда и тебе, и всем нам будет стыдно.

Я верил девушке, но после слов осторожного Баязита начал немного сомневаться. В самом деле! Девушка была пугливой, как детеныш серны. Маленькая серна быстро привыкает к человеку и так же быстро отвыкает. Сегодня она привязчивей домашнего козленка — играет, резвится, не отстает от тебя ни на шаг. Но стоит детенышу серны не видеть тебя несколько дней, как она пу-

[1]) Тонкерис — так называлась одна из волостей Петропавловского уезда Акмолинской губернии вплоть до 30-х годов. В 30-е годы Тонкерис стал районом.

гается при одном твоем приближении. Не поступит ли так и моя невеста? Долго я колебался и, наконец, сказал:

— Будь что будет, Баязит. Посылай милицию. А с ней надежного человека. Лучше всего Имака Токпанова, председателя первого аулсовета.

Баязиту пришелся по душе мой выбор.

Начальником волостной милиции был Самаркан Джумадилов, младшим милиционером Касым Садвокасов. Я знал их как веселых, добрых джигитов. Касым к тому же был певцом. В те времена в наших краях особенно полюбили песню «Майра»:

Майра — мое имя, отец мой — Вали.
Я петь начинаю — услышат вдали.
Мой голос над степью звенит и звенит,
Когда ж мою песню подхватит джигит?
Майра, я Майра,
С берегов Иртыша.
Айра, райра,
Ликует душа!
Поет на просторе степей,
Эй!..

Лучше всех у нас исполнял «Майру» милиционер Касым. Его в шутку так и называли Майра.

Три посланца волисполкома — Самаркан, Касым и Имак — отправились вечером и утром уже привезли девушку. Она приехала не одна — ее сопровождали многочисленные всадники из пяти родственных аулов Жарылгап-Калжан. У всадников в руках были дубинки, они размахивали ими и шумели: «Не стерпим позора, не отдадим девушку!» Вместе с ними приехали мать девушки Бят, бабушка Зейнеп, отчим Хаджимурат, старший двоюродный брат Шугаип. Они расположились на отдых в аулах у берегов озера Букен. Баязит Тлегенов поселил девушку отдельно от них у Жакии, сына Бекболата.

После короткого отдыха и мы, и приезжие должны были собраться в конторе. Пока девушка находилась под охраной милиции, ей нельзя было встретиться ни с родителями, ни со мной. Не только я, все, кто был здесь в этот день, с нетерпением ожидали ее ответа.

Очень волновались мои двоюродные братья, старшие — Мырзагазы и Габбас, младший—Шакен. Не меньше их переживал один из работников конторы, мой быв-

ший учитель Хамит Махмудов. Первые вести не предвещали ничего хорошего. Председатель первого аулсовета Имак и милиционеры утверждали, что и мать, и бабушка решительно настроены против меня. Поддерживают их и остальные родичи. Внушала опасения и сама Мариам. В пути она была только с бабушкой Зейнеп, а с другими и разговаривать не хотела.

— Туго нам может придется,— опасались мои друзья,— беда, если девушка откажется от своего слова! Как нам уберечься от позора.

Новая весть была еще неприятней. Родня девушки обратилась в волость с просьбой: опрашивать Мариам одну, без Сабита. Молоденькая девушка, в его присутствии она может растеряться и сказать не то, что думает.

Одни с таким предложеним согласились, другие нет. Баязит Тлегенов посоветовал создать целую комиссию, чтобы в нее вошли и прокурор, и судья, и представители от родни невесты и жениха.

Мои родные и близкие разозлились.

— Что ж это делает Баязит? Или он добра для нас не хочет? Мы считаем, надо, чтобы девушка и джигит стояли лицом к лицу! Стыдно будет тогда ей нарушить слово, сказать неправду. А если родственники ее запугали, то одной ей легче будет отказаться от своего обещания.

Я вначале едва не согласился с Баязитом. Я рассуждал так: не откажется она от своих слов, значит, будет мне хорошей женой. Откажется — что ж, насильно не заставишь.

Но Мырзагазы — он был старше меня по годам — даже ругаться начал:

— Ну что ты только болтаешь. Откажется девушка от своих слов, плохо тебе придется!

Признаться, я не понял, что за угроза нависнет тогда надо мной.

— Эх, Сабит, неужели ты ничего не слышал? Сколько оседланных коней пасут вокруг озера кошебинцы. А у самих закатаны рукава, камчи за поясом. Так и ждут клича.

— Ну и что они могут нам сделать?

— Смешной ты, оказывается. Вырос, а ума не набрался.— Мырзагазы даже огорчила моя несообразительность. — Что они могут нам сделать? — повторил он

с раздражением мои слова.— Да им вся наша контора, все наши милиционеры разве могут оказать сопротивление? Они ведь расправятся!

— Нет, не посмеют! — сказал мой бывший учитель Хамит Махмудов.— Это не старые времена. Бандиты не нападают. В степи спокойно. Кто может поднять руку на власть, на закон? Что ж, если девушка не сдержит своего слова, они возьмут ее и вернутся в свои аулы.

— И все-таки вы не представляете, что они могут сделать,— настаивал на своем Мырзагазы.

— Ну и что?

— Должно быть, вам неизвестно, что здесь верховодит Есим, сын Доспола. Он ведь учился с тобой, Сабит. Есим был одно время даже председателем волисполкома, но из-за болезни легких ушел с работы. Есим назубок знает законы. Мне передали его слова: «Если девочка согласится, несдобровать Сабиту. Беру с собой Мариам, старшего брата Шугаипа, несколько джигитов и мчу в Кзыл-Жар. Пусть Сабит считает себя правым глазом Советов. Кто ему дал право брать в жены малолетнюю? Кто ему позволит не подчиняться законам?» И еще передают, что в ответ Есиму, сыну Доспола, Шугаип сказал: «Не бойся, сестра нас не подведет».

Тут стал сомневаться мой бывший учитель Хамит.

Но пока они волновались и спорили, появился гонец от Баязита, который уже успел создать комиссию для определения законности нашего сватовства. Баязит требовал послать представителя от родни жениха.

Дрогнул Мырзагазы, пошел на попятную. Но мой бывший учитель Хамит даже обрадовался такому исходу дела.

— Иначе и быть не может. Только кого мы пошлем?

— Только тебя и можем послать! — воскликнул Мырзагазы.— Только ты, Хамит, один среди нас знаешь язык закона. Иди с богом!

Все мои двоюродные братья и другие родичи одобрили этот выбор. Хамит немного побледнел и отправился в волостную контору.

А Мырзагазы совсем расстроился. Он призывал на помощь аллаха и духов предков, он даже расплакался, мой слабохарактерный старший двоюродный брат Мырзагазы.

Хамит сделал несколько шагов по направлению к конторе и вдруг остановился:

— Поставьте дозорного. Если все будет хорошо, я выйду из конторы и взмахну вот так. Глядите! — И он вытащил из кармана и развернул большой цветастый платок.

Мырзагазы продолжал плакать. Его свояк Сугурбай, сын Доненбая, один из известных джигитов, знающих, куда ведет любая аульная тропка, увещевал его как только мог:

— Зачем беду накликаешь? Разревелся, а еще джигит. Ну представь: пускай случится плохое. Девушка возьмет и отречется от своего обещания. Ну и что ж? В одной нашей ветви Алдай рода Керей не меньше тысячи девушек. Неужели среди них Сабит не найдет себе одной? А я уж ее посажу в его телегу. Перестань ты, наконец, плакать, Мырзагазы.

Слезы уже не текли из глаз расстроенного Мырзагазы. С трудом выговаривая слова, он оправдывался перед Сугурбаем:

— Ты правду говоришь, правду! Сабит всегда найдет себе невесту. Но боюсь, опозоримся мы. Стыда боюсь. Не хочу, чтоб смеялись над нами, над Сабитом.

Неунывающий джигит Сугурбай утешал моего слабохарактерного брата:

— Не расстраивайся раньше времени, подожди. Букву «алип» (а) произнесли, значит будет и следующая. Имей терпенье. Я не такой чувствительный, как ты, но приметы меня не обманывают. Пусть нам тяжело сейчас, пусть мы еще не знаем, как все обернется. Однако я верю — конец будет хорошим. Недаром со вчерашнего дня у меня дергается правый глаз. Это добрая примета.

— Да будет так! Аминь! — В покрасневших глазах Мырзагазы засветилась надежда.

— Все кончится удачно! — подбодрял нас Сугурбай.— Сабит будет гостить у меня в юрте. На этот случай в котле уже варится барашек. Только что зарезали.

Эти слова растрогали Мырзагазы, прошлись словно маслом по сердцу. Прежних слез как не бывало.

— Ты нам рассказал о хороших приметах. Иди, карауль Хамита. С тобою, Сугурбай, дружит удача.

— А ты?

Мырзагазы отшатнулся:

— Я? Меня в караул не надо. Я бояться буду. А вдруг Хамит покажется без платка? Что будет тогда с моим сердцем?

Сугурбай насмешливо взглянул на Мырзагазы и пошел поближе к конторе.

Медленно, черепахою по пескам, двигалось время. Минуты казались днями. О многом думал я — о несчастье своем, о кзыл-жарских могилах, о нелепых разговорах моих сородичей и друзей, о ненужной сложности всего этого сватовства и о первом свидании с Мариам, так всколыхнувшем мою душу.

Все ждали вестей из конторы, и каждый ожидал по-своему напряженно.

Наконец-то мы услышали крик: суюнши! Добрая новость. Суюнши! Значит, надо одарить ее вестника.

В юрте появился веселый Сугурбай.

— Суюнши! — закричал он. — Хамит взмахнул цветным платком.

Мы все выбежали из юрты навстречу Хамиту. Мой бывший учитель торопился к нам, размахивая на ходу ярким лоскутом.

Единственное слово, которое он повторял, было, как догадываетесь вы, тем же — суюнши!

...Я по всем правилам зарегистрировался с Мариам в загсе. Мы погостили у Сугурбая и поехали на станцию Лебяжье, чтобы оттуда отправиться в Кзыл-Орду.

Несколько верст от аула нас провожало много пеших и конных. В Лебяжьем с нами были только самые близкие друзья и родичи...

Начинался новый путь, многое решивший в моей судьбе. Добрый семейный путь с моей Мариам, Маке.

Образование КазАППа[1]

В июле добрались до Кзыл-Орды. Первое время нам пришлось жить у Сапара Мустафина, члена коллегии Верховного суда. Я и раньше хорошо его знал, душевного товарища и честного коммуниста, моего земляка по

[1] КазАПП — Казахская ассоциация пролетарских и крестьянских писателей.

Акмолинской губернии, образованного человека, учившегося и в казахской школе, и в русских учебных заведениях. Его жена, тезка моей Мариам, выросла в городе, кончила среднюю школу и принимала участие как равная в разговорах мужчин.

С безоблачного южного неба солнце посылало свои обжигающие лучи. Только в тени можно было найти спасение. Не отличавшийся крепким здоровьем северянин Сапар изнемогал от жары. Он задернул окна коричневыми занавесками, разостлал мешковину и, обрызгав пол водой, отдыхал. Он не мог подолгу сидеть у себя в душной конторе.

Мариам приготовила нам чай — в такую жару хорошо утолять жажду горячим чаем. Обливаясь потом, мы наполняли одну пиалу за другой, а разговорчивый Сапар выкладывал мне все кзыл-ордынские новости.

Не без удовлетворения я узнал, что владычеству «правых националистов», объединившихся в Оренбурге, приходит конец. Филипп Исаевич Голощекин, первый секретарь Казкрайкома, оказался не только необычайно работоспособным человеком, но и дальновидным — не без хитрости — политиком. Он, опираясь на краевую партийную организацию, разбил ходжановскую группировку и устранил Ходжанова от руководства. Крепко досталось и Садвокасову. Теперь Садвокасова нельзя было узнать. Он стал робким, осторожным и перестал открыто высказывать свои националистические взгляды. Но скрытно он пытался по-прежнему проводить свою политику. Однако не так-то легко было провести Голощекина, старого коммуниста, прошедшего до революции школу большевистского подполья. Садвокасов напоминал сейчас лодочку на море в бурю. Вот-вот набежит та волна, которая ее опрокинет.

Сапар рассказывал, что Голощекин привлекает к руководству лучших казахских коммунистов. До Голощекина Ходжанов и Садвокасов, поддерживая друг друга, оттесняли многих хороших людей. Они едва не столкнули председателя Совнаркома Ныгмета Нурмакова. Теперь Нурмаков по праву пользовался большим уважением. Ближайший сторонник Садвокасова и его союзник нарком земледелия Султанбеков пребывает на своем посту последние дни, а его место займет Абдулла Асылбеков, заканчивающий учебу в Москве.

Близкий к Садвокасову председатель КирЦИКа Жалау Мынбаев, вероятно, почувствовал, что теряет почву под ногами. Сказавшись больным, он уехал в свои родные края, на Каспий, в Мангистау, и, говорят, плавает с рыбаками.

Я узнал от Сапара о возвращении к руководству и Ораза Исаева. Из молодых большевиков он еще в Оренбурге подавал большие надежды, но националисты подкосили его. Он стал рядовым советским работником в своем родном ауле. Голощекин вызвал его в Кзыл-Орду, и его недавно назначили заместителем заведующего орготделом крайкома. На пост руководителя Казсовпрофа пришел Измухан Курамысов. Его тоже недолюбливали садвокасовцы. Измухан старается выдвигать на профсоюзную работу не чиновников, а настоящих представителей молодого рабочего класса республики.

Что меня еще обрадовало, так это весть о том, что известный семиреченский большевик Ораз Жандосов, описанный в книге Дмитрия Фурманова «Мятеж», заведует отделом агитации и пропаганды крайкома.

После беседы с Сапаром Мустафиным за горячим чаем мне стало ясно, что новое руководство крайкома и Филипп Исаевич Голощекин взяли крутой курс на большевизацию партийных и советских органов.

Появился в Кзыл-Орде и Абдрахман Байдильдин, с которым я встречался в Москве. Он был теперь на профсоюзной работе. Прежде он находился под влиянием националистов, а ныне изменил свою позицию и стал нападать на них, на Садвокасова. Боролся он с ними и в области художественной литературы. Может быть, это был и маневр? Право, не знаю. Во всяком случае, он стремился сблизиться со мною и пожаловал вскоре в дом Сапара Мустафина. Он вошел с кипой книг под мышкой по давнишней своей привычке.

— Безобразники! — неожиданно выругался он после подобающих взаимных приветствий.— Безобразники эти националисты, сказать проще — ходжановцы. Жара невыносимая в этом городе, а они сюда столицу перетащили. От духоты не продохнешь. Пыль на зубах... Ей-богу, они это нарочно сделали, чтобы в столицу казахов поменьше ездили люди. Просчитались! Сами разбегаются из Кзыл-Орды... Скоро их тут совсем не будет. А столицу надо перенести в другое место.

— Куда же ты решил ее поместить? — рассмеялся Сапар.

— Найдется хорошее место. Возьми хоть Акмолу...

— Нет, это слишком маленький город,— серьезно возразил Сапар. — Да и от железной дороги далековато. Связи с другими губерниями нет...

— Акмола не Акмола, но столицу все равно надо перенести,— не слезал со своего конька Абдрахман Байдильдин. Он долго продолжал бы говорить на эту тему, если бы я не задал ему вопрос о литературных делах. Из печати я знал, что Абдрахман введен в оргбюро КазАППа.

— Как наши литературные дела, спрашиваешь? На мертвой точке. Собраться никак не можем. Твой Сакен-ага как уехал прошлой осенью, так и не кажет носа. Рассказывают, охотится в родных краях. Собак себе завел, беркута. Живет себе вольной жизнью джигита. Недавно ему послали вызов из крайкома. Голощекин подписал. Теперь должен вернуться. Хотя вестей не подает. Из известных писателей здесь только Беимбет Майлин. Организатор он, правду сказать, никудышний. Поручил ему крайком собрать пишущую молодежь, он и этого не смог сделать. А мне некогда — профсоюзы отбирают все время, свободного дня не найдешь. Больше здесь никого и нет. Поэтому тебя и вызвали через крайком. Слышал я о твоих делах в Кзыл-Жаре, слышал. Будь уверен, садвокасовцы там долго не удержатся. Их везде разгонят. В общем, Сабит, хорошо, что ты приехал.

Сапар ткнул пальцем в мою сторону:

— И какое же место вы ему приготовили?

— Хотим, чтобы Сабит был секретарем КазАППа. Но ставки там нет, и зарплату он будет получать в газете «Энбекши-Казах». Заведующим партотделом поработает.

Все это было приятно для меня, но волновало одно — под чьим руководством я буду работать, кто будет редактором газеты. Всесведущий Абдрахман подробно рассказал и об этом.

Я и прежде слышал, что после снятия Садвокасова газету некоторое время редактировал Турар Рыскулов. Рыскулов далеко не всегда шел на уступки, а Голощекин при всех его хороших чертах терпеть не мог, когда ему

перечили. Словом, Рыскулову пришлось уехать. В Москве его заслуги оценили должным образом и назначили заместителем председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР. Так газета снова осталась без редактора. Исполняющим его обязанности стал Шаймерден Тогжигитов. Но это на короткий срок. Новым редактором «Энбекши-Казах», рассказал Абдрахман, будет Габбас Тогжанов. Он учился в Москве и работает в отделе печати ЦК ВКП(б).

Когда было названо имя Габбаса, я призадумался, и Абдрахман приметил это:

— Понимаю тебя, Сабит. Тогжанов действительно сын бая. И в молодости сильно тяготел к алаш-орде. Но в Москве, в экономическом институте имени Плеханова, он изучал марксизм, а потом работал несколько лет в аппарате ЦК. Он сейчас не тот, что прежде. Тогжанов — один из самых сведущих в марксизме молодых казахов.

— Так-то оно так,— перебил Абдрахмана Сапар,— но одно дело приобрести знания, другое дело — уметь их применять. Говорят же: «Сожми солнце, оно разожмется снова». Как бы наш Габбас на прежний путь не вступил...

— Никуда он не денется,— возразил Абдрахман.— Правильным был бы общий курс. А если кто-то и заколеблется, его поставят на место. Примеров хотите? Группа Ходжанова и Садвокасова. Тогжанов не сильнее их. А у Голощекина рука крепкая. Он правильно поворачивает Казахстан. Ты будь спокоен, Сабит. Не пугайся того, что Габбас—сын бая. Смело иди работать в «Энбекши-Казах». Это уже согласовано с двумя тезками—Оразом Жандосовым из отдела пропаганды и агитации и Исаевым из орготдела. Тебя ждут.

В Байдильдине было что-то неискреннее, суетливое, неприятное. Но в этот мой приезд в Кзыл-Орду он всячески заботился обо мне, и я не противился его заботам, тем более, что они совпадали и с моими желаниями.

Однако, чувствуя его излишнюю гибкость и пронырливость, я не мог, естественно, предполагать, что в биографии Байдильдина есть другая, черная сторона, которую ему удавалось скрыть до поры до времени.

Дело в том, что летом 1929 года во время чистки партии и работы проверочной комиссии ЦК ВКП(б) он был исключен из партии и разоблачен как националист. Ока-

залось, он не только был деятелем алаш-ордынской молодежной организации «Бирлик» и адъютантом Букейханова, но и сотрудничал в контрразведке штаба III армии Колчака в 1919 году. Связан он был с алаш-ордой и входил в буржуазно-националистическую группировку и во время своего пребывания в Коммунистической партии.

Но возвращаюсь к дням, о которых идет повествование.

В крайком я отправился вместе с Абдрахманом. Я впервые увидел Жандосова. Каким симпатичным, доброжелательным он мне показался. Было ему тогда всего двадцать восемь лет. Для солидности, а может быть из щегольства, он носил густые короткие усы и небольшую бородку. Мне понравилась его вежливая манера вести беседу, мягкость, с которой он произносил слова.

Он убедился в том, что я охотно принимаю предложение о новой работе:

— Что ж, очень хорошо. Тогда пойдемте к Исаеву.

Ораза Исаева я уже немного знал по Оренбургу. Впервые мне привелось его видеть у Сакена Сейфуллина, тогда, в 1923 году, председателя Совнаркома. Той осенью Сакен проводил областной съезд Советов в Уральске. Из Оренбурга он выехал на автомобиле и останавливался по пути в уездных городках и станицах, расположенных вдоль Урала. Ораз Исаев был в то время секретарем Жимбейтинского уездного комитета партии. Он очень понравился Сакену. Ораза избрали делегатом на III съезд Советов, и Сакен привез его в Оренбург в своем автомобиле. Ораз поселился на квартире у Сакена, тамто я с ним и познакомился.

Широколицый смуглый Ораз чуть прихрамывал на правую ногу, но производил впечатление крепкого жизнерадостного человека. Общительный, разговорчивый, любящий шутку и острое слово, он сблизился со мною после первой же встречи.

— А-а, пролетарский писатель! Читал тебя, как же! — Как сейчас звучит у меня в ушах веселое его восклицание.

Помню, он рассказывал мне, как сражался в отряде Чапаева. Помню, как высказался против алаш-орды. Мы поняли друг друга и подружились. Но когда обнаружились разногласия между Сейфуллиным и Мендешевым,

Ораз Исаев, бывший тогда секретарем КирЦИКа, сразу отдалился от меня, порвал со мной, считая меня приверженцем Сакена.

Потом его освободили от секретарства, он уехал в родные места. И вот теперь, спустя три года, я снова встретился с ним. Три года — небольшой срок, но Ораз заметно постарел. Смуглое лицо покрылось морщинками, прежней оживленности как не бывало.

— А-а... Сабит приехал! — протянул он как можно приветливее, но веселая шутливость уже отсутствовала в его словах.

Разговор зашел у нас о литературе. Спокойный деловой разговор.

Здесь я должен сделать небольшое теоретическое отступление, чтобы читатель яснее разобрался в нашей беседе.

Положение Маркса и Ленина о классовости искусства, бесспорно, относится и к нашей казахской литературе. Уже в устном творчестве, уходящем своими корнями в древнейшие времена, отчетливо чувствуются следы воздействия двух идеологий — угнетенных и угнетателей. И в письменной нашей литературе, зачинавшейся во второй половине XIX века, также заметно проступали элементы байско-националистической и народно-демократической идеологий.

В первые революционные годы байско-националистические писатели открыто выступили против Советской власти. С писателями-демократами, а их было уже немало, дело обстояло несколько сложнее. Одни — как, например, Султанмахмуд Торайгыров и Сабит Донентаев — сделали на какое-то время ошибочный крен в сторону алаш-орды и прославляли эту реакционную партию. Другие—к ним относятся Спендияр Кубеев и Бекет Отетлеуов — растерялись и временно замолчали. Из среды писателей-демократов безоговорочно и с первых же дней принял Октябрь Сакен Сейфуллин. Он был организатором первых совдепов, он делами доказал свою верность Коммунистической партии и стал ее членом. Он воспел Октябрьскую революцию и партию Ленина в самых разных жанрах — поэзии, прозе, публицистике, драматургии. В 1917—1919 годах среди казахских писателей не было никого, кроме Сакена, кто бы писал на революционные темы. Вот почему во всех серьезных политических

документах наших дней Сакена Сейфуллина с полным правом называют основоположником казахской советской литературы. Выделяли его и тогда, в двадцатые годы.

Конечно, Ораз Исаев понимал особое положение Сакена среди писателей. Больше того. Благодаря Сакену Ораз из уездного работника стал видным республиканским. Но, несмотря на это, Исаев недолюбливал Сейфуллина. Отчасти тому виной некоторая высокомерность Сакена и, в значительной мере, разногласия между Сейфуллиным и Мендешевым, о которых я уже говорил.

Так или иначе, но и после своего приезда в Кзыл-Орду на работу в крайком Ораз недружелюбно относился к Сакену. Он и Голощекину говорил, что писатель Сейфуллин не очень торопится возвращаться в Кзыл-Орду. Но теперь вопрос о его возвращении был уже решен.

И Оразу Исаеву ничего не оставалось, как согласиться с этим. Однако и в нашей беседе он все-таки прошелся по его адресу:

— Хорошо, что Сакен приедет. Но вот в чем беда — не любит он заниматься организаторской работой. Поэтому правильнее будет, как уже говорили об этом, назначить секретарем Сабита. Он и помоложе, да и активнее. Ты, Сабит, согласен?

— Согласен-то согласен, — отвечал я. Но стал доказывать, что решить этот вопрос можно только после приезда Сакена. Только он может руководить казахской пролетарской литературой. Исторически так сложилось. И без его одобрения никого назначать нельзя.

Против этого не возражал и Ораз Исаев.

Вскоре после этого разговора в Кзыл-Орду приехал Сейфуллин.

Сакен получил трехкомнатную квартиру в большом деревянном доме на углу улиц Маркса и Энгельса. Здесь-то в день приезда Сакена и собрались под вечер казахские писатели, жившие тогда в Кзыл-Орде. Может быть, всех я и не сумею вспомнить. Кроме помянутого Байдильдина — он считал себя литературным критиком — на встречу пришли Абдрахман Айсарин, автор рассказов и фельетонист, Орымбек Беков, которого иначе и не назы-

вали, как «писатель из пролетариев», Ельжас Бекенов, начинающий прозаик и критик, Сейфулла Байгожин, в прошлом студент пединститута, а теперь артист, острослов, Абдрахман Бегишев, чекист, давно тяготевший к журналистике и литературе, Хамза Жусупбеков, активный литератор, и еще несколько человек, причастных к поэзии или прозе.

Мы сразу заговорили о главном, что нас волновало тогда. В печати все чаще и настойчивее ставился вопрос об объединении казахских писателей, о создании союза.

Две позиции, две точки зрения наметились тогда.

Байско-националистические писатели утверждали, что в казахском обществе нет классов и, значит, нет классовости в казахской литературе, она — общая для всего казахского народа. Поэтому и литературный союз должен быть общим, единым. И назвать его следует «Алка» («Круг»).

Садвокасовцы и ходжановцы поддерживали именно эту идею.

Настоящие советские писатели считали, что в казахском обществе были и есть классы. Есть классовость и в литературе. Разве можем мы объединиться с писателями-националистами, если наша платформа — ленинизм, если мы идем под руководством Коммунистической партии? Нет, мы вступим в союз только с теми, кто за Советскую власть. Наш союз должен быть ассоциацией казахских пролетарских и крестьянских писателей. Иначе — КазАПП.

Некоторые руководители республики нас поддерживали целиком. А такие, как Жандосов и Исаев, считали, что партия не отдаст предпочтения ни одному творческому союзу писателей перед другим. Об этом сказано в известном постановлении ЦК ВКП(б) (1925 г.). Единственное требование к писателям — соревноваться в изображении советского социалистического строительства. Нет, они не были против создания КазАППа. Они говорили — воля ваша, как вы назовете свой союз, какую — в деталях — платформу вы примете.

Молодежь в присутствии Сакена чувствовала себя несколько скованно. Беседа протекала вяло еще и по той причине, что сам Сакен с прохладцей отнесся к организационным делам. Он слушал наши споры несколько рав-

нодушно, холодновато, а потом нахмурился, распрямился и заговорил:

— Что я вам могу сказать? Литература не профсоюз, куда может вступить каждый трудящийся. Если нет таланта, как ни вытягивай, писателя из тебя не выйдет. Трудновато обнаруживать и признаки таланта. Как его искать? Где его искать? И, даже обнаружив признаки таланта, нельзя утверждать, что молодой человек станет писателем. Если бы каждый из вас, кто здесь сегодня сидит, уже был бы писателем, без раздумья хоть сейчас можно организовать союз. Скажу прямо, кое-кто может и обидеться,— дело обстоит вовсе не так!.. Много ли у нас тех, кто подает надежду «быть писателем»? Мало ведь таких!..

— Так что же, по-вашему, нужно делать? —спрашивали его.— Вообще не создавать союза?

— Не надо иронизировать,— резко отвечал Сакен.— О чем я говорю? О том, чтобы в союз принимались только настоящие писатели. Лжеписателей нам не надо! Как, спрашиваете, отличить истинного писателя от ложного? Только произведениями. Я и утверждаю, что необходим строгий отбор.

Неожиданно в спор вмешался Орымбек Беков, поддержавший Сакена. Впрочем, ясно было и другим, что, создавая союз, надо принимать в него самых одаренных, проявивших себя.

Дошла очередь сказать свое слово мне, и я подтвердил свою готовность выполнить поручение крайкома.

Беседа в день приезда Сакена не была беспредметной. Мы тогда договорились о многом, что считали главным в развитии нашего литературного движения. Председателем нового оргбюро КазАППа был намечен Сакен Сейфуллин, секретарем — я, членами — Абдрахман Байдильдин, Хамза Жусупбеков, Орымбек Беков. Проект платформы поручили написать мне. Это надо было сделать как можно скорее, потому что писатели байско-националистического направления обладали большим опытом, образованием и давно оттачивали свои перья, а советские писатели из трудящихся только-только начинали свою литературную деятельность. Куда им идти, у кого учиться — и должна была определить платформа.

Я представил свой проект, и 4 октября 1926 года на общем собрании писателей и трудящихся он был обсуж-

ден и принят. С той поры КазАПП и работала в соответствии с этой платформой.

Полный ее текст прежде не публиковался. Мне думается, эта платформа, возникшая на заре развития казахской советской литературы, представит интерес для читателей.

§ 1

Октябрьская революция открыла глаза казахским трудящимся, которых угнетали, с одной стороны, царские колонизаторы, с другой — собственные баи-феодалы. При поддержке русского пролетариата казахские трудящиеся создали советскую республику на принципах равноправия. И казахские трудящиеся под руководством Коммунистической партии выбрали социалистический путь развития вместе с русским пролетариатом, поднявшим знамя Октября.

§ 2

Пролетариат вышел победителем в классовой борьбе и разгромил своих врагов на фронтах войны. И власть, и хозяйство перешли в его руки. Одним из самых важных фронтов стал фронт идеологической борьбы. Казахские баи не почувствовали на себе такого удара Октября, как русские богачи. На жизнь в ауле до сих пор влияют баи, а также их представители — алаш-ордынцы. Об этом открыто говорит партия. С введением новой экономической политики (нэпа) казахские баи усилили распространение своих взглядов, своих идей. Поэтому и в условиях Казахстана одной из важнейших видов борьбы является борьба идеологическая. Одним из сильнейших идейных оружий является художественная литература. Поэтому казахские пролетарские и крестьянские писатели должны идейно воспитывать казахских трудящихся, вести трудящиеся массы по социалистическому пути, быть помощниками партии в борьбе с враждебной идеологией.

§ 3

Казахских трудящихся пробудила Октябрьская революция, однако казахские трудящиеся не кипели в котле революционных событий, как русские трудящиеся, и не имеют такого опыта борьбы в классовых схватках. Но

даже в России, где имеется организованный пролетариат, обладающий революционным опытом, продолжается борьба между идеологиями пролетариата и буржуазии. В казахских условиях эта борьба особенно остра.

Национализм, зародившийся в начале XX века, созданная после февральской революции 1917 года пробайская организация алаш-орда открыли дорогу идеологии баев-националистов и националистических писателей. Писатели-националисты и пробайские писатели, выступающие против Октябрьской революции, пустили корни по всей казахской земле. Қазахские писатели из трудящихся, появившиеся после Октября, не имея достаточного образования, не объединенные в свой союз, оказывали до сих пор слишком слабое сопротивление пробайским писателям. Поэтому после Октябрьской революции байско-националистические элементы делали в литературе, что хотели, проводили свою линию. Но росла сознательность пролетариата и крестьянства, а также их поэтов и писателей, ряды которых расширялись с каждым годом. Усиливалась идеологическая борьба. Самое активное участие в ней принимают писатели. А если это так, то необходим постоянный союз, который бы объединил их и вел воспитательную работу.

§ 4

Большинство трудящихся казахов — крестьяне, а среди них преобладают бедняки и середняки. Батраки объединены в свой союз Кошчи. Есть также рабочие фабрик и заводов, пока еще немногочисленных.

В современных условиях в Қазахстане рано еще создавать отдельно организацию пролетарских писателей. Поэтому необходимо ввести некоторые изменения в структуру Союза пролетарских писателей Қазахстана, созданного в начале 1925 года. РАПП, Российская ассоциация пролетарских писателей, по-прежнему является для нас идейным образцом. Но мы будем являться Союзом пролетарских и крестьянских писателей Қазахстана. Этот Союз призван исправить прежние ошибки и на деле способствовать росту литературы казахских трудящихся.

§ 5

В классовом обществе нет ничего внеклассового, и литературы не может быть вне класса. Классовая лите-

ратура прежде всего воспевает свой класс, а потом уж говорит об общечеловеческом. Поэтому мы должны направить все усилия на развитие только той литературы, которая способна воспитывать сознание пролетариата и крестьянства. Союз считает, что литература, не способная помочь рабочим и крестьянам в их стремлении к новой жизни, не нужна.

§ 6

Наша организация считает для себя обязательным осуществить Постановление Центрального Комитета ВКП(б) о художественной литературе, принятое в 1925 году. Мы будем работать в направлении, указанном этим Постановлением. И художественная литература станет классовой. Поможет в разъяснении среди рабочих и крестьян политики партии и будет воспитывать в этом духе молодых писателей из среды крестьян. Наш Союз, будучи частью пролетариата и крестьянства, смотрит на жизнь с диалектико-материалистических позиций.

§ 7

Литература пролетариата и крестьянства противостоит байской литературе. Она будет вести с ней неустанную борьбу. В последнее время пробайские писатели стараются незаметно проводить свои мысли, подкрашивая красным цветом их реакционную сущность.

Писатели трудящихся должны стремиться не только к красоте художественных форм, но и к значительности содержания. Мы будем писать о том, что воспитывает у казахских трудящихся марксистско-революционную идеологию. Мы будем писать о том, что действительно происходит в жизни. А если мы будем писать о прошлом, то только для того, чтобы показать его гнилостность, чтобы возбудить к нему ненависть. Сравнивая прошлую и современную эпоху, мы будем думать о будущем.

§ 8

Многие события в жизни народа — голод, джут, годы гражданской войны и военного коммунизма, до сих пор не описаны в художественных произведениях. Из жизни дореволюционной мало написано о ханах-кровопийцах, о баях-угнетателях, о волостных — аульных взяточниках, об аксакалах. Из жизни послереволюционной также ма-

ло написано о классовой борьбе, об алаш-орде. Описать как можно полнее эти события, дать о них широкое представление казахским читателям — одна из важнейших задач пролетарско- крестьянских писателей.

§ 9

У писателей, вышедших из среды казахских трудящихся, перья еще далеко не отточены. В их произведениях форма и содержание часто не соответствуют друг другу. Этим нарушается одно из главных требований художественной литературы: взаимосвязь формы и содержания, их единство создают подлинную художественность. Наша задача — стремиться неуклонно соблюдать это требование.

§ 10

Союз рабочих и крестьянских писателей Казахстана не отвергает существующие издавна формы стихотворений, рассказов. Он не допустит размежевания из-за споров о форме, считая, однако, наиболее правильным обновление старых форм.

Мы будем настойчиво добиваться полноты содержания наших произведений, избегать в них двусмысленностей, бороться за ясность и идейность.

§ 11

Некоторые наши писатели, вышедшие из недр простого народа, до сих пор заблуждаются, не зная, с кем и куда идти. Они воспевают то баев, то трудящихся. Рассматривая их как пробайских писателей, наш Союз, однако, будет привлекать колеблющихся к себе, чтобы воспитывать их в нужном направлении.

§ 12

Класс баев у казахов еще не исчез, не уничтожен. Значит, живут и его идеологи. Но с укреплением Советской власти казахские баи будут слабеть. Конфискация земли и пастбищ, советизация аула, организация партийных ячеек, союз батраков Кошчи, раскрепощение женщин, рост рабочих в связи с ростом промышленных предприятий, повышение их сознательности, ликвидация неграмотности у бедняков и батраков, их дальнейшая активизация — все это приближает гибель казахского

байства. Баи будут из года в год лишаться земельных угодий, скота, власти. В момент наиболее острых столкновений пробайские писатели вместе с баями невольно встанут на дыбы. Поэтому наш Союз должен вести против них беспощадную борьбу.

Первые шаги

Итак, Сакен Сейфуллин был избран председателем оргбюро КазАППа, а я — секретарем. Одновременно я начал работать в партотделе газеты «Энбекши-Казах». Там я и получал заработную плату. Маленькая комнатка партотдела была и помещением нашего оргбюро. Сюда заходили писатели, здесь проводились и заседания.

Примерно в это же время редактором газеты был назначен Габбас Тогжанов. Невысокий, сухощавый, с модной в те годы прической ежиком, он запомнился мне желтоватым цветом лица и серыми внимательными глазами. И серые глаза, и маленький рот делали его похожим скорее на татарина, чем на казаха.

Он был моим ровесником, и я с ним познакомился еще в тысяча девятьсот восемнадцатом-девятнадцатом годах в городе Омске. В те годы он, гимназист Тогжанов, был одним из самых активных членов союза «Жас азамат», «Юный гражданин», поддерживающего алаш-орду. Той зимой «юные граждане» участвовали в кампании помощи небезызвестному полку алаш. Габбас Тогжанов даже сообщил об этой своей деятельности сборщика в заметке, опубликованной в семипалатинской газете алаш-орды — «Сары-Арка». На собраниях в Омске Габбас всячески возносил алаш-орду. Поговаривали, что он сын известного в степи бая Садвокаса Тогжанова. Слухи эти подтвердились во время конфискации 1928 года: имя Садвокаса было внесено в список пятиста крупных баев.

Когда в Сибири и в той части нынешнего Казахстана, которая называлась Акмолинской губернией, установилась Советская власть, Габбас Тогжанов вступил в ряды Коммунистической партии и неожиданно стал инструктором Западно-Сибирского ревкома. По словам сведущих людей, вступление Габбаса в партию объяснялось довольно просто — накануне осенью на съезде партии алаш-орды, проведенному в Каркаралинске, Алихан Бу-

кейханов, сознавая, что иного выхода нет, призвал всю алашскую молодежь проникать в Коммунистическую партию и разлагать ее изнутри.

Но, согласно русской пословице, шила в мешке не утаишь. Тогжанов в первые два года своего членства в партии ничем не выдавал себя, но потом все-таки опубликовал в петропавловской газете «Знамя свободы» несколько статей националистического характера. Местные партийные организации стали строго спрашивать с него, и он осенью 1922 года уехал в Москву учиться в экономическом институте имени Плеханова. Я уже рассказывал, что в мой приезд в Москву в конце двадцать четвертого года Габбас заканчивал институт и одновременно работал в отделе печати ЦК РКП(б). Упоминал я и о том, что Габбас прочел мою рукопись, предложенную в Восточное издательство, и написал хороший отзыв.

И вот теперь Габбас — редактор газеты «Энбекши-Казах». Поначалу казалось, что он относится ко мне вполне дружелюбно. Он не раз при мне говорил, что из всех казахских писателей я ближе всех к пролетарской революции. Эту мысль он обосновал и в своей книге «Вопросы литературы», изданной в следующем году.

Но к Сакену Сейфуллину Габбас с первых шагов не проявил никакой благожелательности. Он находил любой повод, чтобы обрушиться на Сакена — и устно, на собраниях, и в печати. Я все чаще протестовал против односторонних статей с нападками на Сакена в газете «Энбекши-Казах». Тогда Габбас прибегнул к помощи республиканской газеты, выходящей на русском языке. В «Советской степи» он напечатал несколько материалов. Не дремал и Сакен. В той же русской газете он опубликовал статью «Неонационализм на идеологическом фронте». Своим острием она была направлена против деятелей, близких Габбасу своей биографией. Сакен прозрачно намекал, что рядиться в одежды коммуниста еще не значит быть им в душе. Сакен критиковал садвокасовцев и, в частности, Тогжанова за расплывчатость позиции в оценке классовости казахского общества, за отступления от марксизма.

Сакен и его единомышленники заранее предвидели, какую линию будет вести Тогжанов. Как-то, возвратившись из родных краев в Кзыл-Орду, я побывал у Сакена и застал там Турара Рыскулова.

Сакен и Турар дружили с первых лет революции. До прихода Габбаса Турар некоторое время редактировал газету «Энбекши-Казах». Если кратко изложить мнение Сакена и Турара о новом редакторе, то оно сводилось к тому, что этот байский сынок и недавний алашордынец спрятал сейчас свои коготки, но рано или поздно он их выпустит снова. Но как бы он ни царапался, как бы он ни ранил врагов своего класса — победителем ему не быть, ибо власть принадлежит не баям, а трудящимся.

Чем больше я встречался с Тураром Рыскуловым, тем больше убеждался, какой это стойкий большевик. О Тураре я еще расскажу более подробно.

А здесь я добавлю, что первый секретарь Казкрайкома Ф. И. Голощекин опирался прежде всего на председателя Совнаркома Ныгмета Нурмакова, заведующего орготделом Ораза Исаева и, надо говорить правду, на Габбаса Тогжанова. Убежденный в том, что советизация аула не закончена, что Октябрь якобы «прошел вихрем мимо аула», Голощекин в главные теоретики своего ошибочного взгляда привлек именно Габбаса Тогжанова. В свою очередь Тогжанов всячески настраивал Голощекина против Сейфуллина. Мудрено ли, что Сакен не пользовался любовью первого секретаря, который, кажется, ни разу не поговорил с ним по душам.

...Я хочу здесь отдать долг памяти Беимбета Майлина, талантливого писателя, одного из учредителей Казахской АПП.

Близко я столкнулся с Беимбетом во время моей работы в Кзыл-Орде, хотя встречался с ним еще в Оренбурге в двадцать втором-двадцать пятом годах. Беимбет вместе с семьей обосновался в Кзыл-Орде годом раньше меня, в те дни, когда этот глинобитный город на Сыр-Дарье стал казахстанской столицей.

Жена Беимбета Гульжамал (она сейчас живет в Алма-Ате) была тогда келиншек, очень молодой женщиной, совсем непохожей на мать двух детей.

Они поженились в 1919 году. Гульжамал могла читать газеты, но во всем остальном сохраняла верность аульным привычкам и была, что называется, типичной казашкой того времени. Простодушная, добрая, госте-

приимная, она любила принимать гостей. Почти каждый вечер в дом Беимбета собирались на огонек.

В газетах и журналах часто печатались тогда стихи, фельетоны и очерки Майлина. Выходили в свет и его книги. Зарабатывал он хорошо. Едва ли не каждый день у него во дворе кололи барана. Разными деликатесами не было принято угощать в те годы и в домах казахских интеллигентов. Обычно ограничивались бесбармаком, баурсаками и кумысом.

Обстановка в комнатах Майлиных была очень скромной.

Чтобы завершить картину небогатого их быта, скажу, что Беимбет одевался по-городскому, не без щегольства. Ну, а Гульжамал носила одежду, какую носили аульные казашки.

В 1926 году, когда произошло наше сближение, Беимбет работал заместителем редактора газеты «Энбекши-Казах». Он был очень опытным сильным журналистом. Стихи и фельетоны он начал писать еще в 1914 году. В первые пять-шесть лет Советской власти он одновременно сотрудничал и в кустанайской газете «Аул», и в оренбургской «Энбекши-Казах», и в журналах «Кзыл-Казахстан», «Айель тендиги» («Равноправие женщин»), «Лениншил жас» («Ленинская молодежь»).

Беимбет отличался крепким здоровьем. Работал он много. Никто из казахских писателей и журналистов не мог сравниться с ним. В редакционной ли конторе, дома ли — его всегда можно было застать пишущим. Его черные волнистые волосы постоянно спадали на смуглый лоб, касаясь пухлых век. За письменным столом он обычно накручивал волосы на палец левой руки, в то время как правая быстро скользила по бумаге. Курил он почти непрерывно.

Писал он красивым четким почерком. Казахскую грамматику он знал хорошо, но с русским языком был не в ладах.

В краткие часы досуга Беимбету нравилось возиться с детьми, развлекать их. А еще он любил, удобно откинувшись на подушки, негромко напевать какую-нибудь степную песню под аккомпанемент своей домбры. Играл на домбре он неплохо, в кустанайской манере,— сильно ударял по струнам. Чаще всего он исполнял мелодию «Угай-ай» и песенку Балуан-Шолака «Галия». Это был

редкостный вариант известной песенки батыра. Нигде я больше не слышал этого варианта.

Беимбет с первых шагов своего творчества был убежденным демократом, защитником бедноты. Иную его идейную позицию и трудно себе представить. Мироощущение Беимбета корнями связано с его биографией.

Беимбет родился на Кустанайщине, в нынешнем Тобольском районе на берегу реки Аят. Аул этот находился у подножья холма Шанкан. Впоследствии название холма стало одним из псевдонимов Майлина. Он часто так и подписывался — Шанкан.

Отец Беимбета Жармагамбет, сын Майлы, жил в большой бедности и охотой добывал себе пропитание. Через полгода после рождения сына Жармагамбет умер — ему не исполнилось и двадцати лет. Сохранилось преданье, что Жармагамбет убил лебедя — священную птицу, духи предков и наказали его за это смертью. Мать Беимбета, молодая женщина, следуя обычаю, вышла замуж за брата Жармагамбета — Бакбергена. Бакберген и младший брат Байжан из-за бедности пошли в батраки к баю Мухамжару. Мать Беимбета доила байских коров, а сам маленький Беимбет пас ягнят. Он был тогда малаем, батраком. Вот исток другого псевдонима Майлина — Малай.

Беимбету посчастливилось окончить открывшуюся в ауле Мухамжара школу, а потом он учился в медресе «Расулия» в соседнем городке Троицке и медресе «Галия» в Уфе. Так он получил среднее образование на татарском языке и стал аульным учителем.

На этой работе он и встретил 1917 год.

Мне кажется, именно здесь уместно рассказать об одной особенности предреволюционной казахской интеллигенции. В ее среде бытовало тогда понятие «миллят». Его можно перевести словом «нация». Будь это демократ или убежденный феодал, имей он татарское или русское образование, но если он казах-интеллигент — значит, он почти непременно является миллятистом. Миллятист совсем не обязательно националист. Понятие это включало любовь к родному народу, понимание его нужд, стремление освободиться от колониального угнетения, тяготение к свободе. Миллятизм, бесспорно, не был цельным течением. В нем было много внутренних противоречий, много оттенков. Уже одно то, что среди его последователей

находились представители разных социальных полюсов, лишало его единства. В революционные годы произошло дальнейшее и окончательное размежевание миллятистов. Байско-феодальная его часть решительно выступила против Октября, демократы — одни раньше, другие позднее — стали на социалистический путь. Среди этих демократов был и Сакен Сейфуллин, ставший непоколебимым революционером и борцом за Советскую власть. Между тем, до Октябрьской революции, судя хотя бы по сборнику его стихов «Откен кундер» («Минувшие дни»), он не смог подняться выше обычного идейного уровня аульных миллятистов.

Но воззрения Беимбета были гораздо правее, чем у Сакена. Здесь сказалось, прежде всего, то обстоятельство, что он впервые появился на литературном горизонте благодаря поддержке оренбургской газеты «Қазах». Ее издателями и руководителями, как уже знает читатель, были Ахмет Байтурсунов и Миржакип Дулатов, будущие вожаки алаш-орды.

Первое стихотворение Беимбета «Мухтаждык» («Нужда») появилось в газете «Қазах» в 1915 году. С печалью думал поэт о том, как труден путь к знаниям для юноши из бедной семьи. Не может лирический герой стиха осуществить своей мечты. Угасает даже сама мечта героя. Многим дореволюционным стихам Беимбета Майлина присущ этот мотив. Но и гражданские демократические идеи развивались во многих его произведениях. Беимбет был решительным противником байского насилия над бедняками-кедеями, он боролся с религией, одурманивающей народ, он выступал за раскрепощение казахской женщины, показывал всю несправедливость ее общественного неравенства. Во всей этой борьбе Беимбет был подлинным демократом и занимал правильные классовые позиции.

Уже в 1919 году Беимбет начал активно участвовать и в культурно-просветительной, и журналистской работе. А на следующий год в печати появляются его стихотворения и рассказы, посвященные Великому Октябрю, Советской власти, принесшей освобождение казахскому народу.

В 1924 году Майлин вступил в ряды Коммунистической партии.

Он с еще большей остротой разоблачает козни баев и мулл, пишет о социалистическом строительстве и не отступает от главной темы своего творчества до конца дней своих, до 1937 года, когда он пал жертвою нарушений социалистической законности.

Ко времени нашего близкого знакомства (1926 г.) у Беимбета были изданы две книги — сборник стихотворений и поэм и сборник рассказов «Кульпаш». Из пяти рассказов только один написан на материале голодного двадцать первого года, а все остальные носят обличительный антирелигиозный характер.

Здесь я не буду касаться прозы Беимбета, мне хочется подробнее говорить о его стихах и поэмах.

Творчество Майлина уже с 1919 года занимает особое место в истории казахской поэзии. По крайней мере, целое десятилетие не было у нас поэта, который бы так глубоко проникал в жизнь казахского бедняцкого аула. Не было у нас поэта, который воспел бы бедняка с такой силой.

У Майлина был постоянный герой его стихотворений бедняк Мыркымбай. Бедняк-кедей, Мыркымбай и сам автор Беимбет как бы сливаются в единый образ. Его жизнь — перед нами. В нем воплощены во всей полноте думы и чаяния простого народа. В образе Мыркымбая отражены и сильные и, в особенности, слабые стороны индивидуального хозяйства.

Мыркымбай отнюдь не бедняк вообще. Это бедняк полуоседлого, полукочевого аула. Его основная профессия не скотоводство, а землепашество. В стихах «Горькие размышления бедняка» нищенская жизнь Мыркымбая встает перед нами во всей ее беспросветности. Мыркымбай-хлебороб не может быть хозяином своей судьбы. Он не находит выхода из тупика. Даже в первые годы Советской власти ему не хватает инвентаря, тягла и семян. Только с 1924 года Мыркымбаю становится немного легче. Позднее такие бедняки, как он, начинают объединяться в ТОЗы и артели.

Цикл стихов о Мыркымбае — последовательная хроника переходного периода жизни казахской бедноты, завершающаяся объединением в коллектив.

Беимбет Майлин все свои произведения в разных жанрах посвятил преимущественно одной теме — борьбе за новую счастливую жизнь в ауле, классовой борьбе.

Ее никогда не забывал Беимбет. Он всегда оставался сторонником бедняков.

В идеологических схватках он принимал участие только своим творчеством. К нему с одинаковым уважением относились самые разные люди. И почти все называли Беимбета почтительным именем Биеке.

Большинство же участников КазАППа принимали самое деятельное участие в наших жарких диспутах, и устных и печатных. А диспуты в те времена проводились куда как часто. Одним из постоянных спорщиков на этих собраниях и был Орымбек Беков.

Его имя я впервые услышал от Нурмака Байсалыкова, моего сокурсника, о котором я рассказывал в предыдущих главах.

Орымбек вышел из рабочей семьи и окончил двухклассную русскую школу.

— Ты знаешь, он оратор, настоящий оратор,— восхищался Нурмак,— джигит! Член партии с двадцатого. Любит литературу. И, думаю, станет писателем. Только помочь ему надо. Вызвать надо его к нам, в столицу.

В своей книге «Тернистый путь» Сакен Сейфуллин писал об Орымбеке Бекове как об активном революционере, строителе Советской власти и просто талантливом человеке, умеющем добиваться своей цели.

Мне очень хотелось встретиться с Орымбеком.

Случилось так, что не мы вызвали его в Оренбург, а он приехал в новую столицу Кзыл-Орду на год раньше меня и стал работать в комиссариате юстиции. В Верховном суде республики в то время подготавливалось к слушанию одно громкое дело. В 1921 году в Семипалатинской губернии проводилась кампания по сбору скота в помощь голодающим Тургая. Руководил кампанией известный алаш-ордынский писатель Жусупбек Аймаутов. Более тысячи голов скота, в том числе коровы, верблюды, лошади и овцы, перегонялись из Прииртышья в Тургайскую степь. Но скот был распределен не по назначению. Скот попал преимущественно в байские руки, нажились и организаторы. Общественным обвинителем на этом процессе был назначен Орымбек Беков.

Материалы дела, хранящиеся в архивах, дают основание утверждать, что процесс этот вышел за рамки обычного судебного разбирательства и приобрел политическую окраску. Выбор Орымбека Бекова как общест-

венного обвинителя, вполне оправдался. Он умело построил обвинение, подтвердил свою репутацию отличного оратора и человека большого ума.

Все, что я слышал об Орымбеке, в полной мере обнаружилось при нашем знакомстве. Но еще одна его черта открылась мне с особенной полнотой. Несмотря на очень небольшое образование, Орымбек самостоятельно изучил творчество русских и европейских писателей, знал не только современную литературу, но и литературу прошлого. Хорошо изучил Орымбек и марксизм-ленинизм. Особенно увлекали его проблемы эстетики. В середине двадцатых годов он был одним из самых последовательных и образованных коммунистов среди казахов.

Не знаю, кого можно поставить рядом с ним в литературных спорах. Он был одинаково красноречив, когда говорил и по-казахски и по-русски. Но не звонкими словами, а логикой побеждал он на диспутах.

Больше, чем другим, доставалось от него Габбасу Тогжанову. Орымбек последовательно опровергал его доводы и, умело пользуясь таким оружием, как остроты, выставлял на посмеяние своего противника.

Орымбек принимал участие в литературных делах не только в качестве умелого спорщика, но и в плане очень практическом. Возглавляя профсоюз работников земли и леса, и заказами, и средствами он помогал издавать книги, нужные нашему молодому рабочему классу. По профсоюзному заказу были написаны и изданы многие произведения. В их числе поэма Сакена Сейфуллина «Труд — рабочая слава», моя поэма «Батрак», короткие комедийные пьесы Рахимжана Малабаева, высмеивающие старые аульные обычаи. Их очень охотно ставили на клубной сцене. Сам Орымбек написал поэму «Капля крови для великого дела». Эта поэма, посвященная участию казахских трудящихся в Октябрьской революции, сыграла немалую роль в идейной борьбе того времени.

Орымбек Беков до конца своей жизни, трагически оборвавшейся в 1937 году, не сходил с правильного пути. 3 марта 1965 года в газете «Социалистик Қазахстан» была опубликована статья Малика Габдуллина и Есета Аукабаева «Зеркало произведения — истина», в которой была отдана дань уважения и любви замечательному революционеру-большевику, писателю, человеку.

Теперь я хочу хотя бы кратко рассказать о тех писа-

телях, которые совсем молодыми вошли тогда в нашу литературную организацию.

Сперва об Аскаре Токмагамбетове.

Хорошо помню, как однажды ко мне в комнату не без робости зашел рыжеватый джигит, уже довольно полный, несмотря на свой молодой возраст. Он был одет несколько необычно: фуражка с синим верхом и красным околышем, да еще с кокардой, вышитая косоворотка, перепоясанная шелковым бахромчатым поясом, холщовые серые штаны и сандалии.

Кто бы это мог быть, подумал я, протягивая ему руку. А джигит молчал. Потом, так же молча, медленно вытащил из кармана стихи́ и вручил их мне.

Попробовал с ним поговорить. Не отличавшийся многословием и в зрелые годы, Аскар тогда был очень застенчив и способен был лишь кратко отвечать на мои вопросы, каждый раз при этом часто моргая и неловко улыбаясь. Я узнал, что он учится в Чимкентском сельскохозяйственном техникуме и приехал на каникулы в родную Кзыл-Орду. А стихи понравились мне. Они были написаны живо и душевно на самые современные темы. Для начала я выбрал стихотворение «Вот твой портрет», посвященное Ленину. На другой же день оно появилось в газете «Энбекши-Казах». Обрадованный удачей Аскар стал часто передавать в редакцию стихи. Стеснительный, он не решался сам заходить в редакцию, а использовал в качестве почтальона своего друга, земляка и сверстника Жумабая Есбатырова. Стихи часто подписывались двойной подписью — Жумабай и Аскар.

«Вот мы с Аскаром написали»,— говорил Жумабай. Я читал стихи, узнавал ружу Аскара и вычеркивал второго автора. Жумабай нисколько не обижался, а через несколько дней после напечатания приходил от Аскара с запиской — получать гонорар. Таким же путем публиковались и первые фельетоны Токмагамбетова.

Заметным поэтом и писателем Казахстана стал впоследствии и Калмахан Абдыкадыров.

В 1926 году он работал конюхом в нашей редакции. Автомашин тогда в Кзыл-Орде не было, ездили в фаэтонах или тарантасах. Иные руководители учреждений предпочитали верховую езду. А у нас была с ленцой крупная гнедая. Целыми днями, запряженная в фаэтон, простаивала она у нас под тополями в редакционном

дворе. До крайкома рукой подать, а больше редактору ходить некуда. Укрывшись в тени, кучер Қалмахан днями просиживал на козлах. Я заметил, он не расстается с книгой, а бывает, достанет бумагу и карандаш и примется что-то строчить. Меня взяло любопытство, и я стал заговаривать с ним, а скоро познакомился и совсем близко. Он был примерно моим ровесником; худой-худой, высушенный и обожженный солнцем, он мне показался похожим на арабского бедуина.

Қалмахан вырос на Сыр-Дарье, в семье бедняка, перекочевавшего с берегов Тобола в Чиили. Қалмахан погонял ишаков у узбекского купца, был мальчиком в шашлычной, а потом помогал водить верблюжьи караваны. Не было города в Средней Азии, где бы он ни побывал. В странствиях своих он научился и таджикскому, и узбекскому, и другим языкам Востока. Он много читал, преимущественно классиков Средней Азии. Қнига, с которой он не расставался сейчас, была «Шах-намэ» Абулқасима Фирдоуси.

К моему удивлению, Қалмахан писал стихи. По форме они приближались к фольклору, но содержание их показалось мне путаным, хотя он и стремился воспеть борьбу угнетенных, славил свободу, изобличал баев. Слабость Қалмахана была в недостатке его образования, в политической малограмотности.

Мы стали часто встречаться. То он приходил ко мне в кабинет, то я подолгу задерживался у его фаэтона под тенью тополей. Бывали мы и дома друг у друга. Қалмахан писал все лучше и лучше, стихи его становились все более современными. И после стихотворения «Единство», опубликованного в «Энбекши-Қазах», имя нового поэта систематически появлялось в печати.

Третий поэт, о котором я хочу сейчас рассказать, широко известен ныне и как один из наших лучших лириков и драматургов, и как литературный критик. Это Абдильда Тажибаев.

Он пришел ко мне в редакцию, припадая на правую ногу. Высокий, худощавый подросток, с чуть суженными глазами. Черные его волосы были в полном беспорядке. Я узнал его сразу: это был тот самый паренек, который в прошлом году на митинге приветствовал от имени пионеров делегатов пятого съезда Советов Қазахстана, приехавших в Қзыл-Орду из Оренбурга.

Я его тогда хорошо запомнил. Он притронулся ко лбу длинными тонкими пальцами, смахнул пот, сказал что-то дрогнувшим голосом и положил мне на стол листок. Читаю — стихотворение «Тебе нет здесь места». Содержание его было довольно забавным и вполне автобиографическим. Абдильда, оказывается, обошел несколько учреждений в поисках работы, но его нигде не приняли. Ответ был всюду один — «нет места». Тогда Абдильда разозлился и написал фельетон в стихах.

Как раз в эти дни при газете «Энбекши-Қазах» готовился выпуск приложения «Подарок». Мы решили опубликовать там лучшие из стихотворений на советскую тему, присланные в редакцию. Составителем сборника был я. Стихотворение Абдильды «Тебе нет здесь места» понравилось мне и вошло в этот сборник. Вскоре Абдильда устроился фальцовщиком в типографии. С той поры его стихи стали регулярно печататься на страницах газет и журналов.

Аскар, Қалмахан, Абдильда... А скольких я не назвал. Росла наша литература. Из месяца в месяц, из года в год. В наши ряды вливались поэты из народа. Нашему оргбюро хватало забот.

Рождение казахского театра

Я рассказал вам о первых днях жизни писательской организации Қазахстана, положившей начало расцвету казахской литературы. Теперь я хочу обратиться к другому, не менее важному для моей родины событию — истории создания казахского театра. Конечно, я не смогу рассказать вам всего — да и кто сможет сделать это! Я буду говорить лишь о том, чему я сам был свидетелем и что особенно дорого и близко моему сердцу.

До революции у казахов не было вообще профессионального театра. Да и о каком театре можно было мечтать при сплошной неграмотности народной массы и необходимости постоянно вести кочевой образ жизни.

Но нет народа, в душе которого не звучала бы артистическая струнка, в гуще которого не рождались бы замечательные таланты-самородки — певцы, танцоры, балагуры. Идея создания национального казахского театра принадлежит самому народу. Қазахский театр не

вдруг появился на свет божий — он исподволь рождался во время народных празднеств, игр, состязаний. И подобно тому, как древнегреческому театру предшествовали диалоги, пантомимы, культовые игры, устраивавшиеся на площадях городов и селений в праздничные дни, так и состязания казахских певцов — айтысы, казахские игры — «молчанка», «мыршым», «хорош ли хан?» предшествовали казахскому театру. Я не говорю уже о том, какого подлинно циркового искусства достигли национальная борьба и конные игры казахов.

И все-таки театра, как такового, повторяю, у казахов не было.

Лишь в десятых годах двадцатого столетия, когда в таких крупных городах, как Омск, Оренбург, Семипалатинск, усилился приток учащейся казахской молодежи, стало появляться нечто, напоминающее современные самодеятельные драматические кружки, и часто вечера отдыха молодых людей превращались в своеобразные театрализованные представления. А в 1914 году в Семипалатинске, в десятую годовщину смерти Абая, молодежь почтила память великого поэта небольшим спектаклем, поставленным по пьесе одного из самодеятельных актеров. Осенью 1917 года в Акмолинске была поставлена пьеса начинающего литературную карьеру Сакена Сейфуллина «Дорогой счастья», принесшая ему большой успех.

В первые годы установления Советской власти количество драматических кружков в Казахстане резко увеличилось. Теперь спектакли ставились не только в городах, но и в аулах. Так, одноактная комедия Байбатыра Ержанова «Муки могилы», зло высмеивающая ислам в начале двадцатых годов, ставилась во многих аульных школах.

С именем Байбатыра Ержанова и его комедией у меня связан ряд забавных, теперь уже таких далеких впечатлений. Помню, работал в самом начале двадцатых годов в одном из кооперативов Петропавловска друг и сверстник Сакена Сейфуллина Ахмет Баржаксин. Этот невзрачный косоглазый человечек, поражавший всех своим женоподобным голосом, умудрился в течение одной только зимы 1920 года состряпать около двадцати пьес. И вот каждую пятницу большой дом, принадлежавший ранее баю Сакау Баймагамбету, или просто Косно-

языкому, как звали его в народе, стали осаждать толпы народа. Еще бы! Впервые в городе клубная молодежь ставит спектакли на казахском языке, и не для узкого круга любителей, а для всех желающих. Есть от чего прийти в волнение городскому обывателю, не очень-то избалованному интересными зрелищами. Правда, больше одного-двух раз постановка не выдерживала. Но ни актеров, ни зрителей, ни самого Ахмета это обстоятельство не смущало. Просто актеры составляли депутацию и шли к Ахмету с просьбой о новой пьесе; Ахмет же, будучи человеком не гордым, садился за стол, брал перо и через два-три дня новая пьеса была готова. И снова здание молодежного клуба осаждали толпы народа.

В те годы пьесы, подобные тем, какие в большом выборе сочинял Ахмет Баржаксин, росли как грибы после дождя. Наверное, каждый мой сверстник, порывшись поусерднее в памяти, сможет назвать с десяток имен авторов всевозможных комедий и трагедий, написанных специально для самодеятельных драматических коллективов. Мне вспоминаются и популярный тогда Рахимжан Малабаев, написавший за один год около ста комедий, и Губайдулла Балахадыров, и упомянутый уже мною Байбатыр Ержанов. Словом, всякий, кто умел держать перо, пытался писать пьесы. И пусть почти каждая из этих пьес не отличалась высокими художественными качествами и ни в коей мере не претендовали стать со временем «большой» литературой, пусть все это были, как правило, лишь летучие однодневки. В целом это был все же отрадный факт. Отрадный потому, что эта лавина пьес и драматургов дала нам таких превосходных литераторов, как Сакен Сейфуллин, Мухтар Ауэзов, Беимбет Майлин, Мажит Даулетбаев. Это они заложили основы казахской драматургии, которая ныне вышла на широкую дорогу подлинного творчества.

Таким же сложным путем приходили к подлинному искусству и наши любимые актеры, ставшие теперь гордостью казахской сцены. Қалибек Куанышпаев, Серке Қожамкулов, Елюбай Умурзаков, Курманбек Джандарбеков, Куляш Байсеитова, Қапан Бадыров, Қанабек Байсеитов, Рахиля Қойчубаева, Шакен Айманов — таков далеко не полный перечень замечательных актерских талантов, исполнителей лучших ролей не только в таких пьесах, как «Энлик-Кебек», «Козы-Корпеш и Баян-слу»,

«Ахан-серэ, Актокты», «Абай», «Красные соколы», но с высоким актерским мастерством сыгравших заглавные роли в величайших творениях Шекспира, Мольера, Лопе де Вега, Гоголя, Островского, Горького. А ведь все они — выходцы из народа, каждый из них был участником самодеятельных драматических коллективов, прежде чем прийти на сцену настоящего театра и снискать себе всенародную любовь. Такова предыстория казахского национального театра. Настоящая же его история начинается с 1926 года, когда в театральном зале впервые поднялся занавес.

В дни открытия первого казахского театра я был в Петропавловске и об этом радостном для моего народа событии узнал из небольшой газетной заметки. Не могу передать, какое ликование охватило меня и моих друзей при этом радостном известии. Ведь молодости более, чем любому другому возрасту, свойственно стремление приобщиться к искусству, особенно театральному. Теперь странно мне об этом вспоминать, а ведь и мне в начале двадцатых годов довелось сыграть несколько ролей в пьесах, поставленных в том самом молодежном клубе, для которого сочинял свои пьесы Ахмет Баржаксин. А немного позже, осенью 1923 года, в самом большом клубе Оренбурга я принял участие в постановке знаменитой пьесы «Энлик-Кебек». Роль Еспембета исполнял в этом спектакле Серке Кожамкулов, ныне народный артист Казахской ССР, а роль Кобея сыграл я. Об игре Серке Кожамкулова много говорить не стану — он играл превосходно. Каково же было мое удивление, когда в рецензии на спектакль, опубликованной в газете «Энбекши-Казах», в весьма одобрительных тонах не раз была упомянута и моя фамилия. С тех пор прошло много лет. Я не стал актером, но навсегда остался закоренелым театралом, пишу для театра, люблю театр. И тогда, прочитав небольшую заметку об открытии казахского театра, я потерял покой и только и мечтал о том, как бы попасть хоть на один спектакль.

Сделать это было непросто. В Петропавловске у меня много дел, а до отпуска далеко, так же, как до Кзыл-Орды. Пришлось сдержать свое нетерпение и ждать осени. Тогда я еще не знал, что ехать в Кзыл-Орду летом было бы совершенно бесполезно — ведь именно к лету в каждом театре заканчивается театральный сезон.

Только в сентябре мне удалось вырваться ненадолго из Петропавловска, и сколько же интересного я узнал даже в эту свою короткую поездку! Я бы так и остался только восхищенным зрителем и поклонником театральных подмостков, если б Серке Кожамкулов, мой партнер по оренбургскому спектаклю «Энлик-Кебек», не оказался временным режиссером театра. Эта встреча имела для меня особенное значение — ведь я знал Серке не только по театру: мы с ним часто встречались в доме Беимбета Майлина, который и помог юноше осознать свое сценическое дарование. И вот теперь я мог воочию видеть, как сбываются пророчества Майлина и мечты о большой сцене Серке Кожамкулова. И еще одна приятная новость ожидала меня: Елюбай Умурзаков, мой сверстник и друг, такой же самодеятельный актер, как и я, вместе с Серке стал одним из главных зачинателей и организаторов казахского национального театра. Очень любил и уважал я этого человека, но кто мог тогда подумать, что он сможет воплотить на сцене такие сложные и такие разные образы, как шекспировский Отелло, казахский батыр Амангельды Иманов. Кто бы мог тогда подумать, что именно Елюбай воплотит на казахской сцене образ Владимира Ильича Ленина...

Серке и Елюбай познакомили меня почти со всей театральной труппой, и много забавного, серьезного и поучительного я вынес из этого знакомства. Но я, желая остаться верным главной мысли своего рассказа, не стану писать обо всем, что подсказывает мне моя память. Я познакомлю вас лишь с двумя актерами — народным артистом Союза ССР Калибеком Куанышпаевым и народным артистом Казахской ССР Курманбеком Джандарбековым, и вы увидите, с какой поразительной точностью судьба каждого из них совпадает с судьбой казахского театра и его лучших представителей.

Наверное, вам приходилось читать увлекательнейшую книгу «Французский ярмарочный театр» или что-нибудь подобное ей, где рассказывается о балаганных актерах, разъезжавших по дорогам многих стран. Актеры эти не учились в театральных школах, их школой была жизнь, нужда да упорное стремление не иметь себе равных в своем балаганном ремесле, которое прадеды передавали дедам, деды — отцам, отцы — детям. Ни одна ярмарка не обходилась без балаганных актеров, да и

сам факт появления в каком-нибудь городке или селении бедной балаганной повозки превращался для простого народа в настоящий праздник. Это и был подлинно народный театр, доступный всем и каждому.

У казахов не было балаганного театра, но такие актеры-самородки, как Балуан-Шолак, Шашубай, Кенен могли бы стать гордостью любой сцены. Они, в сущности, и были высокоодаренными балаганными актерами, память о которых народ будет хранить всегда, о которых уже сложено столько легенд.

Предательски убитый из-за угла в 1916 году казахскими баями и русскими купцами за участие в народном восстании Нурмагамбет Баймурзин, любовно прозванный народом Балуан-Шолаком, был знаменитым, непобедимым певцом, обладавшим необычайно высоким, чистым голосом. Автор прекрасных песен, музыкант, исполнявший их с поразительной виртуозностью, он был еще и великолепным, не хуже, чем в цирке, наездником, укротившим не одного дикого степного скакуна. О таких, как Балуан-Шолак, в народе говорят так: джигит о восьми гранях, как бы желая подчеркнуть не только их высокое артистическое искусство, но и редкую разносторонность их таланта.

Не отставал от Балуан-Шолака в мастерстве развлекать зрителей и серьезной игрой, и потешными выдумками его ученик Шашубай Кошкарбаев. Шашубай был актером не только тогда, когда сотни глаз следили за каждым его движением, жадно ловили каждый звук его голоса — он оставался им в любых жизненных обстоятельствах; наделенный огромным артистическим даром вносить в жизнь, подчас совсем не легкую и не простую, забавные чудачества, сердечный юмор и громкий, заразительный смех.

Шел однажды 75-летний Шашубай с Коунрадских рудников на Балхашский медеплавильный завод. Не раз при шуме приближающегося автомобиля Шашубай останавливался и поднимал то одну руку, то сразу обе — шоферы равнодушно проносились мимо. Наконец терпение старика лопнуло, и он, едва приметив еще один несущийся на полной скорости автомобиль, проворно, точно молодой атлет, сделал великолепную стойку на руках, и шофер, пораженный неожиданно взметнувшимися

вверх ногами седобородого аксакала, так и стал со своим грузовиком как вкопанный.

— Что с вами, дедушка? — не то участливо, не то с опаской произнес он, выходя из машины.

Шашубай, между тем, так же проворно вскочил на ноги и рысцой побежал к машине. Забравшись в кабину, он сказал:

— Теперь вези. Десять раз поднимал руки — ни одна собака не захотела подвезти. Хорошо, что у человека, кроме рук, есть еще и ноги.

Долго смеялся потом шофер и не раз рассказывал встречному и поперечному об этой забавной истории.

Неизменным спутником Балуан-Шолака и Шашубая, учеником и продолжателем их своеобразного народного театрального творчества стал и поныне здравствующий восьмидесятилетний Кенен Азербаев.

В начале двадцатого века в Семипалатинской области устраивалась одна из самых крупных в России ярмарок — Куяндинская. На эту ярмарку съезжались купцы Средней Азии и Дальнего Востока, Китая, Москвы и Петербурга. Вот здесь-то, в необычайном оживлении и толчее, посреди выкриков торговцев и солидных крупных сделок, в шуме и гаме тысячеголосой толпы, зарождались большие актерские судьбы, начинали свой путь яркие таланты. С Куяндинской ярмарки идет широкая популярность знаменитой казахской певицы, домбристки и композитора Майры Уали-кызы. На Куяндинской ярмарке впервые предстал перед всем народом во всем блеске своего комического таланта Калибек Куанышпаев, тот самый Калибек, которого в детстве звали не иначе, как «ку бала» — «хитрый мальчишка», и который так мастерски уже тогда умел выразительной мимикой и телодвижениями передразнить каждого, начиная от аульного муллы. А теперь Калибек, стройный молодой человек, изображает то злую старуху со всеми ее смешными старческими повадками, то скупого муллу, то трусливого джигита, добиваясь такого поразительного перевоплощения, что некоторые при каждом его появлении на помосте спрашивают: «А это кто? Тот же самый или уже другой?»

Калибеку Куанышпаеву не пришлось учиться ни в школе, ни в театральном институте, школой для него стали его многочисленные выступления на ярмарках и

городских площадях, и именно эта своеобразная актерская деятельность помогла ему, когда он пришел в настоящий театр, так блестяще сыграть сложнейшие роли в пьесах Шекспира, Гоголя, Горького, Ауэзова, Мусрепова, Тажибаева, Абишева, Хусаинова.

«Умру, если три дня не посмеюсь»,— говорит Калибек. Это верно. Он очень любит веселиться сам и веселить других. А на сцене он прекрасен и в комических, и в трагических ролях, и в этом, я думаю, нет никакого противоречия. Актер, умеющий так тонко, так умно постигать комическое, должен быть серьезным, мыслящим человеком, а мыслящему человеку должна быть доступна и трагедия. Теперь Калибек Куанышпаев ушел на пенсию, но имя его золотыми буквами вписано в историю казахского театра и по-прежнему этот веселый неугомонный человек чувствует себя актером.

Иначе сложилась судьба другого замечательного актера — Курманбека Джандарбекова. Ему не пришлось выступать на ярмарках и городских площадях: он рос в годы установления в Казахстане Советской власти и, закончив советскую школу, в 1920 году поступил в Казахский педагогический институт, находившийся тогда в Ташкенте. Но лекции по педагогике мало увлекали его. Курманбек страстно полюбил театр и сам стал членом драматического кружка, только что организованного в институте. А вскоре он стал руководителем этого кружка и неизменным участником всех его спектаклей. Имя его уже в те годы было очень популярным — недаром же отец Курманбека, Джандарбек, был хорошим домбристом и певцом. Позднее драматический кружок превратился в артистическую труппу, которая давала спектакли в Ташкенте и многих других городах Туркестана.

В первые годы создания казахского театра Курманбек был одновременно и актером, и режиссером. Обладающий превосходной сценической внешностью, обаятельный и чрезвычайно простой в обращении, он всю свою жизнь, день за днем, отдавал театру и знать ничего не хотел, кроме сцены. В начале 30-х годов он стал одним из руководителей первого в Казахстане музыкального театра, реорганизованного вскоре в Казахский театр оперы и балета имени Абая.

Около тридцати лет Курманбек Джандарбеков был украшением казахской сцены, одним из самых талант-

ливых и преданных ее служителей. В труде, вложенном в это важное и большое дело, есть и его доля, и я мог бы назвать еще десяток имен актеров и актрис, внесших свою лепту в это важное и нужное дело — создание первого казахского театра.

Вернемся, однако, к тем по-летнему душным сентябрьским дням, когда я, приехавший летом из Петропавловска, стал свидетелем того, как только что созданная казахская актерская труппа репетировала один из своих первых спектаклей, пьесу Кожебая Ерданаева «Малкамбай». Любопытно мне было посмотреть, как будут работать над пьесой настоящие актеры на настоящей театральной сцене. К моему удивлению, репетиций было не только не меньше, как я полагал, но даже больше, чем бывало у нас в драматических кружках. Я увидел, с какой тщательностью отрабатывают актеры каждое слово своей роли, каждый жест, поворот головы, каждый выход на сцену.

Но больше всего меня удивила та свобода, с какой актеры обращались с самим текстом пьесы. Невзирая на то, что пьеса от начала и до конца написана одним автором, и актеры, и сам режиссер Елюбай Умурзаков меняли реплики, монологи, порой даже целые сцены — и как оказалось впоследствии, на генеральной репетиции — пьеса Ерданаева от этих переделок только выиграла. Сюжет пьесы, конечно, остался в полной неприкосновенности, да он был и несложен: дочь бая, уже проданная за калым нелюбимому жениху, любит батрака Малкамбая. Много всевозможных препятствий преодолевают влюбленные, но только новые законы, установленные Советской властью, помогают им спастись от преследователей и соединиться друг с другом.

Пьеса была очень злободневна: в ней высмеивался бай и его байбише, упорно цепляющиеся за стародавние обычаи, автор утверждал право молодежи самой выбирать свою жизненную дорогу, но ей не хватало сценичности, пьеса была более пригодна для чтения, чем для постановки. Это сразу поняли и актеры, и режиссер — и вот общими усилиями был создан настоящий театральный спектакль.

Между тем день премьеры приближался. Давно уже были разобраны все билеты — даже входные, закончились репетиции, а на душе у актеров тревожно: как то

зрители примут спектакль, как оценит общественность их труд — ведь театр, по существу, только начал свою творческую деятельность.

Раздался третий звонок. Зал переполнен. Я смотрю на зрителей: кого-кого только здесь нет! Мужчины и женщины, юноши и девушки, старики в городских нарядных платьях и костюмах и седобородые аксакалы в ватных халатах, байбише в нарядных бархатных пальто и мягких сапогах. Иные пришли даже с детьми, и детский плач вдруг прорезает равномерное гудение театрального зала. Дышать почти невозможно: вечер душный, а с вентиляцией в зале совсем плохо, но публику это не смущает, все с нетерпением ждут спектакля.

Наконец занавес взвился. Все стихло. По мере того как зрители втягивались в суть происходящего на сцене, тишина становилась все настороженнее. Актеры играли все увереннее, все увлеченнее.

Вдруг где-то сбоку раздался громкий треск, и в тесный зал, в котором и так негде было яблоку упасть, вваливалась целая толпа — это были зрители, которые сначала долго осаждали пустую кассу и, не добившись никакого толку от администратора, решили все же взять зал приступом — благо тонкие дощатые двери легко поддались их могучим плечам.

Занавес закрыли, в зале зажегся свет, кто-то громко выругался, но делать было нечего. Срочно, кое-как загородили сломанную дверь, толпа вновь прибывших зрителей растеклась по залу. Спектакль продолжался.

Но не кончились на этом злоключения премьеры. В самом интересном месте второго действия погас свет. В зале поднялось что-то невообразимое. Сначала дружно кричали: «Свет! Свет!» Потом кто-то предложил актерам играть в темноте, однако нелепость этого предложения была столь очевидна, что на него никто даже не отозвался. Открыли боковые двери, и постепенно зал опустел, а около здания театра разгорелись споры зрителей. Спорят о героях пьесы, об актерах, исполняющих роли, гадают, что будет дальше и чем кончится пьеса. Зрители спорили и терпеливо ждали продолжения спектакля, хотя время давно уже перевалило за полночь и с берегов Сыр-Дарьи повеяло свежестью.

Наконец-то на потолке театрального зала слабо вспыхнули лампочки, и все пошло своим чередом.

Уже начинал светлеть восток, когда зрители толпами стали расходиться по тихой Кзыл-Орде, а актеры встали из-за гримировальных столиков.

Так казахский театр входил в жизнь своего народа.

Горе и радость

1926 год был в моей жизни одним из самых интересных и напряженных. Это было очень сложное и трудное время не только в политической, но и в литературной жизни Казахстана. Приехав в Кзыл-Орду, я попал в разгар литературной борьбы и принял в ней самое горячее участие.

Еще во время нэпа в Казахстане оживилась деятельность наиболее видных алаш-ордынских писателей — Миржакипа Дулатова, Магжана Жумабаева, Жусупбека Аймаутова, Кошке Кеменгерова, Екеу Коныра. Теперь они стремились подчинить своему влиянию и молодых пролетарских писателей. Сторонниками примирения националистической «Алка» и КазАППа оказались такие партийные работники и литераторы, как Смагул Садвокасов, Идрис Мустанбаев, Габбас Тогжанов, Шаймерден Токджигитов. Знаменосцем примиренчества был Габбас Тогжанов, назначенный в 1926 году, как я уже писал, редактором газеты «Энбекши-Казах». Это прежде всего он ополчился тогда против Сакена Сейфуллина и многих других казахских писателей.

Годом раньше в Казахстан, как известно, приехал Филипп Исаевич Голощекин, избранный секретарем краевого комитета партии.

Познакомившись весьма поверхностно с жизнью Казахстана, Голощекин начал с того, что изобрел свою теорию, согласно которой Октябрь в Казахстан еще не пришел, революция в Казахстане еще и не начиналась — и теперь нужно ее делать.

Это «открытие» Голощекина очень смутило тогда многих партийных работников, да и нас, литераторов. Мы-то уж во всяком случае знали, что происходило тогда в наших городах и аулах, и никто не мог даже и в те годы опровергнуть тот простой факт, что строительство социализма приняло в отсталом Казахстане огромный размах.

Однако Голощекин, считая свои наблюдения единственно верными, а себя абсолютно непогрешимым, не стал спрашивать ничьего совета. Он доложил Сталину о своих наблюдениях и даже составил документ, оригинал которого был найден уже много лет спустя. В этом документе Голощекин обосновывал идею проведения в Казахстане «Малого Октября».

Всем известно, какой ущерб причинил Голощекин своей выдуманной политикой Казахстану. Не без участия Голощекина и его первого помощника Габбаса Тогжанова многие честные казахские коммунисты были жестоко и несправедливо раскритикованы. Конечно, у многих из них были серьезные ошибки. Но они активно боролись за установление в Казахстане Советской власти. Такие деятели, как Алиби Джангельдин, Габдулла Асылбеков, Ныгмет Нурмаков, Сакен Сейфуллин, Сеитқали Мендешев, Мирзагул Атаниязов, Абдрахман Айтиев, Турар Рыскулов, Қабылбек Сармолдаев, широко известные партии и народу, незаслуженно подвергались гонениям. Размахивая своей критической дубинкой, Тогжанов каждый раз старался задеть ею Сакена Сейфуллина. По мнению Тогжанова, не было в Казахстане человека, вреднее Сакена. Чем же так провинился Сакен перед казахским народом? Оказывается, дело очень просто: на странице 359 книги Сейфуллина «Трудный путь, тяжелый переход», изданной в 1926 году, рассказывается о том, как Габбас Тогжанов собирал деньги для армии алаш-орды. Сами посудите, мог ли Тогжанов простить Сакену эти строчки, ставшие для него чем-то вроде несмываемого черного клейма.

Надо отдать должное Сакену, в этой борьбе он совсем не походил на кроткую овечку. Спины своей под дубинку он добровольно не подставлял. А в 1927 году в газете «Советская степь» он опубликовал статью «Национализм на идеологическом фронте», в которой разоблачались националистические ошибки Габбаса Тогжанова.

Справедливости ради следует сказать, что Тогжанов в ту пору был одним из самых видных казахских критиков и публицистов. Считая себя марксистом-ортодоксом, обладателем единственно верных взглядов на современную литературу, Тогжанов склонен был всех казахских писателей делить на три группы: правых, левых и пробайских. К правым он относил Садвокасова и Мустанба-

ева, к левым — Сейфуллина, Байдильдина, меня; в пробайской группе — Магжан Жумабаев. Тогжанов очень любил щеголять известными в те годы именами и уснащал свои статьи множеством цитат, но почти никогда непосредственно не обращался к наследию Маркса, Энгельса, Ленина.

Ко мне как к писателю Тогжанов был более или менее благосклонен. Во всяком случае, в своем итоговом сборнике статей «Литература и проблемы критики» он величал меня одним из самых революционных поэтов и считал, что в моих произведениях больше, чем в чьих бы то ни было, живет пролетарский дух. Но я его не любил, и между нами часто происходили жаркие споры.

Примечательная деталь: в те годы все печатные органы предоставляли свои страницы для самого широкого и острого столкновения мнений, и статья, в которой резко критиковал Тогжанов, могла быть напечатана в газете, которую он, Тогжанов, редактировал.

Не нужно, конечно, думать, что наши горячие споры и дискуссии по литературным вопросам, доходившие иногда до жестоких ссор, приводили к тому, что все мы, писатели, становились друг для друга заклятыми врагами. Нет, конечно. Ссорясь и споря, мы по-прежнему ходили друг к другу в гости и так же шутили, смеялись, занимались своими житейскими делами.

В один из таких накаленных литературной борьбой дней я получил от своего двоюродного брата Мырзагазы телеграмму. Телеграмма принесла с собою горькую весть: Мырзагазы сообщал, что застрелился наш двоюродный брат Габбас Мустафин. Габбас покончил с собой. Самоубийство. Невероятно! Что могло заставить недавно избранного председателем аульного Совета, непреклонного борца с баями пустить себе пулю в лоб? С самого начала мне стало ясно, что здесь что-то нечисто. Тем более, что в одном из своих писем он мне написал, что баи грозятся ему отомстить.

Положение у меня трудное. В издательстве дел невпроворот, а тут приближается день родов жены. Как быть?

«Хоть на несколько дней, да съезжу,— решил наконец я.— За это время ничего не случится, а я, по крайней мере, разберусь в этом темном деле — и не успокоюсь,

пока не отыщу виновных». Вечером того же дня я сел на поезд и поехал в Лебяжье.

Встретил меня Мырзагазы. Едва сойдя с поезда, я засыпал Мырзагазы вопросами. Прежде всего, я должен был знать, когда и где Габбас застрелился и кто слышал выстрел. Мырзагазы немного смутил мой лобовой вопрос.

— Ой, Сабит,— сказал он,— ты думаешь, здесь все так просто? Никто еще ничего не знает. Если не поможешь — и не узнаем. Я написал в телеграмме — Габбас застрелился. Верно. А как, почему — как теперь узнать?

Дело, оказывается, действительно не так просто, как я себе представлял, когда получил телеграмму.

Один из петропавловских губернских работников (к сожалению, не могу теперь припомнить его фамилии), находясь в наших краях в командировке, сговорился с Габбасом отправиться на охоту на озеро Алыпкаш. Он давно знал Габбаса, и тот ничуть не удивился этому приглашению, даже был рад ему. Выстрелы, раздававшиеся со стороны озера, густо заросшего камышом, никого не беспокоили. Но через некоторое время этот человек, запыхавшийся и бледный, прибежал в аул и сказал, что Габбас тяжело ранен.

Когда к месту происшествия прибежали люди из аула, Габбас еще был жив. Но в сознание он так и не пришел и ни одного слова аулчане от него не услышали. Осмотрели ружье Габбаса — оно было в исправности. На все наши вопросы товарищ Габбаса ничего сказать не мог. Он утверждал, что, как это произошло, своими глазами не видел, потому что как раз в это время сидел в зарослях камыша, поджидая уток, и даже не сразу сообразил прибежать на выстрел, раздавшийся почти рядом с ним. Он думал, что Габбас подстрелил добычу.

Габбас умер, не приходя в сознание, и никто уже не мог рассказать нам всей правды. Но ясно было одно — не было у Габбаса оснований для самоубийства. Да и не такой он был человек. А может быть, в самом деле, как-нибудь нечаянно спустил курок, испортилось ружье, стал его исправлять — и угодил себе прямо в живот? Кто знает... Темная это история. Во всяком случае, следователь здесь понадобится.

Я был очень осторожен в своих размышлениях об

этом страшном событии. Даже Мырзагазы я не высказал никаких подозрений.

Но кое-кто из близко знавших Габбаса были настроены иначе, и даже не считали нужным скрывать это. Один из аулчан убежденно сказал, что здесь вовсе не несчастный случай, а убийство. Да, сказать можно все. А где взять доказательства?

В семью Габбаса, и без того очень бедную, пришло большое горе. Я утешал, как мог, его родных, но разве можно утешить в таком горе. Оставив семье немного денег, я срочно выехал в Петропавловск, чтобы заявить о происшедшем в следственные органы.

В Петропавловске прихожу к моему старому знакомому Абдрахману Айсарину, чтобы переночевать, а меня на пороге встречает моя жена! Ну что мне было теперь делать? Надо добиться, чтобы срочно на месте расследовали дело Габбаса, а тут жена вот-вот родит. Отсылать ее снова в Қзыл-Орду нет смысла, да и не все равно, где ей родить — в Петропавловске или Қзыл-Орде. Оставить ее у знакомых, а самому вместе со следователем уехать в аул Габбаса — совесть не позволяет. Страшно ей будет здесь одной — ведь первые роды. Взять с собой в аул — значит оставить ее без акушерки. В аулах у нас врач — еще большая редкость.

— Отправимся вместе! — предложила мне моя жена. — Бог поможет, авось жива останусь. Ведь обходились же аульные женщины без врача — обойдусь и я.

На тарантасе, запряженном парой лошадей, отправились мы в аул: следователь, моя жена и я.

Невесело было в доме Габбаса. Его молодая жена, как и моя, вот-вот должна родить; старуха-мать, убитая горем, лежит целый день на постели, не может пошевелить рукой, ни ногой; сестра Маржам, совсем еще молоденькая девушка, не успевает управляться с небольшим хозяйством Габбаса.

Я сделал, что было в моих возможностях для осиротевшей семьи. Из Петропавловска мы с женой привезли кое-каких продуктов; купил я у соседа Габбаса, довольно зажиточного джигита Алима, белую юрту. Приобрели мы им и корову.

Теперь главная моя забота — найти все-таки акушерку. Страшно мне за жену — ведь ей всего семнадцать лет. Говорят, акушерку можно найти только в Пресно-

горьковке, в ста пятидесяти километрах от нашего аула! Делать нечего — поехали мы с Мырзагазы в Пресногорьковку.

Дорогой читатель! Ни один, даже самый хороший, человек на свете не свободен от недостатков. Есть недостатки и у меня, и часто наши мелкие недостатки становятся причиной нашего легкомысленного поведения и в результате оказывают нам очень плохую услугу.

Вот теперь, дорогой читатель, пришла и моя очередь покаяться в своих грехах. Не раз я по рассеянности и легкомыслию опаздывал на поезда и самолеты, пропускал очень важные собрания, не сдерживал своих обещаний — с кем это не бывает! Но на этот раз я поступил непростительно легкомысленно, а Мырзагазы, мой спутник, вместо того, чтобы вовремя остановить меня, сам с радостью подчинился моей воле.

Дело в том, что, проезжая джайляу рода Анда телэ, мы узнали, что там, по случаю церемонии сундет — обрезания мальчика — идет большой той. А той — это не только праздничный стол; той — это прежде всего интересные игры, чудесная музыка, песни.

— Остановимся на полчаса,— предложил я Мырзагазы.

Мырзагазы с радостью согласился, и мы свернули с дороги.

Не успели мы смешаться с толпой пирующих, как где-то в стороне, где расположилась небольшая кучка джигитов, послышались возбужденные голоса, люди кричали что-то друг другу все громче и громче, и, наконец, мы отчетливо увидели, что там завязалась драка. Все бросились туда, и началось нечто невообразимое: люди, пьяные от кумыса, кричат, лошади скачут в разные стороны; люди, вместо того, чтобы разнять дерущихся, сами вступают в драку. Ссора возникла, оказывается, из-за того, что нурумбетовцы, гостившие на джайляу, выразили свое недовольство байгой. «На той, мол, приглашаете, а байгу начали без нас».

У казахов есть такой обычай: когда дерутся два рода, священная обязанность представителей третьего восстановить мир и согласие. Как вы уже догадываетесь, читатель, на долю нас, сыйбановцев, прибывших на той слишком поздно, досталось одно похмелье. И когда на другой день мы выехали на дорогу, мною прочно овладело ка-

кое-то смутное, тревожное предчувствие. Только Мырзагазы был весел и полон событиями вчерашнего дня.

Не проехали мы и полверсты, как сзади нас раздался громкий топот лошадиных копыт. Мы приостановились. Два молодых джигита во весь опор догоняли нас. Я так и чувствовал: у моей жены уже начались роды.

Сам не свой бросился я назад, мои спутники еле поспевали за мною. Перед моим мысленным взором возникали картины, одна другой ужаснее.

Вот я вижу жену в окружении невежественных женщин, подающих советы молодой роженице, один нелепее другого.

Вот она, и без того изнемогающая от боли, налегает животом на желбау — два каната, связанных на концах, свисающих, как качели, с тапрака юрты. Схватки все сильнее, а ребенок еще не появляется — и вот начинают трезвонить, ударяя металлическими предметами по казанам, треножникам, тазам, чтобы вспугнуть Марту — злого духа, который, по суеверному преданию, старается помешать роженице. Если и трезвон не помогает — приводят к юрте быков, баранов, жеребцов, а люди громко взывают с мольбою к духам своих предков, и кругом стоит такой невообразимый шум, что не только роженица, здоровый человек может заболеть. А ведь не пришлось бы ей так страдать, окажись я более внимательным и серьезным. Как только я себя не ругал всю дорогу до самой юрты, в которой так мучилась моя жена.

Первое, что я увидел, сойдя с лошади,—плотное кольцо женщин, окруживших юрту. Я пошел на них, как таран, и с такой быстротой влетел в дверь, что жена моя, как раз в этот момент повисшая на желбау, точно на виселице, закричала от испуга. Я снял ее с желбау и отнес на постель. Женщины шумно набросились на меня и с силой вытолкнули из юрты.

— Ой-бай,— воскликнула Камель, жена Мырзагазы,— какой же ты джигит! Разве одна твоя жена рожает? Разве не рожала каждая из нас? Не джигит ты, нет! У джигита не бывает такая слабая, женская душа.

И вдруг в юрте раздались громкие, ликующие крики: «Разрешилась! Разрешилась! Сын! Сядет на коня!»

У меня потемнело в глазах. Кто-то схватил меня за руки, оттащил в сторону. Мырзагазы поднес мне чашу холодного, как лед, кумыса.

Еще какой-то очень суровый на вид человек склонился надо мною. Подняв голову, я узнал его: это был местный баксы — шаман. Он умел гадать и хорошо играл на кобызе. «И этому здесь что-то понадобилось»,— подумал я, и меня охватило враждебное чувство.

Не успел я допить поданный кумыс, как ко мне, одна за другой, подскочили мои женге.

— Ой-бай,— воскликнула одна из них, Марзия,— жена родила сына, муж от страха уже в обморок. Суюнши! — Она протянула мне узкую загорелую ладонь.

Но я ничего не успел ей дать. И Бопыш, жена Хусаина, и Токен, жена Сарсена, и Камель набросились на меня и со смехом и шутками вывернули все мои карманы и мгновенно опустошили их и снова побежали в юрту. И я сунул было нос в дверь — но так ничего и не успел увидеть. Меня вытолкнули и даже крепкое слово послали мне вслед.

— И не приходи, пока не позовем! — крикнула мне Камель. — Все равно прогоним!

Пусть гонят! Теперь я спокоен. И радость не вмещается в груди. Ее можно вместить, не растратив ни капли, только в один драгоценный сосуд — в песню. Сами собой стали слагаться первые строчки, и я сам не заметил, как поднялся на местный Парнас — курган, возвышающийся на берегу озера Дос.

Вокруг расстилалась широкая степь. Волнующийся от легкого утреннего ветерка ковыль делал ее похожей на море. И там, где граница этого моря сливалась с границей небосвода, возник алый краешек солнца, и брызнули первые солнечные лучи.

Рождение сына я уподобил появлению солнца и следил за тем, как оно, выйдя из-за горизонта, поднималось все выше. Стала растворяться в солнечных лучах легкая утренняя дымка, отчетливее вырисовывались бескрайние степные дали. Здесь родился я, и мой отец, и моя мать, и мои самые далекие предки тоже родились здесь. И здесь же родился мой сын. И мне показалось, что появление сына — радостное событие не только для меня: оно принесло радость всему родному краю.

Я вытащил блокнот и быстро записал стихи, которые складывались сами собой. Вот они, эти стихи:

РОЖДЕНИЕ СЫНА[1]

Боюсь припоминать сначала
ту ночь июльскую. Ту ночь.
Как ты кричала, как кричала!
А я тебе не мог помочь.

В руке твоей, в руке родимой
(о, как бледна, как горяча!)
то бился пульс, как конь ретивый,
то гас, как тонкая свеча.

Вот так же плачет жеребенок,
волками пойманный в лесу.
Когда ж возникнет твой ребенок
и ты прижмешь его к лицу?

Я думал: как такие муки
вместились в тело?
В стороне
трех тетушек мелькали руки,
и смех их долетал ко мне.

Меня просили: «Будет, будет.
Утешься ты и слез не лей.
Она про эту боль забудет,
Как позабыли мы о ней».

Так меж собою говорили
и, к обрезанию пупка
готовясь, тонкерме[2] варили,
и пахли маслѳ и мука.

И спрашивал я их в печали:
«Зачем так тяжела беда?»
С улыбкою мне отвечали:
«Жена твоя так молода».

Безумные метались руки.
Сменяло утро темноту.
У изголовия старухи
Шептали: «Слышите? Марту»

Уже и Фатиме[3] молились,
и видели во мне отца,
а эти слезы все катились,
и не было слезам конца.

Вся эта боль в меня вонзалась,
и так она была страшна!

---

[1] Перевод Б. Ахмадулиной.
[2] Суеверное обрядовое кушанье.
[3] Дочь пророка Мухамеда, покровительница женщин.

Мне в то мгновение казалось,
что вся земля искажена.

Казалось мне — я с ней расстался,
Мне в ней не любо ничего.
И вдруг — тот новый плач раздался.
О, плач ребенка моего!

И — утро, с гомоном и лаем.
И — утро, свежесть и трезвон.
И — «поздравляем, поздравляем!»
Неслось ко мне со всех сторон.

В прекрасном теле утомленном
затихла боль.
Лежала ты
с лицом как будто утоленным,
прозрачным, полным доброты.

И так сияли, так блестели
Глаза твои и прядь волос —
все солнце вкруг твоей постели
тем ранним утром собралось.

И вышел, вышел я из дома,
Туда, где небо, где поля.
«Пусть радость твоя длится долго»,—
кричала добрая земля.

Шильдахана[1]

Аульные женщины, принимавшие роды согласно всем старинным обрядам, не захотели пренебречь ни одним из них и тогда, когда ребенок появился на свет. Не успел я ни на ребенка как следует поглядеть, ни с женой поговорить, как мои женге выгнали меня из юрты, а родильнице, еще не пришедшей в себя, поднесли целую чашу топленого масла. Я знал, что это будет так, и у меня заранее ныло сердце: «Ну как,— думал я,— после таких нечеловеческих мук она станет пить это проклятое масло! А попробуй не выпей — случится с мальчиком какая-нибудь беда — сам станешь суеверным не лучше любой аульной бабы».

Но это было не все. Повивальная бабка Арыстанбека (так назвали мальчика в память о первом сыне) и женге Злиха немедленно закололи барана, сварили его и на

[1] Пир в честь новорожденного.

большом деревянном блюде принесли к постели родильницы. Теперь она должна была обглодать горячую баранью шею, да так, чтобы не повредить позвонки. Сквозь очищенные от мяса позвонки она проденет палочку и повесит этот амулет на решетчатый остов юрты — кереге, где он будет висеть сорок дней. Через сорок дней мать снимет амулет и закопает его где-нибудь в безлюдном месте, чтобы ни человек, ни собака не могли отыскать его. И тогда, по народному поверью, шея и все тельце ребенка быстро окрепнут и он будет хорошо развиваться. В жирной бараньей шее, которую Злиха подала жене, было не меньше двух килограммов мяса — такая порция и взрослому мужчине не под силу. Жена попыталась сопротивляться, но женщины, собравшиеся вокруг нее, подняли такой шум и вдобавок тоже отказались есть калжу (так у нас называется это специальное угощение в честь новорожденного). Что делать! Ни одна мать не хочет, чтобы ее ребенок рос болезненным и хилым — и жена моя одолела баранью шею.

Через три дня ребенка полагается класть в колыбель. Но не так-то просто эту колыбель сделать. Для этого нужно отыскать в ауле семь бабок, и у каждой из них попросить палку или небольшую деревянную дощечку. Только из этих палок мастер может сделать колыбель для новорожденного. В нашем ауле нашлось всего пять бабок. Пришлось ехать в соседний аул Болат разыскивать еще двух бабок. Собрав необходимые семь палок, отнесли их мастеру по дереву Курманке, и он смастерил красивую казахскую колыбель.

Но и это еще не все. Прежде чем положить ребенка в колыбель, к верхней ее части надо привязать совиную лапку с коготком — и тогда ни один злой дух не посмеет приблизиться к колыбели. В десяти аулах, расположенных на берегу озера Дос, побывали мои сородичи, стараясь раздобыть совиную лапку; но сова — птица редкая, а в наших степных краях она даже и не водится; и родичей моих постигала неудача. Наконец один из них, Шайкен, поехал к озеру Аксуат и там, в ауле Кульмес, раздобыл эту «спасительную» совиную лапку.

Прикрепили к колыбели совиную лапку, надели на мальчика рубашку с большим вырезом на спине — «иткойлек» — собачья рубашка (чтобы ребенок не болел «собачкой» — рахитом). Пеленать ребенка пригласили

старуху, у которой дети выросли здоровыми. Теперь можно было начинать колыбельный той.

Сорок дней после этого моего сына будут купать в соленой воде, чтобы было плотным и крепеньким его тело и быстро заживала любая рана, сорок дней его крохотное тельце будут смазывать топленым маслом и, потягивая его за ручки и ножки, приговаривать «расти, расти, сынок», сорок дней у его колыбели будет гореть лампа, чтобы никакая нечисть не посмела к нему приблизиться. А когда минует сорок дней, с него снимут ит-койлек, напялят ее на морду собаки и долго будут гонять собаку вокруг аула. Потом ит-койлек сожгут и, искупав ребенка в сорока ложках воды, выльют воду где-нибудь в стороне, куда не ступают ноги человека. Таков старинный обряд вступления человека в жизнь. А тогда старина крепко сидела в аулах. Можно было эти обряды высмеивать, считать их вздором, даже сопротивляться им, но тебя никто бы не послушал, так глубоко убеждены люди в том, что каждый из этих обрядов, завещанный им предками, священен. Нелегко изживается то, что создавалось веками. И я, понимая это, старался сдержать свои чувства. К тому же, считал я, это ведь не роды; здесь суетливые и проворные руки женщин вряд ли могут принести вред ребенку, когда смазывают его маслом, купают и надевают на его маленькое тельце забавную рубашонку.

И когда я теперь рассказываю своему сыну о том, что вытворяли с ним и его матерью, когда он родился, он не верит и смеется. А ведь я ничего не выдумал. Так было когда-то. Но мне понятно, почему мой сын не верит моим рассказам — сам он ничего подобного не видел в современных аулах. Я рассказал вам только о тех обрядах, исполнение которых происходило на моих глазах. А сколько существовало таких, свидетелем которых мне не довелось быть. О них можно было бы написать целую книгу.

Отпраздновав рождение сына, я решил поближе познакомиться с нынешней жизнью моего благодатного края.

Джайляу, протянувшиеся на сто километров по обе стороны от озера Дос, славились чудесными выпасами и многочисленными пресными озерами. Богатая земля! Как говорится, воткнешь оглоблю — вырастет телега.

Но в 1927 году все выглядело, конечно, иначе. Изумрудно-зеленая кошма лебеды и степных трав, словно разноцветными драгоценными камнями, усеяна цветами. По берегам озер расположились аулы, вокруг аулов пасутся громадные стада. Испокон веков у аула одно занятие — пасти скот. Пастухов много не нужно. Как говорят у нас в народе: «Один добрый дух чабанов Шопан на тысячу овец, один добрый дух табунщиков Камбар на тысячу коней». Есть добрый дух и у верблюдов — Ойсыл, и у коров — Зенгы.

Чувствуется, что за годы Советской власти народ окреп, стал побогаче. Самый бедный во всех трех аулах Сыйбана аулчанин Шамиль, сын Асылбека, в то лето имел быка, мерина и трех тельных коров, да еще через батрачком получил разрешение взять на лето двух кобыл.

Об артелях что-то не слышно. Говорят, во всем Тонкерисском районе артели организованы только в нижнем Сыйбане, Айымжане и Майбалыке, каждый из которых насчитывает не больше двадцати-тридцати дворов.

Здесь, в этих краях, встретил я двух своих старых знакомых, людей очень одаренных, в судьбе которых, на мой взгляд, много примечательного.

Один из них — Есембай, сын Шиныбая, с детства остался сиротой. Его отец Шиныбай был беден, но считался самым знаменитым в роду Керея певцом. Во второй половине прошлого века Александр III, будучи еще только наследником, направляясь в Сибирь, посетил проездом окрестные казачьи станицы. Казахские баи и беки по этому случаю устроили той, и на этом тое пел Шиныбай. Рассказывают, будто наследник пришел в восторг от его пения и даже высказался в том смысле, что весь Петербург, несомненно, оценил бы искусство Шиныбая.

Есембай унаследовал от отца красивый голос и был мастером импровизации. Не имея ни родственников, ни средств к существованию, он пас скот в русских станицах и селах, и ни один праздник в ауле или русском селе не обходился без Есембая. Отлично играя на домбре и на гармони, он всегда был центром веселья и казался мне богом песни и кюя.

Потом разнесся слух, будто Есембай принял крещение и женился на какой-то русской вдове. Это известие меня заинтересовало. Летом 1925 года, возвращаясь с

каникул в Оренбург, где я учился на рабфаке, я решил по пути разыскать Есембая и для этого даже выехал из родного аула на несколько дней раньше. Со мной был Мырзагазы Нуртазин и несколько моих приятелей. Путь наш лежал через Курган, а Есембай, как я узнал, давно уже живет в селе Марой Половинской волости Курганского уезда.

Приехав в поселок, мы долго не могли разыскать дом Есембая — ведь он принял крещение, и односельчане не знали его настоящего имени. Наконец нам показали на высокий, выкрашенный синей краской, крытый железом дом. Дом был явно кулацкого типа: об этом свидетельствовали богатые резные наличники и высокие дубовые ворота. Я много видел таких домов в русских поселках.

Есембай, вероятно, приметил нас в окно. Пока мы размышляли, как лучше известить хозяина о своем приезде, высокие ворота раздвинулись, и перед нами появился сам Есембай.

Это был такой же симпатичный, крепко сбитый круглолицый джигит, каким я знал его когда-то. По-прежнему были красивы его волнистые волосы — вот только усов у него раньше не было. Густые, закрученные по-казачьи на концах, они делали его старше и даже как будто бы солиднее.

Принял нас Есембай с почетом, жена его, уже немолодая русская женщина, устроила нам богатейшее угощение. Когда мы вдоволь и попили, и поели, языки у всех развязались и стало шумно, я стал потихоньку допытывать Есембая о его житье-бытье.

На жизнь Есембай не жаловался. Дом — полная чаша, а жена его хоть и старше на десять лет — женщина умная, работящая, заботливая. И дети у них были — вот только сыновья поумирали, осталась одна девочка. Дети от первого мужа зовут его отцом. Лучшего, казалось бы, и желать нельзя. Но не так-то все это было просто, и мнимое благополучие, должно быть, не раз тревожило Есембая. Своей жены он не любил. Просто внезапно умер ее муж, богатый кулак, а вдове приглянулся батрак Есембай, работавший вот уже несколько лет у них. Хлебнувший немало бедняцкого горя, Есембай соблазнился богатством вдовы и согласился жениться на ней. Но как жениться? Он мусульманин, она христианка.

Пришлось и ему принять христианскую веру, стать «чокинчой» — крещеным.

— Окунули меня три раза в ледяную прорубь,— рассказывал Есембай,— дух захватило, ну, думаю, пришел мой конец, да как заору: «Ой, аллах, не надо больше, не хочу!» «Ты что же это,— говорит мне поп,— сам ведь просился, никто тебя насильно не заставляет принимать христианскую веру». Не хотел после этого крестить, насилу упросили.

— Все это хорошо,— сказал я Есембаю,— а что будет с тобой дальше — об этом ты подумал?

— Да что думать,— сказал Есембай.— Как раньше жил, так и дальше жить буду.

Я рассмеялся.

— Ты хоть на сельские собрания ходишь? — спросил я.

— Нет, не хожу. Жена не пускает. Политика — дело темное. Не мое это дело.

— Ничего,— сказал я Есембаю,— вот как начнут вас раскулачивать, отберут у вас дом и все ваше хозяйство, тогда ты сразу начнешь разбираться в политике. Тогда поймешь, чье это дело, твое или соседа.

Мои слова, видимо, подействовали на Есембая. Он призадумался и долго молчал. Не дожидаясь ответа, я сказал ему:

— Вот что. Ты подумай над этим как следует, да бросай-ка ты свою вдову и возвращайся в родные края. Поступишь в школу для взрослых, станешь грамотным, будешь работать, а там жизнь подскажет, что делать.

Прошло два года. И вот теперь я снова встретил его. Он стал одним из самых активных членов недавно организованной артели и снова, как и прежде, был запевалой на народных гуляниях. Голос его был звучен, пальцы резво перебирали струны домбры и лады гармони.

— А не пора ли тебе жениться? — спросил я, глядя на его помолодевшее, полное задора и радости лицо.

— Да вот подыскиваю себе невесту.

И с тех пор пошел наш Есембай в гору. В 1928 году он уже окончил в Ташкенте шестимесячные курсы по заготовке шерсти, заведовал конторами заготшерсти в Джамбулской (тогда Аулие-Атинской) области и Чуйском и Сарысуйском районах, потом его перевели в го-

род Зайсан. Много лет после этого мы с ним не виделись, но переписка наша не прекращалась. Осенью 1935 года, закончив учебу в Москве, я приехал в Алма-Ату и вскоре встретил Есембая: он участвовал в республиканском совещании по заготовке шерсти и мяса. В Зайсане у него уже была большая семья.

Гораздо проще сложилась жизнь другого замечательного мастера песни Игебая Алибаева. И его родной отец, Тажибай, и брат его, Алибай, ставший впоследствии приемным отцом Игебая, были отличными певцами, а брат Игебая, Рамазан, не имел себе равных среди домбристов. Семья Игебая вела свое происхождение от рода Таз, а представители Таз, как и Чагалак, дали необычайно много музыкально одаренных людей. «У них и собака песнями лает»,— говорили шутливо в народе. И Тажибай, и Алибай, в отличие от многих своих бедных сородичей, не пошли батрачить. Они сделались певцами-профессионалами, добывали пропитание своим искусством, разъезжая по аулам и селам. Таким путем Игебай вырос в своеобразной артистической атмосфере и по мере возможности старался перенимать искусство старших.

В середине двадцатых годов он окончил педагогический техникум в Петропавловске. Но ни учеба, ни преподавательская деятельность не увлекли одаренного юношу — по-прежнему его тянули к себе домбра и песни, и он больше занимался сочинительством, чем школьной работой. В тридцатых годах он неведомыми путями попал в театр и был актером в театрах Петропавловска и Алма-Аты. Драматическая сцена, правда, не была его призванием, но зато потом он долго и успешно пел в филармонии. В Великую Отечественную войну он стал инвалидом — получил серьезное ранение в ногу и не смог уже возвратиться к артистической деятельности. Он очень страдал от этого; все еще красивый, жизнерадостный певец — и вынужден был снова стать преподавателем. Преподавателем он работает и теперь. Давно уже выросли его дети, но по-прежнему на праздниках и тоях звучит его высокий, чистый, необыкновенно задушевный голос, и многие молодые джигиты поют, подражая ему, и считают себя его учениками.

Прекрасное пение Есембая и Игебая можно слушать, как говорится, с утра до вечера и с вечера до утра, и не

надоест, и каждый раз в нем будешь находить новую прелесть.

И еще одна встреча надолго запомнилась мне, о которой я и хочу сейчас рассказать тебе, дорогой читатель.

Правильнее сказать, с Иманом Токпановым мне запомнилось несколько встреч. В юности он был батраком. Умный, спокойный, очень застенчивый, он слыл в ауле красной девицей. Неизвестно, сколько бы еще лет он батрачил у своего хозяина, если б я не настоял на том, чтобы Иман пошел учиться. Уже тогда ясно было, что этот, казалось бы робкий, но серьезный и внутренне собранный человек пойдет далеко, если помочь ступить ему на правильную дорогу. В 1925 году он пошел учиться в одну из школ ликбеза, находившуюся в Тонкерисской волости, и, окончив ее, стал председателем аульного Совета. Тогда и состоялась наша встреча, о которой я хочу вам рассказать. А теперь, забегая вперед, скажу вам, что в середине тридцатых годов Токпанов окончил партийную школу в Алма-Ате и последние тридцать лет успешно работал в районных партийных органах, совмещая основную работу с журналистской деятельностью. Один из старейших коммунистов, Токпанов сейчас всеми уважаемый пенсионер.

Напомню о времени нашей встречи.

В результате новой экономической политики (нэпа), провозглашенной советским правительством еще в 1921 году, развитие животноводства в Казахстане превзошло уровень последних лет перед первой мировой войной, и поголовье скота приближалось к пятидесяти миллионам. Можно смело сказать, что в середине двадцатых годов скотоводством занималось восемьдесят процентов казахского населения. Окрепли многие казахские хозяйства, даже наиболее бедные из них.

Но ведь это был рост частного хозяйства, а не общественного. Ведь наша цель — не беспредельно обогащаться каждому в отдельности, а создавать общественное, социалистическое богатство. Каким же образом и когда нужно сделать резкий поворот от частного к общественному? Наблюдая жизнь казахских аулов, я все больше и больше сталкивался с необходимостью найти ответ на мучившие меня вопросы. Тогда-то я и встретил совершенно случайно Токпанова. Встретились мы как хо-

рошие старые знакомые. Я поздравил его с назначением председателем аульного сельсовета, он меня — с рождением сына. Погоревал вместе со мной об умершем Габбасе. Потом спросил:

— Ну как поживают твои родные края?

— Хорошо стал жить народ. Богато,— ответил я.

— Знаю,— сказал Иман,— в нашем ауле то же самое. Но ты мне вот что скажи: как же мы теперь эти частные хозяйства будем превращать в общественные? Сколько я ни думаю над этим — ничего не могу придумать. Скорей всего, надо полагать — нэпу пришел конец. Нэп свое дело сделал. А вот как быть дальше — этого я не знаю.

«Вот вам и бывший батрак,—с удивлением подумал я о Токпанове.— Вон какие мысли занимают теперь его голову!»

— Не один ты думаешь об этом, Иман,— сказал я ему.— Многие думают сейчас над этой проблемой. И я тоже думаю. Но вопрос этот серьезный, государственный.

— То-то и оно. Поверишь, иногда так хочется сесть за стол и написать письмо большим людям в Москву. А как сядешь — робость одолевает: смогу ли написать так, как нужно, не ошибаюсь ли, не слишком ли большую шишку вообразил из себя. Ведь все-таки письмо пойдет не куда-нибудь, а в Москву. Так до сих пор я ничего и не написал. Знаю только одно: эти вопросы волнуют сейчас всех коммунистов, и все ждут какого-то решения. Я вот сейчас тебя мучаю расспросами, а мне в моем ауле давно уже покоя нет. Каждый день приходят и начинают допрашивать все о том же. Точно я могу за одну ночь все решить. Не аллах же я, в самом деле. Знаний мне не хватает, вот что. Мне бы еще учиться... А слышал ты, Сабит, что в Тонкерисском районе организовано несколько артелей?

— Конечно, слышал.

— По-моему, хорошее это дело, но вот что-то неважно в этих артелях идут дела. Конечно, когда в артель объединяется всего девять домов — как у нас в нижнем Сыйбане — проку от этого мало. Хозяйства у всех маленькие, плугов почти нет, самого простого инвентаря мало— короче говоря, чтобы сделать петельку — нитка коротка. Одно я только не понимаю — почему так мало желаю-

щих объединяться в эту артель? Ясно ведь каждому, что вместе работать и веселее, и легче, да и выгоднее.

— Желающих будет много — помяни мое слово. Со временем люди поймут, где им будет лучше. Ну, а сейчас — сам посуди — ведь какого только вздору не говорят об этих артелях. Будь у меня власть, я бы прежде всего заткнул рот баям и байским подголоскам, которые распускают самые злостные слухи об артелях. Они пользуются тем, что никто ведь толком не знает, что это такое артель — вот и болтают всякий вздор. А народ темный, настоящих агитаторов и пропагандистов, которые могли бы разъяснить суть дела, у нас пока еще мало — вот им и верят. Смешно, конечно, верить в такие россказни, но что ты поделаешь с ними — всему верят. И тому, что все будут жить в одном доме и есть из одного казана, и тому, что жены и дети будут общие и что продуктов будут отпускать ровно столько, чтобы не умереть с голоду.

Внимательно слушал меня Иман и, судя по всему, не мог со мною не согласиться. Да и как же иначе — он ведь безвыездно жил в этих краях и лучше меня знал, что происходило вокруг.

— И еще одно очень важное обстоятельство ты не берешь в расчет,— продолжал я, обращаясь к Иману.— Возьми, к примеру, наш Тонкерисский район. Двести лет живем мы бок о бок с русскими поселками — а кто из казахов, кроме двух-трех баев вроде Альти, научился сеять хлеб? Я знаю, например, что одна из артелей, о которых мы с тобой сейчас говорим, имея весь необходимый инвентарь и достаточное тягло, семена, хорошую землю, засеяло всего пять десятин!

— Да, ты прав,— согласился со мною Иман,— это все от неумения. И деды, и прадеды знали толк в лошадях и овцах, а земли понять не умели. Земля их не интересовала. Ах, ширкин! — вдруг мечтательно воскликнул Иман.—Если бы каждая такая артель получила по трактору! Тогда в наших аулах произошел бы настоящий переворот. Я-то знаю, что значит для крестьянина трактор. Помню, батрачил я еще до революции у одного русского помещика под Курганом. Помещик был богатый — сеял около ста десятин. Пахали, как и полагается, на быках да лошадях, а перед мировой войной помещик выписал из Америки трактор. Что творилось тогда у нас! Люди шли толпами посмотреть на диковинную машину, удив-

лялись и не верили своим глазам, когда невиданное чудовище стало ворочать огромными пластами земли. Как жалко выглядели рядом с трактором наши плуги!

Хорошо говорил Иман. Я подумал, что он, хоть и прибедняется, когда говорит о своем уме, и на недостаточное образование жалуется, а председатель, должно быть, из него вышел толковый, настоящий.

Говори, Иман, говори! Говори все, что ты думаешь.

— Да, вот что нужно нашим артелям прежде всего— тракторы. Они станут лучшим средством агитации, увидев трактор, кто поверит россказням баев об артелях? На одних лошадях артель все равно далеко не уедет.

— Партия знает об этом лучше нас с тобой, Иман, и принимает все меры к скорейшему осуществлению твоей мечты. Уже построен тракторный завод. Правда, мало он выпускает пока тракторов. Но ведь не так это все просто. Согласись, что нелегко нам из такой страшной разрухи поднимать наше хозяйство. Да и партия работает в трудных условиях — оппозиционеры не дремлют, а кулаки не собираются, как видно, добровольно сдаваться. Нелепые слухи, которые они распускают об артелях, коммунистах, социализме, еще не самое страшное. Вот посмотришь, как отчаянно они будут бороться за свои сундуки.

— Вот уж об этом-то я знаю лучше тебя — сам своими глазами все вижу. Одно только меня удивляет: откуда они узнают о всех политических и хозяйственных мероприятиях партии? Не успеет постановление появиться в газете, а слух о нем уже до них доходит. Нынешней весной было напечатано решение о конфискации у баев посевов и пастбищ и передаче их в руки бедняков. О том, что такое решение готовится, они узнали еще в прошлом году и немедленно провели соответствующую «работу» среди своих сородичей — бедняков. Приезжаешь в какой-нибудь аул, чтобы растолковать беднякам решение партии и привести его в исполнение, а они и слушать тебя боятся. Заладят одно — у казахов, мол, никогда не было байских земель, со времен предков казахи пользуются землей совместно — зачем делить то, что принадлежит всем? Попробуй тут с ними поговори. Одни не в состоянии даже понять наших объяснений, другие боятся — бай знает, чем запугать бедного сородича. Возьми, к примеру, аул Кошека, соседний с аулом Альти. Весь аул до сих пор еще на него батрачит — а что они мне



к стр. 196

сказали, когда я к ним приехал? «Нам ничьей земли не нужно, плугов у нас нет, пахать нечем, семян нет, скота нет». Ничего у них нет и ничего им не нужно. Как же! Лижут пятки Кошеку — тем и счастливы. И думают, что я не понимаю, что бай просто угрожает им и их семьям тем, что выгонит их из домов и не отдаст ни гроша за работу.

А теперь баи прослышали про то, что готовится постановление о конфискации их имущества. И посмотрика, что у нас теперь творится. Баи бросились сбывать с рук свой скот — его ведь, удирая от советских законов, в карман не положишь. У каждого из четырех сыновей Сапэ в прошлом году было по пятьсот лошадей — где они теперь? Теперь на каждого приходится не более сотни. Значит, продали своих лошадей. У Альти от двух тысяч лошадей не осталось и двухсот. Пока придет время конфисковать байское имущество, от их богатства останутся рожки да ножки, и они успеют перекраситься под бедняков. По-настоящему конфискацию надо начинать теперь же, немедленно, и будь это в моей власти, я сам бы начал ее! — решительно заключил Иман.

Каков стал наш Иман Токпанов, а?

После тонкерисского тоя

Секретарем Тонкерисского райкома партии в тот год был избран Хасен Мусин. Сын рабочего и сам рабочий, Хасен получил образование в заводской школе. После установления Советской власти был избран народным судьей и с тех пор стал одним из самых активных общественных деятелей. В народе его прозвали Хасен-Мусен, как бы подчеркивая этим всю простоту обращения с ним.

Ему было сорок лет, но выглядел он гораздо старше, как обычно выглядят невысокие люди с щуплым телосложением. Морщинистое смуглое лицо выражало природную сметливость, с хитрецой смотрели на собеседника его узкие глазки. Человек опытный и многострадальный, он много перевидал за свой век, и люди шли к нему и за советом, и горем поделиться, и порасспросить про старину. Ведь не секрет, что для многих уже стало стариной все то, что было до революции тысяча девятьсот семнадцатого года.

Прослышав о моем приезде, Хасен Мусин немедленно разыскал меня, а так как мы с ним не были знакомы лично, он с присущей ему откровенностью стал рассказывать о себе. Упомянул Хасен и о том, что он в прошлом—спасский рабочий. Эта деталь меня заинтересовала: он не мог не знать, что личность его, как секретаря райкома, мне хорошо известна, но ему, вероятно, казалась особенно важной принадлежность его к рабочему классу. Он, как и подобает настоящему пролетарию, отлично разбирался в политических вопросах, много читал, и в годы Октябрьской революции был убежденным сторонником большевиков. Таким его и знали в Тонкерисской волости, и именно поэтому он едва уцелел во времена колчаковщины. Попадись он на глаза кому-нибудь из колчаковцев — ему бы несдобровать.

Представившись, он тотчас же перешел к делу. Много любопытного узнал я из его рассказа.

Оказывается, с прошлой осени на берегу большого озера Майбалык начали строить новый городок — будущий центр Тонкерисской волости. На строительство городка правительство выделило большие средства, проект городка составлен петропавловским архитектором, и уже выстроены основные здания: клуб на пятьсот мест, больница на сорок коек, ветеринарная лечебница, жилые дома, помещения для банка, редакции будущей газеты, всевозможных контор. Наконец-то казахи, кочевой народ, узнали, что значит своими руками построить город. Пусть небольшой, но все-таки город. Народ, надо сказать, с большим энтузиазмом отнесся к этой идее. Ездили по аулам, искали добровольцев — все, кто был свободен, отправились на строительство. Мы думали так: на первых порах найдем человек сто желающих, остальные сами придут, как только весть о строительстве нашего Майбалыка разнесется по степи. Где там! Как стали нас осаждать желающие — отбою нет; джигиты, как на подбор: молодые, сильные — богатыри! И вот года еще не прошло, а городок наш почти готов. Вот что значит Советская власть!

— А должно быть, трудно было вам,— заметил я, очень заинтересованный рассказом Хасена.

— Еще бы! Сосну-то ведь возили откуда, думаешь? От самого Курганского уезда. Подводами — на быках, да лошадях. Горячее было время! И то не дали нашим

джигитам развернуться по-настоящему. Валили только клейменые деревья, выборочно, чтобы не губить тайгу. Но нам заготовленного леса хватило с избытком. Еще не успели вывести все до конца. Майбалык ведь будет с каждым годом расширяться. Сколько домов еще из него построим!

— Да откуда же вы достали так много подвод! — удивился я.

— Э, сейчас их достать проще простого. У баев и кулаков, конечно. Они так перетрусили, что чуть ли не сами предлагали свои услуги. Теперь они стали похитрее, не то, что раньше. Как говорят русские, на рожон уже не лезут.

— Еще один вопрос, Хасен. Где вы нашли столько плотников? Насколько мне известно, это ремесло у казахов не в почете.

— Неужели ты никогда не слышал, как у нас в народе говорят: «Родился сын у кереев — одним мастером по дереву больше»? В прежние времена казахи ездили на Акмолинскую и Атбасарскую ярмарки, чтобы купить арбу, остов юрты, сундук, седло, блюдо, но когда их спрашивали, где они все это купили, они отвечали: у кереев. Кереи — знаменитые мастера, слава о их уменье облетела всю степь. А как ты думаешь, почему? Живут в лесах, с деревом обращаться умеют. Я видел, как они рубили дома на Майбалыке: размахнется — не промахнется, бревна сколотит так, что вовек не разнимешь, а доску обстругает так, что покрась — да и смотрись в нее, как в зеркало. Да, патчагар, черт побери, молодцы кереи!

Сейчас Майбалык стал лучшим городком во всем нашем краю. Даже Пресновка не может с ним сравниться, а ведь этой станице, как-никак, двести пятьдесят лет!

Неожиданно для меня на помолодевшем, светящемся искренней радостью лице Хасена появилось выражение не то тревоги, не то заботы.

— Одно только меня мучает, и здесь только ты, Сабит, мог бы нам помочь. Дело в том, что в мое отсутствие у нас случилась небольшая неприятность. Сам понимаешь — построили настоящий городок. Будущее у него большое. И для нашей степи — это целое событие. Как его не отметить? Нельзя. Вот и говорят председателю нашего райисполкома Губайдулле Тосмагамбетову — по

закону наших предков надо отметить строительство Майбалыка. Если казах ставит отау — новую юрту, — для него это большой праздник. Тогда, чтобы в новой юрте хорошо жилось, он режет барана и смазывает его кровью порог и устраивает большой той для родных и знакомых. А мы построили целый город — сотни отау. Что скажет народ, если и теперь не устроим большой той?

Губайдулла человек открытый, простодушный, хитрости в нем нет ни капли. Послушал, послушал — как будто бы верно говорят люди. Не обойтись без праздника. Что греха таить, он и сам большой любитель повеселиться, попеть, принять участие в байге. Джигит он славный. А о том, что обстановка у нас теперь сложная, не подумал. Ведь если даже и устраивать той — делать это нужно осторожно и совсем не так, как полагается по обычаю наших предков. Мало ли каких обычаев у нас не было! И будем мы мазать все пороги бараньей кровью, точно сто лет назад! А Губайдулла, не подумав как следует, послушался чьих-то советов и велел объявить по всем окрестным аулам сборы — саун. Теперь от этой затеи можно ждать чего угодно. Подумать только: всякий, кому не лень, приготовит скотину на убой, запасется кумысом и отправится в Майбалык. А что будет дальше? Если баи усядутся за одним столом с бедняками, ничего хорошего от этого не жди. Бай есть бай, его не переделаешь, и для бедняка он — самый ненавистный человек, притащи он с собою хоть сто баранов. Да и признаться, не хотелось бы мне, чтобы эти свиные рыла появились на празднике в честь нашего Майбалыка.

— Так, значит, все это правда? — удивился я. — Поверишь ли, я просто посмеялся, когда мне рассказали об этом самом сауне. Не может этого быть, — твердо сказал я одному джигиту, который пришел ко мне посоветоваться, — а потом смотрю: что такое? Все приозерные аулы вдруг всполошились. Три семьи Сапэ уже отобрали по жирной кобылице, родичи Малика — трехлеток, баи победнее, вроде Кожахмета и сыновей Жоламана, приготовили по одному стригунку. У Мырзагазы из-за этого снова скандал: скупой отец дает овцу, а сыну стыдно перед другими баями. Мырзагазы даже ко мне прибегал за советом, чуть ли не плакал от обиды. А что я ему посоветую? Но что же все-таки теперь делать? Может быть, отменить той?

— Так будет еще хуже,— сказал Хасен.— Начнутся разные кривотолки: наши недруги воспользуются этим и станут распространять злостные сплетни. У нас есть только один выход: самим организовать этот той и провести его как можно лучше. А главное, ни в коем случае не поддаться на провокацию, которую, возможно, нам готовят. Тем более, что на таком большом празднике, где соберется столько разношерстного народу, это сделать особенно легко.

— Ты думаешь, Хасен? — встревожился я. Только теперь я понял, что его так обеспокоило в опрометчивом поступке председателя райисполкома. А я поначалу отнесся ко всему, о чем он мне рассказал, гораздо проще.

— Я это точно знаю, Сабит,— твердо, но с грустью сказал Хасен.— Ничего хорошего я от этой волчьей стаи не жду. Внешне они сейчас как будто бы притихли, но не думай, что они смирились со своей участью. Не думай, что им нравится платить налоги и уступать свои земли, деньги, скот бывшим батракам. Нет, милый Сабит, все это им очень не нравится, и они только ждут своего часа, чтобы расквитаться с нами. Ради этого они пойдут на все — не только трех кобылиц, трех тысяч самых отборных не пожалеют, только бы собственными руками стереть всех нас в порошок. Я знаю это. Потому-то я так и боюсь этого тоя. И представь себе, все может начаться очень просто и безобидно. И байга, и борьба балуанов возбуждают, просыпаются самые трудноуправляемые чувства, люди целиком отдаются возбуждающей власти состязания. А здесь изобилие пьянящего кумыса, крики людей, родовая гордость; покажи кому-нибудь из них язык — и заварится такое, потом не разберешься. Если участники тоя не будут постоянно чувствовать какой-то организованной, руководящей силы — исход может быть самый неожиданный.

Да, Хасен был прав. Не признать этого, кажется, было невозможно. Но когда, в заключение своих справедливых рассуждений, он вдруг заявил, что возглавить организацию тоя должен я, мне стало не по себе. Я даже испугался.

— Ты писатель,— сказал Хасен.— Тебя у нас в народе уважают и с мнением твоим считается каждый. Более подходящего человека, чем ты, я вокруг не вижу, уж ты не сердись. Мы соберем лучших джигитов, представите-

лей каждого из родов, приглашенных на той. Это будет твоя гвардия. Им можно будет довериться.

На том и кончился наш разговор. Через несколько дней в Майбалыке состоялось совещание организаторов праздника. Была создана организационная комиссия, председателем которой выбрали меня, заместителем — Шакира, сына Қыдырмы. Самый старший из нас и наиболее уважаемый Шакир, обращаясь к членам комиссии, сказал:

— Я думаю, дело ясное, и слишком долго обсуждать его не стоит. Все мы земляки. Майбалык создан нашими руками. И праздник этот — наш. И никому мы не позволим омрачить нашу большую радость. Так и скажите каждый в своем ауле. И пусть псы, которым не терпится полаять, подожмут свои хвосты, пока не поздно.

Мы шумно аплодировали Шакиру в ответ на такое хорошее его напутствие.

Потом члены комиссии разъехались по аулам, а мы с Шакиром остались в Майбалыке, чтобы отдать последние распоряжения к предстоящему тою.

Шакир, оказавшийся великолепным распорядителем, в первый же день посреди прибывших гостей разыскал около ста ловких джигитов, посадил их на лучших коней и поручил им вести той. Первый день ушел на то, чтобы принять гостей, разместить их и накормить ужином. Пусть только читатель не вообразит себе чего-нибудь необыкновенного при слове «ужин». Ужин — это просто вареное мясо и кумыс. Других блюд казахский аул тогда не знал. Настоящее же празднество наступило на другой день, когда начались конные скачки, борьба, соревнования в поднятии тяжелых слитков серебра — джамта.

В скачках должно было участвовать около ста пятидесяти лошадей. Среди них всеобщее внимание привлекала черная изящная кобылица с изогнутой спиной — Метеор. Таких лошадей еще не бывало в казахских аулах. Ноги длинные, крепкие, мускулистые, шея метровой длины, рука еле достает до холки, зубы, как у кабана. Говорили, будто эта кобылица ни разу еще никому не уступала первого приза на ипподромах Москвы, Ленинграда, Киева, Новосибирска. Жокей, сопровождавший Метеора, знал, что ипподрома у нас нет, поэтому он предложил пустить лошадей вокруг озера. Никто не принял предложения жокея, потому что казахи и понятия

не имели о настоящих, ипподромных скачках. Тогда жокей снова озадачил моих родичей. Он предложил отмерить десять километров по прямой дороге и на каждом километре поставить двух лучших скакунов. Метеор начнет скачку от самого старта, и через каждый километр к нему будут присоединяться наши скакуны. Жокей ручался, что Метеор обгонит всех скакунов, несмотря даже на эти довольно своеобразные условия.

Владельцы быстроногих скакунов стали совещаться. Многих соблазняла эта затея, тем более, что в случае проигрыша жокей обязался выложить тысячу рублей червонцами. Но русские казаки — братья Токаревы, Мальке и Кольке, приехавшие из Екатериновки, посоветовали сделать иначе.

— Метеора я знаю,— сказал Кольке.— Десять километров он стрелой пролетит, ни один из ваших скакунов за ним не угонится. А вот тридцать километров — дело другое. Метеор хорошо берет короткий путь, долгий не выдержит, ваша будет победа.

Совет Токарева всем показался дельным. Но тогда заупрямился жокей. Ясно было, что ему жаль мучать Метеора, да и не хочется идти на явный проигрыш. Но, как гость, приехавший к тому же на наш праздник издалека, он не мог отказаться вовсе от участия в байге и принял наши условия.

Кажется, начиная со времен первой мировой войны, казахи не видели такого большого, многолюдного праздника. Времена были тяжелые, голодные — сначала война, потом восстание 1916 года, гражданская война. И вот теперь все это позади. То там, то здесь раздаются голоса певцов, льются звуки кюев, слышен громкий смех. Сколько родственных и дружеских встреч, сколько влюбленных пар! Знаменитые певцы Есембай и Игебай нарасхват. За ними толпами ходят любители песен. С Игебая пот льется градом, а он все поет и поет, и голос его не слабеет.

Но наши ловкие джигиты начеку. Вдвойне надо следить за порядком. Нельзя же допустить, чтобы какой-нибудь балбес испортил людям настроение.

Внезапно до нас доносится какой-то шум. Мы видим в стороне окружившую кого-то толпу джигитов. Подъехали ближе и уже хотели вмешаться. Каково же было наше удивление, когда в толпе мы увидели здоровенного

детину. Оказывается, в Кургане гастролировал цирк, и один из цирковых силачей, прозванный «Желтым дьяволом», заинтересовался казахской национальной борьбой и решил попробовать свои силы. Кто-то посоветовал ему отправиться в Майбалык — здесь он наверняка встретит знаменитого казахского силача и борца Мырзахмета, сына Рымбая. Разыскивая Мырзахмета, Желтый дьявол собрал вокруг себя толпу любопытных: всех привлекла диковинная маска из желтой ткани, закрывавшая почти все его лицо. Мырзахмет действительно слыл в наших краях главным борцом-балуаном. Долгое время он работал грузчиком на железнодорожных станциях. Рассказывали, как таскал он по три мешка муки сразу весом по три пуда каждый, и мог так работать целыми днями.

И все-таки рядом с Желтым дьяволом Мырзахмет проигрывал. Тот был настоящий великан, один взгляд на его могучие плечи и руки с могучими мускулами мог привести в трепет любого силача. Мырзахмет был гораздо ниже его ростом, да и мельче. Кто-то из джигитов стал даже уговаривать Мырзахмета не вступать в борьбу с циркачом. Мырзахмет только посмеивался в ответ на эти уговоры да отшучивался, как мог, точно был он обладателем какой-то тайны, которая может помочь ему в самых трудных обстоятельствах. Итак, пари заключено. Приз — сто рублей червонцами.

И вот началась схватка двух балуанов. Глядя, как они сначала сблизились, насупившись, и поприветствовали друг друга, а потом ожесточенно стали друг друга перекидывать, подбрасывать, не в силах, однако, друг друга одолеть, я вспомнил красивую борьбу двух жеребцов — вожаков, когда двум косякам лошадей приходится столкнуться слишком близко. Они кидаются друг к другу; приблизившись, останавливаются. Обнюхав один другого, пронзительно ржут, как бы возвещая начало боя, и бьют копытом передней правой ноги о землю. Затем, напрягая красивые тела, нещадно бьются, и победитель, кусая побежденного, далеко отгоняет его от своего косяка.

Не у коней ли заимствуют наши балуаны красивые своей первобытностью приемы вольной борьбы?

...Противники, словно быки, сошлись лбами и мгновение стояли в страшном напряжении. Все вокруг смолкли.

— Ждут момента, хотят использовать какой-нибудь прием,— прошептал кто-то.

— Просто отдыхают,— возразил другой.

Вдруг Мырзахмет изогнулся и, взметнув руками, молниеносно, на глазах у всех, сделал какую-то невероятную комбинацию, до сих пор никем не виданную. Громадное тело Желтого дьявола взметнулось ввысь на вытянутых руках Мырзахмета, а в следующую секунду Желтый дьявол уже лежал на земле, прижатый сильными руками Мырзахмета.

Мырзахмет очень увлекся и не сразу сообразил, что побежденного противника можно отпустить. Мы с трудом оторвали его от Желтого дьявола, а тот еще довольно долго лежал неподвижно на земле. Мы испугались — уж не обморок ли с ним? К нему подбежали джигиты, но он молча отстранил их своими громадными ручищами и сам, без чужой помощи, встал. Всердцах сорвал он со своего лица желтую маску и пошел прочь, в степь. Видно, нелегко быть побежденным. Никто не стал мешать ему переживать свое поражение. Да и не до его переживаний нам было: громкие крики джигитов известили о конце байги. И все, кто до сих пор предпочитал смотреть на Мырзахмета и его соперника, ринулись к финишу.

Победу в байге одержал темно-рыжий скакун Нурай-Курень, принадлежавший Мухаметжану, сыну Карибая. Остальные четырнадцать скакунов не намного отстали от темно-рыжего.

Но Метеора среди них не было. Толпа взволновалась. Больше всех был испуган жокей. Еще бы! Обычная байговая лошадь стоит не больше ста пятидесяти рублей, а красавец Метеор — не меньше пяти тысяч!

А дело было так. Как и полагается, скакунов, которые должны были принять участие в байге, ночью отправили к началу дистанции — старту. Потом дали им отдохнуть, накормили ездоков-мальчишек, выстроили скакунов в ряд, и байга началась. Черная кобылица с лебединой шеей сразу же вырвалась вперед и оставила позади себя всех скакунов. За ней едва-едва поспевали только Черный Жаворонок Хасена-хаджи да рыжая со звездочкой одного из братьев Токаревых. Километров пять Метеор был впереди всех, а потом стал сильно сдавать и недалеко от озера Итбалык упал как подкошенный. Кобылицу обливали водой, мазали глиной—насилу

спасли. Но Метеор обессилел так быстро совсем не потому, что слишком длинной была дистанция. У казахов есть один секрет, и я его знаю: ведь в детстве я сам часто принимал участие в байге, и если хотел обогнать коня, скачущего впереди, начинал скакать неотступно за ним и громким криком все время погонять его. Тогда конь начинает нервничать, сбавляет ход и либо устает преждевременно и падает, либо просто сходит с дистанции. Эту хитрую штуку проделали с Метеором и наши мальчишки, наездники в байге, и Метеор не выдержал. А приезжий жокей даже не огорчился тем, что Метеор на этот раз потерпел поражение. Он был рад и тому, что прекрасный скакун остался жив.

Так вполне благополучно закончился тонкерисский той, и Хасен Мусин, растроганный, сердечно благодарил организаторов праздника и всех своих помощников.

А спустя несколько дней до меня дошла весть, которой я сразу даже не поверил: Хасен Мусин утонул в озере Майбалык. Рассказывали, будто на другой день после тоя за Хасеном заехал его знакомый, райкомовский работник Оспан Медетов, и уговорил его поохотиться на озере. Днем внезапно поднялась буря и разразилась гроза. Высокие волны перевернули лодку. И Хасен, и Медетов, как он утверждал, плавали очень плохо. По рассказам Медетова, Хасен так и утонул, не выбравшись из-под перевернутой лодки, а Медетов с трудом удержался, схватившись за весло, прикрепленное к корме. Позже, однако, выяснилось одно немаловажное обстоятельство: Хасен, точно, плавал плохо, но вот Медетов был пловцом превосходным. Были арестованы девять работников Тонкерисского района, но ни следствие, ни суд так ничего и не раскрыли.

Между спорами

Смерть Габбаса и Хасена заставила меня о многом серьезно задуматься. В том, что оба пали жертвой бешеной ненависти баев и их приспешников к Советской власти, я уже не сомневался. А ведь Габбас и Хасен были как бы живым олицетворением той власти, и баи понимали, что от них им снисхождения тоже не будет. Теперь-то я знаю, что ни о какой жалости в классовой

борьбе и речи быть не может. Врага пожалеть — себя погубить. Эта истина стала мне теперь понятнее всех истин на свете. Я писатель. В моих руках нет винтовки, но есть другое, не менее сильное оружие — перо. Пером можно сделать много, иногда даже больше, чем винтовкой. Это я понимал. Но я знал также, что один в поле не воин и что я должен способствовать сплочению рядов пролетарских писателей, тех, кто в своем творчестве выражает интересы трудящегося большинства. А так как я, кроме того, что я писатель, еще и секретарь Союза писателей Казахстана, то на мне лежит двойная ответственность перед народом в такое сложное время.

А дел было много. В литературе шла ожесточенная борьба с байско-националистическим направлением, и возглавлял эту борьбу КазАПП. Я не преувеличу, если скажу, что в 1927—1928 годах борьба с проявлениями байского национализма в казахской литературе была непримиримее, чем когда бы то ни было. Подтверждением этого могут служить многочисленные статьи, опубликованные в те годы на страницах газет и журналов, дискуссии, постоянно вспыхивавшие на писательских собраниях. Конечно, не нужно думать, что все было так уж просто: в одном стане мы, пролетарские писатели, в другом — байские националисты. Все было очень сложно, и чаще всего наши противники предпочитали не прямое наступление, а искусную маскировку. Конечно, Магжан Жумабаев, почувствовавший свой близкий конец, желая спасти себя, мог написать и такое:

Я свое совершил. Наступает ваш срок.
Я от прошлой «десятки» теперь далек.

Кошке Кеменгеров мог публично объявить в своей статье «Я прекращаю спор» о том, что он с нами согласен и готов стать нашим другом. Но что от этого могло измениться?

Ведь сказать можно все. Но искренни ли твои слова? Ведь ни Жумабаев, ни Кеменгеров не подтвердили делом искренности своих слов. Потому-то я, находясь в самом пылу литературной борьбы, и ответил Кошке Кеменгерову открытым письмом-статьей «А я не прекращаю спорить».

Но были среди нас и другие писатели.

Еще молодые, еще неопытные, но беззаветно любя-

щие родной Казахстан, они не могли сразу правильно разобраться в сложившейся обстановке и поддавались разным, порой часто случайным, влияниям. Но, возмужав и приобретя первую закалку, они нашли в себе смелость признать свои ошибки и, взвесив все, покончить с ложным прошлым и отдать свою жизнь служению народу. К таким писателям принадлежал Ильяс Джансугуров.

Пополнялся отряд пролетарских казахских писателей, а своего литературного органа печати у нас все еще не было. До сих пор наши стихи и статьи печатались, в основном, на страницах газет и общественно-политических журналов, но страниц, отведенных нам, становилось уже недостаточно. В 1927 году был создан первый в Казахстане литературный альманах «Птица года», который позднее превратился в ежемесячный журнал «Новая литература».

С тех пор все чаще и чаще стали появляться сборники, объединяющие на своих страницах самых разных авторов. В 1927 году мы выпустили большой сборник стихотворений, рассказов и небольших повестей более чем сорока казахских поэтов и писателей, посвященный Ленину. Так сборник и назвали: «Ленин». А в 1928 году в честь одиннадцатой годовщины Великого Октября семьдесят авторов приняли участие в сборнике «Шашу акынов».

Я не говорю уже о том, что Казахское государственное издательство систематически издавало произведения Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова, Аскара Токмагамбетова, Жакана Сыздыкова, Калмакана, Абдыкадырова, Утебая Турманжанова. В эти же годы появились два сборниак моих стихотворений и поэмы «Вчерашний и сегодняшний батрак», «Вброд к Октябрю» и «Сулушаш».

До середины двадцатых годов казахской прозы, можно сказать, не существовало, если не говорить о творчестве таких замечательных прозаиков, как Сакен Сейфуллин и Беимбет Майлин. Во второй половине двадцатых годов казахская литература пополнилась такими значительными прозаическими произведениями, как «Бушующий вал» Габита Мусрепова и «Капля крови ради великого пути» Орымбека Бекова. Авторы этих повестей рассказывали читателям о том, как совершалась Великая Октябрьская революция в Казахстане. В одном из самых

первых своих романов «Ер-Шоин» Габиден Мустафин обращается к первым годам советского строительства в Казахстане. «Табунщик» Жумабая Орманбаева, сборник коротких пьес Рахимжана Малабаева, «Как Джамиля стала грамотной» — все эти небольшие книжки заложили основы казахской прозы, одним из лучших образцов которой и по сей день остались произведения незабываемого Сакена Сейфуллина.

И вот перед ним-то, перед Сакеном, которого я уважал, как отца, перед его литературным дарованием я просто преклонялся, мне пришлось однажды так покраснеть, как кажется, я не краснел никогда в жизни.

Дело было так.

В 1927 году проходил шестой съезд Советов Казахстана. Одним из делегатов этого съезда был Ельтай Тышкамбаев. Я его, разумеется, не знал, но люди, знавшие его, говорили мне, что он — бывший бедняк, из туркестанских кочевых аулов, член партии, некоторое время был председателем местного Совета, как работник зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. На съезде его избрали председателем КазЦИКа.

Ничего удивительного в том, что на такой большой и важный пост избрали бывшего аульного кедея, я не нашел.

На другой день после выборов в газете «Энбекши-Казах» было напечатано мое стихотворение «Ельтай елдин агасы» — «Ельтай — нашего края старшина». В тот же день сидел я в издательстве и занимался разными литературными делами. Зазвонил телефон. Поднимаю трубку и узнаю голос Сакена:

— Что сейчас делаешь? — спросил Сакен, и по его голосу я понял, что он чем-то очень недоволен.

— Обычной литературной работой,— ответил я.

— Зайти ко мне можешь ненадолго?

— Конечно, могу.

— Зайди. Я буду ждать тебя в цветочной аллее.

Сакен повесил трубку, а на душе у меня стало тревожно. Что могло случиться? Почему Сакен такой сердитый?

Высокий Сакен ходил по аллее, как всегда, чуть откинув назад голову. В руках у него была трость с чеканным кавказским украшением. Мне показалось, что красивые длинные усы придают его лицу злое, постоянно недоволь-

ное выражение. Это было, конечно, не так, но в тот момент Сакен, действительно, был очень зол.

Поравнявшись с ним, я поздоровался, а он еле ответил на приветствие. Довольно долго мы молчали.

— Ты что здесь делаешь? — вдруг спросил он.

— Да ведь вы же сами мне позвонили и велели прийти.

— А-а... Читал стихи в «Энбекши-Казах»?

— Какие стихи? — Мне не сразу пришла в голову мысль, что он может говорить о моих стихах.

— А ты будто не знаешь? Ах, «Ельтай — нашего края старшина», солнышко ясное, что бы без тебя стали делать, не пролезь ты в председатели КазЦИКа,— елейным голосом нараспев произнес Сакен.— Понял теперь? В Державины записался? Оды писать теперь будешь?

— Ничего не понимаю, Сакен. Державин писал оды царям, а я написал одно-единственное стихотворение о бедном кедее, ставшем председателем КазЦИКа.

— Бедном кедее! — почти выкрикнул Сакен.— Кто тебе сказал, что он бедный кедей? Запомни раз навсегда: предки Ельтая — ханы и крупные бии, он прямой потомок хана Абль-Мамбета.

— Ну и что же,— попробовал было я возразить.— Разве потомок хана не может быть кедеем и коммунистом?

— Не спорю. Он действительно был беден, но не так уж беден, как он любит это изображать. До революции он был аульным судьишкой, и кое-что ему, конечно, перепадало. Совершилась революция — он стал активистом. И этому можно поверить. Но он бездарный, малограмотный человек — вот в чем дело. Его не выбрали на пост председателя КазЦИКа — кому-то нужно было протащить на этот пост именно его. Может быть, чтобы легче было делать за его спиной разные делишки. А может быть, и для того, чтобы дискредитировать в глазах народа Советскую власть. А ты сразу, не разобравшись, что к чему, хвалебные стихи писать. Подожди немного — вот отличится Ельтай на своем посту — тогда и пиши себе оду. Это ни от кого не уйдет: ни от тебя, ни от него. Стихи должны идти от самого сердца. Можем ли мы тратить свое сердце на что попало? А еще говорил как-то, что поэзия для тебя священна...— с неожиданной грустью,

которая сейчас так не шла к суровому выражению его лица, сказал Сакен.

Я уходил от него, как пристыженный мальчик, и мне вспомнилось почему-то, как однажды Сакен вызвал меня к себе и крепко пристыдил за такое место в одной из моих статей: «Каждому из отделов человеческого мозга,— писал я,— соответствует определенный комплекс ощущений. Так, один из этих отделов управляет в человеке чувством художественного».

— Кто надоумил тебя в дельную статью вставить такую ересь? По-твоему, мозг — это редакция, что ли? Вот отдел культуры, а вот отдел промышленности, а вот отдел искусства... Никогда не пиши о том, чего как следует не знаешь,— заключил Сакен.

Да, это верно, конечно. Никогда не следует ни говорить, ни тем более писать о том, чего не знаешь. Этот урок Сакена я запомнил на всю жизнь.

На этом можно было бы и закончить наш рассказ, если б впоследствии мне не довелось совершенно случайно узнать о судьбе сына Ельтая, Бимурзе Эльтайулы Ерназарове (когда Ельтай Тышкамбаев был избран председателем КазЦИКа, он решил, что для такого высокого поста его фамилия слишком неблагозвучна, и попросил разрешения зваться отныне не по отцу — Тышкамбаю, а по деду — Ерназару).

О самом Ельтае и впрямь нечего сказать: на посту председателя КазЦИКа он был до 1935 года, но пользы от этого никому не было. Лишенный матушкой-природой каких бы то ни было талантов, он, благодаря своим нелепым поступкам и распоряжениям, стал героем множества анекдотов, и проку от его работы, по правде говоря, не было никакого. И вдруг у такого человека вырос сын-герой. Об этом я узнал в 1945 году, когда в семипалатинской газете «Экпинди» — «Ударник» известный наш писатель Жекен Жумаканов напечатал статью «В походе другом была книга». Все, о чем пишет Жумаканов в этой статье, не выдумка. Он сам был свидетелем этих событий.

Во время Великой Отечественной войны, в один из по-боевому жарких дней, часть, в которой служил Жумаканов, отбила у немцев высоту, которую они долго и упорно не хотели нам отдавать. Отступали немцы с боем, наша часть находилась все время под обстрелом, а где-

то в стороне, в низине, нам был виден небольшой крестьянский домик, почему-то привлекавший особенное внимание немцев. Ясно было, что домик не пустой. Из его окон довольно часто раздавались пулеметные очереди, и, как ни пытались немцы захватить его,— долго им это не удавалось. Очевидно, что в домике засели наши бойцы, и фашистам от них досталось. Но пулеметные очереди скоро стихли, и когда к вечеру мы заняли сожженную дотла деревеньку с домиком, стоявшим где-то на отшибе и чудом уцелевшим, в домике был найден труп застывшего у пулемета бойца. Он один так героически отражал все атаки фашистов. По документам бойцы впоследствии установили имя героя — это был Бимурза Эльтай-улы Ерназаров. В вещевом мешке у него нашли роман «Загадочное знамя». Первый вариант моей книги «Ботагоз».

Прощай, Жаман-Шубар

Горячие литературные дискуссии, в которых так активно участвовали я и мои товарищи, скоро показали, насколько мне не хватает знаний — и в области литературы и литературной теории, и в теории марксизма-ленинизма. Вопросы, поднятые в наших дискуссиях, были настолько сложны и для верного их понимания и изложения требовали такой подготовки, какой рабфак мне, конечно, не дал. В сущности, мы получили в рабфаке среднее школьное образование, и только. А что я знал до рабфака? Только то, чему смог выучиться самоучкой.

Правда, после рабфака я усиленно старался заниматься самообразованием — читал множество книг из самых разных областей знаний, стараясь запоминать как можно больше цитат и изречений. В те годы было модно разбивать противника не аргументами, а цитатами из произведений общепризнанных авторитетов.

Особенно популярной была книга, составленная Б. Г. Столпнером и П. С. Юшкевичем «Литература и искусство в марксистском освещении». В этой книге было громадное количество всевозможных имен и цитат, и для спорщиков она была своеобразной энциклопедией. Можно было не знать ровным счетом ничего, но, обладая некоторой изворотливостью ума и книгой Столпнера, забивать насмерть любого литературного противника.

Особенно увлекались тогда Г. В. Плехановым. И даже такие писатели, как Сакен Сейфуллин, Ильяс Қабулов, Абдрахман Байдильдин, Хамза Джусупбеков в своих выступлениях и статьях любили ссылаться на его труды.

И другое меня удивляло. Почему казахские писатели так неохотно обращаются к современным темам? Почему Абдрахман Байдильдин, всегда имея под рукой целые охапки цитат из произведений литературных авторитетов и ловко оперируя ими в своих литературно-критических статьях, становится так беспомощен, когда речь заходит о каких-нибудь произведениях советских писателей, посвященных современности? Сколько ни читал я его статей, ни в одной из них я не встретил настоящего, глубокого анализа современного казахского романа, повести или даже небольшой поэмы.

На этот вопрос я тоже не мог ответить даже самому себе, и много было еще таких вопросов, ставящих меня в тупик.

Самообразование поглощало все мое свободное время, но знаний мне все равно не хватало. Я это чувствовал постоянно, и такая беспомощность тревожила меня. И я решил поехать учиться дальше. Товарищи меня поддержали. Да и в Қазахском государственном издательстве, где я тогда работал, охотно пошли мне навстречу. Главным редактором вместо меня пригласили Габита Мусрепова. Габит уже окончил в прошлом году первый курс Омского сельскохозяйственного института и был автором большой повести «Бушующие волны». Секретарем Союза писателей Қазахстана временно стал Таир Жароков.

Я покончил со своими служебными делами и летом 1928 года отправился в родной аул, чтобы оставить свою семью на попечение родных и затем уехать в Ленинград.

Қаждый раз, когда я приезжаю в родной аул, на берегу озера Дос меня охватывают далекие, почти полузабытые воспоминания моего детства и ранней юности. Но кипучая, вечно стремящаяся вперед жизнь не позволяет нам слишком долго предаваться воспоминаниям. Так и я — не успел приехать, оглянуться вокруг, надышаться вдоволь неповторимым воздухом родных степей и побродить заросшими берегами с детства любимого озера, как меня всего без остатка захватила неумолимая

повседневность со своими заботами, тревогами и горестями.

Здесь, в родных краях, я неожиданно встретил Хасена Нурмухамметова, с которым меня связывала задушевная дружба еще со времен рабфака, человека очень любопытной жизненной биографии.

Хасен Нурмухамметов родился в семье бедняка, неподалеку от Атбасара. Когда подрос, его отдали в обучение мулле. Юношей он завязал знакомство с известным атбасарским коммунистом Адильбеком Майкотовым (о нем, погибшем от рук колчаковцев, мне доводилось рассказывать не раз). Майкотов имел решающее влияние на Хасена, который отныне стал горячим сторонником революции. В 1919 году, когда в Атбасаре установилась Советская власть (председателем ревкома был в те годы Николай Денисович Веденеев, ныне генерал-лейтенант в отставке, дважды Герой Советского Союза), Хасена послали в Омскую советско-партийную школу. Однокурсники Хасена поражались его необыкновенным способностям. Рассказывали, например, что всего за полгода он настолько хорошо овладел русским языком, что мог совершенно свободно говорить и грамотно, с полным соблюдением правил русской орфографии, писать.

Окончив советско-партийную школу, Хасен некоторое время был на партийной работе, а в 1921 году стал студентом рабфака. С 1923 года Хасен учится сначала в Тимирязевской академии и затем поступает в аспирантуру. И вот теперь он во главе биолого-почвенной экспедиции приехал изучать структуру почв нашего края.

Признаюсь, это была очень приятная встреча. Столько новостей накопилось у каждого из нас за это время, а тут еще пошли рабфаковские воспоминания — было нам о чем поговорить с Хасеном Нурмухамметовым. И когда выложили мы друг другу все новости и перебрали всех своих общих знакомых, я спросил у Хасена, какую практическую цель преследует его экспедиция.

— Э, милый мой, об этом можно говорить день и ночь. Пока я скажу тебе только одно: твой край ждет большое будущее. Конечно, казахи — кочевой народ, и толка в земле казах не знает. Но пять-десять процентов казахского населения хлебопашеством все-таки занимается. Сам знаешь — богатство таких баев, как Альти Кокенова, Смаила Жаманшалова, Куанышева, не столько

мясо, сколько хлеб. А знаешь ли ты, сколько плодороднейшей черноземной почвы пропадает на севере Казахстана? Возьми хотя бы северную часть Акмолинской, Семипалатинской или Тургайской и даже Уральской областей. В 1903—1909 годах земли этих областей изучала экспедиция Щербины. Так вот, согласно данным, полученным Щербиной, площадь этих плодородных земель занимает приблизительно 30 миллионов гектаров, а используется, самое большее, только три, да и того, пожалуй, нет. Полтора-два миллиона. Вот посмотри,— Хасен выразительным жестом руки указал на громадный простор степей, расстилавшихся вокруг озера Дос.— Здесь не меньше полумиллиона гектаров прекрасной земли. Если ее распахать и засеять, можно получить миллионы пудов хлеба.

— Миллионы пудов! — воскликнул я.— Невероятно!

— Да, миллионы пудов,— повторил Хасен.— Но пока это только прекрасные мечты. И они останутся мечтами, пока казахи будут кочевать. Сам посуди: если в Казахстане всего пять-десять процентов казахов занимается хлебопашеством, а остальные кочуют,— откуда взять столько людей для освоения пустых земель? А они к тому же все единоличники, кроме плуга, ничего не знают да и пашут на быках и лошадях.

— Да, нужны машины — побольше тракторов прислать бы в нашу степь.

— Это верно, но представь себе, сейчас это не главное. Прежде всего, казахи должны жить оседло. Пока будем кочевать — с места ни на шаг не сдвинемся. Но не так-то просто этого добиться. С 1924 года наша экспедиция каждое лето выезжает в степь. Земли Семипалатинской, Акмолинской, Тургайской областей изучены вдоль и поперек. Земля хорошая, и вода есть. А людей нет.

Мы помолчали. Потом Хасен вдруг говорит:

— А что, Сабит, не переселиться ли и вашему аулу в другие края?

Я растерялся. Это было так неожиданно, и сама мысль о переселении всего аула как-то не умещалась в сознании. Видя мою растерянность, Хасен так же неторопливо, своим негромким голосом стал приводить один за другим доводы в пользу своего предложения.

— Подумай сам, Сабит. К зиме все окрестные аулы — и ваш в том числе — все равно ведь разбредутся по лес-

ным местам. И только с наступлением лета снова вернутся на озеро Дос. Так ведь? А что если вам выбрать какое-нибудь хорошее местечко, лесистое, плодородное — и навсегда там поселиться? Вот Кара-Агаш, например, ты ведь знаешь это место. До революции, правда, этот участок относили к так называемым казенным землям. Русские кулаки и казахские баи брали их в аренду — засевали хлебом или просто пасли скот. Теперь он пустует.

Еще бы мне не знать этого места! Я ведь уже рассказывал вам, дорогой читатель, о том, как наши деды в 1894 году были изгнаны со своих исконных земель по указу царских властей и были вынуждены поселиться на джайляу. Эта рана до сих пор еще не зажила в сердцах стариков, а мы, молодое поколение, родившееся уже здесь, на новых местах, считали озеро Дос своей родиной.

Как и следовало ожидать, старики с радостью встретили предложение о переселении в Кара-Агаш; молодые и слушать меня не хотели — нам, мол, и здесь хорошо.

Тогда мы предложили молодым жаман-шубаровцам поехать в Кара-Агаш, посмотреть на землю их дедов и прадедов. Мы сделали это сознательно — не может быть, чтобы Кара-Агаш им не понравился.

Расчет наш оказался верным: как увидели жаман-шубаровцы богатые пастбища, леса, сенокосы — так и остановились, как завороженные, а один из них, не помня себя от восторга, вдруг как воскликнет:

— Вот где надо жить!

Прошло немного времени, и к нам началось паломничество жителей окрестных аулов, желающих поселиться на прекрасной земле Кара-Агаш. Для нас это было как нельзя кстати, потому что даже шестьдесят семей жаман-шубаровцев не в состоянии освоить громадное пространство Кара-Агаш, занимавшее почти десять тысяч гектаров.

А вскоре Хасен привез из губернского земотдела документы о передаче нам в безвозмездное пользование земли Кара-Агаш.

Начались сборы. Много было радости у жаман-шубаровцев, но и слезы их не обошли. Как-никак тридцать четыре года оставались здесь, на берегу озера Дос, вместе с дорогими могилами умерших родных. Поплакали

жаман-шубаровцы, а потом, прежде чем свалить юрты, отправились на кладбище проститься с духами предков — аруахами. Вот здесь похоронена чья-то мать, а здесь — чей-то отец, чьи-то братья, и сестры, и дети лежат в этой земле — каждому есть над кем поплакать и с кем проститься. Прощаются так, как будто из Кара-Агаша, что в ста километрах отсюда, никто никогда уже не приедет.

Могучая волна чувств, идущая из самой глубины сердца людей родного аула, захватила и меня. В восточной части большого кладбища есть два холмика. Это могилы моих родителей. Несколько лет назад холмики были еще довольно высокие, теперь же они осели и заросли кураем. Пройдет год, два, и они совсем сравняются с землей, затеряются посреди других могил.

Я оглянулся. Вокруг ни дерева, ни камня. Какую приметь оставить, чтобы не затерялись окончательно могилы моих бедных отца и матери? Мне бросилась в глаза груда только что обглоданных костей — жаман-шубаровцы, по древнему казахскому обычаю, навсегда покидая кладбище, приготовили курмалдык — жертвоприношение умершим духам. Каждая семья заколола по овечке, а зажиточный Нуртаза — стригунка. Я поднял с земли большую голенную кость стригунка и вбил ее в землю у изголовья могил моих родителей. Кость сохранится надолго: и в огне она не сгорит, и от сырости не сгниет, и никакой зверь на нее не польстится.

Закончив жертвенную трапезу и прочитав молитву, народ двинулся в аул, и вместе со всеми я повторял:

— Прощай, Жаман-Шубар! Прощай, Жаман-Шубар!

Гибель Жампеиса

Не успели жаман-шубаровцы свалить свои юрты и погрузиться на подводы, как откуда ни возьмись появился Жампеис. Не было такой вести, даже самой отдаленной, которую бы не узнал Жампеис раньше других. Вот и теперь, прослышав одним из первых о том, что Жаман-Шубар переселяется в другие края, он, вечно шумный и веселый, приехал к нам на чужих лошадях, впряженных в почти разбитый тарантас. Он легко спрыгнул с таран-

таса и, увидев в толпе Нуртазу, почтительно его поприветствовал, а потом вдруг воскликнул, обращаясь ко всем остальным:

— Уа, дрофа пустынная Жаман-Шубар, ты тоже хочешь быть теперь аулом! Сказать по правде, Кара-Агаш — царица всех земель. Из ада в рай переезжаешь, Жаман-Шубар! Да будет много вам удач!

— Да будет так! — дружно воскликнули люди.— Спасибо, Жампеис!

— А что, в артель вы еще не объединились? — спросил вдруг Жампеис.

— Хочешь вступить? — лукаво улыбнулся Хусаин.

— Да я давно уже в артели — ты разве не знаешь? — удивился Жампеис.

— Да ну? — Хусаин даже рот приоткрыл.— Ты вступил в артель?

— Конечно.

— Странно. Разве может вор и взяточник согласиться есть из общего казана? — резко сказал Хусаин.

— Не болтай глупости! — прикрикнул на него Нуртаза.— Хуже бабы сплетни собираешь, ни за что обидел человека.

— Не кричите на него, дядя Нуртаза,— спокойно проговорил Жампеис.— Правду халатом не прикроешь. Узнает и Хасен правду о моей жизни. А пока пусть говорит, что хочет. Я не обижаюсь. Вот помогу вам погрузиться и переехать и пока не отведаю курмалдыка на новоселье, не уеду.

Переезжали на казахских тарантасах. Правда, не у всех они были: те, у кого тарантаса нет, складывают весь свой скарб в тюки и вместе с детьми навьючивают его на верблюдов или лошадей. Если ехать быстро — от озера Дос до Кара-Агаша дня три езды. Но нам приходилось часто останавливаться на отдых, потому что переезжали всем аулом, нам навстречу выходили жители окрестных аулов, расспрашивали, ставили нам ерулик — угощение старожилов в честь новоселов. Как здесь уложиться в три дня!

Жампеис едет в моем тарантасе и каждый раз, как к нам приближаются жители окрестных аулов, произносит настоящую речь. Суть его речей одна: нужно как можно скорее переходить на оседлый образ жизни и всем объединяться в артели.

Говорит Жампеис с увлечением, и речь его очень убедительна. Наш аул он уже называет новой, только что образованной артелью. Так живо и красочно, с такими подробностями изображает он нашу будущую жизнь, что я, как-никак считающий себя писателем, завороженно его слушаю, и в моем воображении уже появляются замыслы каких-то доселе невиданных, прекрасных произведений. Да, если все, что рассказывает об артели Жампеис, правда, то кто откажется от такой артели?

— Из тебя вышел бы замечательный агитатор,— говорю я Жампеису, когда мы снова садимся в тарантас и едем дальше.

Жампеис печально качает головой.

— Нет, дорогой Сабит. Какой агитатор! Моя песенка спета. Года не те — да и здоровье сдает.

Мне бы хотелось напомнить вам, читатель, некоторые черты биографии этого человека, несмотря на то, что я о нем вам уже рассказывал. Я хочу сделать это потому, что вот-вот нам с вами придется навсегда расстаться с Жампеисом, человеком, прошедшим сложный и достаточно путаный, но все-таки искренний и честный путь в жизни.

Жампеис родился в одном из аулов Пресновской казачьей волости Петропавловского уезда. Его отец, Омар, был полукочевником, полуоседлым, а Жампеис с детства батрачил у баев. Он был уже подростком, когда однажды нанялся косить сено к одному из баев, Мукышу Куртаеву. Во время покоса кто-то из косарей украл в соседнем ауле овцу. Подозрение пало на Жампеиса.

Чужой овцы он не брал, но кому это докажешь? Спасаясь от суда, Жампеис убежал в село Курганское, где жили его сестра и зять, такие же бедняки, как и он. Несколько лет Жампеис батрачил у русских кулаков. За эти годы он выучился не хуже любого русского читать и писать. Музыкально одаренный, он легко научился играть на гармони и был душою всех вечеринок.

На одной из таких вечеринок Жампеис увидел русскую девушку, необыкновенную красавицу, и влюбился в нее. В молодости и сам Жампеис был хорош собой, и добиться взаимности особенного труда для него не составляло. Но девушка была согласна стать его женою только при одном условии: если Жампеис примет православную веру. Жампеис готов был принять условие, и

даже назначен был день крещения, но эта весть дошла до ушей родственников, и однажды ночью они тайком и силой увезли его к себе в аул, не желая терпеть подобного позора. Ему запретили и думать о его русской красавице. «Женишься на русской — убьем»,— сказали ему родичи, и Жампеис знал, что с ним вовсе не шутят.

Сватали ему разных невест, но Жампеису приглянулась молодая красивая женщина, жена одного из престарелых родичей. Недолго думая, сговаривается Жампеис с Жаныл, и вдвоем под прикрытием ночи они бегут в Петропавловск.

На другой день после побега счастливые влюбленные обнаружили, что верхом на одной плетке далеко не уедешь. У них не было ни денег, ни пищи, ни одежды, ни крыши над головой. Как быть? Как раз в то время полиция все время нуждалась в ловких, расторопных, знающих местные обычаи людях, которые могли бы оказать помощь в борьбе с правонарушителями, в особенности ворами. Не очень-то охотно шли люди на эту грязную работу — уж если крайность какая-нибудь вынуждает. И Жампеис поступил на службу в полицию.

Время — царское. Степь кишит ворами. Особенно много воруют скота. В Акмолинском, Кокчетавском, Омском, Петропавловском, Кустанайском уездах орудуют такие знаменитые конокрады, как Жудырык, Сыздык, Кышкаш, Джама, Тайкот, Канапия сын Басыгары, Аупык. Конокрады, как говорится, отбирали коня у конного, палку у пешего, грабили мирных людей, в особенности русских крестьян, у которых часто уводили последнюю лошадку. Для полиции Жампеис оказался в этом деле настоящим кладом. В полиции говорили, что у него, как у собаки, особенный нюх — такие мастерские операции проводил он иногда по поимке злостных конокрадов.

Свершилась революция, по другому руслу пошла жизнь, но старое не сдавалось просто так. Не желая подчиняться законам новой жизни, продолжали заниматься своим черным ремеслом в Амолинске — Мажен, в Кустанае — Есмагамбет, в Омске — Данияр, в Каркаралинске — Мади.

И здесь Жампеис продолжал борьбу с конокрадами и ворами. Они уже не могли организовывать большие группы и совершать крупные дела, как это было раньше,

когда они воровали скот табунами. Кражи становились все мельче, все осторожнее, и трусливее приходилось действовать и самим ворам.

— Ну, а вовсе с ними покончить можно? — спрашиваю я.

— Конечно, можно. Но я решил больше этим не заниматься. Мне уже сорок лет. И глаза хуже видят, и уши давно уже не те, да и ловкости прежней нет. Пусть потрудятся теперь молодые. А мне пора на покой. Вот вступил я в артель, недавно организованную в ауле Аю Красноармейского района. Построил себе из соседнего леса двухкомнатный дом. Товарищи по артели доверили руководить животноводческой бригадой. Дела хватит до конца жизни. Посмотрю теперь, как устроится на новом месте твой аул, отправлю тебя в далекий путь — я слышал, ты ведь учиться едешь?

— Верно, еду. В Ленинград.

— А хочешь, дам я тебе один совет? Оставайся-ка ты здесь. Сын-то ведь твой, я видел, ходить начинает и такой стал забавный — просто чудо! Зачем оставлять такого чудесного малыша и ехать учиться? Ведь ты таким никогда его больше не увидишь.

Я слушаю Жампеиса и понимаю, что в нем сейчас говорит затаенная тоска и боль оттого, что ему, Жампеису, вот уже сорок лет, а сына у него нет. Я сам безумно люблю детей, но согласиться с Жампеисом не могу: учиться надо. И для себя, и для моего сына, и для всего моего народа.

Неожиданно, как бы угадывая мои мысли, Жампеис сказал:

— Учиться тебя сейчас отговаривал, а сам как тебе завидую! Рад бы уехать куда-нибудь на край света, подальше от этих мест.

В голосе его мне почудилось отчаяние. Я удивился.

— Что ты говоришь, Жампеис? Тебе надоели родные края? А как хорошо ты говорил о будущем наших аулов!

— Грешно так думать обо мне, Сабит. Разве мало сделал я для родного края? Разве не дорог был мне его покой, и сколько раз я рисковал жизнью ради этого покоя и ничего не боялся. А теперь боюсь, Сабит, ох, как боюсь. Ночами спать не могу, ворочаюсь с боку на бок, как старый грешник. Недоброе чует мое сердце, умру я скоро.

— Что ты, что ты! — воскликнул я в ужасе.— И думать не смей об этом. Еще будешь жить, долго жить. На воров сейчас наложили крепкую узду. Твои заслуги всем известны — в обиду тебя не дадут.

Но бесстрашный когда-то Жампеис находился в смятении, и мои успокоительные слова мало на него подействовали. И я, как ни старался уверить себя в обратном, в глубине души понимал, что рано или поздно воры сведут счеты с тем, кто так ловко когда-то устраивал им западню. Но все-таки нельзя было позволять ему жить в таком страхе, и я, как умел, старался подбодрить его.

Жампеис как будто успокоился. Но когда он стал с нами прощаться, самообладание его оставило, и он вдруг прослезился.

Поглощенные каждый своими заботами и тревогами, мы все скоро позабыли о смертельной тревоге бедного Жампеиса. А возвратившись в Ленинград, я через месяц получил письмо от своего младшего брата, в котором он сообщал о смерти Жампеиса. На базаре у станции Болатнай его затащили в лес и искромсали на куски. Утром милиция обнаружила в лесу его останки.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАРСАКПАЙ

Ленинград и снова родные аулы

Оставив семью в ауле, я поехал в Петропавловск. Кончалось лето, в городе было жарко, пыльно и пустынно, и оттого, что я вот-вот должен был отправиться в Ленинград, я чувствовал себя еще неуютнее. Я чувствовал неуверенность в своих силах, пугала неизвестность, и минутами на меня находило такое сомнение в правильности моего поступка, что я готов был позорно удрать назад, в аул.

К счастью, в доме учителя Абдуллы Байтасова я познакомился с Алькеем Хакановичем Маргуланом, будущим академиком, историком и этнографом. Тогда он был студентом Ленинградского института восточных языков. Нужно ли говорить, какую огромную нравственную поддержку оказал он мне, принявшись с восторгом рассказывать и о Ленинграде, и об институте, в котором он учился. Беседа с ним окончательно убедила меня в правильности избранного пути. На прощание Алькей дал мне свой ленинградский адрес на всякий случай.

А он мне пригодился как нельзя больше — и теперь я думаю, какая счастливая случайность позволила мне увидеть в Петропавловске именно Алькея, а не кого-нибудь другого.

Ленинград встретил меня таким проливным дождем, что я поначалу растерялся и долго стоял под навесом привокзального помещения. Ну и дождь! Много видел я

разных дождей, но такого ливня еще не встречал нигде. Только теперь я понял истинный смысл всем известного выражения «дождь льет как из ведра». И я в своем легком летнем пальто и костюме выглядел так, будто на меня и в самом деле только что вылили ведро воды.

К моему удивлению, приезжие и не думали пережидать дождь. Они бодро бегали по привокзальной площади, торгуясь с извозчиками (ни одного автомобиля я так и не увидел), сторговавшись, залезали в пролетки, и скоро привокзальная площадь почти опустела.

А дождь все лил да лил, и высокие дома из-за дождя начинали мне казаться вершинами каких-то странных, доселе никем не виденных гор. Я был в полной растерянности. Что делать? Можно нанять извозчика, хотя это уже не так-то просто сделать — но куда ехать? Искать квартиру под таким дождем было слишком рискованно, да и бесполезно. Я порылся во внутреннем кармане пиджака и среди важных и нужных бумаг отыскал маленький листок, вырванный из записной книжки. «Улица Декабристов, 14». Адрес Маргулана. Другого выхода у меня сейчас не было.

Втянув голову в плечи, я отважно ринулся под дождь, приметив невдалеке только что остановившийся фаэтон. По дороге я понял, что меня вот-вот нагонит соперник. Я побежал проворнее и первым достиг пожилого рыжебородого извозчика, восседавшего на облучке, точно он был король на своем троне. На ходу я выкрикнул адрес. «Пять рублей!» — весело ответил мне он и уже было замахнулся кнутом на лошаденку. Я остолбенел. Пять рублей! Да за эти деньги в ауле можно купить самого лучшего, самого жирного барана. Пять рублей — неделя безбедной жизни в Петропавловске. Что он — шутит?

Извозчик повернулся ко мне.

— Ну как — поедете аль нет? Другого взять можем.

Что было делать! Дождь льет, к извозчику целая очередь, холод пробирает до костей, пришлось влезть в проклятый фаэтон. Как затравленный заяц, забился я в угол, потеряв всякий интерес к окружающему.

Долго, какими-то закоулками-переулками ленивой рысцой блуждал мой извозчик, пока не раздался его зычный окрик. Лошадь стала. Я выглянул из-под навеса, и в глаза мне бросилась белая табличка с крупными черными буквами: «Ул. Декабристов, 14». С тяжелым

сердцем вручил я извозчику пятерку и побежал к подъезду массивного, но не очень высокого дома.

Я энергично нажал кнопку звонка и стал ждать. Долго никто не выходил на звонок, и я, потеряв терпение, снова протянул руку к черной кнопочке, как вдруг замок щелкнул и зазвенела цепочка. Дверь слегка приоткрылась — настолько, насколько это позволяла цепочка,— и я увидел высокого пожилого мужчину с огромными усищами.

Я был так растерян и подавлен, что не понял вопроса усача, и вместо того, чтобы спросить, здесь ли живет Алькей Маргулан, назвал свою фамилию. Усач пожал плечами и отрицательно покачал головой. Дверь захлопнулась.

Я был в полном недоумении. Может быть, Алькей дал мне не тот адрес?

Или ему пришлось внезапно переменить квартиру? Еще раз достал листок из записной книжки, где рукой Алькея записано: улица Декабристов, 14.

И вдруг дверь распахнулась, и я увидел Алькея. Он, запыхавшись, бежал ко мне.

— Что же ты не спросил сразу меня! — упрекнул Алькей.— Хозяин говорит — ищут какого-то Муканова. Не знаете такого? Лицом на вас похож. Хорошо — я догадался.

По широкой лестнице мы поднялись на второй этаж, где находилась комната Алькея. Дом, невзрачный с виду, внутри оказался весьма уютным и комфортабельным: стены оклеены красивыми обоями, высокие лепные потолки, несколько громоздкая, но хорошая старинная мебель, много картин.

— Вот эту комнату занимаю я,— говорил Алькей, останавливаясь перед высокой белой дверью,— чуть подальше от меня живет Алихан Букейханов, а вот там — Мухтар Ауэзов с женой. Алихан сейчас в командировке, Мухтар еще не вернулся с дачи. Скучаю, как видишь. Вдвоем будет веселее.

В комнате Алькея, по-видимому и так не очень светлой, потому что окно ее выходит во двор, похожий на колодец, в дождливую погоду совсем темно. Но это не мешает нам оживленно обмениваться новостями. Я забыл и про мокрый костюм, и про пять рублей — про все свои дорожные невзгоды.

Но неприятности на каждом шагу подстерегали меня в тот день. Не успели мы с Алькеем перебросить несколькими словами, как в дверь постучали и на пороге появился хозяин.

Он, бегло взглянув на меня, перевел глаза на мой чемодан и связку книг, примостившихся в углу у печки. Затем, не обращая на меня никакого внимания, он спросил у Алькея:

— Ваш приятель будет в Ленинграде жить или приехал в командировку?

— Он приехал учиться,— ответил Алькей.

— Где же он будет жить? Вероятно, в общежитии?

— Конечно,— не очень уверенно произнес Алькей, видимо, не понимая, к чему хозяин клонит разговор.— Впрочем,— здесь же спохватился Алькей,— об этом мы с ним еще не успели поговорить. Где-нибудь устроится — на квартире ли, в общежитии — какая разница.

— Это так,— согласился хозяин.— Только в общежитии, наверное, устроиться будет трудно, да и дело к ночи идет — кто теперь его пустит туда без разрешения начальства, а начальство уже разошлось по домам. Стало быть, он заночует здесь, и я могу иметь из-за него большие неприятности с милицией. Вы знаете ведь, без прописки в Ленинграде нельзя.

— Да ведь одну-то ночь он может побыть в моей комнате,— возразил было Алькей.

— Нет, без прописки нельзя...

Кажется, я, наконец, уловил, в чем было дело. Пока Алькей вел переговоры с хозяином, а я прислушивался к его речи с каким-то странным акцентом (позже я узнал, что хозяин — эстонец по национальности и фамилия его была, если мне не изменяет память, Эйхенвальд), в моем воображении возникла физиономия рыжебородого извозчика, содравшего с меня пять рублей, и я понял, что здесь дело кончится непременно деньгами.

Так оно и вышло. Мы предложили хозяину деньги. Он позволил себе немного покуражиться, делая вид, что больше всего на свете он боится неприятностей с милицией — и согласился. Я достал кошелек. Сколько?

— Десять рублей,— невозмутимо ответил эстонец.

На этот раз я не остолбенел. Я уже понял, что пора отрешиться от аульно-петропавловской шкалы цен.

Я только многозначительно переглянулся с Алькеем. Хозяин перехватил мой взгляд и спокойно пояснил:

— Десять рублей — это плата за неделю. Я вам выдам постельное белье, а сколько вы будете им пользоваться — один день или неделю, какая разница? Другому квартиранту его ведь завтра уже не дашь. Так что как хотите — оставайтесь на одну ночь или живите неделю.

Наконец хозяин ушел готовить мне комнату.

— Алькей, неужели он с вас так дерет? Десять рублей за неделю!

— Нет, мы-то платим меньше, ведь мы — постоянные квартиранты, мы, по его мнению, надежнее. Но и то как еще сказать. Вот Букейханов все лето в командировке, его комната пустует, он за нее заплатил вперед. Мухтар два месяца на даче — и тоже заплатил за квартиру вперед. Такой уж у них порядок — ничего не поделаешь. Спекулянты!

Неприятности и вся несуразица минувшего дня не помешали мне, однако, отлично выспаться в пустой прохладной комнате и в приподнятом настроении отправиться на другой день на Васильевский остров в университет.

В приемной комиссии я сдал свои документы и стал студентом. В одном только мне не повезло: на место в общежитии нечего было и надеяться. Это известие несколько омрачило мою радость, но я так изголодался по учебе, что готов был вынести любые трудности, только бы иметь возможность учиться. А между тем нужда меня поджимала все больше. Из Кзыл-Орды я выехал с довольно большой по тем временам суммой, а в Ленинград приехал с полупустым карманом. В Ленинграде каждый шаг стоит денег. Ясно, что остатка моих сбережений хватит самое большее — на неделю. Вся надежда на кзыл-ордынское издательство. Уезжая в Ленинград, я оставил моему преемнику, главному редактору издательства Габиту Мусрепову, письмо, в котором поделился с ним планом своего романа «Адаскандар» — «Заблудшие» и вкратце описал свое бедственное финансовое положение. Мусрепов должен был составить договор на роман и выслать мне аванс.

Шло время, а от Габита не было никакого известия. Уже вторую неделю я жил на квартире у Эйхенвальда, в университете шли занятия, и все как будто бы вошло

в свою колею, а я каждое утро, еще не умывшись, бежал к почтовому ящику в надежде увидеть там письмо от Габита Мусрепова.

Все попытки раздобыть деньги каким-либо иным путем успехом не увенчались, а между тем в начале каждой новой недели хозяин-эстонец, которого я уже ненавидел всей душой, неизменно требовал очередную десятку.

Оставался только один выход — продать свои серебряные часы. Это были большие карманные часы с серебряной цепочкой, редкой работы. Когда-то я заплатил за них внушительную сумму, но, как говорится, «дорого купить — дешево продать». В комиссионном магазине мне предложили такую мизерную сумму, что и думать нечего их продавать. К тому же в магазине мне сказали, что деньги можно получить лишь после продажи часов. Как быть? Отправился я на барахолку. На барахолке на мои часы и смотреть никто не хочет. Из любопытства повертят в руках, приценятся — и отдают часы назад. Так я их и не смог продать.

И вот однажды, когда я, вконец измученный, вернулся с барахолки, пришло долгожданное письмо от Габита, а немного позже денежный перевод на двести рублей. Двести рублей! Для меня это было целое богатство.

В письме Габит сообщал о том, что договор на мой роман «Адаскандар» заключен и высланы аванс и копия договора, рассказывал о своей работе; он, как я уже говорил, был теперь главным редактором издательства в Кзыл-Орде, а все остальное время усердно занимался своим образованием. Кроме того, Габит просил выслать ему программу по курсу литературы для филологического факультета и некоторые книги. Если б знал Габит, какую радость доставило мне его коротенькое письмецо и как выручили меня эти двести рублей!

И первое, что я сделал — распрощался со своим квартирным хозяином. И здесь мне здорово повезло. В Ленинграде существовал — да и сейчас еще существует хороший обычай: студенты, приехавшие из разных стран и союзных республик, организуют так называемые землячества. Организовали такое землячество и казахские студенты. Раз в месяц мы собирались все вместе, делились новостями, полученными из Казахстана, устраивали вечера отдыха, спорили, читали доклады. Казахское



к стр. 244

землячество насчитывало тогда около 250 человек. Председателем его был студент Политехнического института Темирболат Тельжанов, секретарем — студент Энергетического института Ибрай Тажиев. В бюро, состоящее из семи человек, вскоре избрали и меня. Сюда, к Темирболату Тельжанову, я и пришел посоветоваться по квартирным делам.

Темирболат в тот же день познакомил меня с очень симпатичной старушкой-немкой со странной фамилией Киор, а к вечеру я переселился в ее квартиру, находившуюся на шестом этаже большого старого дома по улице Плеханова. Здесь было тихо и как-то по-старушечьи уютно, даже телефон, висевший на стене в коридоре, не очень беспокоил нас звонками, до университета — рукой подать, и плата вполне умеренная — пятнадцать рублей в месяц.

Наконец-то остались позади все треволнения, связанные с приездом в Ленинград, квартирой, деньгами, и я мог спокойно отдаться учебе. В те времена посещение лекций было свободное — я не пропускал ни одной, аккуратно записывал все, что говорил лектор и с любопытством приглядывался к своим товарищам. Здесь все для меня ново и все интересно. На каждой лекции я получаю столько сведений, сколько не найдешь ни в одном учебнике! Теорию литературы читал нам профессор Келтуялла. Высокий, полный, с густыми рыжеватыми усами и короткой бородкой, профессор внушал уважение уже одной своей массивной фигурой, а когда в аудитории раздавался его громоподобный голос, все замирали от страха: профессор был строг и никаких вольностей на своих лекциях не позволял. Келтуялла был горячим приверженцем вульгарно-социологической школы, господствовавшей тогда в литературоведении, которая, как известно, принесла большой вред нашей науке о литературе. Но тогда эта школа только возникла, и сторонникам ее казалось, что они полностью опровергли старое литературоведение и открыли новый метод изучения классического наследия.

Из рассуждений профессора следовало, что классовая, социальная окраска свойственна не только произведениям литературы и вообще искусства, но всему поведению человека, вплоть до таких сугубо естественных проявлений его человеческой природы, как смех, манера

говорить, ходить, даже спать. По поводу подобных теорий профессора в студенческой среде было сложено много забавных анекдотов и даже одна веселая песенка, неизвестно кем сочиненная, о нерадивом студенте, у которого в жизни было две страсти: по-пролетарски крепко спать и по-буржуйски плотно есть. Но, думается мне, эта песенка в конечном счете не имела никакой связи, кроме чисто формальных признаков, с лекциями Келтуяллы. В те годы даже и усердные студенты мечтали и о плотном обеде, и о долгом, крепком сне — ведь времена были тяжелые, и чтобы иметь возможность учиться, студентам приходилось и недосыпать, и недоедать.

Лекции по истории Средней Азии читал нам всемирно известный ученый-востоковед Василий Владимирович Бартольд. Он был одним из основоположников советского востоковедения, и труды его и по сию пору входят в золотой фонд советской и мировой науки. Ему было уже за шестьдесят, когда мы впервые услышали его лекцию. Он был очень болен — настолько, что на лекцию его приносили в кресле. Ему было трудно говорить и почти невозможно писать. Но не было случая, чтобы он опоздал к началу лекции, и до последнего дня своей жизни он не прекращал интенсивной научной деятельности. На лекции к нему ходили даже с других факультетов, но, насколько я могу судить, его не очень волновало, полна аудитория или перед ним сидят всего пять человек—мелкое тщеславие было ему чуждо. Сколько бы ни было студентов в аудитории, он неизменно, не делая никакого перерыва, читал оба академических часа, как бы видя в этом свой непреложный и неукоснительный долг. Слушая лекции профессора Бартольда, мы еще раз убеждались в том, что подвиги можно совершать не только на полях сражений, не только во времена войн и революций. Разве профессор Бартольд не совершал подвига, несмотря ни на что, до последнего дня находясь на посту своего научного призвания?

Из наших преподавателей запомнился мне также и профессор Якубинский. Как известно, в лингвистике он был сторонником так называемой «формальной» школы, во главе которой стоял Фортунатов. Он читал лекции по истории древнерусского языка, но, скажу откровенно, не это особенно привлекало нас в Якубинском. В молодости ученый страстно увлекался изучением поэтического

стихотворного языка, используя для этого языковый материал произведений писателей-футуристов и символистов, и какими бы сложными, чисто лингвистическими проблемами он впоследствии ни занимался, проблема овладения писателем богатствами родного языка неизменно волновала его. И часто, отвлекаясь от анализа памятников древнерусского языка, он любил говорить о том, как должен начинающий, да и зрелый, писатель работать над языком своих произведений. Нужно ли говорить, как полезны и дороги были для нас эти отступления, сверкающие и умом, и широкой эрудицией талантливого ученого.

Признаюсь, первое время мне было очень трудно. На меня сразу обрушилось столько впечатлений — университет с умелыми, прекрасно эрудированными преподавателями, масса лекций, новая среда, город, изумлявший меня своими зданиями, дворцами, памятниками и улицами. Ни моего времени, ни моей памяти не хватало на то, чтобы все это великолепие сразу воспринять, осмыслить и оценить. Бывало, целыми днями бродил я по городу, на каждом шагу останавливаясь от изумления. А там меня потянуло посмотреть и на ленинградские пригороды — Петергоф, Павловск, Гатчино, Пушкин. И только в Кронштадт я никак не мог попасть. И чем дольше мне не удавалось осмотреть эту крепость, тем упорнее я мечтал каким-нибудь чудом проникнуть в нее. Как говорится, запретный плод сладок. Правда, я имел возможность увидеть силуэты Кронштадта с 97-метровой высоты Исаакиевского собора, когда в солнечные ясные дни издали начинают маячить туманные очертания крепости — в дождливую погоду Кронштадт не виден вовсе. Но мне было мало этого, и я не успокоился, пока в университете не организовали экскурсию в Кронштадт.

Так постепенно привыкал я и к Ленинграду, и к ленинградскому ритму жизни, и к студенческому быту. Я как-то собрался с мыслями и даже написал очерк о Петергофе. Но как поется в казахской песне:

Зерном накормленный скакун
До цели в срок домчит.
Когда джигит влюблен и юн,
Он и в делах джигит.

Живя интересами Ленинградского университета и Ленинграда, не забывал о своем романе. «Адаскандар»—

«Заблудшие». И даже не потому, что к скорейшему написанию его меня торопил полученный мною аванс и стесненность в средствах. Меня захватывала злободневность темы и острота сюжета. Нечего и говорить, что материал для романа дала мне сама жизнь, с ее противоречиями, с ее подчас трагической безысходностью.

Конец апреля 1928 года в Кзыл-Орде выдался таким жарким, что от духоты буквально некуда деваться. На немощеных улицах от малейшего ветерка поднимается пыль, набивается в уши, в рот, душит вас, слепит глаза. Только вечером, ночью да ранним утром можно свободно дышать. Днем же единственное спасение — затянуть окна марлей, на полу расстелить большой кусок мокрой ткани и носа не показывать на улицу. В один из таких дней, изнемогая от жары, сидел я у себя в комнате за низеньким круглым столиком и заканчивал свою поэму «Сулушаш». Внезапно до моих ушей донесся ужасный крик, послышался топот чьих-то ног.

Я выбежал на улицу и присоединился к небольшой группе людей во главе с милиционером, бежавших по направлению к небольшой саманной избушке, стоявшей почти у самого пустыря. Избушка была окружена толпой зевак. В стороне я заметил двоих людей, они держали за руки неумело связанного бельевой веревкой молодого джигита с окровавленным лицом. Откуда-то набежала целая толпа милиционеров. Подъехала карета скорой помощи, и из избушки на носилках вынесли уже бездыханное тело другого джигита — позднее я узнал, что это был Мустафа Кошеков, сотрудник газеты «Энбекши-Казах», совсем недавно женившийся на молоденькой девушке, приехавшей из Тургая учиться в Кзыл-Орду. Эту девушку звали Батима, я не раз встречал ее под руку с Мустафой, и мне все думалось: «Какая славная пара!» Увы! Тогда я был очень молод и слишком неопытен, чтобы за благопристойной внешностью разглядеть трагедию. Но молодость и неопытность были возмещены моим живым и настойчивым любопытством. Стараясь дознаться причин произошедшей почти что на моих глазах драмы, я вскоре узнал всю нехитрую, так трагически закончившуюся историю жизни троих людей: Батимы, Мустафы Кошекова и возлюбленного Батимы, Султанбека Абеуова.

Султанбек Абеуов и Батима учились в одной школе и

подружились еще подростками. Когда они достигли совершеннолетия и заявили родным о своем намерении пожениться, в их семьях поднялась целая буря. Аксакалы и аткаминеры на общем совете решили, что никогда не бывать этому союзу. Однако Султанбек смело стоял на своем и был полон решимости жениться на Батиме, чего бы это ему ни стоило. Он готов был пойти даже на полный разрыв со своей семьей. А Батима? А Батима устрашилась первых же угроз и слишком быстро отказалась от своей любви и своего счастья. Понятно, это глубоко обидело Султанбека, он даже заподозрил Батиму в измене и вскоре уехал в Чимкент учиться в педагогическом техникуме. Но Батиме было ничуть не легче, чем Султанбеку, даже, пожалуй, тяжелее. С большим трудом ей удалось вырваться из родного аула и уехать учиться в Кзыл-Орду. Родичи, возмущенные ее непослушанием, и в Кзыл-Орде настигли Батиму и настояли на своем — выдали ее замуж за Мустафу Кошекова, шурина Султанбека. Расчет был верный: то, что Батиму выдали именно за Мустафу, особенно больно ударило Султанбека. Недолго думая, Султанбек приехал из Чимкента в Кзыл-Орду и отомстил за все...

Эта история очень меня заинтересовала. Мне показалось, что в ней особенно ярко сказались те новые веяния, которые неумолимо проникали в застойный патриархально-феодальный быт старого аула и которые рано или поздно должны были непременно победить.

Я добился разрешения увидеть Султанбека в тюрьме и поговорить с ним. Но говорить со мной Султанбек не стал — вместо этого он предложил мне свой дневник и стихи, посвященные Батиме. Он не знал, наверное, что просто так, по одному моему желанию, меня не допустят к документам, находящимся в его следственном деле. Но я решил быть упорным до конца и добился разрешения присутствовать на суде в качестве общественного обвинителя, и таким образом получил доступ ко всем документам судебного дела Султанбека, в том числе и к его дневнику, и к его стихам.

Дневник Султанбека и его стихи приоткрыли мне завесу над глубоко внутренним, сердечным смыслом происшедшего. Я понял, что передо мною трагическая история большой, настоящей любви двух людей, испытавших сильный и светлый порыв к новой жизни, не скованной

стародавними предрассудками и обычаями, и в борьбе за счастье запутавшихся в этих же самих предрассудках и обычаях. Султанбек был силен, но неопытен, Батима слишком слаба и робка. Но ясно было, что никакой подлости по отношению к Султанбеку она не совершила.

Так размышлял я над документами, попавшими по счастливой случайности в мои руки, и заседание суда, состоявшееся 28 апреля 1928 года в зале кзыл-ордынского кинотеатра, лишь подтвердило мои выводы. На заседании суда я, общественный обвинитель, не очень-то опытный в сложных хитросплетениях юриспруденции, убеждался в правильности моих выводов, слушая речи прокурора Султана Жантуарова, адвоката Дебагона, членов суда Исхака Байжанова и Фатимы Мусагалиевой. Слушал я их речи и повторял про себя: «Адаскандар... Адаскандар... Да, так и будет называться мой роман — «Адаскандар» — «Заблудшие».

На следующий же день после заседания суда я приступил к роману и закончил первый вариант его уже в Ленинграде, 14 декабря 1928 года. Роман получился внушительных размеров: рукопись заняла более четырехсот страниц. Теперь, прежде чем отсылать роман в издательство, надо было заново его пересмотреть, кое-что переделать, кое-где подправить. Между тем наступили зимние каникулы, и я, считая, что все ленинградские дела мои устроились неплохо и даже довольно прочно, решил использовать это время, чтобы съездить за семьей.

Как странно и уже непривычно было мне, покинув университетские коридоры и аудитории, Неву с ее набережными и дворцами, нестись по бескрайней заснеженной равнине, и день, и два, и три видеть только снег, снег, снег.

В Лебяжьем меня ждали родичи, мои двоюродные братья — Абльджан Сактаров, Сарсек Еменалин и Мырзагазы Нуртазин. Получив мою телеграмму, они отправились на станцию в надежде продать заодно немного мяса и на вырученные деньги купить муки. Оказывается, в аулах с мукой стало совсем плохо. Об этом мне прежде всех аульных новостей сообщил Абльджан.

Беспокойный человек этот Абльджан. Своего неуемного, вспыльчивого нрава он не утратил и в старости. Занятый по горло собственным хозяйством, он успевал подмечать неполадки в хозяйстве всех своих соседей, и

здесь уж от него не отвертишься. Зимой и летом, ночью и днем кипит у него в руках работа. В грамоте, как говорится, он ни в зуб ногой, а память такая, что все диву даются. Скот до сих пор может узнавать по оттенкам масти — такие зоркие у него глаза, и в седло впрыгнет, точно ему не под девяносто, а восемнадцать.

И на этот раз он продемонстрировал свое усердие. Мы решили заночевать в Лебяжьем, так как поднялся довольно сильный буран, и не было смысла мучить себя и лошадей. Но Абльджан не мог усидеть на месте. Он не ленился каждые два часа подниматься с постели и выходить на улицу, а потом громко объявлять нам, полусонным, о том, что буран еще сильный, но к утру, должно быть, кончится.

Я достал свои часы и показал ему. Ложись, говорю ему, и спи спокойно, вот эти стрелки скажут нам, когда наступит утро, и нечего бегать каждый раз за дверь мерзнуть.

— Э,— ответил он мне,— что такое твои часы! Часы могут и соврать, а Уркер — Стожары — не обманут. Как переберутся Уркер на запад, так, считай, наступило утро.

Я не стал с ним спорить, положил часы рядом с собой и тут же крепко уснул.

Разбудил меня голос Абльджана:

— Эй, вставайте,— кричал он, стоя посреди комнаты.— Уркер на западе! Пока чай пить будем, рассветет, а как рассветет — так и поедем, небо чистое.

Мы плотно поели и расселись по саням. Я постарался занять место в санях Мырзагазы — не потому, что чувствовал к нему особенную симпатию, скорее наоборот. Но в его упряжке был такой крупный, резвый красивый вороной жеребец — одно загляденье. Я глаз оторвать от него не мог. А Мырзагазы, в свою очередь, был очень доволен тем, что я сел именно к нему. Как я узнал позже, у него на этот счет были особые планы. Как только мы выехали со станции, он, стараясь говорить не очень громко, под скрип полозьев завел со мной долгий разговор о том, что его волновало.

— У меня к тебе один вопрос,— начал он издалека.— Ты же знаешь, у нас почти во всех аулах организованы «Моин-косы», или, если сказать по-русски,—ТОЗы. Правда, не очень-то большой популярностью они пользуются,

не так уж много семей вступили в них—разве что самые последние бедняки. Но слышал я, будто с будущей весны заставят всех объединяться в артели. Ты учишься в Ленинграде, наверное, знаешь об этом?

— Откуда я могу знать, я ведь не хозяйственник, учусь в университете, вот роман написал — никаких слухов до меня не доходило.

Я уже понял, о чем будет разговор с Мырзагазы, и не очень-то мне хотелось распространяться на эту тему.

Но Мырзагазы и не думал оставить меня в покое.

— Ну ты не знаешь — зато мы точно знаем — скоро, совсем скоро всех нас станут объединять в колхозы. И для этого всех баев и кулаков сошлют, а имущество их конфискуют и передадут этим колхозам.

— Ничего такого я не слышал,— продолжал упорствовать я.

Мырзагазы понял это и явно обиделся.

— Я бы не стал спрашивать тебя об этом,— сказал он.—Но ты мой единственный сородич, мой младший двоюродный брат, и я думал, что скажешь мне правду. У молвы сто уст, сто ушей. Правительство хочет покончить с баями и кулаками — это ясно. Но ведь баи и кулаки — тоже люди. И потом — будет ли толк от того, что конфискуют их имущество? Ты ведь знаешь — одна такая кампания по конфискации имущества богачей провалилась. Понятно: баи заранее обо все узнали, и все самое лучшее, что у них было, распродали или припрятали. Артелям, считай, ничего не досталось.

В этом я не мог не согласиться с Мырзагазы, здесь он говорил правду. Я сам знаю, что у Альти Кокенова, например, в 1926 году было более тысячи лошадей, триста коров, две тысячи овец! Началась конфискация имущества баев — и что же оказалось? Альти Кокенов по сравнению с прежним внезапно превратился чуть ли не в бедняка. У него обнаружили шестьдесят лошадей, двадцать коров и сто овец. Ни дорогих ковров, ни сервизов, которыми, я знаю, был набит дом Кокенова, у него не нашли. Все точно корова языком слизала — бесследно исчезло былое богатство Кокенова. Но видели соседи, как незадолго до этого Маржама, невестка Альти, таскала в сарай мешки с какой-то поклажей, и потом из сарая доносился звон посудных черепков. Вот куда девались знаменитые сервизы, которыми так гордился

Альти — ну, а ковры могли продать, а могли и в печи спалить. Алчность богача до какого только изуверства не дойдет. Если не мне, то и никому,— у них ведь такой закон. Альти был отнюдь не единственным в те времена. А лучше сказать, каждый бай был как две капли воды похож на Альти.

— И ты думаешь,— осторожно говорю я,— если начнется организация колхозов, баи точно так же станут уничтожать свое имущество?

В ответ Мырзагазы только усмехнулся — настолько наивным показался ему мой вопрос. Помолчав, он продолжал:

— Еще с осени прошлого года баи и кулаки лихорадочно, часто даже за бесценок, распродают свое имущество. Братья Токаревы из Екатериновки давно уже спят на голом полу. А посмотри, что делается в нашем ауле! От зажиточных домов камня на камне не останется.

— Ну, а ты сам-то? — спросил я в упор Мырзагазы.

— Что «я сам»! У меня есть отец. Попробуй с ним сладить. Он привык только приобретать и скорее умрет, чем продаст хоть что-нибудь из своего добра, да еще по низкой цене. Его не переупрямишь, никакие доводы на него не действуют. Уж сколько раз я пытался вдолбить в его своенравную башку, какая опасность нам грозит — и слушать не хочет, не то, что понимать. А ведь мы, можно сказать, на виду у всех, посуди сам: сто лошадей, пятьдесят коров, триста овец и коз. Сена запасли на три года вперед — травы в прошлом году были хорошие. Не дай бог что-нибудь начнется, прежде всего к нам придут. И так уж я пошел в этот раз против воли отца: продал четырех быков — как он раскричался, если бы ты знал. А ведь поверишь, если отберут у нас завтра наш скот, людям показаться не в чем будет. У меня у самого и камзол в заплатах, а штаны и того хуже — чуть ли не нагишом ходим.

Так в отчаянии говорил Мырзагазы, и мне даже стало его жалко. Видно было, что к этому сводятся все его жизненные радости и горести. Вот люди, думал я, зачем живут, к чему стремятся, от чего страдают! Мир так широк и жизнь так разнообразна, а ни один из них не видит дальше лошадиного хвоста. Отец Мырзагазы Нуртаза был первым богачом среди наших сыйбановцев, но какой от этого был толк! Дом его никогда не блистал

убранством, и гостей он не очень-то жаловал, а сам вечно ходил в заплатах. Гоголевский Плюшкин, да и только, мой дядя Нуртаза. Небо зря коптит. А когда корили его за скупость, он на это отвечал: аллах, мол, не жалует тех, кто живет в роскоши и великолепии. Пророк был прост во всем, а чем я лучше его?

Конечно, вся эта философия — лишь отговорка. Нуртаза страшно скуп — вот и все. И своей скупостью душит жизнь всех своих родных.

Однако, как я вскоре убедился, Нуртаза действительно исключение среди местных баев. Большинство баев, даже не очень богатых, буквально мечется по степи, сбывая с рук свое добро. И без того оголтелая их ненависть к беднякам переросла все возможные размеры, и, желая хоть чем-нибудь вознаградить свое разорение и отомстить беднякам, баи распускают злостные сплетни о Советской власти, артелях, колхозах. А так как и бедняки толком не знают, что означают эти слова, впервые вошедшие в оборот: колхоз, коллективизация,— то в ауле царит полная неразбериха. Немало часов потратил я на то, чтобы успокоить и кое-что объяснить бедным аулчанам, но что мог поделать я один? Здесь нужен был целый отряд толковых и грамотных агитаторов. Вот обо всем этом я и написал в Майбалык, районный центр, только что избранному секретарю райкома Махмуду Кантарбаеву. К сожалению, ничего большего я тогда сделать не мог, потому что боялся опоздать к началу занятий в университете.

Завод, перевезенный на верблюдах

В Кзыл-Орде я остановился у Габита Мусрепова. Его семья отдыхала летом в родном ауле. Жил он в те дни вместе с ныне известным поэтом Жаканом Сыздыковым, немногим раньше меня приехавшим из Петропавловска.

Габит принимал самое деятельное участие в общественной жизни. От него сильно попадало деятелям алашорды, ее гласным и негласным сторонникам. Габит был одновременно и главным редактором издательства и одним из руководителей КазАППа. Прошел только год, как он приехал в Кзыл-Орду, а успел он за этот год сблизиться и сойтись со многими нашими видными политиче-

скими и культурными руководителями. Он стал человеком, с которым считались и советовались в крайкоме партии и Совнаркоме.

Габит, рассказывая мне о нынешних республиканских работниках, особенно тепло отзывался об Оразе Исаеве, председателе Совета Народных Комиссаров. Правда, я-то знал Ораза и без рекомендации Габита. Алаш-ордынцев Исаев не любил, считая их классовыми врагами.

Начиная с 1926 года, ключи к подбору и распределению кадров находились в руках Ораза Исаева. Хотя вначале он работал заместителем заведующего орготделом крайкома, однако расстановка почти всех работников, особенно казахских, во многом зависела от Ораза. К его чести надо сказать, что он смотрел не на то, из Сары-Арки ли, с Урала или Туркестана рекомендуемый товарищ и к какому роду принадлежит он. Ораза интересовали только деловые качества.

Ораз Исаев отличался ораторскими способностями и одинаково красноречиво говорил по-русски и по-казахски. Работа у него спорилась, он на лету схватывал суть любого дела и умел быстро принимать решения. Именно поэтому его уважали товарищи по руководству республикой и стремились быть поближе к нему. Я уже упоминал, что в те годы и в Казахстане были «левые» и «правые» уклонисты. И когда крайком партии, вся парторганизация Казахстана во главе с Голощекиным пошли в наступление на «правых», то Ораз Исаев был одним из тех, кто наносил самые тяжелые удары. Он не считался со своими личными привязанностями и не пожалел даже своих бывших наставников, которые вывели его на дорогу политической деятельности. Чувство меры не всегда было свойственно Исаеву. Иногда он перегибал. Я говорю о Сейткали Мендешеве и Абдрахмане Айтееве. Их обвинение в раскольничестве исходило от Исаева. По его же инициативе они были понижены в должностях: Айтеев стал директором музея, Мендешев—рядовым служащим. Обнаруженные не так давно исторические документы доказывают, что это было несправедливо. И Айтеев, и Мендешев, случалось, ошибались. Но они с оружием в руках участвовали в Октябрьской революции, отстаивали Советскую власть, сделали многое для нашей молодой республики и достойны были занять почетное место в активе партийной организации.

В годы, когда во главе крайкома партии находился Ф. И. Голощекин, несмотря на борьбу с националистами и раскольниками, далеко не все поддавалось объяснению, не все было понятно. Да, Голощекин пытался быть объективным, но почему без всяких на то оснований подымались на щит случайные люди? Вспоминаю, например, видного лидера алаш-орды Алимхана Ермекова. Неожиданно он стал продвигаться по служебной лестнице и вскоре стал заместителем председателя Госплана республики. В одной из своих речей Голощекин даже сказал: «Мы будем строить социализм руками Ермековых». Эти бессмысленные слова подхватил и Ораз Исаев. В такой же мере поддерживал Ораз и Габбаса Тогжанова. Дело, разумеется, не только в том, что отцом Тогжанова был богатый бай, чье имущество конфисковали в 1928 году. И даже не в том, что и сам он был алашордынцем. Беда Тогжанова — байско-националистические взгляды, которые он сохранял, вступив в Коммунистическую партию. Правда, он не высказывал их в то время, когда был назначен редактором газеты «Энбекши-Казах». Но снова качнулся, когда приблизился к Голощекину и с удовольствием подхватил его ошибочный тезис, что Октябрь якобы «прошел вихрем мимо аула». Тогжанов несправедливо обвинял в раскольничестве многих казахских большевиков, участников Октябрьской революции. И в конце концов сам задохнулся в тумане своих хитросплетений. Но почему, повторяю, его поддерживал Ораз Исаев, для меня осталось до сих пор непонятным.

Я заночевал в доме Габита. Это было в ночь с четверга на пятницу. Я помню об этом несущественном обстоятельстве потому, что во всех «мусульманских» национальных республиках, а к ним тогда причисляли и Казахстан, выходной день был в пятницу, а не в воскресенье. Утром я взял арбакеша — извозчика и поехал к Исаеву. Он занимал в новой части города особняк с большим садом.

Беседа была очень интересной. Ораз был в курсе литературных дел, много читал, в особенности произведения казахских писателей. Хотя он и не имел специального образования, но знал основы литературной теории и высказывал о книгах мысли содержательные и веские.

В прозе ведущим писателем он считал Габита Мусрепова, в поэзии — Абдильду Тажибаева. Хорошо он относился к Аскару Токмагамбетову, которого, впрочем, причислял к легкой кавалерии. Первых двух он называл писателями основательными. Что касается Аскара, то ему, по утверждению Ораза, нельзя было отказать в актуальности тематики, но не хватало серьезности. Исаев не включал в свой «ведущий список» Сакена Сейфуллина и Ильяса Джансугурова, потому что был на них в обиде.

— В прошлом году,— рассказывал он,— мы проводили конфискацию имущества крупных баев. Филипп Исаевич назвал эту кампанию «Маленьким Октябрем в Казахстане». Но кони Сакена и Ильяса в этой байге почти не принимали участия. «Кара арба» («Черная арба») — поэма Сейфуллина и поэма Джансугурова «Конфискация» написаны слабовато. Они куда ниже наших требований. Поэма Абдильды Тажибаева о высланном бае и идейно и художественно значительно сильнее.

Ораз не сделал мне прямого упрека, но я почувствовал, что он не очень-то доволен и мною. И как бы в свое оправдание я сказал, что занятия отнимали все мое время. А в любви к баям меня никто не может заподозрить.

Зашла речь о моих планах на летние каникулы.

— Поезжай-ка ты лучше на этот раз не в аул, а на производство. Полная коллективизация развернется у нас осенью. А сейчас тебе интересно будет посмотреть, как начинает развиваться тяжелая индустрия Казахстана. Он еще опередит многие республики. Ты ведь знаешь, в прошлом году вступил в строй Карсакпайский медеплавильный завод. Он так сейчас и называется — «Казахстан». Полного разгона еще не взял, но работу выполняет большую. Я вот что скажу тебе, Сабит. До сих пор ты много писал о жизни батраков-кедеев. Заводской, промышленной темы почти не трогал. Разве так, вскользь. Понимаю, это вполне естественно. Мне кажется, ты и не бывал на промышленных предприятиях. Правильно я говорю?

Я подтвердил догадку Ораза, а он продолжил:

— Ты должен себе ясно представить, что такое наш Карсакпай. Слушай и запоминай как следует. На Карсакпае, говорят, около семидесяти-восьмидесяти процентов рабочих — казахи. Вот где очаг казахского рабочего

класса. Пролетариат. Наш, советский! Пора бы тебе познакомиться с его жизнью, с его делами. Было бы тебе известно, у Қарсакпая большое будущее.

Дельно, интересно говорил Исаев. Заманчивым показался мне его совет. И он был очень доволен, что я так быстро согласился с ним:

— Вот и хорошо. Тебе выпадает случай быстро доехать до Қарсакпая. В ближайшие два-три дня туда собирается Филипп Исаевич. Хочет познакомиться с рабочими, с обстановкой. Ты и поезжай с ним.

Я ответил, что Голощекин меня может не взять. Почти за три года работы в Қзыл-Орде мне ни разу не удавалось поговорить с ним задушевно. Может быть, кто-то наговорил на меня, но до сих пор он отказывал мне в приеме.

— А ты не робей, попроси его еще раз. Филипп Исаевич уже не такой, каким ты его видел. Мягче стал, проще. Кроме того, учти: не любит он, когда его через когонибудь просят. Повторяю, тебе самому надо пойти к нему на прием.

Слова Ораза Исаева были и верными и неверными. Да, я легко добился приема. Он поднялся из-за стола, вышел мне навстречу. Но потом заложил руки в карманы и принялся расхаживать по кабинету, отрывисто роняя слова.

— Знаю, что ты учишься. Ну как успехи? — с интервалами бросал он.

Но едва я начал ему обстоятельно отвечать, как он перебил:

— Погоди, погоди. Ты, собственно, по какому делу ко мне пришел?

Я сказал о своем желании поехать в Қарсакпай.

— Так... Это хорошо, это правильное решение. Писатели должны знакомиться с производством. Но я-то какое отношение имею к твоей поездке?

Я собрался с духом и попросил его захватить меня с собою.

— Ну хорошо.— Он снова перебил меня.— Послезавтра рано утром встретимся на станции Джусалы.

Голощекин ехал в своем вагоне, правительственном, а я в обычном. На станции Джусалы правительственный вагон отцепили. У вагона стоял невысокий, худощавый мужчина. На тонком его лице выделялся горбатый нос.

Он был в военной форме, с наганом на поясе. Как позднее я узнал, это был Ольшанский, начальник казахстанского ОГПУ. Вместе с председателем Казсовнархоза Макагоном он сопровождал Голощекина в Карсакпай.

Ему уже было известно, что с ними вместе еду и я.

Дирекция Карсакпайского завода выслала на станцию американский фордик. Это была единственная легковая машина, и ребятишки, дети железнодорожников, сразу окружили ее.

До завода нам предстояло проехать километров пятьсот. Безводной пустыней. Пыльной ухабистой дорогой. Изредка на пути встречаются домики-пикеты, выстроенные еще для караванов. Но и к пикетам вода доставляется издалека, на верблюдах.

Вот поэтому-то местные жители настойчиво советовали нам не трогаться в путь без вспомогательной машины. И еще они рекомендовали нам взять с собою побольше продуктов, горючего и воды. Застрянет машина где-нибудь между пикетами, и тогда без запаса воды хоть пропадай!

Во дворе заводской экспедиции были грузовики. Но даже для секретаря Казкрайкома не сразу нашлось что-нибудь подходящее. Машины были не на ходу, а если и на ходу, то настолько разболтанные, что никто не гарантировал безопасности в дороге. Договорились после долгих препирательств. Голощекин пошел на риск и распорядился подготовить две машины на следующее утро.

Мы выехали машинным караваном: легковой фордик и две грузовых с горючим, водой и продуктами.

Дорога на Карсакпай идет к северо-востоку от Джусалы. Поглядишь на дорогу издали, она кажется гладкой ровной лентой, белеющей в полынной степи. Но как только мы выехали на эту «ровную» ленту, то сразу поняли, как обмануло нас первое впечатление. На бесчисленных выбоинах машины то и дело так подскакивали, что у тебя внутри все переворачивалось. Нас обволакивала густая пыль. Сквозь нее трудно было что-нибудь увидеть водителю и пассажирам. Хорошо, что не шли встречные машины. Столкнуться в этой пыли было легче легкого.

Вначале мы ехали все вместе на легковой. Голощекин сидел рядом с шофером, мы сзади: чекист Ольшанский — посередине, Макагон и я — по краям. Мы стукались го-

ловами друг о друга и задыхались от пыли. Я оказался самым нетерпеливым и скоро пересел на грузовик, замыкавший наш караван. Яростное кзыл-ордынское солнце стремилось к зениту. В небе — ни облачка. Чудилось, горячее южное небо спускается к земле и обжигает нас. Зной, пыль, тряска на ухабах. Как говорится, не езда, а наказанье. Мы проехали уже довольно много, как вдруг грузовик, в который я пересел, закапризничал. Весь караван остановился. Шоферы осмотрели машину и убедились, что она дальше идти не может. Стали обсуждать, как же быть. Больше всех волновался шофер, оказавшийся к тому же отчаянным сквернословом. Он ругал на чем свет стоит Карсакпайский завод, добрался до руководителей республики, построивших черт знает где завод, к которому ни железной дороги нет, ни шоссе. Ольшанский подошел к шоферу и стал его тихо урезонивать. Показал на Голощекина: мол, знай, кто с нами едет. На шофера это не произвело никакого впечатления, и он стал ругаться еще ожесточеннее. Голощекина, видимо, все это разозлило, и он зашагал в сторону от дороги в степь. Шофер, и в этом он был прав, решительно отказывался остаться с машиной. «Жизнь мне дороже: сдохну я тут, а кто будет моих детей кормить, их трое у меня». И он решительно забрался во второй грузовик. Кто-то произнес с раздражением:

— Ну чего стоим? Поломанную машину как-нибудь доставят, а нам надо ехать.

Вслед за шофером пересел во второй грузовик и я. Снова тряска, снова заклубилась пыль. Немилосердно пекло. Просто дышать было нечем. Я уж и поездке не рад был. Неожиданно фордик остановился. Остановились и мы. Спутники мои вышли из машины. Неужели я такой же, подумалось мне. Лица серые от пыли, одежда в пыли. Молчали. Должно быть, горло пересохло. Наконец кто-то вымолвил — напиться бы. Достали пиво, лимонад. Напитки так разогрелись на солнце, что в иное время их и в рот не взял бы. Но мы с жадностью, закрыв глаза, глотали теплую жидкость, и она казалась нам целительной и даже вкусной.

Ни всадника на горизонте, ни жилья. Сколько мы уже проехали, а нам не повстречался ни один пикет. Недолгой была наша остановка. Под палящим солнцем не отдохнешь.

И мы продолжаем путь.

За полдень достигли мы низенькой землянки у песчаного холма. Это и был первый пикет. Вокруг отдыхали навьюченные верблюды. Между верблюдами похаживали их погонщики — кречи. И, судя по их уставшим худым лицам и заношенной казахской одежде, можно было предположить, что уже долгие дни мучаются они в дороге.

Пикет назывался Тныштыкпай — Богатый тишиной. Но ничего здесь не радовало душу. Отдохнуть в тени землянки было почти невозможно из-за тесноты. В ней ютилась многодетная семья пикетчика, куда уж тут втиснуться проезжим. И все-таки путники останавливались здесь — хоть под землянкой, хоть в тени отдыхающего верблюда укрыться от палящих лучей. Никаких продуктов, понятно, у пикетчика не было. Только вода для питья. Но, боже, что это была за вода? Казан с водой ставился на врытый в землю очаг, прикрытый сверху подобием шалаша на случай дождя или пыльной бури. Но казан и снаружи и внутри был грязный.

Караванщики поопытнее, следуя обычаям кочевых предков, брали с собою в кожаных торсуках воду, подкисленную сушеным сыром — куртом. Они запасались продуктами, которые не портятся в жару: вяленым мясом, соленым маслом, створоженным айраном. Но худо приходилось путникам, если запасы приходили к концу.

— В этих беспорядках виноват не пикетчик, а мы сами,— сердито заметил Голощекин и тут же добавил: — Исправить надо это. Ничего, скоро исправим.

Голощекину явно не хотелось здесь задерживаться. Он настаивал, чтобы мы продолжали путь. Но тут случилось еще одно несчастье — оказалось, вышел из строя и второй грузовик. Может быть, шоферы поломали его нарочно. Шумели, спорили, пробовали исправить, но ничего нельзя было поделать.

Что касается меня, то я готов был и заночевать в землянке пикетчика. Пока тут шли препирательства, я успел поговорить с караванщиками. Какими увлекательными были их рассказы. В них для меня начала раскрываться необычайная история строительства Карсакпайского завода. Я только теперь представил, как трудно было заново воссоздавать и расширять завод, построенный англичанами в самой глубине наших степей. Полтысячи

километров до Джусалы, чуть ли не вдвое больше до Петропавловска. Удаленный от железных дорог, он был заброшен, полуразрушен. Советская власть взялась за его строительство в середине двадцатых годов. И как энергично взялась! Но как трудно было доставлять грузы.

Мне рассказывали кречи — все части машин, необходимые для стройки, грузили на верблюдов. Эти караванные маршруты представлялись мне главами удивительного эпоса, а каждый кречи — его героем. Я готов был распутывать нить за нитью клубок, полных приключения и героизма степных историй. Но Голощекин торопил. Его не останавливала даже поломка второго грузовика. И мы бы двинулись сразу в путь на единственной легковушке, когда бы не почувствовали вдруг, что уже проголодались.

Но не только лимонад, продукты тоже разогрелись под солнцем. Голощекин оказался бывалым опытным путешественником. Он предложил закопать и еду, и напитки поглубже в песок. Там они, мол, быстро остынут. Мы закопали наш обед, расстелили одеяло между кустарниками баялыча и еркека и принялись ждать. Для охлаждения продуктов времени потребовалось не больше, чем на дойку кобылы.

Невзирая на жару, мы приступили к пиршеству. Роль хозяина за столом принял на себя Макагон. Кроме обычного дорожного припаса, он прихватил и домашних яств:

— Вот пирожки. Прошу непременно отведать. Собственными руками приготовила моя Фаечка,— приговаривал он.— Кушайте.

И хотя пирожки Фаечки оказались чересчур подсушенными, мы ели их и подхваливали. Мы — это преимущественно Голощекин, обладавший незаурядным аппетитом, и я. Ольшанский веселил нас всех, много шутил, но ел мало. Правда, временами он беспокойно оглядывался вокруг и как-то странно поглаживал себя. И вдруг вскрикнул так неожиданно и громко, что мы вздрогнули.

— Что случилось?

— Посмотри, посмотри себе на грудь! — закричал он Макагону, блаженно уплетавшему последний пирожок Фаечки.— Тарантул!

Надо было видеть испуг в глазах Макагона. Действительно, по его рубахе полз синеватый тарантул с палец величиной. Макагон и не заметил, как сам сбил рукой тарантула и, не помня себя от страха, отскочил на несколько шагов от одеяла. Поднялись и мы.

— Я молчал, чтобы вы спокойно поели,— признался Ольшанский.— Какой только гадости тут нет: и каракурты, и фаланги, и тарантулы. Даже ядовитые змеи. В это время года укусы их особенно опасны. Проще простого отправиться на тот свет.

Обед мы так и не закончили, но дальше оставаться на пикете никто из нас не хотел.

Еще раз попробовали завести грузовик. И уже окончательно потеряли на него надежду. Выручай, фордик. Ты ведь сильная машина. Мы уже убедились в этом, когда наша легковушка вытащила с помощью троса застрявший в песках грузовик. А если сама буксовала, то поднатуживалась и самостоятельно выбиралась на ровную дорогу. Да и шофер наш, сравнительно молодой, сильный и спокойный человек, располагал к себе. И все-таки мы проехали только четверть пути. Впереди было много песчаных барханов, как предупредили нас кречи. Кто-то вспомнил, как в самом начале лета по дороге в Карсакпай два грузовика стали из-за поломок. Верблюжьих караванов в это время не было, не появлялись и конные. Водители напрасно ждали помощи и погибли от жажды. А что, если поломка случится и у нас? Ведь так и мы можем распроститься с жизнью. Я посмотрел на Макагона. На его лице появилось такое же выражение, как в ту секунду, когда он увидел тарантула. Он даже намекнул Голощекину, что не прочь бы вернуться в Джусалы, а оттуда в Кзыл-Орду.

— Нет, нельзя. Я должен посмотреть завод. Там много трудностей. Надо все выяснить на месте и доложить в ЦК ВКП(б).

Мы наполнили бензином канистру и бензобак, перегрузили продукты в наш фордик и двинулись.

— Будьте уверены, доберемся! — обнадеживал нас шофер.— Я ведь и ночью вел здесь машину. Все будет благополучно, в сумерки прибудем в Карсакпай.

Степь, пустыня... Однообразно белеет дорога. Изредка попадаются серые пятна лишайника. Порою машина въезжает в барханные пески. Тогда ей становится тяже-

ло, она замедляет ход, выбивается из сил и все же проскакивает. Иное дело такыры, гладкие и твердые, как асфальт. Начинается такыр, бесследно исчезает дорога. Но и шоферу, и машине легко. Можно набирать самую большую скорость. Ведь есть такыры, которые тянутся на десятки километров. Все мы восхищались отличной ориентировкой нашего водителя, безошибочно выбиравшего направление, чтобы после такыра сразу попасть на дорогу.

Солнце склонялось к горизонту, когда вдали показались горбы барханных песков. Приблизившись к ним, мы увидели уже одолевший пески караван. Медленно шли верблюды, устало взмахивали бичами кречи.

— Начинается самая тяжелая часть дороги,— сказал шофер.— Есть тут два пути. Один — в объезд. И надо сделать круг километров в сто. Другой путь — напрямик, через пески. Им я давно не ездил. Шофера рассказывают, трудная это дорога, уж очень ухабистая. Боятся по ней ездить. Если машины давно здесь не проходили, то дорога покрывается твердой коркой. Как там сейчас, ей-богу, не знаю. Ну как, поедем? Вы уж решайте сами. Рискнем по прямой или в объезд?

— За тебя мы решать не будем,— отвечал Голощекин.— Уверен ты в себе и машине, езжай прямо. А нет, давай в обход.

— Не знаю, что вам и сказать. В себе я уверен, в машине тоже, а вот в дороге нет. Ну что я смогу сделать, если колея будет глубокой и машина низом упрется в землю. Как тогда вылезем?..

Голощекин посоветовался с нами. Я ничего толком не ответил. Ольшанский предпочитал объезд, нетерпеливый Макагон настаивал на прямом пути: так скорее доберемся до завода. На его сторону склонился и Филипп Исаевич.

Мы въезжали в барханы. Они становились выше и выше, напоминая степные сопки. Крутой подъем, спуск, глубокая низина. Временами дорога исчезала, как на такырах, но как легко было на такырах по сравнению с песками! Мы не уставали удивляться находчивости шофера: он умел отыскивать потерявшийся дорожный след. Колеса вязли в песке, машина ревела, захлебывалась, но не застревала. Я вспоминал старые стихи:

Пески пустынь. Атан, самец-верблюд,
Прокладывал в них крепкой грудью путь.
Твой предок здесь когда-то кочевал,
Забыв, что есть постели и уют.

Стихи о дороге, о трудном долгом пути. По старым представлениям, верблюд-атан был самым надежным, самым сильным транспортом в трудной дороге, а наш самый сильный «атан» — машина. Впрочем, именно в этом качестве фордика нам пришлось скоро разубедиться.

Дорога стала сужаться. Зажатая между барханами, машина медленно преодолевала песок, словно воду. Песок шелестел, вздымался. Вдруг мы почувствовали сильный толчок и остановились. «Живот» машины коснулся твердого грунта. Мы были будто приподняты могучим домкратом. Колеса яростно крутились вхолостую, взвихривая пыль. Дышать в кабине было уже просто невозможно. Мы вышли. Солнце садилось за барханы, и пустыня окрасилась в ярко-рыжий, огненного оттенка, цвет. Шофер принялся лопатой раскидывать песок, приостановился, отер с лица пот. Снова ширнул лопатой и беспомощно посмотрел на нас. Оказалось, машина сидела на твердом гребне, а колеса ее чуть ли не на метр повисли над дном песчаного моря. Водитель, еще недавно уверенный в себе и машине, совсем растерялся. Ему было неудобно. Кто, как не он, обещал нас к сумеркам доставить в Қарсакпай. Он прошел несколько шагов, вернулся, огорченно сказал:

— Плохи наши дела. Выступ между колеями нам разбить не под силу.

— Ну и что же ты предложишь? — перебил его Макагон.

Шофер обвел нас виноватым взглядом:

— Придется заночевать. Беда! Видать, по дороге этой машины не ходят. Одна надежда — на караван. Тот, который мы обогнали. А уж если они не вытянут...

И, безнадежно махнув рукой, он зашагал вперед, словно разведывая местность, и скрылся за барханом.

Ольшанский меланхолично бурчал себе под нос:

— Қаракуртов здесь предостаточно. И скорпионов тоже. На заходе солнца они все выползают. Перекусают нас, не дай бог. Беречься надо.

— А как беречься, как? — затревожился Макагон.

— Знаю только один способ. Землю вокруг машины надо хорошо побрызгать бензином. Чтобы запах был. Сильный запах. Говорят, пауки и змеи боятся его. А сами заберемся в машину и будем сидеть до утра.

Макагон переживал больше всех.

— Шофера нужно позвать,— голос у него был тихий, упавший. Он обратился ко мне:— Ты бы сходил, что ли...

Уважая его, как старшего, вначале я охотно отзывался на его просьбы, а потом мне это стало надоедать. Я уже пробовал огрызаться, но тут, среди барханов, вид Макагона был таким жалким, да постеснялся я и Голощекина с Ольшанским. Словом, я безропотно поплелся за шофером, который, вероятно, не столько разведывал дорогу, сколько просто удалился от нас, чтобы не навлекать на себя лишнего гнева. Я поплелся за ним и очень скоро увидел его за барханом, задумчиво ковыряющего сапогом песок. Рассказал ему об опасениях Макагона и Ольшанского.

— Да нет. Никакой бензин не поможет. Что верно, то верно: ночью их выползает много. А укусят, так и доктора не выручат.

— Значит, нет от них спасенья? — ужаснулся я.

— Почему же? Есть. Огня жечь не надо, фары на стоянке включать не следует. Иначе всех гадов соберем.

И, успокоив меня, заговорил о главном:

— Метров через двести дорога уже хорошая. Выбраться туда — таких ям больше до Карсакпая не будет.

Мы возвратились к машине. Раздосадованные наши спутники бесцельно прохаживались по сухому шуршащему песку. Темнело. Мне, да и другим, повсюду мерещились змеи и каракурты. У страха глаза велики. Лучше уж слоняться, чем сидеть в машине. Когда ты в движении, вряд ли заползет на тебя паук, вряд ли ужалит змея. И все-таки я видел, как мои спутники время от времени отряхивали свои костюмы, им казалось, то на рукаве, то на брюках уже шевелятся пауки.

Стало совсем темно. Небо усеяли крупные и яркие звезды юга. Задумавшись, я начал напевать какую-то песенку.

Никому говорить не хотелось. И в этой тишине, учуявшие людской запах, завыли шакалы. Их вой порою был жалобный, похожий на плач. Потом вой переходил в

тявканье. Совы летели прямо на нас. И, едва не коснувшись крыльями, взмывали в темноту. Ночь жила. То слышался какой-то свист, то какие-то шорохи, птичьи резкие вскрики — чох, чох, чох! Мнилось, пробежал зверь, проползла змея.

Мы встретили рассвет на ногах, ни минуты не отдохнув. Перед самым восходом солнца наш утомленный слух различил гортанный верблюжий рев. Он доходил к нам издалека. Мы немного оживились. Наконец-то нас могут вызволить из беды.

Но верблюды это верблюды. Слышно их издалека, а движутся они медленно.

С каким нетерпением мы их ждали. Но когда караван подошел, все обернулось как нельзя проще. Два одногорбых верблюда быстро выволокли нашу машину на хорошую дорогу, и ночное приключение сразу оказалось позади.

Верблюд, верблюд! С незапамятных времен он пересекал великие пустыни — Сахару, Гоби, нашу Бет-Пак-Далу. Незаменимый транспорт, он не знал устали и поломок. Как бы отчаянно верблюд ни кричал, какую бы высокую ноту ни брал, он доносил до цели груз, навьюченный на него временем, людьми.

В наш двадцатый век, век индустрии и быстроходных машин, он сослужил славную службу и нам. На верблюжьих спинах в глубь казахских степей перенесен целый завод, завод первой советской пятилетки.

Ну как не удивляться выносливости и силе чудо-верблюда...

Степные звезды

После происшествия в барханах, когда нас выручил верблюжий караван, наша поездка продолжалась благополучно. Пески еще встречались, но они были не такими глубокими, и фордик их преодолевал сравнительно легко. Между тем пейзаж менялся на глазах. Даже песок выглядел иначе — он стал крупнозернистым, красноватого цвета. Шофер, наверстывая упущенное, нажимал вовсю. Скорость перевалила за пятьдесят, по тем временам это была отчаянная скорость.

Мы уже проехали немало километров, как заметили машину, приближающуюся к нам в облаке пыли. Она вскоре остановилась, и люди, вышедшие из нее, подняли руки, приглашая остановиться и нас. Кто бы это мог быть? Вот уже навстречу нам шагал высокий полный мужчина. За ним — второй, пониже. И третий — паренек как паренек. Очевидно, шофер.

— Директор завода Ковалев,— представился первый.— Мы вас ждали вчера. Забеспокоились. Уж не случилось ли чего?

Голощекин с иронией посмотрел на него:

— Выехали-то мы вовремя. А побеспокоиться можно было и раньше. Могли бы и в Джусалы приехать. Сам знаешь, какая дорога. Зверь и то бежать устанет. Пустыня, воды нет. А ты выслал одну машину и доволен. Тебе не приходила в голову мысль, что если фордик сломается далеко от пикета, люди от жажды погибнут?

Ковалев пробовал оправдываться. Смешно было смотреть со стороны, как смущается высокий грузный человек. Голощекин его оборвал:

— Оставь, не надо! Что ты ищешь оправдания. Мы еще с тобой поговорим на заводе. Помнишь пословицу: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.

Ковалев совсем растерялся и лепетал что-то совсем невразумительное.

— Ну поехали, что ли?

Слова Голощекина прозвучали приказом. Ковалев пропустил нашу машину вперед и двигался за нами на почтительном расстоянии.

Разговор не клеился. Все устали после тяжелой ночи. Я немного задремал, а проснувшись после очередного толчка, взглянул на степь и не узнал ее. После Джусалы степь была цвета облезшей волчьей шкуры. Сизая полынь, седой жесткий кустарник. А здесь серебрился ковыль, нарядный, как перья филина на шапках казахских девушек. Кое-где еще зеленела свежая трава. Воздух посвежел, ковыль переливался под утренним ветерком, вчерашней сухой духоты как не бывало. Это была уже не пустыня, а степь. Родная наша арка.

Ольшанский всматривался в окно, словно что-то припоминая. Должно быть, свою прошлогоднюю поездку в Карсакпай.

— Интересно, интересно. Не мираж ли это?

В самом деле, мы ехали не степью, а плыли морем. На горизонте покачивались силуэты плывущих кораблей.

— Нет, не мираж,— отвечал сам себе Ольшанский,— это горы. Ну, конечно, горы.

«Ну горы так горы,— подумал я.— Какое это имеет значение?» Однако Ольшанский продолжал волноваться:

— Смотрите! Мы же подъезжаем к Карсакпаю. Яр, который его прикрывает, и виден сквозь мираж.

Да, это был Карсакпай, но добираться до него пришлось еще долго, хотя наш фордик, искупая свою вину, стремительно мчался по гладкой дороге, оставив далеко позади машину Ковалева. Уже на самом въезде в поселок нам пришлось ее подождать.

Со взгорья поселок выглядел не очень уютно. Беспорядочно разбрелись дома и домики. Зелени почти не было. Только завод гордо возвышался на другом берегу речушки. И перед заводом сверкало большое водное зеркало.

— Запруда плотины,—сказал Ольшанский,—без этого водоема производство не могло бы существовать.

Я всматривался в поселок. Нет, не все дома были уж так разбросаны. Часть из них, покрупнее и покрасивей, образовывала короткие улицы. Но вот те землянки?.. Я обратился к Ольшанскому. Тяжело, наверное, живется в них рабочим.

Он подтвердил мое предположение. И, больше обращаясь к Голощекину, чем ко мне, стал рассказывать, как трудно в поселке с питьевой водой, как приходится ее процеживать и очищать, как бедствуют рабочие, живущие далеко от водоема. Некоторые пройдохи из числа жителей верховьев речушки, где она не загрязнена отходами меди, пользуются чужим несчастьем и привозят сюда в бочках чистую воду. Они продают ее дороже молока. Ольшанский вспомнил карсакпайского спекулянта Уатбаева, которого все здесь называли Орус Омар, Русским Омаром. Так его называли потому, что он учился в русской школе и разговаривал по-русски лучше, чем по-казахски. Вначале он устроился агентом Зингеровской компании и до революции продавал в аулах швейные машины. Потом несколько лет был подрядчиком

английских концессионеров. Тут он вдоволь поиздевался и над жителями аулов, и над рабочими — строителями завода. А в наше время стал спекулянтом, разбогател — дальше некуда. И у нас, продолжал Ольшанский, скопилось много материалов на него. Мы послали разобраться в его махинациях уполномоченного. Но как раз в это время где-то в Улутау Орус Омара убили. Из его же шайки, должно быть.

— Вот сукин сын! — возмутился Макагон.

— Дело не в Омаре этом, с водой надо решать, Филипп Исаевич,— показывал свою осведомленность Ольшанский.— Зимою здесь снег идет для питья, а ведь снег тоже загрязнен заводским дымом. Я сам видел, после того как перетопят снег, на дне казана остается мутная жижа.

— Безобразие! — подавал голос Макагон, а Голощекин слушал очень невнимательно, давая понять всем своим видом, что и об этом ему хорошо известно.

Не успел Ольшанский исчерпать до конца свою тему, как подъехала машина с Ковалевым. Впрочем, в роли хозяина оказался теперь не директор завода, еще переживавший полученную нахлобучку, а второй встречавший, секретарь райкома партии Телеляев.

— Гостиницы у нас пока еще нет, не построили. А дом приезжих есть. Новый дом, четырехкомнатный. Вот там и располагайтесь.

Голощекин спросил, где останавливаются другие командировочные. Их, надо полагать, не так уж мало в Карсакпае. Телеляев объяснил, что для приезжих есть еще и общежитие, большой барак с коридором, и что там же открыта столовая и установлены баки с кипяченой водой.

— Зна-а-чит та-ак! — протянул нараспев Голощекин. Ему, как и другим путешественникам, хотелось спать.

Нас привезли в заезжий дом. Он был и правда чистеньким, просторным, удобным. И мебель была хорошая, и постельное белье свежим, ослепительно белым, и телефон стоял в лучшей из комнат. Стоит ли говорить, что именно эту лучшую комнату предложили Голощекину, в другой, отдельной, расположился Макагон. Мне отвели комнату вместе с Ольшанским. Четвертая комната оказалась столовой.

Вот в столовую-то нас и пригласили после того, как

мы умылись с дороги и немного пришли в себя. Стол был уставлен холодными закусками. Среди закусок одиноко возвышался графин, наполненный чем-то прозрачным. Макагон плеснул из графина в граненый стакан, поднес ко рту и, даже не пригубив, опустил его на скатерть. За стол еще никто не садился. Засунув руки в карманы брюк, Голощекин, верный своей привычке, молча и медленно прохаживался из угла в угол, поблескивая стеклышками пенсне. Рядом со мною стоял Ольшанский. Взглянув на Макагона, он украдкой подмигнул мне и подошел к Ковалеву, так и не решившемуся еще ни с кем из нас заговорить. Ольшанский что-то шепнул Ковалеву, и тот, сделав мне едва заметный знак, вышел из столовой. Я — за ним.

— Мне неловко было предложить вина,— сказал Ковалев.— Тут неподалеку ларек, давай сходим вместе. Возьмешь то, что нужно.

С удивлением я услышал, как Ковалев говорил полнотелой, с черными играющими глазами продавщице:

— Отпускайте ему,— он кивнул в мою сторону,— столько вина, сколько будет нужно. Не вздумайте брать денег, записывайте у себя в тетрадку. А теперь я пойду.— Ковалев обращался уже ко мне.— Может, Филипп Исаевич после обеда захочет пойти на завод, так я подготовлюсь. Вы уж сами выбирайте.

И он оставил меня с продавщицей. Я, откровенно говоря, растерялся. Никогда я не был пьющим человеком. Тем более в молодости. В недоумении разглядывал я ряды дорогих бутылок со звездочками на этикетках. Слышать-то о звездочках я слышал. Мол, чем больше звездочек, тем крепче напиток и дороже. Но роскошествовать я не привык, да и вводить в расход других мне не хотелось. И я решил взять что-нибудь подешевле. В этом смысле я и высказался продавщице.

— Почему ж подешевле? — Она поиграла своими черными глазами.— Берите самый дорогой — штабс-капитанский, как говорят знатоки. Четыре звездочки. Из бывших шустовских подвалов. Ведь вам бесплатно. А вот еще абрикотин.— И она показала бутыль, оплетенную соломенной сеткой.— Сладкий и крепкий. Очень советую.

Я уже решился взять штабс-капитанский и абрикотин. Но тут меня одолели прежние сомнения:

— Нет, давайте что-нибудь попроще.

Продавщица взглянула на меня и, посчитав за чудака или невежду, холодно и скучно спросила:

— Берите, что вам нравится. И сколько надо.

Я взял три бутылки подешевле и притащил их в столовую.

Голощекин сидел в одном углу столовой и о чем-то оживленно беседовал с Телеляевым. Макагон и Ольшанский молчали в другом углу.

Стоило только мне появиться, как все поднялись и заняли места за столом.

Макагон бесцеремонно рассматривал бутылку.

— А разве других марок не было?

Я ответил, что были, и назвал штабс-капитанский.

— Что ж ты его не взял?

И пришлось мне волей-неволей снова идти к черноглазой продавщице.

Когда я принес штабс-капитанский коньяк и абрикотин, Макагон с Ольшанским разом повеселели.

Сдержанно, маленькими глотками, пил и Телеляев.

Но вот за Ольшанского и Макагона нам пришлось краснеть. После двух-трех рюмок язык у Ольшанского начал заплетаться, глазки стали маленькими и узенькими, и скоро меня попросили увести его в комнату. Макагон оказался более стойким. Но болтливый и в трезвом состоянии, он заговорил всех нас россказнями о милой своей Фаечке и об успехах Совнархоза. Обычно он следил за выражением лица Голощекина и, заметив недовольство, обрывал себя на полуслове. И наоборот, обнаружив одобрение, становился еще красноречивее. Сейчас он ни на кого не обращал внимания, даже на Филиппа Исаевича. Голощекин уже несколько раз останавливал его: «Довольно!», «Потише!» Но и это не могло удержать безудержного словесного потока.

Я чувствовал себя очень скованно. Придерживался правила — быть осторожным за чужим дастарханом. Я понимал, что среди всех я самый молодой, к тому же студент. Я прикладывался к рюмке и все еще не мог ее опорожнить.

Когда Голощекин совсем вышел из себя, он довольно резко попросил нас уложить Макагона:

— Не умеет себя вести, свинья!

Вскоре мы остались вдвоем с Телеляевым. Уставший

после дороги Голощекин решил отдохнуть в своей комнате.

Наступили сумерки.

— Вечера у нас прохладные, пойдем погуляем,— предложил мне Телеляев.

Мы вышли за Карсакпай, и холмистая степь дохнула на нас полынью. Телеляев рассказал мне о себе, и стало ясно, почему он чувствует себя здесь своим человеком.

Он родился не так уж далеко от моих родных краев, от моего эля, в степном городке Атбасаре. Городок жил душа в душу с окрестными казахскими аулами, и не мудрено, что Телеляев хорошо знал наш язык и наши обычаи. В годы революции он примкнул к большевикам, участвовал в подпольной работе. Во время колчаковщины русские бедняки-крестьяне и казахи-кедеи поселка Марьевка (казахи называли его Амантай) подняли восстание против белых. Телеляев, выполняя задание большевиков, распространял среди восставших листовки. Повстанцев жестоко разгромили. Организаторы восстания, среди них — один из первых казахских большевиков Адильбек Майкотов, попали в руки белогвардейцев. Телеляев собственными глазами видел, как палачи из отряда Шайтанова на одной из улиц Атбасара изрубили на куски Майкотова. После победы Советской власти Телеляев помог найти скрывавшихся от возмездия палачей. Он стал комсомольцем, потом вступил в партию, активно участвовал в ее работе и поднялся до секретаря Карсакпайского райкома.

Мне он все больше и больше нравился, этот умный, серьезный и спокойный человек. А вечер располагал к беседе. Тучи затянули небо, мы погрузились в густую прохладную темноту. Подувший с севера свежий ветер доносил до нас запах дождя. Я дышал легко и свободно, полной грудью. Этот запах дальнего дождя, смешанный с горьковатым полынным духом, был особенно приятен. Негромкий шум стоял вокруг — стрекотали кузнечики, пробегали зверьки. Иногда они пробегали так быстро и близко, что мы вздрагивали от неожиданности. Иногда посвистывала птица, певец ночной пустыни, ночной степи. За этот свист ее называют табунщиком. Иногда слышался тяжелый взмах совиных крыльев, неотделимых от темной степной ночи.

Мы походили, помолчали и снова разговорились. Освеженный прохладой, я уже не чувствовал усталости и задавал вопросы один за другим. Думаю, что и собеседнику моему, врожденному лектору, доставляло удовольствие рассказывать о настоящем и будущем здешних мест.

— В нашем производстве три главных звена, три части,— просвещал меня Телеляев.— Первое звено — Карсакпайский завод, где мы сейчас находимся. Второе звено — километрах в шестидесяти к востоку от Карсакпая. Это Джезказганский рудник, там добывается медная руда. На запад от Карсакпая, примерно на таком же расстоянии, находятся угольные шахты Байконура, третье наше звено. Без угля, как сами понимаете, медь из руды не извлечь.

В чем сейчас главная сложность нашего производства, во что упирается проблема дальнейшего роста? В транспорт, в перевозку руды и угля. От Джезказгана и Байконура к Карсакпаю проложена узкоколейка. Но она не успевает доставлять в сроки необходимое заводу сырье. И еще беда в том, что эти узкоколейки дальше Джезказгана и Байконура не идут. Медь, выплавленную на заводе, мы вывозим на верблюдах к ближайшим железнодорожным станциям—Атбасару и Джусалы. А какой это далекий путь, вы сами знаете. Теперь вам понятно, почему нам надо строить дорогу. Настоящую железную дорогу, не узкоколейку. И подвести ее лучше всего к линии Акмолинск — Петропавловск. Поговаривают сейчас и о том, что начнется строительство Карагандинского угольного бассейна, а там уголь будет дешевле и лучше нашего Байконурского.

— Вы уже ставили вопрос о железной дороге перед нашим правительством?

— Ставить-то ставили, но относятся к нему у нас в Казахстане еще с прохладцей. Мы надеемся, что приезд Голощекина ускорит дело.

Я попросил Телеляева рассказать о будущем завода.

— Нет, вы уж лучше поговорите об этом с Канышем Имантаевичем Сатпаевым.

Я знал, что в Карсакпае работает талантливый инженер Каныш Сатпаев, даже видел его несколько раз. Но сталкиваться с ним близко ни разу не приходилось.

— Пока я могу вам сказать очень немного. Жизнь

завода зависит от запасов медной руды. Каныш Имантаевич утверждает, что эти запасы в Центральном Казахстане, в степях Сары-Арка неисчерпаемы. Завод может вырасти и в десять, и в тридцать раз. Каныш Сатпаев однажды говорил, что и новые заводы будут строиться в степи. Впрочем, он сам лучше расскажет вам об этом.

Я уже думал о том, чтобы как можно скорее встретиться с Канышем, а Телеляев несколько раз настойчиво повторял:

— Нужно, чтобы Голощекин проникся этими мыслями. Он послан из Москвы руководить нашей республикой. А без помощи Москвы трудно нам решать главные проблемы. О транспорте я уже говорил. А жилищное строительство? Вы же видели, сколько у нас еще лачуг. Не должны рабочие жить в таких условиях. Хорошие дома нужны не только специалистам. А школы, а клубы, а детские сады? И в Карсакпае, и в Байконуре со временем возникнут социалистические города. Многие вопросы мы сами решаем, а многие решить нам не под силу. Скажем, о продуктах, о мануфактуре. Нет у нас в этом достатка. А что может сделать здесь дирекция или партийная организация? Должен прямо сказать, в Кзыл-Орде к нам относятся как-то нерешительно, лениво. Вот поэтому я и говорю о Москве.

...Неторопливо беседуя, мы отошли довольно далеко и поднялись на холм или сопку, с которой так хорошо были видны карсакпайские огни.

Телеляев сказал, что пора возвращаться, а я показал на огни: настоящие огни и их отражение на глади озера у плотины. Они напомнили мне созвездие Стожары, прорвавшееся сквозь тучу. Я поделился своим впечатлением с Телеляевым. И он, отнюдь не склонный к поэзии, согласился со мной.

— Правильно сказал! Эти огоньки как звезды социализма. В самом сердце казахской степи. А ведь эта степь, говорят, может вместить шесть Германий. Голова кружится, если представить, что повсюду в степи будут построены заводы. Я знаю, вы, казахи, добровольно присоединились к России, но у царской власти в течение двух веков вы были пасынками. Да царская Россия и не могла освоить всех богатств степи, что и на поверхности лежат, и в недрах покоятся. Она ведь сама отставала от других капиталистических стран. Но обо всем

об этом Сатпаев вам расскажет подробнее. Мы вместе с ним мечтаем, чтобы увеличился казахский рабочий класс и стал хозяином богатой социалистической страны. Большой Джезказган!.. Удастся его построить — это будут десятки тысяч новых рабочих. А прибавить к этому Большую Караганду, Большой Экибастуз, Большой Риддер. Тут уже пойдет речь не о десятках тысяч, а о сотнях. Правду я говорю. Как вы думаете?

— Еще бы не правду.

— А тогда, дорогой мой товарищ Муканов, будут и десятки казахских пролетарских писателей, а не единицы, как сейчас.

Пришлось мне согласиться и с этим.

— Вот и не останется в казахской степи темных уголков. Всюду проникнут электрические лучи. А вы слова Ленина, конечно, знаете: «...Советская власть плюс электрификация всей страны».

И звезды Карсакпая, словно услышав наш разговор, замерцали, засияли в степи еще ярче, еще лучистей...

Завод, рудник и «Ботпай»

Мы поздно проснулись на другой день. Сквозь сон я услышал, кто-то меня тормошит, будит. Открыл глаза — Голощекин. Он свежий, отдохнувший. Вчерашней усталости как не бывало.

— Не годится так долго валяться. Все на свете проспишь.

Я увидел в окне высокое солнце, время приближалось к полудню. Я рассказал Голощекину о моей вчерашней ночной прогулке с Телеляевым.

— Молодец, это ты хорошо придумал,— похвалил меня секретарь крайкома.

Ольшанский еще спал. Костлявый, словно Кащей бессмертный, он лежал на спине, раскинув руки, сбросив одеяло. Голощекин неодобрительно посмотрел на него.

— Ни дать ни взять, журавль ощипанный. Разбуди его, а заодно и Макагона. Кажется, он еще не вставал. Я пока пойду...

Уже в дверях он обернулся и тихо, но сердито сказал:

— Сегодня за столом никаких коньяков. Идем на за-

вод, стыдно перед людьми будет, если спиртной дух учуют.

Каюсь, я несколько нарушил запрет Голощекина и по просьбе Ольшанского принес ему немножко коньяка. Ну а Макагон был совсем не в себе — и после дороги, и после вчерашнего обеда. На завод мы приехали без него.

Хотя накануне Телеляев мне и говорил, что Карсакпайский завод сравнительно небольшой, мне он показался гигантом. Мы начали наш осмотр с рудного двора. Крупные камни и камни поменьше сероватого цвета, с выступавшими на поверхность блестками и были медной рудой, добытой в рудниках Джезказгана. Джез — по-казахски медь. Само слово Джезказган и означает добычу меди. В джезказганской руде, как сказал нам пожилой усатый инженер, содержание меди доходит до пятнадцати-двадцати процентов.

Прежде чем попасть в печи, руда постепенно дробится в могучих камнедробилках. Куски ее становятся все мельче и мельче, и уже похожие на зерна, кусочки перемалываются в порошок, в каменную муку. После сплошной промывки, помогающей осесть металлическим элементам, полученная смесь идет в печи. Сперва она нагревается в печи с температурой в семьсот-восемьсот градусов, а потом попадает в печь с температурой в тысяча двести-тысяча четыреста градусов. Здесь и выплавляется медный концентрат, стекающий по желобу в чугунные формы. Отлитый в кирпичики, свой дальнейший путь он совершает уже за пределами Карсакпайского завода.

Многое меня поражало, радовало, многое и огорчало. Большинство установок и механизмов, которыми был оборудован завод, приобретались в Соединенных Штатах Америки, Англии, Германии. Отечественная наша промышленность во времена первой пятилетки еще не могла обеспечить нас такими машинами.

— Ждать осталось недолго,— подбадривал нас усатый инженер,— еще две-три пятилетки, и мы сами будем производить любые механизмы, а не покупать их у капиталистов.

Здесь, в пролетах цехов Карсакпая, мне становилося понятным курс партии на превращение нашей страны в передовую индустриальную. Я был счастлив видеть собственными глазами детище первой пятилетки в сердце моей родной степи.

Голощекин тоже был впервые в Карсакпае. Хотя он вслух не высказывал никаких восторгов, по всему было видно, что и он доволен поездкой.

Ольшанский, побывавший в прошлом году на открытии медеплавильного завода, заметил ряд перемен к лучшему — в цехах стало чище и строже соблюдались правила безопасности.

Дальнейшего маршрута Голощекина я не знал. Я даже подумал, что из Карсакпая он сразу возвратится в Кзыл-Орду. Поэтому для меня было неожиданностью, когда он сказал Ковалеву:

— Сегодня вечером никаких совещаний, никаких встреч. Всем надо лечь пораньше, а на рассвете поедем в Джезказган. Впереди у нас еще и Байконур.

Второй неожиданностью оказалось утреннее решение Голощекина ехать в Джезказган не машинами, уже стоявшими наготове, а узкоколейкой. И не в пассажирском вагоне — их там и в помине не было,— а на открытой товарной платформе. Обо мне нечего и говорить, я был доволен и отличной погодой, и платформой, и своими спутниками.

Тихоходный паровозик вел наш небольшой состав. Степные зверьки — зорманы, чуть больше суслика, чуть поменьше хорька, бесстрашно вставали на задние лапки и застывали, словно колышки. Их желтые пятнистые шкурки считаются ценным мехом. Но как ни вылавливали местные жители зорманов, их было видимо-невидимо в степи. Один рабочий поселок возле Карсакпая так и прозвали городком зорманов. Забавные зверьки провожали нас до самого Джезказгана.

Как бы лениво ни тащился поезд, ехали мы недолго. Тогдашний Джезказган, хоть уже и в те года шла о нем степная слава, оказался небольшим рудничным поселком. Его нельзя было сравнить и с хорошим селом. Невеселые длинные бараки, дырявые закопченные юрты... Он был весь в будущем. Я испытываю стыд, что до сих пор не побывал в новом городе Джезказгане, выросшем неподалеку от рудника и захватившем в свою черту и тот невзрачный поселок, куда мы доехали на платформе.

В районе Джезказгана в ту пору действовало семь шахт. В одну из них мы спустились. Помню, как бадья, покачиваясь и меняя скорость, погружала нас в глубокий колодец. Порой казалось, мы просто проваливаемся,

летим в землю. Кругом был мрак, какая-то сырость. Наконец мы остановились и в тусклом свете шахтерских ламп увидели черные коридоры, разбегающиеся в разные стороны. Эти коридоры с потолками, застланными досками, с деревянными подпорками-креплениями и назывались штреками. Навстречу нам попадались вагонетки, груженные рудой. Их подкатывали вручную к бадье. Тускло мигали лампы, мы жались к мокрым стенам. Нам предложили посмотреть взрыв под землей. Но Голощекин отказался — можем обойтись и без взрыва.

Как и на медеплавильный завод, я впервые попал и на медный рудник. Непривычно было мне идти сквозь сырой сумрак. Каким трудом добывается медь, думал я, какой находчивостью и терпеньем должны обладать горняки.

Сопровождающий нас инженер все время стремился помочь нам представить будущее Джезказгана.

— Тяжело сейчас работать под землей, вручную все приходится делать,— говорил он.— Но в будущем шахты механизируются, и люди будут управлять машинами, а машины — добывать руду. Пока мы отстали от капиталистических стран. Только пока... Нелегко нам подымать тяжелую индустрию. Но подымем, обязательно подымем!

Вместе с инженером я верил, что сбудутся его слова. Но и в грядущие дни, когда на земле и под землей гигантские машины станут верными помощниками людей, не забудется подвиг рабочего класса, пролетариата. С благодарностью и благоговением вспомнятся ваши имена, труженики мира...

Мы поднимались на-гора, на поверхность, не в бадье, а по вертикальным лестницам. Это было тяжело всем нам. В темноте мы преодолевали лестницу за лестницей, а в каждой лестнице были десятки далеко расставленных друг от друга ступеней. Ступени и поручни были мокрыми, скользкими. Каждую минуту думаешь — вот-вот сорвешься. Для новичка это просто мучительно.

Еще перед подъемом Голощекин мне сказал:

— Ты, поэт, помоложе нас, посильнее, глаза у тебя зоркие, лезь вперед.

Вот я и лез, поминутно прислушиваясь, как там за мной тянутся другие. Лез, лез и вдруг почувствовал, что сухожилия ног напряглись, а мышцы обмякли и словно перестали меня слушаться. Как же все-таки мои спут-

ники? Доносятся до меня восклицания Ольшанского. Самолюбивый, он не жалуется на усталость. Макагон почему-то не подает голоса. А Голощекин покряхтывает, покряхтывает... Еще один переход, и он кричит: «Не могу дальше. Постойте! Ступить не могу, так болят ноги». Я думаю про себя: тут ничего не поделаешь. Не возвратишься же в трек, не отдохнешь. Крепись, старик, собери силенки. А помочь? Чем я тебе могу помочь в этой темноте?

Вышло по-моему. Еще несколько рывков, и мы на поверхности. Усталые, дальше некуда. Нетвердой походкой Голощекин отошел в сторонку и растянулся на земле. Он дышал часто и тяжело. Ах, ох! Мы расселись вокруг. Ничего, Филипп Исаевич, отдышитесь. Когда ему полегчало, сказал:

— Я ведь бывал в Европе. Шахты Рурского бассейна видел. И там нелегко. Но, по сравнению с нашими, они дворцы. Отстали мы по экономике, по технике. Много еще нам времени надо, ох, как много, чтобы их догнать.

По выражению лица Голощекина, по его голосу можно было догадаться, что он испытывает не только душевную, но и физическую боль.

— Что, Филипп Исаевич, плохо вам?

— Все тело ноет из-за этого подъема. Дышать, черт возьми, трудно. Кажется, сам не подымусь. Чего доброго, на носилках меня придется нести.

И он опять принялся кряхтеть и постанывать. Кто его знает, долго ли бы так продолжалось, если бы мы не услышали шелеста в реденькой траве.

— Змея! — закричал Макагон и вскочил, забыв свою «смертельную усталость», с прытью, неожиданной для его тучнеющего тела.

— Змея? — поспешно огляделся Голощекин.

В самом деле! Совсем близко от него проползала огромная гадюка. Белые точки рябились на ее черной тускловатой спине. Голощекин мгновенно последовал примеру Макагона. Невзирая на боль и слабость, он легко отбежал подальше от змеи. Повскакивали и мы. Только Телеляев спокойно догнал уползающую гадюку и наступил на нее сапогом. Змея хвостом обвила голенище. Телеляев удивительно ловко ширнул палку в пасть змеи. Ширнул, размахнувшись, как бы для удара.

— Готово! — сказал он с облегчением и, зажав змеи-

ное горло в кулаке, стал крутить гадюку над головой, как камчу.

Мы со страхом смотрели на него и не верили своим глазам.

— Теперь уже нечего бояться,— успокаивал он нас,— я выбил гадюке ядовитые зубы, и она безопасна. Хоть за пазухой ее таскай.

— Брось ты ее, пожалуйста! — взмолился пришедший в себя Голощекин.

Телеляев швырнул обезвреженную змею подальше и подошел к нам:

— Мы, степные жители, привычны к змеям. Старики рассказывали, когда англичане начали копать шахты, змей здесь было тьма-тьмущая. Англичане не пожалели керосина, облили им землю вокруг змеиных нор и кустарник, подожгли. И, представьте себе, змеи вместо того, чтобы спасаться от огня, бросались в огонь. Дружные, оказывается, гады. Со всех сторон степи ползли к кострам и погибали в них.

Эта, не вполне правдоподобная, историйка разрядила обстановку.

Ковалев обратился к Голощекину:

— Вечереет, Филипп Исаевич. Здесь останемся на ночь или вернемся в Карсакпай?

Решили вернуться.

В гостинице Голощекин почувствовал себя совсем плохо. Лежал у себя в комнате, не выходил к столу. Вызвали врача, и он посоветовал Филиппу Исаевичу несколько дней не подыматься с постели.

Между тем нас ожидали шахтеры Байконура. В полдень Голощекин должен был выступить там с речью. Но теперь на это нельзя было рассчитывать.

У заболевшего в комнате собрались заводские руководители.

— Да, неважно получается,— сокрушенно повторял Филипп Исаевич.— Сразу и не придумаешь, что же делать. Я то, конечно, буду отлеживаться. Сам чувствую — нет сил двинуться с места. Да и врач запретил.

Он помолчал, подумал:

— Ну вот что. Телеляев останется здесь, у нас большой с ним разговор будет. А вы поезжайте в Байконур, к шахтерам. Товарищи Макагон, Ольшанский, наш поэт и Ковалев.

Макагону не очень-то хотелось ехать, он неуверенно пожаловался на болезнь, вспоминал трудный вчерашний день. Голощекин его обрезал:

— Ты уж не отговаривайся. Кому же ехать, если не тебе? Это все твоя, с позволения сказать, работка. Много у тебя упущений, небрежности. Плохо ты знаешь производство, невнимателен. Никто тебе не простит такого отношения. О положении в Байконуре, о трудностях его, о перспективах ты сам будешь докладывать на бюро крайкома. Ты должен увидеть все собственными глазами. Одним словом, езжайте. И не опаздывайте. Ведь рабочие ждут.

...По дороге в Байконур мы узнали от Ковалева, что из десятка шахт работает только половина, и сперва мы побываем на шахте № 5.

Сам поселок был небольшим, бедноватым. Его и сравнивать нельзя было с Карсакпаем. Никакого порядка в планировке, улицу трудно обнаружить.

Домишки жались друг к другу, и кое-где в тесных, лишенных зелени дворах возвышались горбы и головы верблюдов.

Не задерживаясь в Байконуре, мы подъехали к шахте № 5.

Нас уже ожидали шахтеры. Были среди них и старые, и молодые, одетые в спецовки и обычные костюмы мужчины и женщины. Среди них преобладали казахи.

Только машина поравнялась с толпой, как стали раздаваться приветственные возгласы в честь партии и правительства. Убежденные, что с нами приехал Голощекин, они выкрикивали и его фамилию, несколько переделанную на казахский лад. Шахтеры были разочарованы и огорчены, когда узнали, что Голощекин остался в Карсакпае.

— Ой-бо-о-й! А что с ним случилось? И не нарочно ли он заболел? Может, он испугался, что мы будем жаловаться...

Ковалев с трудом успокоил рабочих. Он посоветовал обращаться к Макагону и сказать ему все, что хотели сказать Голощекину. На мою долю в этой беседе выпала роль переводчика. Рабочие говорили о слабости техники безопасности, о недостатке промышленного оборудования, о трудности спуска и подъема в шахту, о нехватке привозной питьевой воды. Они критиковали своих руко-

водителей, говорили о жилье, о медицинском обслуживании, о том, что нужно строить новую школу, потому что нынешнее школьное здание и тесновато и неприглядно.

Кажется, трудно было найти такой участок производства или быта, о котором бы здесь умолчали.

Конечно, Макагону пришлось краснеть. Но, думается мне, и Голощекину здесь было бы не легче. Едва ли бы он смог ответить рабочим по всем статьям. Что касается Макагона, то он отделывался общими фразами, обещал улучшить дело, заверял рабочих, что и на это будет обращено внимание. Понятно, шахтерам это не понравилось. Они стали расходиться, и я слышал, как один рабочий говорил другому: «Ждать толку от его речи, как теленка от яловой коровы. Пойдем-ка, друг, спустимся в шахту. Так-то оно верней будет...»

— Что ж,— сказал Ковалев,— надо и нам побывать в шахте. Спустимся?

— Обязательно спустимся,— уныло отвечал Макагон, и по тону его было ясно, что спускаться он не хочет, но и не может ослушаться Голощекина.

Как и накануне, мы спускались в бадье. И было здесь так же темно, как и на Джезказганском руднике. Но когда бадья остановилась и мы выбрались из нее, подземные коридоры оказались еще ниже. И снова гремели вагонетки, но в них был уголь, а не медная руда. Председатель шахткома Джездыбай вел нас все дальше и дальше. Всем нам трудновато было, полусогнувшись, пробираться темным бесконечным коридором, но особенно плохо чувствовал себя рослый и грузный Макагон. Сколько раз он останавливался, чтобы отдышаться, пока мы не дошли до какого-то углубления. Макагон не выдержал и присел.

Посветив тусклой лампой, Джездыбай указал нам на выемки, напоминающие волчьи норы.

— Видите? Это и начинаются ботпаи.

— Ботпаи? А что это такое? — спросил я.

Ботпаи — имя одного из родов Большого жуза. Да и отдельным людям дается такое имя. А значение его я не знаю. Да и никто мне толком не мог объяснить. И вот я с Ботпаем встретился под землей. Так что же это все же?

Джездыбай все мне растолковал. Есть русское слово подбой. Так называют шахтеры и углубление, в котором

можно добывать уголь. Словцо это трудно выговорить казахским рабочим. Вот они и переиначили его на свой манер. Так глава рода неизвестный Ботпай и переселился под землю, хотя, конечно, у него не было и нет ничего общего с угольной шахтой.

После такого объяснения Джездыбай предложил нам заглянуть в гости к Ботпаю, заранее предупредив, что идти к нему будет еще труднее, чем коридором.

— В некоторых местах придется пробираться на четвереньках, а то и ползком.

После этих слов Макагону стало совсем не по себе.

— Да разве мы так пройдем? — заволновался он.

— А почему бы и не пройти? — в полном спокойствии отвечал Джездыбай.— Рабочие ведь проходят в ботпаи по нескольку раз за смену. Да и не так уж далеко до них. Самое большее — ну, триста, ну, четыреста метров.

Но Макагону эти метры представились непреодолимой далью.

— Да разве мы пройдем, разве пройдем,— нудно повторял он. И без всякого энтузиазма выслушивал доводы Джездыбая и его рассуждения об угле Байконура и Карсакпайском заводе.

Но я был молод и настойчив. Я должен был увидеть своими глазами, как добывает шахтер уголь, как играет в его руках кайло. Пусть Макагон отказался идти в ботпай. Он отнекивался, отнекивался и, в конце концов, категорически сказал, что не может. Пусть и Ковалев не пошел с нами: он уже не раз видел добычу угля. Я же решил.

Первым отправился Джездыбай, за ним — я, за мною — Ольшанский. У каждого из нас была шахтерская лампочка, излучавшая слабый свет.

Первую часть пути мы передвигались на четвереньках. Не слишком удобно, но и не так уж трудно. Потом пришлось прижаться к земле поплотней и ползти на животе. Вот тут начали уставать руки и ноги. Я стал лавировать — то припадал на правый бок, то на левый. Это уже само по себе было нелегко. И все время казалось, что крепление слабое, что на доски потолка надеяться нельзя и кусок породы может отвалиться и придавить тебя, как сапог муравья.

А Джездыбай легко и привычно скользил впереди.

Он свободно переговаривался с нами, шутил, подсмеивался, восхищался, словно он не в глубине шахты, а в степи и вместе с такими же, как сам, джигитами, пасет табун лошадей.

— Теперь-то вы понимаете, как героически работают наши рабочие, как нелегко добывать уголь.

— Понимаю,— бросаю я короткое слово и тут же напрягаю последние силы, чтобы не отстать от Джездыбая.

Есть у казахов пословица: «И муравей одолевает верблюжий переход». Мы очутились прямо у ботпая. Здесь было чуть выше и шире, но не настолько, чтобы встать в полный рост и даже сесть не сгибаясь. Горняки работали полулежа, отбивая кайлами глыбы уголька, поблескивающего в свете шахтерских лампочек. Угольный пласт здесь был довольно тонким, но зато отменного качества, низкой зольности. По такому углю и скучают заводские печи.

Что скрывать, здесь мы чувствовали себя несколько беспокойно. Вместе с углем сверху сваливались глыбы породы. А вдруг задавит? А вдруг мы окажемся отрезанными? Новичкам в шахте всегда мерещатся опасности. Но, как говорится, если ты разделся, то и воды нечего бояться. Мы толковали с рабочими, и беседа наша, должно быть, затянулась бы, но тут случилось одно происшествие. Вдруг разом погасли лампочки. Мы опешили. Что же это такое? Вокруг раздавались голоса:

— Воздух! Воздух!

Я почувствовал головокружение. Дышать становилось труднее, тревога нарастала.

— Воздух, воздух!..

Кто-то сказал, что испортилась вентиляция, и в шахту перестал поступать свежий воздух. Беда подступала к нам не с той стороны, откуда мы ее ждали. Хорошо, коль скоро исправят трубы, а нет — так можно и впрямь задохнуться.

Легкие напрягались, учащенно колотилось сердце. Пробую сделать глубокий вздох. Не могу. Задыхаюсь...

— Неужели погибнем? — Это спрашивал Ольшанский. Он и боялся и верил, что все обойдется.

Тревога завладела ботпаем.

— Воздух! Воздух!

И еще непонятные нам выкрики:

— Бе-ме-те!

Нам уже было совсем плохо. И в то самое мгновение, когда, казалось, надежда совсем потеряна, в чьих-то руках чиркнула спичка, и все увидели ровное узкое пламя. Я сделал глубокий вздох и понял, что дышать стало легче. Снова зажглись шахтерские лампочки. Тут-то мы и узнали, что означал крик «Бе-ме-те». Это начальные буквы названия машины, нагнетающей воздух в шахту. Именно эта машина и вышла из строя на несколько минут. Невольно подумалось, что бы могло произойти, если бы поломка ее оказалась более серьезной.

Происшествие это настроило всех нас на тревожный лад. Особенно был озабочен Ольшанский. Он решил заняться поглубже вопросами вентиляции и с помощью республиканских руководителей улучшить ее коренным образом.

...Вот так мы познакомились с угольным ущельем Ботпай.

Встреча с Канышем Сатпаевым
Страницы старины

Наступило время расставаться с Голощекиным и его спутниками. Они уезжали в Кзыл-Орду, я оставался в Карсакпае и рассчитывал побывать у себя на родине.

Тот фордик, на котором мы пробирались через барханы, уже стоял у подъезда гостиницы. Рядом — новый исправный грузовик.

Филипп Исаевич отчитывал на прощанье Ковалева:

— Я далек от утверждения, что мы за эти дни успели увидеть все. Но,— тут глаза Голощекина сердито сверкнули из-под пенсне,— у нас было достаточно времени, чтобы понять, как плохо руководите вы производством. Никудышние у вас дела, особенно бытовые. Недалеко ушли вы здесь от царской России. Я знаком с жизнью рабочих в Москве, Ленинграде, Свердловске. Там быт гораздо лучше, куда выше культура, хотя две войны нас потрепали и мы еще не совсем оправились после разрухи и голода. Если мы не будем бороться за то, чтобы рабочие жили у нас лучше, чем при эксплуататорах, то зачем, спрашивается, нужна была революция, зачем диктатура пролетариата. Ты, товарищ Ковалев, и сам это прекрасно понимаешь. Почему ж так плохо живут рабочие? Ты,

должно быть, надеялся, что сюда, в степную глушь, никто не заглянет. Хорош директор. А еще партиец! Это ведь разгильдяйство, товарищ Ковалев. Не можем мы такого терпеть. Скоро мы тебя вызовем на бюро райкома с отчетом, и я ничего не буду скрывать из того, что увидел. Выступят, наверное, товарищи Макагон и Ольшанский. Выступите?

— Безусловно выступим, Филипп Исаевич,— отвечали они наперебой, а Ковалев все глубже и глубже втягивал голову в плечи.

— Понятно, я не могу заранее сказать, какое решение примет бюро,— продолжал Голощекин.— Может быть, дадим возможность исправить ошибки, а может быть, получишь строгое наказание.

...Перед тем, как сесть в машину, Голощекин попрощался со мной:

— Ну, акын, будь здоров. До свиданья. Ближе знакомься с производством, повсюду побывай. Пиши правду, все как есть, и хорошее, и плохое. Мне можешь написать письмо. Получить бы его до того, как будем слушать Ковалева. А ты, товарищ Ковалев, помогай акыну. И транспортом, и вообще, чтобы он тут у вас не скучал.

Надо ли говорить, что после такого наказа секретаря райкома Ковалев ничего не жалел для меня. Он предложил остаться в Карсакпае, посулил тарантас, а если я захочу, и верхового коня. Обещал провожатого. А для дальних поездок — фордик, как он только возвратится из Джусалы.

Но как ни заманчива была эта райская жизнь, я поступил по-своему. Несколько дней назад, незадолго до отъезда Голощекина, я познакомился с рабочим Биляло м Абеевым, моим ровесником, человеком радушным и симпатичным. К нему-то, в его небольшой домик в поселке зорманов, я и переселился, чтобы запросто встречаться с рядовыми металлургами, а не с заводским начальством.

Отец Биляла Абей еще при англичанах был кочегаром. Билял здесь родился и вырос. Он мальчуганом начал ходить с отцом на завод и помогал ему кочегарить. Так еще подростком стал он кочегаром. В годы революции англичане ушли, завод бездействовал. Но рабочие знали — рано или поздно его достроят, расширят, пустят снова. Он теперь принадлежит им. Рабочие решили сбе-

речь завод для самих себя. Одним из тех, кто охранял его с оружием в руках, и был молодой Билял Абеев. А как только завод пустили, Билял вернулся к своей прежней профессии кочегара.

Верно то, что карсакпайские рабочие отстали в быту, в культуре. Однако встречались среди них и люди, более или менее образованные. К ним принадлежал и Билял. Он много читал, был в курсе всех событий в республике и стране. Мы подолгу и откровенно с ним разговаривали. Теплота и радушие в его доме располагали к беседам. В них принимала участие и приветливая жена Биляла Қасым. Қасым? Но ведь это мужское имя. Да. Мужское. В казахских семьях и у женщин встречаются мужские имена. В семье Қасым, как мне рассказал Билял, часто умирали маленькие дети — сыновья. И когда родилась дочь, ей дали имя мальчика в суеверной надежде, что вслед за девочкой появится на свет и здоровенький сын.

«Не живут два добра в одной юрте», поется в казахской песне. Но Билял и Қасым были живым опровержением этих слов. Они жили дружно между собою — по движению бровей понимали друг друга; они жили дружно и с людьми — в их радушный небогатый дом тянулись со всего поселка.

Я обратил внимание, что потомственных рабочих было не так много. Преобладали аульные батраки, кедеи. Они еще недавно работали у баев. Қогда же началась конфискация байского имущества, кедеи хлынули на предприятия. Желающих работать было так много, что, например, Қарсакпайский завод не мог принять всех в свои цеха.

Помню, как Телеляев рассказывал о будущем Қарсакпайского завода в новых пятилетках, когда потребуется пятьдесят-шестьдесят тысяч рабочих. Тогда не только устроятся все желающие, но и ощутится недостаток рабочих.

Это в будущем. А пока дело обстояло иначе. Но любопытно, что уже теперь вчерашние кочевники всей душой стремились к заводу. Они понимали — закладывается фундамент новой жизни, появляется казахский рабочий класс. Многие из них ставили вокруг поселка свои юрты. Но в свободное время выделывали саманные кирпичи, как бы в знак того, что приехали сюда не на откочевку, а на оседлую жизнь.

В эти же дни я постарался отыскать Каныша Сатпаева и поближе узнать его.

Впрочем, познакомиться с ним здесь было совсем не так просто. Он скитался в поле с геологическими партиями и заезжал в Карсакпай на короткие побывки.

Однажды меня предупредили: Каныш вернулся. Я сразу же отправился к нему. Он был всего года на два, на три старше меня. Лицо его под шапкой кудрявых черных волос от загара стало смуглым, с красноватым оттенком. Рослый, широкоплечий, он производил сейчас впечатление человека с богатырским здоровьем. Встретил он меня тепло. Сказал, что наслышан обо мне, что знаком с моими книгами.

— В русской литературе,— говорил он мне,— за последние годы появилось много романов и повестей на производственные темы. Возьмите «Цемент» Федора Гладкова, «Гидроцентраль» Мариэтты Шагинян. А у нас, кроме отдельных стихов и рассказов о рабочих, о строительстве, еще ничего крупного не написано. Да это и понятно. Трудно писать о том, чего не знаешь, не видел. Очень хорошо, что вы приехали сюда. Для писателя здешние места — клад, как и для геолога.

Я пробыл у Сатпаева довольно долго. Он рассказывал мне о Джезказгане. О его прошлом, о том, что происходит теперь, о том, что ожидает этот край.

Вот что я узнал тогда от него.

Джезказганская медная руда местами выходит прямо на поверхность. Содержание чистой меди в такой руде достигает пятнадцати-двадцати процентов.

Бывало, бьешь молотком, говорил Каныш, а руда вместо того, чтобы рассыпаться, только сжимается.

Он показал себя тогда вдумчивым историком.

В эпоху ранней бронзы, даже еще древнее, обитал здесь человек. И Каныш приводил интересные доказательства:

— У подножья сопок часто встречаются пещеры. Есть основания думать, что это жилища первобытного человека. Знаете, здесь есть две реки: Кара-Кенгир и Сары-Кенгир. Слово Кенгир образовано из двух: кен — значит широкий, а унгир — пещера. Названия рек можно прочитать, как черная и желтая пещеры. Среди пещер здешнего края есть немало удивительных. Километрах в двухстах отсюда в сторону Кургальджинского озера есть пе-

щера Айдахарлы-Кудайберген, иначе говоря — пещера Дракона и Кудайбергена. Ее до конца еще никто не прошел, потому что на пути встречается такой участок, где не хватает воздуха, где нельзя зажигать огонь. Рассказывают, в давние времена целые аулы и даже племена прятали в этой пещере ценности, оставляя для их охраны одну-две юрты. Экспедиция Академии наук предпринимала попытку исследовать пещеру до конца, но почему-то и эта попытка окончилась неудачно.

— Но я отвлекся,— говорил Каныш.— Так вот, джезказганскую руду, особенно ту, что выходит на поверхность, вполне могли добывать горняки бронзового века. И это подтверждается нашими находками — в ямах попадаются остатки плавок, даже куски меди. Находили и другие приметы плавок, части оборудования древних металлургических заводов, если так можно выразиться. Судя по всему, плавильщики меди достигли довольно высокого уровня культуры.

Совершив экскурсию в древние времена нашей степи, Каныш Сатпаев переступил сразу в XIX век. В сороковых годах прошлого столетия русский купец Ушаков пронюхал, что в урочище Караганда есть каменный уголь. Он купил эту землю у хозяина за сто рублей, а позже, в 1874 году, приобрел и окрестности Джезказгана, которые назывались тогда Акжал. Белая грива. Приобрел за бесценок — за пятьдесят рублей.

Ушаков перепродал и Караганду с построенными в тех местах Спасским и Никольским медными заводами, а также Акжал английским капиталистам.

— И этот Акжал, который уже сейчас дает стране миллионные доходы,— улыбнулся Каныш,—Ушаков продал англичанам за двадцать пять тысяч рублей.

Англичане далеко не сразу приступили к добыче: она начата ими только в 1904 году. Они в первые годы были заняты разведкой недр.

Каныш рассказывал мне о геологических поисках англичан. О том, что они копались лишь на поверхности, не проникая в глубину.

Пусть найденное англичанами лишь сотая доля того, что находим теперь мы. Концессионерам все-таки удалось построить Карсакпайский завод, который ежегодно давал всего около пяти тысяч тонн меди. Но эта медь

так дешево доставалась англичанам, что с лихвой окупала их расходы на разведку и строительство.

Разговор наш перешел на совсем недавние годы.

О постановлении Совета Труда и Обороны, которое обязывало восстановить Карсакпайский завод, я хорошо знал. Сатпаев напомнил мне, что в том же 1925 году в Москве был Атбасарцветметтрест под представительством Дыбеца, видного хозяйственника, работавшего до революции на медеплавильных заводах Соединенных Штатов Америки.

Каныш вспоминал, как всего три года назад, в мае 1926 года, он окончил горный факультет Томского технологического института и был назначен членом правления Атбасарского треста. В правлении еще шли споры о Карсакпае, о запасах медной руды. Тогда находились люди, которым представлялось сомнительным не только большое будущее завода, но и целесообразность его восстановления.

В этой сложной обстановке молодой инженер-геолог и решил взять на себя ответственность за разведку запасов медной руды в здешнем краю.

— Доверьте мне это дело, говорю.

Огорчился я во время приезда в Карсакпай: завод полуразрушен, шахты затоплены, жилье, как вы сами понимаете. Одно утешало — вера в людей, поддержка старых рабочих.

Геологическая разведка под руководством Сатпаева за сравнительно небольшой срок принесла плоды куда более урожайные, чем долголетние поиски англичан. Теперь уже никто не сомневался, что необходимо как можно скорее пускать Карсакпайский завод.

— Вы, должно быть, слышали,— спрашивал меня Сатпаев,— как на верблюдах подвозились грузы от станции Джусалы. И, конечно, знаете о торжественном открытии завода. Особенно рады были строители, что на этот праздник приехал заместитель председателя Центрального Исполнительного Комитета Казахской республики Алибий Джангильдин. Ведь его, одного из первых пролетарских революционеров-большевиков, знают и любят в степи. Но после Джангильдина руководители республики долго не наведывались к нам в Карсакпай. Вот только теперь, вместе с вами, побывал у нас Голощекин. Давно бы пора! Промышленность наша заслужи-

вает того, чтобы о ней больше заботились. Карсакпаю надо много помогать.

И Сатпаев возвращался снова к своей любимой теме.

— Я уверен,— говорил он,— запасы джезказганской медной руды самые большие во всей стране. Похоже на то, что наш меднорудный бассейн потягается с крупнейшими мировыми бассейнами. Вам приходилось слышать о Северной Родезии в Африке. До сих пор считалось, что там находится крупнейшее медное месторождение земного шара. И, представьте, уже по первым нашим подсчетам можно смело предположить, что Казахстан через несколько лет опередит Родезию по своим могучим запасам.

(Да, Сатпаев умел смотреть в будущее. Его предположения блестяще подтвердились. Медь, свинец, марганец, добытые в Казахстане, помогли выиграть нам Великую Отечественную войну 1941—1945 годов. Хорошо известен образный подсчет — из каждых ста пуль, посылаемых во врага, девяносто были отлиты из казахстанского свинца.)

Беседа наша подходила к концу. Умные глаза Каныша засветились улыбкой.

— Писатели, говорят, любят слушать, но еще больше любят смотреть. Впечатление от увиденного сильнее, чем от услышанного. У вас, вероятно, есть намерение побродить, посмотреть любопытные места в степи.

— Я обязательно хочу так сделать и отчасти уже посмотрел,— отвечал я.

— Тогда давайте встретимся еще раз уже после ваших поездок. Есть много интересного вокруг Карсакпая. Я думаю, именно здесь находится один из узлов истории казахского народа. Очень советую вам обратить внимание на памятники...

После встречи с Канышем мне захотелось еще больше поездить по степи. Ковалевский фордик без всяких приключений возвратился из Джусалы и был предоставлен в мое распоряжение. Нашлись и хорошие спутники— два акына — известный казахский акын Тайжан Калмагамбетов, акын Иманжан Жылкайдаров — я до сих пор о нем ничего не слышал — и заводской инженер, фамилию которого я забыл. Акыны отыскали меня в доме Биляла. Им кто-то сказал, что я приехал знакомиться с акынами и записывать их стихи. Цель моей поездки, по-

нятно, была совсем другой, но акынами я всегда интересовался. Что правда, то правда. И новое знакомство доставило мне настоящую радость.

Уже давно знал я о Тайжане, знал его песни и стихи. Знаменитый в степи акын Ибрай Сандыбаев был по матери его родным дядей. Тайжан чертами своего лица удивительно напоминал Ибрая в молодости. Теперь Ибрай был уже стареющим человеком с приметной проседью в усах и бороде. Но Ибрай и к старости оставался подвижным, легким, веселым, любящим шутки, остроты. Он импровизировал буквально на ходу и рифмовал фразы даже в обычной беседе. И способностями импровизатора, и характером своим Тайжан полностью походил на дядю.

Иманжан, сын Жылкайдара, не был таким весельчаком и песенником, как Тайжан. Мне не случилось видеть его с домброй, слушать песни в его исполнении. Должно быть, этому мешал небольшой дефект речи Иманжана — он немного заикался. Но этот же дефект не препятствовал ему быть отличным рассказчиком — он хранил неисчерпаемый запас сведений по истории народа, его культуре и был знатоком фольклора, в особенности песенного.

Его отец Жылкайдар был богатым человеком, он имел сотни полторы верблюдов, семьсот-восемьсот лошадей, несколько тысяч овец — и позаботился о воспитании сына. Он отдал его учиться Култыбаю Амиргали, постигшему в Бухаре все двенадцать наук. Култыбай передал Иманжану свои знания арабского и персидского языков. Иманжан в молодости — сейчас ему было лет сорок пять — ездил из аула в аул в свите знаменитых акынов: Ахан-серэ, Балуан-Шолака, Ибрая. Одевался он богато и ярко, как одеваются сал-джигиты. Но это было в прошлом.

...Из заводского поселка мы выехали вчетвером, но вскоре нас осталось трое, потому что инженер возвратился в Карсакпай. Кажется, он не принадлежал к числу любителей истории и песен. Но нам и втроем скучно не было.

Тайжан мог петь без устали. И когда мы останавливались в аулах и даже во время езды на автомобиле. Где он только не бывал в степи, с кем он только не встречался! Но рассказывать о своих путешествиях не умел. Слабо знал он предания и сказки, но хранил в своей

памяти множество песен, особенно композиторов Сары-Арки—Биржан-сала, Ахан-серэ, Балуан-Шолака, Газиза, Культумы. И уж, конечно, все песни своего дяди Ибрая, сына Сандыбая.

Я уже говорил, что мать Тайжана приходилась Ибраю родной сестрой. Как же, спрашивается, отец Тайжана Калмагамбет, родившийся и выросший в окрестностях Карсакпая, женился на дочери Сандыбая, если их аулы стояли друг от друга верст на шестьсот-пятьсот? Ведь Сандыбай, отец Ибрая, жил в урочище Жаман Жангизтау, в урочище Плохой одинокой горы близ Кокчетау. Я узнал, что они познакомились в пору одной из летних откочевок, когда их аулы сходились в Ишимской долине.

Тайжан и в детстве был насмешником и забиякой. А годам к пятнадцати-шестнадцати он никому не давал покоя своими язвительными стихами. Над кем только он не издевался! Однажды Тайжану решили отомстить. Люди, обиженные им, объявили его сумасшедшим и связали.

Кому-то пришла в голову странная мысль:

— Нет, Тайжан, наверное, не сумасшедший. Просто в него вселился дух его дяди акына Ибрая. Самому дяде и надо излечить племянника. Тайжана надо отправить к Ибраю на благословение.

Случилось это зимой. Из Карсакпая в дальний Петропавловск уходил верблюжий караван. На пути каравана находилось урочище Одинокой плохой горы, где и был расположен аул Ибрая. С этим караваном туда и отправили Тайжана, несмотря на его яростное сопротивление. Но все обошлось благополучно. То ли Ибрай «благословил» Тайжана, то ли он ему просто пришелся по душе, но так или иначе дядя подружился с племянником, помог ему стать акыном-импровизатором, взял его в свою свиту и летом разъезжал вместе с ним по аулам. В это время Тайжан и сложил песню благодарности:

Далекой я пришел тропой.
Благослови меня, родной.
Мне песню спой, мне песню спой,
Чтобы и я владел домброй.
Чтоб я, Тайжан, племянник твой,
Дорогой песен шел с тобой.
Деревья рощи мы одной,
Растем на почве мы одной.

Ибрай пел горячо и приятно высоким звучным голосом. У Тайжана голос был ниже и чуть грубее. Но манерой своего исполнения, темпераментностью, легкостью мастерства, красотой образа и мелодии племянник приближался к дяде, походил на него, как талантливый ученик на учителя.

Тайжан создал немало оригинальных песен, широко распространенных в степи. А если добавить к ним и народные песни, хранящиеся в его памяти, то можно представить, каким неисчерпаемым источником был он для меня во время нашей полумесячной поездки.

Мы часто просили его повторять только что услышанную и сразу полюбившуюся нам песню. Но сколько песен осталось у него в запасе! Песен, которых мне так и не привелось узнать.

Мы повидали много аулов и привлекательных уголков здешней степи. За пятнадцать дней на машине где только не побываешь! Но чтобы осмотреть все памятные места, должно быть, и лета недостаточно. У Иманжана и Тайжана вдоволь времени, а у меня время ограничено. Мне ведь надо было добраться до родных краев, взять семью и с ней возвращаться на учебу.

Но я хочу поделиться с читателями тем, что я увидел, что я узнал и за этот короткий двухнедельный срок.

Вначале о самой степи, ее реках и озерах. Да, вокруг Карсакпая — пустынная степь, но в ней не так уж мало источников воды. Только с отрогов гор Улутау сбегают речушки Жиланчик, Джетыкыз, Кара-Кенгир, Чигирли, Кара-Торгай. Они сливаются с другими речушками и бегут по оврагам. Сотни километров вьются они в степи, и жители многих аулов пьют их воду.

Преградить бы плотинами эти речушки, тогда бы они не терялись в песках и отдавали людям всю свою влагу.

Встречаются здесь в степи озера. Севернее Карсакпая известны так называемые Девяносто озер Тоганаса. Вскоре после весеннего паводка они совсем обмелевают. На отмелях этих вырастает сочная густая трава, которую никто тогда не косил. Да что там косить! Даже скот не пригоняли сюда начинавшие оседать аулы.

Я видел в степи и глубокие чистые озера. Чуть севернее Джезказгана голубеет озеро Барак — широкое озеро с пресной водой. Говорят, лет двести тому назад у бере-

гов этого озера летом поставил свои юрты казахский батыр Кокжал-Барак.

Но давно пустуют берега этого озера, не приходят сюда и рыбаки. Поэтому рыбы в нем развелось видимо-невидимо. Я смотрел в воду и видел целые косяки резвящихся рыб. Ну прямо как муравьи в муравейнике.

Степь здесь холмистая, в гребнях сопок, сопки порой переходят в горы. Самые большие из них и сравнительно высокие — Улутау. Они протянулись километров на восемьдесят в длину — с запада на восток — и километров на двадцать в ширину — с юга на север. Склоны Улутауских гор поросли густой травой, кустарником, мелколесьем.

Казахи, думается мне, не зря назвали эти горы Улутау — великими горами. Похоже на то, что кочевые казахские племена не раз сходились у их подножий. Этому есть и доказательство. В низовьях реки Сарысу сохранился камень, выходящий своей гладкой поверхностью на прибрежный яр. Камень-тамга, камень-клеймо. На нем выбиты родовые знаки всех родов, входящих в состав казахского народа. Знаки эти по начертаниям своим совпадают со знаками, обнаруженными в других исторических материалах. Спрашивается, если казахские племена не съезжались сюда на свой сбор, то почему же на этом камне появились родовые знаки?

Расскажу еще об одном событии, точно задокументированном в истории. В 1723 году калмыки из сильного Джунгарского ханства прошли страну казахов из края в край, оставляя за собой горы трупов и реки крови. К довершению всех бед страшная засуха привела к джуту — погибал скот, тысячами умирали люди. Этот год остался в памяти казахов под горестным названием «Актабан шубырынды, алкаколь-сулама» — «Год великой скорби и скитаний». В этот год многие казахские аулы спасались в окрестностях Улутау. В роду Тобыкты, к которому принадлежал Абай, один из предков носит имя Кенгирбая. Он родился на берегу реки Кенгир, стекающей с Улутау. Род Тобыкты перекочевал в предгорья Чингиса с отрогов Улутауских гор. Иманжан Жылкайдаров рассказал мне о предке знаменитого казахского акына Машхур-Джусуп Копеева, жившего в Баян-Ауле. Этот предок в пятом колене — Бесим тоже обитал у подножий Улутау. Его имя сохранилось в названии одного

урочища — Пять оврагов Бесима. Подобные следы родовых аулов, проливающие какой-то свет на историю казахов, можно обнаружить и в других местах района Улутауских и Кшитауских гор (Младшая гора, Кшитау, находится километрах в сорока пяти южнее Улутау).

Здесь же, в предгорьях Улутау, находится мавзолей Алаша-хана.

Рассказывают шежире, древним боевым кличем — ураном был «Алаш». Это было и имя одного из древних сельджукских ханов. Есть предание и о том, что в казахское этническое понятие «алты алаш» (шесть алаш) входят, кроме казахов, башкиры, туркмены, каракалпаки, узбеки и киргизы. Это понятие существует и у всех перечисленных народов.

Можно предполагать, что предание это относится к историческим временам существования государства тюрков — сельджуков, вмещавшее в своем национальном составе и будущие казахские племена.

Но вернемся к мавзолею Алаша-хана. Он возвышается на берегу реки Майлы-кия, реки Мягкой осоки. Сложен он из жженого кирпича. В основании мавзолея четыре прямоугольных стены. Завершается он башней-куполом, напоминающем остроконечную юрту. Мавзолей похож на многие среднеазиатские мазары и мечети. Затрудняюсь сказать, когда он построен. Одно удивительно: сильные ветры — они дуют здесь и зимой и летом, иссушающее солнце, снега и дожди — нисколько не разрушили кирпичей, так они прочны. Смотришь на мавзолей — кажется, он сооружен только вчера. Сохранилась снаружи краска и орнаментальный узор, очень напоминающий ковровый казахский орнамент, сплетенный из тростника чия.

Есть в здешней степи и другой старинный мазар — мавзолей Джучи-хана. Джучи-хан — известная историческая личность, сын монгольского завоевателя Чингисхана. Чингисхан разделил захваченные им земли на три части — на Золотую орду, расположенную в Нижнем Поволжье со столицей Сараем, между нынешними Саратовом и Волгоградом, Голубую орду — в Самарканде и Белую орду — в Пекине.

Джучи был первым ханом Золотой орды. Историки точно не установили, когда он родился и умер. Его отец Чингисхан жил в 1155—1227 годах. Есть сведения, что

Джучи умер раньше своего отца. И если эти сведения правильные, можно примерно установить и годы его жизни. Предполагают, что ставка Джучи находилась неподалеку от Улутау, а город в Поволжье построил его сын Батый. Не знаю, так это или не так, но мавзолей, именуемый могилой Джучи-хана, существует в отрогах Улутау, на берегу реки Кенгир.

Имя Джучи упоминается и в казахском фольклоре. Это поэтический кюй «Аксак кулан—Джучи-хан». Аксак кулан — хромой дикий осел. Вот краткое содержание кюя. Любимый сын Джучи-хана выехал со свитой на охоту. Вскоре они встретили табун куланов. Сын хана был метким стрелком и первым выстрелом ранил вожака табуна. Кулан захромал, стрелок помчался за ним, чтобы заарканить вожака. Но кулан насмерть лягнул своего преследователя и погиб сам.

Никто не решался сообщить Джучи-хану о постигшем его несчастье. Хан однажды сказал: «Если умрет сын, то я залью рот свинцом тому, кто меня известит об этом». Приближенные Джучи задумались. И сказать о смерти сына нельзя, и умолчать о ней нельзя. Что же делать? Тогда музыкант-кобызчи решил сыграть на своем кобызе кюй и языком мелодии передать отцу тяжелую весть. Собрались люди в ставке хана, и, по обычаю, попросили кобызчи что-нибудь сыграть. Он и сыграл печальный кюй о смерти сына. Джучи все понял. И так как эту весть принес ему не человек, а кобыз, он приказал залить свинцом деку инструмента. Рассказывают, именно с той поры часть кобыза всегда остается открытой.

И еще приказал разгневанный Джучи-хан истребить все табуны куланов, а чтобы они впредь никогда не появлялись в здешней степи, распорядился вырыть широкий канал «кулан-утпес», преграждающий путь куланам. И еще заставил хан изменить течение одной речки. Она существует и сейчас, река Терсаккан, что означает — текущая вспять.

Много своих отпечатков оставила история в горах Улутау и окрестной степи.

Существовал бий Эдиге. Считают, что он убил хана Золотой орды Токтамыса и четыре года (1391—1395) правил Золотой ордой. На западном склоне Улутау, под одной из острых вершин, есть мазар, известный как мо-

гила Эдиге. Как умер Эдиге и действительно ли он здесь похоронен — точно неизвестно.

В отрогах Улутауских гор местные жители показывают развалины кургана, именуемого курганом Кенесары. Видимо, на пути своего отступления от русской армии в сороковых годах прошлого века Кенесары решил укрепиться на Улутау и возвел курган для обороны.

Есть и другие памятники в этих местах. Мазар батыра Ердена, повторяющий своей архитектурой мавзолей Алаш-хана, и мазар бая Сандыбая, расположенный на берегу Кенгира, в его верхнем течении.

Бай Сандыбай прославился своим богатством и тоями — пирами. Один из старейших писателей-большевиков в осуждение традиции обильного угощения в середине двадцатых годов опубликовал в журнале «Қзыл Қазахстан» статью, в которой писал: «Баи рода Баганалы в отрогах Улутау за последние пятьдесят лет зарезали и съели пятьдесят тысяч лошадей, около миллиона овец». «По словам очевидцев,—упоминал он в той же статье,— на один пир Сандыбая было зарезано пятьсот лошадей и пять тысяч овец!»

Обильное угощение было мерой байского богатства.

Но теперь наши степи и горы в сердце Қазахстана открывали для народа иные богатства, неисчерпаемые богатства своих недр. Нам часто встречались во время нашей поездки геологические партии, как добрые вестники будущего. В одном геологическом отряде у костра, разожженного неподалеку от палатки, я застал Қаныша Сатпаева. И мы возобновили прошлую нашу беседу.

— Вы знаете сами,— говорил он мне,— как жили наши деды. Наша страна, страна казахов, была кочевой. В ней не строились села и города. В ней легче встретить ханский мавзолей и могилу богатого бая, чем следы древнего города. Даже долговечных колодцев не сооружали казахи на пути своих кочевий.

Даже когда обнаружились залежи полезных ископаемых,— продолжал Қаныш,— их богатством не мог воспользоваться наш народ. Теперь все складывается по-другому. Подземные сокровища Қазахстана будут теперь служить нам. У нас есть почти все, что обозначено в таблице Менделеева. И цветные металлы, и благородные, и редкие. Такие, какие еще никому не удавалось найти. Я уверен в будущем. Кто знает, может быть, металлы,

добытые в недрах нашей степи, помогут человеку полететь на луну, на другие планеты. И к этому счастью открытий будет причастен и казах. История наша — долгая, трудная, тернистая. А будущее — светло! Вот почему,— помните? — я назвал эту степь узлом казахской истории.

Я долго думал о словах молодого инженера-геолога. Образно и, главное, справедливо сказал Каныш Сатпаев.

ВРЕМЯ ТРУДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

Повелитель змей

Из Карсакпая я собрался ехать в родные места, или, как говорят у нас, в эль, через Атбасар. Город находится на расстоянии пятисот-шестисот верст и добраться до него можно двумя путями: на автомашине и на лошадях. Автомобильная дорога пролегала вдали от аулов, конная, которую и тогда еще называли — тонкая дорога шяштэ — петляла близ селений. Когда-то этот путь — широкий и гладкий — называли ханской дорогой. По ней двигались многочисленные кочевые аулы. Позже широкая дорога заросла травой и превратилась в тропу, в «тонкую» дорогу. Слово «шяштэ» — волосатый — здесь употребляется в смысле русский. Тонкая дорога шяштэ— русская тропа. Название это возникло в те времена, когда русские войска вели борьбу с нукерами султана Кенесары,— солдаты не брили бороды, поэтому в аульной памяти они и остались «шяштэ».

Я выбрал конный путь — хотелось взглянуть на жизнь аулов. Нашлись мне и попутчики: учитель казахской школы в Карсакпае Алиакбар Хасенов и его жена Рабига. Алиакбар был почти моим сверстником, подружились мы с ним давно, еще в Петропавловске, когда вместе учились на курсах по подготовке учителей. Но судьба тогда нас развела, я несколько лет не видел Алиакбара и теперь встретился в Карсакпае.

Верно говорят русские люди, что старая дружба не ржавеет. Алиакбар, как только узнал, что я приехал в Қарсакпай, немедленно разыскал меня, обрадовался встрече, стал меня обнимать, дружески трясти за плечи и тут же потащил к себе домой. Нас гостеприимно встретила Рабига, женщина простая, милая и очень скромная. Помню, я долго тогда просидел у Хасеновых, дружеская беседа, казалось, могла длиться бесконечно. С этого дня я стал часто бывать у Алиакбара и Рабиги.

О своем решении ехать до Атбасара на лошадях я, конечно, сообщил Хасеновым. Муж и жена горячо поддержали мое желание. Больше того, Алиакбар даже обрадовался:

— Вот и хорошо,— воскликнул он,— мы с Рабигой еще зимой собирались поехать летом отдохнуть в родной аул. Значит, поедем вместе.

— Это на реке Қипчак, как раз по дороге шяштэ,— скромно заметила Рабига.

Зато Қовалев, как только узнал, что я хочу ехать на лошадях, стал отговаривать:

— Тащиться много дней в повозке, да ты замучаешься в дороге, Сабит! Сядешь в автомобиль утром, вечером будешь в Атбасаре. Послушай меня, я тебе плохих советов не давал.

И все-таки я не послушал Қовалева. Как мне было ему объяснить, что желание увидеть эти, близкие моему сердцу места было так велико, что меня не могли смутить никакие трудности в пути. А что касается поездок на лошадях — в повозке ли, верхом ли,— так я к ним привык с детства. Словом, вежливо поблагодарив Қовалева за предложенный автомобиль, я все-таки попросил тарантас, запряженный парой крепких лошадей.

В повозке, напоминающей собою коробку, смело разместились шестеро: Алиакбар с женой и двумя ребятишками-школьниками, кучер и я. Мы выехали на тонкую дорогу шяштэ. Путь наш лежал к северо-востоку от Қарсакпая по берегу реки Сары-Қенгир.

Эти, некогда пустынные места, приятно оживляли поля, засеянные просом. Я с удивлением глядел на высокие, плотные, словно у камыша, стебли, увенчанные тяжелыми золотистыми метелками. В таких зарослях трудно пройти человеку.

— Поливное просо,— сказал возница.— На Сары-Кенгире плотину сделали. Теперь воды хватает. Триста пудов с гектара верных будет.

Помолчали. Я по-прежнему, не отрываясь, смотрел на просяные заросли.

— Запрудить бы все речушки в округе,— мечтательно продолжал возница,— сколько на поливе проса можно было получать! Земля-то вон какая жирная, а воды мало.

Дорога обогнула плотину, и мы увидели, во что превратился Сары-Кенгир: по дну оврага, который некогда прорыла река, струился ручеек. Вода в нем чистая, прозрачная, а чебаки и окуни так и снуют. Среди рыбьей мелочи попадались и довольно крупные сазаны.

«Вот это рыбалка»,— переглянулись мы с Алиакбаром. Этот взгляд, видимо, перехватил наш возница.

— Рыбаков здесь нет,— сказал он.— Этой рыбой приходят поживиться только лиса да корсаки.

— Как же они ловят ее в воде? — спросил я.

— Очень даже ловко,— ответил он.— Опустит лиса морду в воду, хап — и рыбка в пасти.

Все засмеялись.

Возница наш оказался человеком словоохотливым, хорошо знающим эти места, и, слушая его рассказы, мы не заметили, как солнце стало клониться к горизонту. Дневной зной сменился вечерней прохладой. Резче стали очертания далеких холмов. Показалось семейство дроф. Крупные, словно овцы, птицы летели прямо на нас. Сели на расстоянии нескольких шагов, проводили нас глазами и улетели снова. Видимо, они никогда еще не слышали ружейного выстрела, а может быть, и не видели людей. Нас они совершенно не боялись.

Тем временем стемнело. Мы решили заночевать в степи. Распрягли и стреножили лошадей. Рабига разложила костер и принялась готовить нехитрый ужин. И тут на огонек к нам пожаловали незваные гости — лисы. Две рыжие красавицы неслышно подошли к костру и сели поодаль, бесстрашно глядя на нас зелеными, светящимися глазами. Лисы, как и дрофы, совершенно не боялись людей: погонишься за ней — бежит лениво, оглядываясь, как бы дразня и играя с тобою в догонялки, остановишься, пойдешь назад — бежит за тобою, словно дворовая собака.

Эта игра с лисами продолжалась до глубокой ночи. Рабига отдала им остатки ужина, лисы поели и отправились восвояси, а мы стали готовиться ко сну. Рабига и дети легли в тарантасе, укрывшись прихваченным из дому одеялом, мы с Алиакбаром и возницей устроились возле повозки. Но не тут-то было, уснуть нам не удалось, не дали комары. Место ночлега мы выбрали близ реки, и никто из нас не подумал о том, что здесь могут быть комары — днем мы их не видели.

— Пойдем гулять, Сабит,— сказал Алиакбар.

Мы встали. Пошли по берегу реки. Кругом немая тишина. Лишь изредка доносится свист степной птицы. На воде дробятся лунные блики. Спать мне уже не хотелось, но и разговаривать тоже было лень.

— Расскажи мне что-нибудь,— попросил я Алиакбара.

— Хочешь немного истории? — ответил он.

Мне было все равно.

— Мои предки вышли из рода Аргын, точнее из его ветви Алтай. Именно отсюда вышли такие известные в степи люди, как Аккошкар и Сайдалы. Первый прославился несметным богатством, второй — душевным благородством и человечностью. В прошлом веке старшим султаном в этих краях был Чингис Валиханов. Аккошкар был при нем младшим султаном. Оба они в год вступления на престол русского царя Александра II дважды побывали в Петербурге. У Аккошкара было четыре сына: Шожан, Нугман, Хасен и Хамза. Я — один из сыновей Хасена...

Состояние ленивого безразличия у меня прошло, и я с интересом стал слушать Алиакбара.

— Мой двоюродный брат по имени Қазкей, человек грамотный и просвещенный, имел хорошее хозяйство, которым управлял со знанием дела, на научной основе. Так, у него были не просто косяки лошадей, а косяки породистых лошадей. В стаде были коровы ценных высокоудойных пород. Когда другие баи, боясь конфискации лишнего скота, стали продавать своих лошадей и коров, Қазкею жаль было расстаться со своими орловскими рысаками и симменталками. Так он попал в число пятиста крупных баев. Так же, как и их, его сослали в приаральские пески.

Алиакбар умолк. Наверное, ему неприятны были эти воспоминания. А я не знал, как себя вести: то ли продолжить этот разговор, то ли осторожно перевести его на другую тему. Но Алиакбар продолжал, все более оживляясь:

— Только ты не думай, что Казкей был похож на того бая, представление о котором прочно сложилось в народе. Нет, он не был похож на человека алчного, тупого, ограниченного, жестокого. Свидетельство тому — отношение к Казкею со стороны бедняков. Когда аульные власти объявили о конфискации имущества Казкея, односельчане не бросились делить его скот. Больше того, бедняки возвратили его родичам — Исхаку и Мажиту — коров и лошадей, дарованных им при разделе имущества Казкея.

— Где сейчас Казкей? — спросил я.

— Нет от него вестей.

— А Исхак и Мажит?

— Живут в нашем районе. Сейчас — на джайляу, неподалеку отсюда.

«Так вот к чему клонил разговор Алиакбар»,— подумал я. Но вслух я сказал:

— Может, ты хочешь заехать к нему?

Алиакбар кивнул головой, заулыбался.

Утром мы объяснили нашему вознице, что маршрут поездки несколько меняется. Тот равнодушно пожал плечами, мол, мне все равно, куда хотите, туда и повезу.

— А дорогу к юрте Мажита ты знаешь? — спросил Алиакбар.

Возница уверенно кивнул головой. Я невольно вспомнил слова Ковалева о том, что у него есть кучер, который знает не только все дороги, но и тропинки на тысячу верст окрест.

С узкой дороги шяштэ мы свернули совсем на тропку. Она то и дело терялась, и тогда лошади брели прямо по целине. Но наш возница оказался еще и следопытом. По признакам, известным только ему одному, он так правил лошадьми, что они рано или поздно снова выезжали на потерявшуюся было в степи тропинку.

После целого дня езды по тряскому бездорожью мы, наконец, увидели дальние холмы и дымок, поднимающийся от земли.

— Юрта Мажита,— показал кнутовищем возница.

Тарантас взлетел на бугор, и мы отчетливо увидели впереди две юрты, серую и коричневую. Подъехали ближе, и нашим глазам открылась мирная картина: у желэаркана, натянутого между двумя кольями, пасутся кони. Их много, чуть ли не целый косяк. У когени — запетленного аркана для привязи овец и ягнят — пощипывают траву бараны. Навстречу нам с лаем выскочили собаки. Когда наши сытые кони, играя мундштуками, подкатили тарантас к серой юрте, из нее вышли люди и с криками: «Алиакбар приехал!», бросились к нам. Они шумно, радостно приветствовали Алиакбара, Рабигу, детей. Когда радость встречи немного поулеглась, люди недоуменно уставились на меня: мол, кто такой? Алиакбар представил меня.

Исхак и Мажит, как я понял потом, оказались дядей и племянником. Глядя на Исхака, которого в народе должны презрительно называть «сын бая», я думал о том, что сыновья у баев тоже были разные. Исхак, человек спокойный, скромный, хозяйственный, внушал уважение. Таким же обаятельным и располагающим к себе оказался его сын Жусупбек, молодой человек моего возраста. Очень походил на них и Мажит. Но особенно поразила меня жена Мажита — высокая, стройная Хазия. Особую прелесть ее лицу придавали глаза — черные и в то же время ясные и словно прозрачные. Не скрою, я прямо-таки залюбовался Хазией. У русских людей есть пословица: «Хороша Маша, да не наша». У казахов тоже есть изречение, равнозначное этому, в переводе на русский язык оно звучит так: «Хорошее в доме масло, хотя я его и не ел». Мне тогда в голову пришла эта пословица не потому, что я позавидовал мужу Хазии. Нет. Просто я считаю, что красивые люди оказывают миру услугу — они радуют глаз так же, как красивые цветы, яркие краски восходов и заходов солнца, живописные пейзажи.

Очарование Хазии еще более усилилось, когда всех нас пригласили в юрту и накрыли праздничный дастархан. Как мило, легко и умело она ухаживала за гостями! Со сверстниками скромно пошутит, к старшим обратится почтительно, ребенка рассмешит. Из разговора, который завязался за ужином, я понял, что и Хазия, и Жусупбек достаточно образованны, читают книги и газеты. Видимо, Казкей был не только сам человеком гра-

мотным, но и усиленно приобщал к культуре младших в своей семье. А когда Хазия уверенно заговорила о моей поэме «Сулушаш», я, разумеется, был окончательно покорен этой женщиной.

И еще я понял: у Хазии был свой герой, может быть даже под стать Алтаю — главному герою моей поэмы, которую она так хорошо запомнила. И герой этот не Мажит, а другой, с кем развела ее судьба. В этом я окончательно убедился, когда Хазия неожиданно закончила разговор о «Сулушаш» такой фразой:

— Чего не бывает в молодости, друг мой. Человеку не нужно вспоминать о прошлом. Умей найти радость в настоящем. Так легче жить...

В юрте Мажита и Хазии мы прожили несколько дней, а я и не заметил, как пролетело время. И дело тут, конечно, не в том, что говорить с Хазией, просто смотреть на нее доставляет истинное удовольствие. Так, по крайней мере, казалось мне. Дело, видимо, в том, что в семье этой царила какая-то удивительная атмосфера покоя, взаимной любви и уважения, трудолюбия, что здесь можно было прожить и месяц, и год и не почувствовать, что это кому-нибудь в тягость или тебе мешает кто-то.

Так же просто жили здесь другие гости, а людей вокруг было много. Кто они? Только позже я узнал, что Алиакбар ничего не выдумывает, что действительно люди эти — бедняки, которым Советская власть раздала скот, конфискованный у бая Казкея. Но они, в силу добрых чувств к тому, у кого несколько лет назад работали скотниками и пастухами, пригнали этот скот обратно. И даже не Казкею, а родичам его, Исхаку и Мажиту. Потому-то и паслось вокруг двух юрт такое множество лошадей и баранов.

Я поинтересовался: может, они настолько богаты, что дарованный скот был лишним в их хозяйствах? Совсем нет. Это были бедняки, у которых, как говорят в народе, нитки на петельку не хватает. И тогда я задумался: что же привело сюда этих людей, которые на первый взгляд кажутся родственниками, приехавшими издалека навестить близких? Допустим, бай Казкей был человеком добрым и гуманным, он хорошо обращался с людьми, которые ему служили, не обижал их. Но насколько темным, беспросветным должно быть сознание человека, который даже не признает равенства: заведено исстари так, что

у одних — богатство, а у других — только рабочие руки да спина, которую надо всю жизнь на кого-то гнуть, значит, и ему уготован такой удел. Было так, что весь скот принадлежал Қазкею, а у простого казаха ничего не было, ему и теперь, когда в степи уже правила Советская власть, другой жизни не надо.

Мне стало тяжело от этих мыслей. «До чего же темен и забит мой соплеменник,— думал я.— Как много нужно приложить труда, чтобы пробудить в нем классовое самосознание».

Признаюсь, эти мысли омрачили последний день пребывания в юрте Мажита и Хазии. У меня было сложное положение: как гражданин, я должен был говорить об этом, а как вежливый гость, не лезть в чужой дом со своими советами.

Қогда наступил час прощанья, я даже почувствовал облегчение. К моему удивлению, засобирались в дорогу почти все остальные гости. Все они садились на коней.

— Поезжайте и вы верхом,— предложил Мажит Алиакбару и мне.— Я дам вам коней.

Мы поблагодарили гостеприимных хозяев, усадили Рабигу и детей в тарантас, сели на коней и двинулись в путь.

Провожала нас вся семья. Қогда мы отъехали с полверсты, я обернулся: люди продолжали смотреть нам вслед. Высоко подняв над головой руку, Хазия махала мне платком. Я сделал вид, что не заметил этого прощального знака...

Теперь мы держали путь в аул Алиакбара. Он расположен на джайляу, на берегу реки Қипчак. При быстрой езде до аула пять-шесть дней пути. Но мы ехали медленно. Попутчики попались хорошие, веселые, особенно один из них, джигит по имени Шайхы. Фамилию его я теперь вспомнить не могу.

Еще в юрте Мажита я заметил, что Шайхы такой человек, с которым никому не бывает скучно. Там, где он появился, немедленно раздается взрыв хохота, веселые голоса. Говорили, Шайхы—далекий родственник Мажита. Дома у него старуха-мать, сестра-девушка на выданье, молодая жена и маленький ребенок. Хозяйство небольшое, но скот есть, так что живет он безбедно.

В Шайхы меня поразила не только его неуемная веселость, острый язык и находчивость — каждому в ответ



к стр. 293

у него готова добрая, а иногда и злая шутка. Этот молодой человек был буквально повелителем змей. На всем нашем пути попадалось столько змей, что я стал серьезно опасаться за своего коня — вдруг ужалит. Стоило только Шайхы увидеть змею, как он немедленно соскакивал с коня и бросался ей вдогонку. Настигнув змею, он наступал каблуком сапога ей на голову, так чтобы из раскрытой, запрокинутой пасти высунулся язык, и подставлял для укуса конец плетеной камчи.

— Вот теперь она обезврежена,— говорил Шайхы, отпуская змею,— ее ядовитый зуб остался в моей камче.

Я вспомнил, что в Карсакпае почти таким же способом расправлялся со змеями Телеляев.

Нисколько не боясь этих ползучих тварей, Шайхы свободно брал их в руки, закручивал гибкое тело змеи жгутом и лихо размахивал им, наводя ужас на всех нас.

Это занятие до того понравилось Шайхы, что он начал изобретать, как бы это изловчиться и придумать трюк со змеею пооригинальнее. Подкрадется сзади к кому-нибудь из спутников, накинет на шею змею, словно аркан, да еще и узлом завяжет. Тот кричит, мол, сдаюсь, рабом твоим буду, только избавь от этого ожерелья, а Шайхы хохочет, говорит, что змея теперь не ядовита и, значит, вреда причинить не может, а воля и мужество человека таким образом воспитываются.

«Хорошее воспитание мужества»,— думал я, с отвращением глядя на эти шутки. Но, как говорят в казахском народе, через три дня привыкают и к могиле. Не миновало и меня удовольствие ощутить за пазухой холодное, извивающееся тело змеи — и ничего, жив остался. Взял змею рукой и бросил ее прямо в Шайхы.

Когда этот проказник вволю нарезвился, а мы начали привыкать к его шуткам, Шайхы рассказал поразительные истории со змеями. По этим рассказам выходило, что он не только совершенно не боится змей, но и умеет подчинить их своей воле.

Позднее, когда мы уже жили в ауле Алиакбара, что расположен недалеко от аула Шайхы, молодой человек, который, видимо, почувствовал симпатию ко мне, равно, как и я к нему, почти каждый день приезжал к нам. Мы совершали совместные прогулки по берегам Кипчака. Я вспомнил, что когда-то в этих местах обитали два

больших казахских рода, называвшиеся именами рек. Теперь здесь было тихо и пустынно.

Мне доставляли большое удовольствие прогулки верхом, когда наши лошади — моя и Шайхы — шли, как говорят, ухо в ухо. Как я понял из рассказов Шайхы, он любил и знал природу. Это от него я впервые узнал о свойствах степных растений, на которые несведущий человек даже не обратит внимания. Шайхы знал повадки птиц и зверей. В юрте у него жил фламинго, которого он вырастил и приручил. Остряк и балагур, мой новый друг становился лириком, когда рассказывал о природе, об удивительных приключениях на охоте, о легендах, которыми овеяно озеро Кургальджин.

Шесть дней я прожил в ауле Алиакбара. В это время в Атбасаре готовилась ярмарка, и люди из окрестных мест потянулись в город. Собрался в Атбасар и я. Мне жаль было расставаться с Алиакбаром и с Рабигой, но особенно почему-то с Шайхы. Я даже уговаривал его ехать со мною, но он отказался. Огорченный, я уехал один и всю дорогу думал об этом человеке. Позже я несколько раз писал ему письма, пытался разыскать. Но тщетно. Шайхы не отзывался. О его судьбе я так и не знаю до сих пор.

Бывают люди, встречи с которыми остаются памятными на всю жизнь. К ним, безусловно, принадлежит Шайхы. Я до сих пор помню его, то веселого балагура, изобретательного на всякие шутки, то поэтического рассказчика, влюбленного в родные места.

Наш ответ Чемберлену

До Атбасара мы с возницей добирались с тремя ночевками в степи. Утром четвертого дня въехали в город. Построенный в середине прошлого века, как русская крепость в казахской степи, Атбасар почти не увеличился с тех пор. Домов здесь было не более пятисот. Но улицы содержались в чистоте. В этом городе в середине лета из года в год проводилась ярмарка. Она привлекала народ не только из казахской степи. На ярмарку в былые времена съезжались купцы из Москвы и Петербурга, из Верного и Ташкента, из городов Китая. Одни продавали

скот, который славился далеко за пределами казахской степи, другие везли сюда шелковые и льняные ткани, кожу, посуду и прочие промышленные товары.

Нынче здесь тоже много было товаров, хотя заморских купцов я уже не видел. Но больше всего было скота. И какого скота! Казахские лошади породы каз-моин, крупные и красивые, словно аргамаки. Бараны такие громадные, что в темноте каждого можно принять за теленка. У иных курдюки настолько тяжелы, что овца приседает на задние ноги. Тогда сзади к ней привязывают маленькую самодельную тележку на двух колесиках для поддержания курдюка. По словам знатоков, такая овца весит не менее шести пудов, а курдюк — не менее пятидесяти фунтов.

Скота на ярмарке было великое множество. Только что прошел слух о коллективизации сельского хозяйства, причем говорили разное: кто правду, а кто и сознательную ложь. Словом, владельцы, стремясь избавиться от излишков скота, пригнали на ярмарку столько коров, лошадей и баранов, что предложение намного превысило спрос. Государственные закупщики управились со своими делами в первый же день, торговцы мясных лавок и магазинов тоже закупили скот, и на ярмарке покупателей не стало. Цены сразу упали. Жирная овца, стоившая поначалу пять-шесть рублей, никому не нужна была и за четыре рубля. Томились в ожидании покупателей хозяева отличных коров и лошадей.

С интересом я ходил меж наскоро сколоченных стойл, засматриваясь то на одну лошадь, то на другую — неистребима любовь казаха к домашним животным,— сделал необходимые покупки и уже собрался уходить, как вдруг услышал, что меня кто-то назвал по имени. Оглянулся — ба, да это мой хороший знакомый, агроном Хасен Нурмухамметов. Выпускник Тимирязевской сельскохозяйственной академии, он был родом из Атбасара и теперь работал в здешних местах. Я очень обрадовался Хасену. Мы с ним дружески обнялись и обменялись приветствиями.

Ярмарка меня уже не интересовала, но, следуя долгу приличия, я долго еще сопровождал по ней Хасена. Впрочем, и Хасену хотелось посидеть со мною где-то в тихом месте, подальше от шума и гвалта, который является обязательным атрибутом любой ярмарки.

Теперь я уже не помню точно, где мы тогда сидели с Хасеном. Но мысли, которые высказал он почти сорок лет назад, я хорошо запомнил. А говорил он о том, что в одном только Есильском районе свыше миллиона гектаров пахотнопригодных земель. И каких земель! Надавишь коленом — жир выступит. Толщина чернозема более метра. Какие здесь урожаи можно собирать, если поднять эту целину. А сколько засевается зерновыми в Есиле? Пятьсот гектаров. Жители здешних мест в основном казахи-скотоводы. Дело свое они знают хорошо — доказательство тому скот, который мы видели на ярмарке. Но если бы это умение выращивать сельскохозяйственных животных да соединить с умением выращивать хлеб, какое богатство могло быть создано только здесь, на целине.

Я вспомнил эти мысли Хасена потому, что спустя почти тридцать лет мечта моего друга осуществилась. В 1956 году освоенная целина только одного Есильского района дала девяносто миллионов пудов хлеба.

Лошадей Ковалева я отправил обратно в Карсакпай в первый же день по приезде в Атбасар, но теперь надо было на чем-то возвращаться домой. Хотел я этого или нет, ехать нужно было на лошадях, автомобиля никто не предложит. Впрочем, ехать мне хотелось именно на лошадях. Меня увлекала эта поездка по родным местам.

И снова мне нашелся попутчик—учитель из Атбасара по имени Ережеп Тимиров. За пять рублей мы наняли пароконный тарантас и утром двинулись в путь.

В первой половине дня ехали по ровной, как стол, степи. Потом равнина начала холмиться, а к вечеру вдали замаячила гора Ахан, покрытая сосновым лесом. Начиналась Кокчетавщина. У подножья горы, на берегу озера мы и заночевали.

Проснулся я рано. От озера тянуло прохладой. Темно-зеленой громадой возвышалась над ним гора. Еще выше — голубой шелк безоблачного неба. Я хорошо знал природу Кокчетавщины. Ее синие озера, живописные горы, покрытые могучими соснами, вдохновили не одного поэта на чудесные стихи. И в самом деле, о прелести этих мест, о красоте здешней природы говорить можно только стихами. Но это озеро, эту гору я видел впервые. Взглянул на своего попутчика — Тимиров тоже проснул-

ся, но не встает и тоже молча, не отрываясь, любуется видом, который открылся нашим глазам.

Потом мы, словно сговорившись, вскочили и разом побежали к озеру. Вода, голубая, прозрачная, лениво плещется у берега.

— Пойдем в горы,— предложил Тимиров.

Я пожал плечами:

— Как пойдешь, когда нас отделяет довольно широкая полоса воды.

— А это что? — Тимиров указал на утлую лодчонку, покачивающуюся у берега.

— В это корыто страшно сесть,— ответил я, глядя на мокрое дно лодки.

— Садись, не бойся, я умею работать веслами,— не унимался Тимиров.

Он прыгнул в лодку. Мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним. Тимиров сел на весла, я остался на корме. Однако созерцать красоту пейзажа мне не удалось. Лодка действительно имела течь. Как только вода заливала дно, я вычерпывал ее ладонями.

Тимиров тем временем совсем пришел в хорошее настроение. Он то читал стихи, то пел песни акына Сандыбаева. Говорят, люди, родившиеся в ауле Ибрая Сандыбаева, унаследовали от своего знаменитого сородича песенный и поэтический дар. Видимо, это справедливо. Тимиров был именно оттуда. Позже мне приходилось встречать и других людей из аула Ибрая. Не все из них были поэтами, но пели и играли все.

Тем временем ясное небо заволоклось облаками, а потом и потемнело от выползшей из-за горы тучи. Подул резкий ветер. Озеро, спокойное и ясное, заволновалось, потемнело. Будь у нас настоящая лодка, мы бы, конечно, не опасаясь утонуть, добрались до берега, но ореховую скорлупу, в которой мы отважились плыть чуть ли не через все озеро, раскачивало так, что вода переливалась через борт. Мало мне было той, что протекала через донную брешь!

Порядком перетрусив, мы еле-еле добрались до берега. Так нам и не удалось побродить по лесистым склонам горы.

Вскоре я расстался с Тимировым. Он свернул с дороги и пешком направился в свой аул, благо до него было рукой подать. Мой путь лежал к реке Есиль, или

Ишим, как ее теперь называют. Где-то здесь, на джайляу Уш-Коль, должен был летовать аул моего близкого сородича Мусаипа. С братом жены я давно не виделся, узнает, что я был в этих краях и не заехал — обидится. И я решил разыскать летовку Мусаипа. «Только вот у кого бы спросить, куда мне править лошадей»,— с досадой думал я, оглядываясь по сторонам. Но в степи, поросшей очень густой и высокой травой, было безлюдно. Раздавались только голоса птиц. Не знаю, сколько верст я проехал, когда до слуха моего донеслась песня. Сперва еле слышно, потом все отчетливее и, наконец, так, что можно было разобрать слова. Голоса хором пели:

Во имя свободы
Нам жизни не жаль.
Мы твердо шагаем
В счастливую даль.

Потом я увидел всадников. Они ехали группами, вольным шагом — ни дать ни взять солдаты на ученье. Я подъехал ближе, присмотрелся — казахские юноши, одеты кто во что, но порядок в их конных рядах армейский. Что за армия, думаю, откуда она взялась?

Тем временем от верховых отделился всадник. Седок, ударив ногами по конским бокам, вскачь направил своего гнедого прямо ко мне.

— Ассалау-магалайкум, Саке! Я узнал вас.

Передо мной гарцевал на коне худощавый, загоревший до черноты юноша лет восемнадцати. С его приятного лица не сходила улыбка. Белые зубы так и блистали на коричневом лице.

Мне стало неловко — убейте меня, не помню, кто такой. Но я вежливо ответил на приветствие и спросил:

— Откуда родом-то, свет мой?

— Из Толыбай-Самая.

— А как зовут?

— Хаким Бекишев.

И тогда я вспомнил мальчика, которого встречал лет десять назад. Отца Хакима я хорошо знал и даже бывал в его юрте. За шесть лет я, видимо, не изменился, а Хаким из мальчика превратился во взрослого человека.

— Скажи, Хаким, что это за всадники?

— Это молодежь, которая готовится к военным учениям.

Из рассказа Хакима я узнал, что как раз в это время в районном центре Майбалыке идет сбор молодежи призывного возраста. Для формирования групп допризывников в каждый аул выезжала комиссия военного комиссариата. В каждой такой комиссии есть представитель комсомола. В частности, Хаким—инструктор Майбалыкского райкома комсомола и старший в группе допризывников, которых я сейчас видел перед собою.

— Вы бы видели, Саке, что творится в аулах,— говорил Хаким,— вся молодежь села на коней и ждет не дождется начала учений.

— А зачем армии вся молодежь? — спросил я.

— В том-то и дело, что призвана будет только треть желающих служить. Но джигиты и слушать не хотят, что их очередь еще не подошла. Они сели на коней и не хотят слезать до тех пор, пока не начнутся учения. У каждого есть надежда, что он перед другими отличится сообразительностью и ловкостью.

— Военные учения это не игры,— заметил я,— да и участвовать в них будут только призывники.

— Вот и я им это же говорю. А они не понимают, думают, что я просто не хочу взять всех желающих, и обижаются.

— А сам ты был когда-нибудь на учениях?

— Я еще молод. В армию мне идти только следующей осенью.

— Значит, ты пока только руководишь?

Хаким понял иронию, но ответил скромно:

— Нет, Саке, моя задача проще: собрать новобранцев вместе и проводить их в районный центр.

Я уже пожалел, что съязвил — улыбка сразу сошла с лица Хакима.

— Только что делать мне с джигитами, которые никак не хотят отстать от новобранцев,— задумчиво произнес он, и я понял, что тревожит комсомольского вожака.

Позднее, в Уш-Коле, когда здесь начались сплошные тои в честь тех, кто уходил в армию, я узнал, сколько было обид и ссор из-за того, что одного парня призывают, а его товарища-соседа нет. Обиженные родители приходили к членам комиссии жаловаться, почему, мол, нашего сына не берут, разве он хуже соседского, или конь

у него плохой? Отдадим любого, на выбор, только не обижайте джигита. И тут не помогали никакие разъяснения. Представители военкомата убеждали, что в армии рано или поздно будут служить все мужчины, что сейчас призывается молодежь только такого-то года рождения, а старшие качали головами и продолжали расхваливать своих сыновей. Кое-кто даже просил похлопотать в районе, может, разрешат взять в армию их джигита, что, мол, за беда, если он на два года моложе, ростом-то он выдался вон какой!

И тогда я подумал: какие большие перемены произошли в степи. Раньше казахи панически боялись даже самого слова «аскер» — армия, военный. Это и понятно. В истории казахов нет ни одного документа, свидетельствующего о том, что у казахов когда-либо существовала регулярная армия. Зато сохранились многочисленные свидетельства о том, что кочевые народы, боровшиеся против нашествия орд Чингисхана, предпринимавших захватнические походы в чужие земли, участвовали в войнах все: мужчины и женщины, стар и млад. Думается мне, что отсюда и возникло деление казахского народа на жузы: великий, средний, младший. «Жуз» по-казахски означает «сотня». Надо полагать, что это военный термин. Русское военное казачество ведь тоже делится на сотни. Это деление возникло во времена войн между половцами (кипчаками, по-казахски) и русскими. Есть предположение, что слова «казак» и «казах» одного происхождения. Деление на сотни, а также правое, левое, среднее (центровое) соединения, существует у других кочевых народов — монголов, туркменов, киргиз, арабов.

Сведения о том, что кипчаки во время военных действий формировали сотни, есть и у знаменитого историка Востока Рашид-эд-Дина. Он, например, свидетельствует о том, что сотни кипчаков были в числе защитников хорезмского ханства, когда Чингисхан со своими воинами подошел к берегам Аму-Дарьи. Свидетельством того, что среди участников похода хана Батыя в Европу были кипчаки, служит бытующее в казахском народе выражение, которое в переводе на русский язык звучит примерно так: «Ты едешь на Балканы, мы эти горы тоже видели». Упоминание о том, что в походе русских войск на Берлин в 1761 году участвовало «киргизское войско», есть в романе Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачев». Известно,

что во времена Пугачева казахов тоже называли киргизами.

Время между серединой XVIII и первой половиной XIX века официально считается периодом присоединения Казахстана к России. В эти годы было немало войн и восстаний казахов против колониальной политики царского правительства. Однако регулярной армии у казахов и тогда не было. В боях участвовали те же жузы, сотни. Началом формирования казахской армии можно считать 1916 год, год восстания казахов в Тургайской степи под водительством Амангельды Иманова. Есть данные, по которым предполагается, что повстанческая армия Амангельды, защищавшая свободу и независимость казахского народа, насчитывала около сорока тысяч человек. После Великой Октябрьской революции часть воинов Иманова влилась в Красную Армию и участвовала в установлении Советской власти в Казахстане.

Известно, что в 1920 году в составе Советского Союза была образована Казахская Советская Социалистическая Республика. Осенью того же года, в столице республики — Оренбурге — был создан казахский стрелковый полк. Позднее в Бийске образован кавалерийский казахский полк.

Помню, незадолго до образования бийского полка в мои родные края,— а я тогда был на каникулах в своем ауле,— приехал из губернии военный по имени Джанабиль Найманғожин. В аулах нашего рода Сыйбан насчитывалось свыше двухсот семей. Найманғожин должен был увезти отсюда всего одного новобранца. Люди были в ужасе, всех пугало слово «аскер», никто добровольно не хотел отдавать сына в армию. После долгих споров решили уговорить крестьянина-бедняка Алдабергена Байсакалова отдать в армию Андигожу, одного из своих многочисленных сыновей. Тот согласился, и то после долгих колебаний.

Таково было отношение казахов к воинской службе до двадцатого года. А теперь Хакиму Бекишеву только и остается обещать огорченным родителям, что в районе он похлопочет и их сына призовут в армию, хотя заведомо знал, что джигит непризывного возраста останется дома до положенного срока.

Когда я, наконец, добрался до родного аула, передо

мною открылась та же картина: джигитов призывного возраста провожают в армию. Среди новобранцев и мой двоюродный братишка Шакен Мустафин.

Мать Шакена — Слеусин — женщина простая и добрая, была мне с детских лет самой родной и близкой. Выросла она в нужде, была неграмотной, и призыв Шакена в армию поняла, как отправку на войну.

По старинным казахским обычаям, мужчину, отправляющегося в путь, женщины не провожают. Его напутствуют только мужчины. Женщина же даже пожеланием доброго пути может принести неудачу в дороге. В доме Слеусин мужчин не было, провожала его мать. И теперь, целуя и обнимая меня, она плакала: не будет, мол, удачи Шакену, погибнет он на войне.

Успокоившись, Слеусин принялась просить меня, чтобы я немедленно ехал в Майбалык и просил, чтобы Шакена отпустили домой, иначе будет беда. Как я ни уговаривал ее, как ни объяснял, куда и зачем призвали Шакена, как ни убеждал, что никакой войны нет, Слеусин ничего не поняла. Она твердила одно: поезжай в Майбалык, проводи Шакена.

На следующий день я уехал.

Временные казармы новобранцев — юрты, расставленные в лесу, на берегу озера Майбалык. Лес этот, названный почему-то Айгай-шок — кричащий куст, сейчас действительно наполнился голосами. Голоса командиров, крики родичей, приехавших из аулов целыми семьями с турсуками, полными вареного мяса и баурсаков, привезшие с собою сабы, тугие от кумыса, конское ржание — все слышалось в Айгай-шоке, начавшем оправдывать свое название.

Не обошлось и здесь без обид. Оказывается, все новобранцы делились надвое: одни, и их было большинство, будут участвовать в учениях, вторые должны будут в это время обслуживать их — ухаживать за лошадьми, седлать коней, готовить пищу. Первые — дети бедняков и середняков, вторые — байские сынки. Такое деление, мне лично, показалось тогда ненужным, не говоря уже о том, что оно вносило элемент неприязненного отношения друг к другу среди молодежи, которая так настойчиво рвалась в Красную Армию.

Командовал военными учениями начальник Кзыл-Жарского гарнизона Трифонов, политруком был Абиль-

хаир Азмуканов, секретарем комсомольской ячейки — мой новый юный друг Хаким Бекишев. Коммунистов среди новобранцев, конечно, не было, и потому партийная ячейка создана не была.

Трифонов, старый кавалерист, предпочитающий кавалерию всем другим родам войск, считал казахов людьми, рождающимися в седле. Однако стычка с прирожденными кавалеристами у Трифонова возникла в первый же день учений. Дело в том, что казахи садятся на коня с левой стороны, а согласно воинскому уставу, кавалерист вскакивает в седло справа. Как ни бился командир, джигиты садились на коня слева. А один языкатый парень даже заметил:

— Наши предки испокон века садились на лошадь слева, но это не мешало им быть отличными наездниками.

Не знаю, сам Трифонов внес это исправление в кавалерийский устав или заручился разрешением сверху, только на учениях казахские джигиты садились на лошадей по-своему. И это перестало беспокоить командира потому, что все новобранцы в несколько дней отлично овладели всеми кавалерийскими воинскими приемами.

Однако Трифонов, будучи человеком наблюдательным, задумался: почему же все-таки казахи садятся в седло слева? Он вспомнил, что родина кавалерии — Восток. У Чингисхана, например, не было ни одного пешего воина. В то время как в войсках первого полководца Запада Александра Македонского на конях были только офицеры. В Европе кавалерия появилась значительно позже. Следовательно, и кавалерийские приемы на Востоке складывались веками, прошли многотысячные испытания и сохранились в своем самом рациональном, самом удобном виде.

Увлеченный этой мыслью Трифонов попробовал сам садиться на коня по-восточному обычаю — слева.

— Ведь и верно делают джигиты,— говорил потом Трифонов,— кавалеристу слева-то садиться в седло удобнее! На стремя ступаешь левой ногой, левой рукой берешься за гриву коня, а правая рука и нога свободны. Оружие воин держит в правой руке, значит,в случае внезапного нападения ему сподручнее пустить его в ход.

Трифонов был в восторге от своего открытия, сделанного с помощью казахских джигитов-новобранцев. Он

загорелся желанием во что бы то ни стало добиться изменения в кавалерийском уставе — воин на коня должен садиться слева.

Командир был в восхищении и от меткости стрельбы молодых казахов.

— Ястребиное зрение,— говорил он, глядя, как парни один за другим стреляют только в цель

Стрелковый тир был сооружен в самом конце казармы, которая, как я уже говорил, состояла из юрт, расставленных ровными рядами на берегу озера. В свободное от учений время джигиты, ободренные похвалой командира, здесь соревновались в меткости. Старший в тире Хаким Бекишев — сам отличный стрелок.

Обычная мишень — это белый квадрат с кольцами, обведенными тонкой чертой и черным кружком в центре. В этом тире вместо мишени висело изображение головы тогдашнего премьер-министра Англии Остина Чемберлена. Известно, что он был ярым врагом Советской власти, и имя его стало символом душителя свободы и демократии. В газетах писали о нем статьи, разоблачая козни Англии против молодой Советской республики, известные художники рисовали на «твердолобого Чемберлена» карикатуры, у казахского поэта Аскара Токмагамбетова было стихотворение, в котором повторялась строка:

Стреляй Чемберлену в лоб!

Хаким Бекишев, вручая новобранцу в тире винтовку, неизменно повторял:

Бей Чемберлену в лоб!

И джигиты стреляли именно в лоб.

Вспоминая об этих новобранцах, метко стрелявших в лоб Чемберлена, вспоминая совсем юного Хакима Бекишева, я не могу не отвлечься и не перенестись мысленно во времена более поздние, к памятному 1943 году, когда мы встретились с ним на Белорусском фронте.

Кадровый военнослужащий, он начал войну с немецко-фашистскими захватчиками в звании капитана и с первых дней был на фронте.

Командовал армией Первого Белорусского фронта генерал Галицкий. Меня привезли в ставку командующего и представили генералу. После короткого разговора я

попросил разрешения побывать на передовой линии боя. Генерал вызвал адъютанта и отдал соответствующее распоряжение.

— А в сопровождающие я вам дам казаха,— сказал Галицкий,— есть у меня в штабе офицер, отличный снайпер.

Я поблагодарил генерала. Тем временем адъютант вернулся в сопровождении человека, лицо которого мне показалось очень знакомо.

— Знакомьтесь,— сказал Галицкий,— подполковник Бекишев.

— Саке! — только и воскликнул Бекишев.

— Хаким! — только и мог в ответ произнести я.

Мы обнялись.

Сейчас не место рассказывать подробности этой памятной встречи на фронте Великой Отечественной войны. Когда-нибудь я напишу об этом повесть. Сейчас мне хочется рассказать об одном эпизоде, который имеет прямое отношение к истокам воинской доблести Хакима Бекишева.

Замаскированный вездеход долго петлял по лесным дорогам, пока не остановился в чащобе. Мы с Хакимом вышли из машины и углубились в сосновый лес. Но вскоре впереди нас сосны начали редеть, меж стволами пробивались белесые полосы света. Очевидно, солнце над горизонтом уже поднялось.

«Лес кончается»,— подумал я. И действительно, через полчаса мы приблизились к опушке леса.

— Осторожно,— предупредил меня Хаким,— вражеские окопы на расстоянии пятисот метров.

В траншеи, вырытые нашими солдатами у опушки леса, можно было войти невидимым с вражеской стороны — конец окопа углублялся в лес. Поочередно мы спрыгнули в траншею и пошли по окопу. По тому, как здоровались с Бекишевым солдаты и офицеры, я понял, что он здесь бывает часто, хоть и числится штабным. В окопе люди были заняты самыми мирными делами — говорят, третий день не слышно ни одного выстрела. Немцы затихли, словно их и нет.

Но не прошло и часу, как с противоположной стороны поляны послышались звуки незнакомой односложной мелодии.

Бекишев выглянул из окопа.

— Смотрите, братцы,— сказал он,— психическая атака.

Над вражеским окопом во весь рост стоял немецкий солдат и наигрывал на губной гармонике. Вслед за ним из траншеи вылезали и другие.

— Стреляй! — приказал Бекишев стоящему рядом с ним офицеру.

Тот поднял автомат.

— Бей в лоб Чемберлена!

— Что вы сказали? — переспросил офицер.

— Бей в лоб, говорю!

Раздался выстрел. Гармоника странно взвизгнула и умолкла. Немец рухнул в окоп. Но те, кто вылез вслед за ним, не поспешили укрыться в траншее, а ринулись вперед на наши окопы. В траншее, где мы стояли, все пришло в движение. По бегущим немцам наши солдаты открыли перекрестный огонь. Они все падали и падали. Несколько человек повернули было обратно, но пули и их догнали. Бой длился буквально несколько минут. Когда снова наступила тишина, я выглянул из окопа и стал считать убитых. Четырнадцать, пятнадцатый тот, кто играл на гармонике, свалившийся в свой окоп.

Так окончилась эта «психическая атака», бессмысленная смерть, на которую не раз обрекало фашистское командование рядовых немцев, одетых в солдатские шинели.

Мы уже возвращались в штаб армии, когда Бекишев задумчиво произнес:

— Помните, Саке, военные учения в Майбалыке?

— Бей Чемберлена в лоб! — повторил я фразу, которой напутствовал тогда Хаким каждого новобранца, взявшего в руки винтовку.

— Теперешний Чемберлен — Гитлер,— ответил Хаким, и в голосе его я услышал металлические нотки.— Тогда мы стреляли в нарисованного, символического Чемберлена. Теперь бьем живого Гитлера. И добьем его. В его же логове добьем.

Стреляющие в лоб Чемберлена казахские юноши, которые тогда, в 1929 году, еще и не понимали толком, что такое военные учения, явились, образно говоря, ручейками, питавшими потом, на большой войне, героизм и мужество воинов-казахов. Плечом к плечу с многонациональными братьями своими они отстояли честь и незави-

симость Родины, с боями дошли до Берлина и водрузили красное знамя над поверженным рейхстагом. Среди героев штурма рейхстага был и мой земляк Қошкарбаев.

В годы Великой Отечественной войны немеркнущую славу обрели сотни, тысячи казахских воинов. Это те, кто когда-то «стрелял в лоб Чемберлену», их младшие братья и сестры. Свыше ста казахов удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это и такие, как прославленный летчик Талгат Бегельдинов, ныне живущий и работающий в Алма-Ате, и доктор филологических наук Малик Габдуллин, и такие, как Маншук Маметова и Алия Молдагулова, отдавшие за Родину самое дорогое, что есть у человека,— жизнь.

— Около сорока тысяч воинов-казахов удостоено высоких правительственных наград. Среди них и Хаким Бекишев. Он ныне пенсионер, живет в Петропавловске.

Новые голоса

Лето кончилось. Я был доволен поездкой по родным местам. Теперь бы мне нужно было возвращаться в Ленинград на учебу. Однако я снова вынужден был по многим бытовым и семейным обстоятельствам отстать от своих однокурсников и вернуться на родину.

...Только я привез семью, как в наш аул ко мне в гости приехал член бюро окружного комитета партии Аманбай Қаспакпаев. Я с большим уважением относился к этому человеку. Сын рабочего Спасского медеплавильного завода, он грамоту познал только при Советской власти. Тогда же начал работать в аульном Совете. Учился на различных партийных курсах, много занимался самообразованием и в практической работе показал себя хорошим организатором. В народе он слыл человеком грамотным, хорошо знающим русский язык, прекрасно разбирающимся во всех политических вопросах.

С Аманбаем мы часто прогуливались по лесу — мой аул раскинулся в лесистой местности — и говорили о том, о сем. Но однажды Аманбай заговорил как-то необычно. Сухость, некоторая официальность почувствовалась в его словах. Начал он с общеизвестного положения В. И. Ленина по крестьянскому вопросу. «К чему бы это?» — подумал я, но собеседника не перебил. А он все

говорил и говорил о том, что настало время больших перемен в ауле, что крестьянство должно вступить на путь коллективизации, а класс кулаков и баев подлежит ликвидации.

— Не слишком ли ты спешишь,— попробовал я возразить Каспакпаеву,—для проведения сплошной коллективизации сельского хозяйства нужно специальное постановление Центрального Комитета партии.

— Такое постановление будет опубликовано,— загорячился Аманбай.— Местные партийные организации уже знают о том, что оно принято, и готовятся к началу большой работы.

Он умолк. А я подумал о том, как много нужно будет сделать нам, коммунистам, чтобы люди, которым коллективизация не выгодна, не смогли затемнить головы бедняков, пытаясь скомпрометировать самую идею колхозов.

— А дело это нелегкое,— задумчиво продолжал Аманбай.— Как будет проходить коллективизация, смутно представляют себе даже некоторые партийные работники. А что же говорить о темных кедеях и батраках?

Снова помолчали. Потом Аманбай поднял руку и похлопал меня по плечу. Я подумал о том, что сейчас мне станет ясно, зачем он все это говорит. И не ошибся.

— Так-то, Сабит, придется распрячь лошадей, которые мчали тебя к вершинам знаний.

— А что я должен делать? — спросил я, сам еще не зная, принять или не принять это предложение.

— Как что? Вести партийную, пропагандистскую работу.

— А точнее?

— Можно предложить тебе должность редактора окружной партийной газеты. Хочешь — будешь преподавателем партийной школы. Словом, найдем что-нибудь подходящее. Окружной комитет решит.

Тогда я еще не знал, что окружной комитет партии, который находился в Петропавловске, решит мою судьбу по-своему. Он утвердил меня сразу на три должности: редактором газеты «Кенес аулы», заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды окружкома партии и преподавателем совпартшколы. Для солдата партии решение любого партийного органа — закон. Однако я несколько растерялся. Предположим, я справ-

люсь с работой редактора газеты — опыт у меня есть. Допустим, что из меня в конце концов получится заместитель заведующего отделом окружкома. Но как я буду читать лекции слушателям партийной школы, да еще о коллективизации сельского хозяйства, когда и сам не имею ясного представления, как она будет проходить?

— Материалы пятнадцатого съезда партии читал? — спросил меня секретарь окружкома.

— Читал. И вместе с тем я прошу понять меня правильно.

Брусницын, не до конца выслушав мои доводы против преподавательской работы, заговорил о том, что после съезда коллективизации партийные органы на местах приступили к подготовке кадров для села. В аулах людей не хватает, поэтому нынешний набор слушателей партийной школы сплошь состоит из казахов, приехавших из сел. Русский язык они знают плохо, в политике разбираются еще хуже. Нужно вооружить их знаниями основ текущей политики, дать представление о предстоящей коллективизации сельского хозяйства.

— Со слов Каспакпаева я понял, что ты, товарищ Муканов, именно такой человек, который может сейчас помочь партии,— заключил Брусницын.

Было ясно, что возражать дальше бесполезно. Спросил Брусницына, с кем посоветоваться относительно программы занятий в школе. Тот назвал фамилию заведующего сельскохозяйственным отделом окружкома Костенко. Я поблагодарил секретаря и вышел из его кабинета.

Костенко, немолодой, очень просто одетый человек, говорил по телефону, когда я зашел к нему. Он несколько раз повторял одну и ту же фразу и устало закрывал глаза. Видимо, на другом конце провода его не слышали. Потом он повесил трубку, и я коротко рассказал, зачем пришел. Вместо ответа он протянул мне книгу, покопался в ящике стола и достал список фамилий авторов и названий трудов.

— Вот все, чем могу помочь,— Костенко снова устало прикрыл глаза,— читай, готовься, лекции обязательно конспектируй. Иначе не будешь укладываться в академические часы.

Я поблагодарил Костенко и ушел. Тревога моя не унималась. Я чувствовал себя так, словно меня, едва-едва научившегося плавать, бросили в воду в открытом

море. Зато в редакции газеты «Кенес аулы» сразу почувствовал облегчение. Аппарат подобрался крепкий, работники способные, молодые. На пост ответственного секретаря редакции я пригласил Шахмета Хусаинова, ныне известного драматурга. Он тогда уже писал рассказы и одноактные пьесы. Вместе с тем Хусаинов проявлял отличные журналистские способности, стал хорошим секретарем. Короче, выпускать газету мне не составляло никакого труда.

В те годы «Кенес аулы» была очень популярна в народе. В округе не было ни одного аулсовета, откуда бы мы ни получали селькоровских писем. Материалы эти сразу нельзя было печатать в газете, над ними предстояло много работать, но они широко информировали редакцию и, следовательно, читателей о сельской жизни, о переменах, которые происходили в ауле.

В совпартшколе меня ждала еще одна неожиданность. По штатному расписанию в классах первого и второго курсов должно быть несколько преподавателей политграмоты. Окружной комитет партии утвердил пока только меня одного.

— Придется вам, товарищ, одному читать на обоих курсах,— сказали мне в дирекции школы.

Я совсем сник. Однако делать было нечего. Пришлось читать на всех курсах.

Помню свою первую лекцию в большом зале, где собрались слушатели всей школы. Лекция эта была вступительная, и потому легко можно представить, как я волновался. Всматривался в каждое лицо, по глазам пытаясь понять, доходят ли мои слова, так ли я им читаю? И представьте себе, ничего, слушали внимательно. Второй час сидели даже с еще большим интересом.

Мало-помалу я преодолел робость перед огромной аудиторией, почувствовал себя увереннее, стал читать свободнее, слушатели школы даже полюбили наши занятия политграмотой. И тут меня снова вызвали к первому секретарю окружного комитета партии Брусницыну.

— Слышал о твоих успехах в совпартшколе,— сказал секретарь, протягивая мне руку,— молодец, товарищ Муканов!

Я ничего не ответил, а сам подумал: «Не знаешь ты, чего мне это стоило!..»

— Вот и решили мы,— продолжал Брусницын,— дать тебе еще одну нагрузку.

— Помилуйте, товарищ Брусницын, я и с теми, что уже есть, едва-едва справляюсь,— взмолился я.— Больше того, если говорить откровенно, я ведь лишь числюсь, а не работаю заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды окружкома партии.

— Знаю,— отрезал Брусницын,— и об этом разговор будет в другой раз. А сейчас тебе нужно читать тот же курс, что и в совпартшколе, у трактористов.

Я вспомнил, что в Кзыл-Жаре недавно открылись курсы трактористов. Из аулов и сел по комсомольским путевкам съехалось около восьмисот парней. Среди курсантов было много казахов из моего эля, я уже не раз встречался с ними в городе.

— Так вот,— продолжал Брусницын.— Лекции по политграмоте в казахских группах поручается читать тебе, товарищ Муканов.

Я попытался что-то возразить, но секретарь под конец приготовил главный довод:

— Окружком не будет менять своего решения.

Так я стал преподавателем политграмоты и на курсах трактористов. Читатель понимает, что я буквально разрывался на части, но, каюсь, душа моя продолжала оставаться в редакции. К газете тянулись местные писатели, здесь читались и обсуждались новые произведения, люди делились друг с другом своими удачами и огорчениями.

В начале 1930 года в Петропавловске была создана писательская организация — кружок, вокруг которого сгруппировалось около сорока начинающих писателей и молодых людей, желающих писать. Мажит Даулетбаев, Шахмет Хусаинов, Ельжас Бисенов тогда уже были известны читателям. Произведения молодых писателей и раньше печатались в «Кенес аулы», а теперь литературный кружок готовил уже целые страницы. Но и такое общение с читателями скоро перестало удовлетворять молодых литераторов. Кружок решил выпустить альманах. Писатели даже придумали ему название «Жарыс», в переводе на русский язык «Соревнование». И по замыслу этот журнал должен был отражать наше хорошее, творческое соревнование.

Именно в это время в Петропавловск приехал студент Алма-Атинского педагогического института, ныне известный поэт Абдильда Тажибаев. Высокий, красивый юноша, очень искренний и порывистый, внес большое оживление в работу писательского кружка. Я любовался Абдильдой, когда он, откинув со лба упрямо свисавшие черные свои волосы, читал стихи. Читал громко, с упоением. Стихи были несовершенными по форме, в них порою туманно, не до конца ясно выражалась основная мысль, но чувствовались искреннее волнение и нежная душа поэта.

В литературной среде появился тогда школьник, подросток Есмагамбет Исмаилов. Его стихи часто печатались в газете и уже обращали на себя внимание. Кто бы мог тогда сказать, что пройдут годы и любящий стихи подросток станет талантливым литературоведом, профессором, членом-корреспондентом Казахской Академии наук.

Так шла моя жизнь, напряженная, порою очень трудная, но наполненная творческими и семейными радостями. Я продолжал писать стихи, они нравились и моим товарищам по труду, и читателям. Жена подарила мне второго сына, которого я решил назвать Маратом в честь трибуна великой французской революции, редактора знаменитой газеты «Друг народа».

В Петропавловске знали, что в 1930 году краевой комитет партии намечает провести первый съезд рабоче-крестьянских корреспондентов. Вскоре из Алма-Аты пришло приглашение. Округ должен был послать на съезд десять корреспондентов. В их числе пригласили и меня.

Добираться из Петропавловска в Алма-Ату поездом или лететь самолетом нынче совсем просто. Менее двух суток пути железной дорогой или часов пять воздухом. Другое дело в те годы. Пересадки, ожидания на вокзалах — Кинель, Оренбург, Арысь. Но я даже тайно обрадовался такому долгому пути: побываю в Оренбурге. Как-никак в этом городе прошли лучшие годы молодости. Здесь я учился на рабфаке. К тому же был у меня в Оренбурге дружок, начальник милицейской школы Сулеймен Ескараев. Давненько я с ним не виделся. Теперь, наконец-то, представился случай.

Ескараев был очень своеобразным человеком, и о нем мне хочется рассказать подробнее. Сын железнодо-

рожника и сам рабочий, он был участником гражданской войны. Его глубокая убежденность в том, что спасение казахскому народу может принести только Советская власть, делала Ескараева непримиримым к врагам революции. Он жестоко расправлялся с бандами белых и басмачей. Годы его молодости, пахнущие порохом и пылью фронтовых дорог, наложили печать и на внешний облик моего друга: сухое, темное лицо с пронзительными, холодновато поблескивающими глазами делало его суровым даже тогда, когда он шутил. Впрочем, жизнь Сулеймена Ескараева была нелегкой и после фронтов. Не только наблюдение за порядком в городе лежало на плечах курсантов школы милиции и, прежде всего, самого Ескараева. Оренбург, как известно, в годы гражданской войны был центром контрреволюционного казачества. Затаившиеся беляки прятались по углам и в тридцатые годы. В городе то там, то здесь орудовали шайки бандитов. В условиях, когда редкая ночь обходится без происшествия, будешь суровым!

Сулеймен Ескараев встретил меня очень дружески. В первый же вечер он без умолку рассказывал всякие необыкновенные истории — хоть приключенческий роман пиши,— вспоминал годы гражданской войны, а я слушал и дивился: как только этот человек жив остался! Утром следующего дня Сулеймен предупредил меня:

— Не обижайся, дорогой гость, убегаю. Будешь видеть редко. Служба у меня такая.

Так мне больше и не удалось поговорить с Сулейменом. Забежит на минуту домой и опять в милицию. Дождался я его только под утро, поблагодарил за гостеприимство, попрощался и снова в путь. Нельзя же мне было опаздывать на съезд корреспондентов.

Я опять в вагоне: из Оренбурга до Арыси и дальше— в Алма-Ату.

Железнодорожная ветвь Турксиба, начинавшаяся от Арыси и направленная на юго-восток, закончена строительством в тридцатом году. Этой дорогой я ехал впервые, и потому весь путь, который пролег по землям Семиречья вдоль отрогов Тянь-Шаня, вся поездка в Алма-Ату отчетливо врезались в память.

Мы ехали, а справа тянулась горная цепь. И по мере того, как мы приближались к ней, горы становились выше. В Северном Казахстане еще змеились последние по-

земки, таянье снега еще и не начиналось, а здесь зеленела яркая молодая трава, сияло солнце, синело небо.

Сейчас поезд из Арыси в Алма-Ату идет менее суток, а тогда паровоз не торопился, словно трусил спокойной рысцой, волоча за собою длинный состав лязгающих буферами вагонов. В дороге нам предстояло пробыть трое суток. Было время пристально вглядываться в новые места.

Ближе к Чимкенту поезд начал выделывать замысловатые петли — путь лежал по всхолмленной местности. Я не отходил от окна и смотрел на зеленеющие холмы. Дальше они становились все выше. Перед Алма-Атой на горизонте показалась величественная гряда снежных гор. Самое яркое зрительное воспоминание этой поездки — сочная зелень долины, алмазный блеск недосягаемых вершин и ослепительное солнце. Наступали сумерки, краски становились гуще, но очертания гор оставались неизменными.

В Алма-Ату мы прибыли под вечер. Тогда городской станции еще не было. От вокзала до города — восемь километров. Справа — роща, слева — степь, ни домов, ни юрты.

— Ты, сынок, осторожнее,— напутствовала меня старуха, ехавшая с внуком из Чимкента,— в роще нынче пошаливают. Бывает, что и убивают.

«Нечего сказать, приятное предупреждение»,— подумал я. Нанял тарантас — вереница повозок самых разных величин и фасонов стояла прямо у вокзала — и двинулся в город.

Тем временем стало совсем темно. Луна еще не взошла, но небо сверкало россыпью крупных звезд. Отчетливо была видна темно-синяя гряда гор. Западный край ее чуть светлел. Мы не проехали и четверти пути, как над темной зубчатой линией показался золотой рог. Он увеличивался, становился ярче и всплыл полной луной над грядой Алатау. В ее ярком свете матово засеребрились снежные вершины.

Я так залюбовался синими, фиолетовыми, серебристыми красками южной ночи, что не заметил, как тарантас въехал в город.

Мы ехали вдоль аллеи. С обеих сторон стеной стояли могучие тополя. За ними — одноэтажные дома. Света

мало — над воротами кое-где тускло мерцали керосиновые фонари.

— По какой улице мы едем? — спросил я возницу.

— По Лепсинской,— ответил тот и добавил, повернув ко мне улыбающееся лицо: — Красивая улица, правда?

Я кивнул головой, а сам стал вспоминать все, что знал об Алма-Ате.

Меньше ста лет этот город возник на далекой окраине царской России как укрепление Верное. Этим именем стал называться и город, выросший из военного крепостного укрепления. Вспомнил я и то, что местность эта подвержена землетрясениям, потому-то и застраивался город по преимуществу одноэтажными, рублеными из круглого леса, домами, благо леса этого окрест было предостаточно.

Мои раздумья прервал возница:

— Куда прикажете везти вас?

Я назвал адрес Габита Мусрепова.

В то время Мусрепов заведовал отделом искусства в Народном комиссариате просвещения, а года два назад на страницах газеты «Энбекши-Казах» между мною и Габитом разгорелась полемика по некоторым литературным вопросам. И хотя оба мы понимали, что личные отношения никак не должны влиять на выполнение долга общественного, с тех пор между нами возникла какая-то отчужденность. И вот теперь я ехал и стыдился мысли, что останавливаться мне придется все-таки у Габита, потому что, кроме него, в городе нет ни одного знакомого человека, а в гостиницу, конечно, сразу не попадешь.

Так, думая о детстве, проведенном вместе с Габитом, о дружбе, которая нас связывала много лет, и о литературных разногласиях, внесших холодок в наши отношения, я доехал до дома, где жил Габит.

Встретил меня он приветливо, дружески. И я вдруг почувствовал, как на душе у меня теплеет. Словно не было никаких размолвок, словно встретился я после долгой разлуки с прежним, милым моему сердцу Габитом, о котором скучал в этой долгой разлуке.

Проговорили мы с ним всю ночь напролет. Многое рассказал мне тогда Мусрепов. Из рассказов его я понял, что в писательской среде продолжаются разногласия, а многолетние трения между редактором газеты «Энбек-

ши-Казах» Габбасом Тогжановым и председателем Союза писателей Сакеном Сейфуллиным вылились в открытую вражду. Пользуясь преимуществом редактора краевой газеты, поддерживаемой Голощекиным, Тогжанов никогда не упускал случая упрекнуть Сейфуллина, поставить ему лично в вину любую ошибку писательской организации. Тогжанов даже попытался использовать для сведения счетов с Сейфуллиным чистку рядов партии, которая повсеместно проходила в те годы.

— Представляешь себе зрелище,— говорил Габит Мусрепов,— большой зал педагогического института битком набит народом. На трибуне — Тогжанов. Его речь — одни обвинения в адрес Сакена. Тенденциозно были свалены в одну кучу и его некоторые ошибки и, главным образом, мнимые грехи. А из зала то и дело слышны возгласы: «Неправда!», «Сейфуллин настоящий большевик!», «Народ верит Сакену!»

И Габит Мусрепов рассказал, как сторонники Сейфуллина, честные коммунисты, взяли под защиту широко известного уже в те годы писателя, автора первых книг на казахском языке о гражданской войне в Казахстане, о советизации казахской степи, о строительстве новой жизни. И Тогжанову было выдано по заслугам. В результате, некоторым руководящим работникам крайкома во главе с Голощекиным не удалось навязать коммунистам решение об исключении Сакена Сейфуллина из рядов партии.

— На этом собрании я понял,—заключил Габит Мусрепов,— как народ любит и чтит Сакена Сейфуллина.— И еще мне стало ясно: люди ненавидят Тогжанова.

Насколько Габит был прав, я убедился в первый же день открытия в Алма-Ате съезда рабочих и крестьянских корреспондентов.

После того, как Габбас Тогжанов сделал доклад об очередных задачах печати и начались прения, на трибуну вышел человек лет тридцати пяти, могучего телосложения, с широким и смуглым лицом. Он положил перед собой большие, натруженные руки и начал говорить:

— Я не литератор и не учитель, я рабочий Карсакпайского медеплавильного завода Ирыспай Мамбетбаев. Но газеты и журналы читаю, иногда пишу заметки, знаю, какой должна быть наша рабочая газета, какими руками она должна делаться.

И Мамбетбаев стал горячо говорить о том, что авторитет пролетарской печати, газеты «Энбекши-Қазах» принижается тем, что у руководства ее находится сын крупного бая, бывший сторонник алаш-ордынцев.

— Поэтому, товарищи, я считаю, что Габбасу Тогжанову не место в редакции республиканской газеты. Вношу предложение просить краевой комитет партии отстранить его от руководства «Энбекши-Қазах»,— заключил оратор.

— Правильно! — закричали в зале.— Тогжанова долой!

Заседание съезда вел второй секретарь краевого комитета партии Измукан Курамысов. Нам, сидевшим в зале, было ясно, что секретарь крайкома растерян. Он не ожидал такого предложения и не знал, что же сейчас предпринять. Курамысов лихорадочно схватился за колокольчик, но его тонкий голосок потонул в шуме, который стоял в зале.

Когда крики поутихли, с места встал невысокий, худой человек и, подняв руку, произнес:

— Прошу слова.

Головы участников съезда повернулись в его сторону. Я тоже посмотрел и сразу узнал: это был Шаяхмет Айтпаев, аульный активист из нашего уезда. Курамысов кивнул головой, и мой земляк пошел к трибуне.

Говорил он сбивчиво и длинно, но по его рассказу выходило, что отец Тогжанова Садуакас и брат Нурке действительно крупные баи, снискавшие дурную славу в аулах. Габбас не только не порвал связи с отцом и братом, но и своевременно предупредил их о том, что Советская власть будет конфисковать скот у крупных баев, и поэтому они должны спешить распродать, что можно.

— Разве вправе такой человек занимать пост редактора нашей пролетарской газеты? — заключил оратор, обращаясь вначале к залу, а потом к президиуму.

В зале снова зашумели. Председательствующий опять взялся за колокольчик. Из первых рядов поднялся высокий пожилой казах и, подождав, когда утихнет шум, сказал:

— Поддерживаю предложение: просить краевой комитет партии отстранить товарища Тогжанова от руководства газетой «Энбекши-Қазах».

— Правильно. Поставить предложение на голосование,— закричали в зале.

Второму секретарю крайкома ничего не осталось сделать, как поставить предложение на голосование. Но тут он совершил ошибку.

— Есть два предложения,— неуверенно прозвучал голос Курамысова,— первое — оставить Тогжанова на посту редактора...

Договорить ему не дали. Зал неистовствовал. Люди кричали, что двух предложений и особенно такого предложения не было, что это нарушение внутрипартийной демократии. Делегаты требовали голосовать только за предложение Ирыспая Мамбетбаева.

Проголосовали. За предложение о снятии Тогжанова голосовали все делегаты съезда рабоче-крестьянских корреспондентов. Может, кто-нибудь и не поднял руку, но воздержавшихся или тех, кто голосовал бы против, тоже не было.

Предложение считалось принятым единогласно.

Председательствующий объявил перерыв на два часа.

Позднее я узнал, что во время перерыва некоторые делегаты-коммунисты были приглашены в крайком. Голощекин гневался. Он требовал от них выступить против только что принятого предложения о снятии с поста редактора Габбаса Тогжанова. Люди молчали, опустив головы.

— Как надо понимать это молчание,— гремел Голощекин,— как нежелание выполнять указания крайкома? Крайком — это партия!

Коммунисты молчали. Заговорил один Курамысов:

— Вы, Филипп Исаевич, сами должны прийти на съезд и поставить вопрос о пересмотре предложения делегатов.

Другого выхода, видимо, у Голощекина не было. Он явился на съезд рабоче-крестьянских корреспондентов, произнес пламенную речь в защиту Тогжанова и, вопреки воле делегатов, все-таки добился отмены принятого решения.

После съезда второй секретарь крайкома Измукан Курамысов через помощника пригласил меня к себе в кабинет. «Чтобы это могло значить?» — подумал я. Дело в том, что познакомились мы с Измуканом еще в

Оренбурге, были в близких отношениях, когда жили в Кзыл-Орде. В те времена, когда мы часто встречались, отношение к людям, подобным Тогжанову, у нас было одинаковое. Теперь я видел, что во взглядах Курамысова кое-что изменилось. Похоже, что в отношении редактора газеты он клонился на сторону Голощекина, хотя не мог не видеть, как первый секретарь крайкома грубо попирает внутрипартийную демократию.

Курамысов встретил меня приветливо и очень любезно. Мне он показался каким-то нарочито веселым. Вообще смеялся он часто, любил веселую шутку. Но взрывы хохота в разговоре, который между нами состоялся, мне показались, по крайней мере, неуместными.

Курамысов повел со мною разговор о том, что Сакен Сейфуллин действительно ведущий казахский писатель-революционер, однако нельзя забывать о том, что он выходец из класса угнетателей, а, мол, у тебя, Сабит, писателя-пролетария, притупилось классовое чутье.

— Но ведь Тогжанов, как оказалось, тоже байский сын,— возразил ему я.

— Цену Тогжанову мы знаем,— ответил Курамысов и снова весело расхохотался.— Беда в том, что пока его некем заменить. Вот Садык Нурпеисов, что учится в Москве, окончит Институт Красной профессуры, тогда и решим вопрос о Тогжанове.

Уже провожая меня, Курамысов как бы невзначай сказал, что у крайкома есть мнение перевести меня на работу в Алма-Ату. Я стал возражать, говоря, что мне нравится Петропавловск, я привык к коллективу редакции газеты, да и преподавательская работа у меня идет хорошо.

— К тому же,— заключил я,— мне нужно завершить учебу в Ленинграде.

— Об этом поговорим в Алма-Ате,— прервал меня Курамысов.

Я понял, что мой перевод на другую работу предрешен. Сразу вспомнил дошедшие до меня разговоры о том, что, мол, Сабит имеет прямое отношение к выступлению на съезде рабоче-крестьянского корреспондента Ирыспая Мамбетбаева. Такие разговоры злили меня потому, что до съезда я даже не встречал этого человека. Другое дело, что его точка зрения полностью совпадала с моею.

— Значит, меня снимают с работы? — спросил я.

— Коммунисты должны неукоснительно проводить политику партии,— ответил Курамысов.

— Это не политика партии. Это ваше политиканство.

Курамысов как-то сразу весь напружинился, словно приготовился к прыжку:

— Что ты сказал?

Я повторил слово в слово.

— А если бы эти слова услышал Филипп Исаевич?

— При случае я и ему их повторю.

Курамысов даже покраснел от злости.

— Не на те силы опираетесь, товарищ Курамысов,— я чувствовал, как во мне закипает ярость,— опора партии не Тогжановы, а Мамбетбаевы, люди, которые сидели в зале заседания съезда.

Курамысов ничего не ответил. Я вышел из его кабинета не простившись.

Уэлтон Стивенсон ошибся

В Петропавловск я возвратился только через полтора месяца. За это время в городе произошли перемены. Советская власть пошла в активное наступление на оживившиеся в период нэпа капиталистические элементы. В аулах имущество и скот баев передавались в сельскохозяйственные артели, в городах товары и ценные вещи нэпманов продавались с торгов. Этого, нетрудовым путем нажитого добра было так много, что коврами, енотовыми шубами, хрусталем, китайским фарфором пришлось забить все складские помещения города. Цена на вещи так упала, что один мой знакомый купил громадный шелковый тканый ковер за сумму, не превышающую стоимость теленка.

Город чем-то напоминал времена военного коммунизма. Тюрьма не вмещала арестованных, оказавших сопротивление при конфискации имущества.

В доме у меня гостил Омар, сын родной сестры отца. Собственно, не гостил, а искал правды, думая, что я большой человек. Лет ему было под пятьдесят, всю жизнь человек трудился не покладая рук и, естественно, имел скромное хозяйство.

По словам двоюродного брата выходило, что сплошная коллективизация кое-где идет в приказном порядке,

много неразберихи с обобществлением личного имущества. В колхозы записывают всех подряд, в общественную собственность обращали все имущество крестьянина, до последнего козленка. Тех, кто возражал против такой коллективизации, считали классовыми врагами и арестовывали наряду с крупными баями и кулаками, оказывавшими сопротивление власти, конфисковавшей имущество.

— Скажи, Сабит, разве это правильно? — спрашивал меня Омар.— Разве Советская власть может допустить это?

Я как мог объяснял брату, что допущено нарушение условий коллективизации, что я лично читал в газетах о том, что в личном пользовании крестьянина, вступающего в колхоз, остается лошадь, корова, мелкий скот, летняя и зимняя юрты, домашнее имущество и небольшой надел земли под огород.

Омар слушал меня, качал головой и даже прослезился.

Но слова тут не помогали. Нужно было что-то предпринимать, чтобы не допустить на будущее новых ошибок. Я решил пойти в окружной комитет партии.

В окружкоме Брусницына не оказалось — уехал в командировку по районам. Меня принял Костенко, временно замещавший первого секретаря.

Пересказывая ему все, что я узнал от брата, я замечал, как Костенко все более нервничал, однако моего рассказа не перебивал.

— Ты закончил? — спросил он, когда я умолк.

Я утвердительно кивнул головой.

— Ты неправильно понял постановления партии и правительства о коллективизации. Прочитай их еще раз. Да смотри не пересказывай больше никому все, что говорил сейчас мне.

Я попробовал возражать.

— Перечитай материалы пятнадцатого съезда,— упрямо повторил Костенко.

— Я редактор окружной газеты и не могу не знать основных положений съезда коллективизации.

— И все-таки ты не дорос до того, чтобы диктовать свое мнение окружкому.

— Я не диктую, а прошу помочь мне разобраться в том, что творится на местах.

— Ты бросишь свои оппортунистические выходки,— уже перешел на крик Костенко,— или добьешься, что мы поставим вопрос о тебе на бюро.

Я умолк. Было тягостное ощущение досады. Зачем я пошел к Костенко? Почему не подождал Брусницына?

А в редакцию газеты продолжали поступать жалобы о всевозможных перегибах при коллективизации сельского хозяйства. Я все более и более утверждался в своем мнении, что сельские коммунисты чего-то не поняли, что-то не так делают. В один из таких дней мне позвонили из окружкома.

— Здравствуй, Сабит,— узнал я голос Брусницына,— срочно зайди ко мне.

«Костенко нажаловался»,— мелькнуло у меня в голове. Я оделся и пошел в окружком.

В кабинете Брусницына уже сидел мой близкий товарищ Нуруш Данияров, секретарь партийной организации первого в Кзыл-Жарском уезде зернового совхоза «Чагала». Я очень обрадовался этой встрече. Смуглый, круглолицый, с синими глазами, Нуруш счастливо соединял в себе умную рассудительность, спокойствие, очень большую работоспособность с безудержным весельем. Довольно образованный (он еще до революции окончил русско-киргизскую школу и был сельским учителем). Данияров был хорошим советчиком в любом деле, веселым, остроумным собеседником за праздничным столом.

— Сабит, дорогой,— двинулся он навстречу мне.

Мы крепко пожали друг другу руки. В синих глазах Нуруша вспыхнули веселые огоньки.

Сейчас, когда я вспоминаю этого человека, безвинно погибшего в жестоком 1937 году и посмертно реабилитированного, пред моим мысленным взором встают его глаза — ясные, правдивые, темной голубизны.

— Необходимо, чтобы ты съездил в «Чагалу»,— сказал Брусницын.

— А что я должен делать в совхозе?

— В «Чагалу» едут американцы: инженер-механик Уэптон Стивенсон, комбайнер Эдгар Томпсон и переводчик по фамилии, кажется, Фридман.

— Американцы будут учить наших людей работать на комбайнах, закупленных советским правительством

у фирмы «Кэмпбелл». Машины не сегодня-завтра прибудут в совхоз.

— А я что должен делать в совхозе? — повторил я свой вопрос.

— Сейчас объясню. Оказалось, эти самые заморские специалисты, пожалуй, в последнюю очередь интересуются техникой. Их интересует наша жизнь. Особенно ее теневые стороны. На каждой станции Стивенсон сходит на перрон и через переводчика обращается к людям. Вопросы задает самые неожиданные. Собеседниками предпочитает иметь казахов. Словом, тебе, Сабит, и Нурушу поручается сопровождать гостей, быть переводчиками с казахского, давать объяснения.

Я вздохнул с облегчением. Брусницын либо забыл про мои «оппортунистические выходки», либо не знает о нашем разговоре с Костенко. Не до этого. Заморские гости едут. Канители с ними не оберешься.

По указанию окружкома выходило, что Нуруш Данияров должен ехать в свой совхоз немедленно и встречать американцев на ближайшей железнодорожной станции, а я ожидать новосибирский поезд из Москвы — в нем ехали гости — и садиться в любой вагон.

Ожидаемый мною поезд пришел утром. Американцы ехали в специальном вагоне. От самого Владивостока его цепляли к различным составам, но пассажиры неудобств от этого не испытывали. Я сел в обычный вагон, и поезд тронулся. На станции Смирново, в сорока километрах от Петропавловска, вагон, в котором ехали американцы, отцепили. Поселок Смирновский, теперь аккуратный и благоустроенный, в те времена являл собой малопривлекательное зрелище: грязный вокзальчик, унылые бараки железнодорожников, несколько чахлых кустиков. Конечно, не хотелось ударять лицом в грязь перед заморскими специалистами, но что поделаешь, иного выхода у нас не было.

Дальнейший путь до совхоза лежал по грунтовой дороге.

Как только я вышел из вагона, сразу увидел Нуруша Данияров, окруженного совхозными людьми. Все — чисто выбритые, наглаженные, нарядные. Они, оказывается, все предусмотрели: и транспорт, и обильный стол в каком-то вокзальном помещении на тот случай, если гос-

ти проголодались. Я присоединился к совхозным людям, и мы двинулись к отцепленному вагону.

На перрон вышли трое. Высокий, сухощавый, с длинными журавлиными ногами и резким подвижным лицом назвался Стивенсоном; среднего роста, не по годам располневший мужчина — Томпсоном; третий — маленький, смуглолицый, с черными вьющимися волосами и характерной для одесского еврея манерой говорить нараспев— Фридманом.

Американцы не хотели задерживаться на станции, видимо, не прельщали их и холодное мясо, и бесбармак, и кумыс. Но как только Стивенсон увидел на столе бутылки с русской водкой, он многозначительно поднял палец. Понимающе заулыбался и Томпсон.

— Уважаемые господа будут завтракать,— сказал Фридман по-русски.

Все сели за стол. Ели и пили американцы мало. Много говорил Фридман, чаще почему-то обращался ко мне. В первый же час нашего знакомства я узнал, что живет он в Америке недавно, родился и вырос в России, во время революции эмигрировал за границу. Теперь Фридман гражданин Соединенных Штатов Америки. За столом я впервые узнал от него, что русская водка снискала себе добрую славу и во всех странах Европы, и в Америке.

Часа через два все мы уселись в кузов грузовой автомашины и двинулись в совхоз. В степи дыхание весны чувствовалось сильнее, чем в городе. Снег с полей сошел, зеленела трава, щебетали птицы. Проехав километров двадцать, мы достигли озера, носившего то же название, что и совхоз — Чагала, Чайка в переводе на русский язык. Над озером стоял такой птичий гомон, что все невольно повернулись в его сторону. Гусей, уток, чаек, куликов здесь было так много, что стрелять в них можно с закрытыми глазами — обязательно попадешь.

Американцы оживились, заговорили, замахали руками.

— Уважаемые господа хотят часок, другой поохотиться на озере,— сказал Фридман.

— Может быть, им угодно будет в начале отдохнуть в совхозе, устроиться на новом месте,— осторожно предложил директор. А я подумал: «Эдак мы и к вечеру до совхоза не доберемся. А ведь там люди нас ждут!»



к стр. 330

Усадьба совхоза раскинулась между двумя озерами — Сандыколь и Таинча. Когда-то в этих местах были такие ярмарки, что рассказы о них потом целый год передавались по степи из уст в уста. Ныне здесь раскинулся совхозный поселок: опрятные деревянные домики соседствовали с белыми юртами, отобранными у баев. Американцев поселили в новом четырехкомнатном доме, я отправился на квартиру к Данияpову. Не успели мы с Нурушем умыться, попить чаю с дороги, как гостей наших и след простыл — ушли на Сандыколь охотиться. Пришлось ждать, пока уважаемые господа набьют уток, хотя сами же высказывали желание сразу же осмотреть хозяйство.

Остаток дня мы ездили по совхозным полям. Огромное, по тем временам, количество гектаров земли предстояло обрабатывать совхозу. Американцы дивились такому размаху, говорили, что у них самые богатые фермеры обрабатывают не более двадцати тысяч гектаров. Компания, которую они представляют, тоже имеет пахотные земли, но засевается не более десяти тысяч гектаров.

— У Советов не хватит ни сил, ни техники для того, чтобы хорошо обработать столько земли,— сказал через переводчика Стивенсон.

— У вас ведь нет ни одного путного тракториста, господин Данияров,— вмешался в разговор Томпсон,— первых людей предстоит обучить нам. Ведь так, господин Муканов?

— Вы ошибаетесь, мистер Стивенсон. И вы неправы, мистер Томпсон,— ответил через переводчика Данияров.

Тут вмешался в разговор я:

— И сил у Советской власти хватит, и людей у нас хоть отбавляй, и трактористы у нас есть.

Стивенсон удивленно поднял брови, недоверчиво покачал головой. До самого возвращения на совхозную усадьбу этой темы не касались ни они, ни мы.

Дня через два в совхоз прибыли из Кзыл-Жара двадцать трактористов с тех курсов, где я преподавал политграмоту. Среди них был мой земляк Канапия Мустафин. Парень молодой, с крепкими руками, отлично говорящий по-русски, так уверенно вел трактор «Универсал», что Стивенсон и особенно Томпсон невольно обратили на него внимание.

— Чем не тракторист,— сказал я Стивенсону,—и, между прочим, коренной житель, казах!

Через переводчика американцы стали говорить со всеми двадцатью трактористами. Я прислушался к этой беседе. Стивенсон и Томпсон устроили им что-то вроде экзамена. Они хотели знать, действительно ли эти казахские парни, о которых в их стране рассказывали, как о людях первобытного общества, знают машину, могут работать на тракторе.

— Эти парни дадут пять шаров фору нашим трактористам,— не то огорченно, не то восхищенно сказал Томпсон.

Есть у рабочего человека, независимо от того, в какой стране он живет, профессиональное уважение к мастеровому, к его умению владеть машиной или инструментом. Видимо, это чувство и не позволило американскому комбайнеру быть необъективным в оценке знаний и умения казахских трактористов. А уж в Қзыл-Жаре постарались, прислали в совхоз самых лучших!

— В ближайшие годы мы можем забрать у вас все шары, как говорят бильярдисты, оставить в сухих,— спокойно, со своей обычной улыбкой ответил в тон Томпсону Нуруш Данияров.

Стивенсон иронически улыбнулся, поднял указательный палец — была у него такая привычка,— сказал, отчеканивая слова:

— Вам нужно много трактористов, много комбайнеров, много машин. Это не под силу Советской России. Тут мало одного энтузиазма. Нужно хорошо организованное машиностроение. Нужен опыт.

— Все у нас будет со временем,— не удержался я и вставил свое слово и в эту беседу.

Когда переводчик перевел мои слова Стивенсону, он обернулся ко мне и молча, снисходительно похлопал меня по плечу.

С тех пор прошло много лет. Не знаю, жив ли сейчас мистер Стивенсон, или прах его покоится под мраморной плитой где-нибудь в Бруклине, родом он был, кажется, оттуда. Неизвестна мне судьба Томпсона. Но мне хотелось бы, чтоб знали они, что нынешний индустриальный Петропавловск мало чем напоминает прежний захолустный Қзыл-Жар, что в Северо-Қазахстанской области, где они некогда учили наших трактористов управлять ком-

байном, теперь более семидесяти крупных совхозов. Их посевная площадь составляет около двух миллионов гектаров, ее обрабатывают более двадцати тысяч комбайнов и тракторов. Сыновья тех самых трактористов, которыми, как чудом в решете, любовались заморские гости, стали первоклассными механизаторами. А Канапия Мустафин, тот тракторист, что привлек к себе внимание американцев, давно уже не совхозный рабочий, а советский интеллигент, в течение ряда лет занимающий ответственные республиканские посты.

Вот как решила жизнь наш спор с американцами, состоявшийся много лет назад в совхозе «Чагала».

Новые заботы, новые волнения

Теперь, когда вспоминаются годы становления сельского хозяйства республики, живым свидетелем которых я был сам, отчетливее видишь тяжелые ошибки, в результате которых нанесен большой урон общественному хозяйству и, в частности, животноводству.

Помню всеобщую радость в совхозе «Чагала» после успешно проведенной первой посевной кампании. С каким воодушевлением люди подсчитывали, сколько они соберут зерна — виды на урожай были хорошие,— сколько засеют в будущем году. А следующей весной им предстояло освоить уже девятнадцать тысяч гектаров земли. С этой площади можно было получить при хорошем урожае столько зерна, сколько в годы продразверстки давали единоличные хозяйства нескольких уездов Акмолинской губернии. Вот что такое один совхоз!

Но директор совхоза, хозяин умный и рачительный, в своих планах шел дальше. Он видел все условия для развития в зерновом хозяйстве животноводства. Обширные сенокосные угодья, богатые пастбища давали возможность содержать многотысячные гурты крупного рогатого скота, отары овец. На озерах, а их несколько на совхозных землях, можно развести видимо-невидимо водоплавающей птицы.

Так рассуждал казах, недавний кочевник. Значит, думал я, оседают на земли мои соотечественники, начинают

заниматься хлебопашеством. Это не могло не радовать меня.

Но были и огорчения, тяжелые раздумья. Чем больше я вчитывался в материалы пятнадцатого съезда партии, тем более убеждался, что в казахских аулах (особенно на Акмолинщине) коллективизация проводится не так, как учит партия. Районные руководители, как говорят, перегибают палку, когда записывают в колхозы всех подряд, а потом передают в более высокие инстанции сводки о стопроцентной коллективизации сельского населения.

Я своими глазами видел людей, которые ехали целыми семьями, со всем скарбом, куда глаза глядят. Не было у этих беглецов многотысячных отар овец, хотя скот, конечно, был в хозяйстве. Был страх. И не перед тем, что отныне он должен трудиться не один, а сообща, и результаты коллективного труда делить на всех работающих, а перед неизвестностью. Потому, что не всем и не везде умные люди толком рассказали, что такое коллективизация и что она сулит бедняку.

Как я убедился потом, сложное положение было и у районных руководителей. Первый секретарь крайкома Голощекин требовал неукоснительного проведения стопроцентной коллективизации в сельском хозяйстве, а в селах и аулах, в жизни все было куда сложнее, чем можно предусмотреть директивой сверху.

Живя в совхозе «Чагала», я бывал и в окрестных селах. Во всем Бейнеткорском районе имущество обобществляли в приказном порядке. В народе — паника и неразбериха. Секретарем Бейнеткорского райкома партии тогда был мой хороший знакомый Сеит Сарсембаев, которого я знал еще по партийной работе на селе. До Чолакдостана — районного центра — от станции Смирново было рукой подать, я и поехал в райком.

Сеита Сарсембаева я застал в его рабочем кабинете. Как ни старался мой друг быть приветливым и улыбающимся, я быстро понял, что он глубоко озабочен и даже расстроен.

Секретарь райкома внимательно выслушал мой рассказ о всем, что я видел в аулах. Положив перед собою красивые смуглые руки, он долго сидел в молчаливой задумчивости.

— Все это мне известно, Сабит,— наконец сказал

он.— Я тоже думаю, что такая поспешность в проведении коллективизации противоречит указаниям съезда. Но что делать, когда из окружкома чуть ли не каждый день летят молнии.

Сарсембаев взял со стола пачку телеграмм с грифом «молния» и передал мне. Я прочитал одну, другую. Все предлагали, обязывали, торопили.

— А недавно к нам приезжал Брусницын. Был гром. Секретарь окружкома гневался, что коллективизация идет медленными темпами. Куй, мол, железо, пока горячо. Пока кампания в разгаре, надо обобществить все единоличные хозяйства.

Я невольно вспомнил свой разговор с Костенко, когда мои сомнения относительно методов, которыми проводилась коллективизация, были квалифицированы, как оппортунистические выходки, и рассказал об этом Сарсембаеву.

— Не знаю, Сабит, может быть, ошибаюсь, но я хорошо знаю, что такое ленинский кооперативный план. Не так учил нас Владимир Ильич его осуществлять.

— Нужно отправить срочное письмо на имя первого секретаря крайкома Голощекина,— решил я.

И такое письмо я послал. В нем шла речь об ошибках и перегибах, имеющих, на мой взгляд, место в Бейнеткорском районе.

Через два дня в «Чагалу» на мое имя пришла телеграмма из окружкома: «Срочно возвращайся в Петропавловск».

В следующую ночь я выехал из совхоза, а еще через день в Петропавловске состоялось собрание партийного актива города. Здесь коммунисты узнали о том, что Брусницын и Костенко сняты с работы за грубые извращения политики Коммунистической партии в коллективизации сельского хозяйства. Первым секретарем окружного комитета партии был избран Рошаль, приехавший из Москвы.

Доклад на собрании партийного актива делал Рошаль. Было ясно, он в курсе всех ошибок, допущенных казахстанскими партийными руководителями. Он не только критиковал перегибщиков, но и поставил задачу быстрейшей ликвидации извращений политики партии и Советской власти в коллективизации сельского хозяйства. Для этого многим партийным активистам необходимо

было прямо с конференции разъехаться по районам для практической помощи сельским комитетам партии. Мне предстояло ехать в Боровое.

Я поразился тому, что в первой же беседе со мной секретарь районного комитета партии Шаяхмет Бекбулов говорил примерно теми же словами, что и Сеит Сарсембаев.

— Каждый день летят молнии, то из Алма-Аты, то из Петропавловска. И в каждой предлагают, обязывают, требуют. Приедет представитель из края ли, из округа ли — три дня гремит гром.

Горько было мне слушать секретаря райкома. Еще горше — сидеть на заседании районного партийного актива. Под «мудрым» руководством Брусницына в аулах додумались до того, что в открытой степи в Майлысоре решили построить «байский городок» — что-то вроде лагеря или тюрьмы. Людей, у которых было отобрано решительно все, сгоняли на это место, приставили к ним вооруженную охрану и никого не допускали за запретную черту. Принес родич еду обитателю «байского городка», охранник его хватает за шиворот и тут же зачисляет в разряд классовых врагов.

— Брусницын знал об этом? — спросил я у Бекбулова.

— Даже поощрял,— ответил он.

«Байский городок» мы, конечно, срочно ликвидировали. Людей возвратили в аулы, помогли им найти работу.

— Ты понимаешь, подобные методы коллективизации компрометируют в глазах народа Советскую власть,— говорю я Бекбулову.

— Но ты, Сабит, тоже должен понять меня. Я хоть и секретарь райкома, а выше головы не прыгну. Брусницын постоянно говорил: тяжело, но нужно, лес рубят — щепки летят.

И щепок нарубили тогда действительно много. Трагическое соседствовало с комическим. Не могу без волнения вспомнить одну встречу. Произошла она вот при каких обстоятельствах.

Когда специально созданная комиссия стала разбираться, кого и за что ретивые коллективизаторы взяли под стражу, я вдруг увидел среди измученных, толком ничего не понимающих людей Есмагамбета Исмаилова.

Я отлично знал биографию этого парня: круглый сирота, воспитывался в детских домах Кокчетава и Кзыл-Жара. В свое время я руководил литературным кружком в Кзыл-Жарском детском доме, Есмагамбет был самым способным кружковцем. Трудолюбие и скромность всегда отличали его от других. Что же мог натворить этот юноша, чтобы угодить за решетку?

— После окончания семилетки я работал секретарем колхоза,— Есмагамбет глотнул воздух, на худой шее задвигался острый кадык, но он не заплакал,— ну и сказал как-то в сердцах, разве можно, мол, загонять людей в колхоз чуть ли не палками...

— И дальше что?

— А дальше меня окрестили байским прихвостнем и взяли под стражу.

Я коротко объяснил членам комиссии, что это за парень. Освобождать из заключения его надо было немедленно. Но куда ему деваться? Вспомнил, что перед отъездом в район Хамза Даутов, мой давний товарищ, говорил, что в Кзыл-Жаре открываются курсы по подготовке учащихся в высшие школы. Хамза даже сказал мне, что директором курсов будет он. Я вынул блокнот, написал другу записку с просьбой позаботиться об этом мальчике, оторвал листок и протянул его Есмагамбету.

— Поедешь в Кзыл-Жар, будешь учиться, а осенью постараешься поступить в институт. Понял?

Есмагамбет не смог произнести и слова от волнения.

Позже мне пришлось еще раз принять участие в судьбе парня. В Алма-Ате в институт его не приняли. Семилетнего образования и курсов по подготовке в вузы по формальным признакам было, конечно, недостаточно. Но я знал, что Есмагамбет очень способный юноша, даже талантливый. В то время я оказался в Алма-Ате по своим делам и смело пошел к директору педагогического института Санжару Аспандиярову просить за Есмагамбета. Уговорил поддержать меня и Сакена Сейфуллина, заведовавшего кафедрой литературы. Словом, Исмаилова приняли, сделав исключение. Приятно сознавать, что я не ошибся.

Эпизод из биографии Есмагамбета Исмаилова никак нельзя назвать комическим.

Но мне приходят на память случаи подлинно комические, которые тоже пришлось разбирать нашей комиссии.

Расскажу о семье Кантарбаевых, уроженцах этих же мест. Отец Кантарбай — бедняк. Старший сын Ахмет долгое время был почти батраком у бая. Средний сын Карта — учитель. Младший сын Махмут окончил сельскую школу и работал в партийных и советских учреждениях. Была у Махмута тайная страсть, чуть не погубившая всю семью — он был отличным резчиком по камню. Об этом прослышали жители окрестных аулов, к Махмуту приходили родичи умерших: мол, сделай, милый человек, надгробный памятник. Таких надгробий с высеченными арабскими буквами, именами и датами смерти, а заодно скрепленных и подписью мастера, стояло довольно много на местном кладбище. Вот и пришло в голову не то шутнику, не то совершенно слепому в своей злобе человеку сочинить заявление. В нем утверждалось, что Махмут Кантарбаев — мулла, общается с духами умерших баев. Есть тому и доказательства — собственноручная подпись Махмута на надгробных камнях.

Так в районе возникло «дело классово чуждых народу Кантарбаевых». Старший брат — он единственный из всей семьи находился тогда в ауле — по малограмотности решил бороться с клеветниками так: он собрал знающих его односельчан, ночью вместе с ними поочередно валил один памятник за другим и оттаскивал камни подальше от аула. Но надгробий было много и тащить их, да еще на большое расстояние, тяжело. За этим занятием его и застигли клеветники. Ахмет тоже был взят под стражу и освобожден только тогда, когда мы разобрались в этом анекдотическом случае.

Позже, когда Махмут Кантарбаев занимал ответственные должности в Алма-Ате, а его брат Карта работал в отделе рукописей Казахской Академии наук, мы, встречаясь, порою вспоминали этот случай и, конечно, смеялись от души.

Не скажу, что наша комиссия единым махом восстановила справедливость. Однако многое для того, чтобы разъяснить политику партии в отношении коллективизации сельского хозяйства, ликвидировать произвол и перегибы, допускавшиеся в аулах, мы сделали. Конечно, в интересах дела в Энбекшилерском районе надо было побыть еще, но из окружкома пришла телеграмма: «Возвращайтесь в Петропавловск».

Не успел я добраться до города, говорят: срочно выезжай в Алма-Ату, вызывает заведующий отделом агитации и пропаганды крайкома Садыкбек Сапарбеков.

Я даже обрадовался. Сапарбекова я знал как человека очень образованного, вдумчивого, вежливого. Он никогда ни на кого не кричал, не приказывал и в то же время умел разубедить инакомыслящего, привести такие доводы, против которых ничего не возразишь. Словом, говорить с ним было легко, он располагал к откровению и всегда давал умные советы. Так что я даже обрадовался, когда узнал, что вызывают к Сапарбекову.

Приехал в Алма-Ату днем и сразу же побежал в Казкрайком.

— Ты срочно нужен Голощекину,— услышал я от Сапарбекова, и хорошее настроение сменилось тревожным предчувствием.

— А зачем?

— Ты писал ему о коллективизации? —в голосе Садыкбека деланная непринужденность, даже веселость, от нее мне становится еще тревожнее.

— Да, писал.

Сапарбеков умолк, смотрит куда-то мимо меня, задумался.

— Не томи, говори, что знаешь.— Садыкбек словно очнулся от сна.

— Очень не понравилось ему твое письмо. Разгневан Голощекин.

— Но почему? Ведь я писал ему истинную правду. Я хотел...

Сапарбеков перебил меня:

— Я знаю, что ты хотел. Но Голощекин воспринял это письмо, как выстрел в него.

Садыкбек встал из-за стола, быстро прошелся по комнате. Я тоже встал. И тоже почувствовал необходимость движения. Но не ходить же мне было следом за Сапарбековым! Я снова сел. Волнение мое возрастало.

— Не томи,— снова взмолился я,— говори, что знаешь.

— А что, собственно, я знаю,— развел он руками,— наверняка очень немногое. Больше предполагаю. По-моему, Голощекин не понимает особенностей коллективизации казахского аула. Ведь нам нужно не только убедить казаха-скотовода добровольно отказаться от единолич-

ного хозяйства, но и от кочевого образа жизни. А это молниеносно не делается.

Садыкбек сел рядом со мною. Я почувствовал, что начинаю понемногу успокаиваться. Легче становится, когда встречаешь единомышленника.

— Ты бы видел телеграммы, которые шлют в районы из края и округа.

— Поставлена задача выйти на линию более высоких темпов коллективизации.—Сапарбеков снова нервно заходил по кабинету.— И Голощекин не терпит никаких возражений по этому вопросу. Тебе, Сабит, дается возможность убедиться на личном примере.

— Меня снимают с работы? — не утерпел я.

— Почти. Голощекин требует отправить тебя на учебу.

«Вот оно что»,— подумал я и почувствовал, как меня охватила ярость:

— А я не поеду.

— Голощекин приказал,— повторил Садыкбек, чеканя каждое слово.

Помолчали. Мысли, самые разные, самые противоречивые, крутились в моей голове, словно карусель. Я решил немедленно идти к Голощекину и говорить с ним начистоту. Но даже мысленный разговор не получался: я то убеждал Голощекина, что смысл моего письма заключен в желании осветить истинное положение на местах, то ярился от сознания, что у секретаря крайкома немало тревожных сигналов и без моего, и бросал ему в лицо обвинение в зажиме критики. Потом мне становилось ясно, что к Голощекину идти незачем — он едва ли не главный виновник всех перегибов в коллективизации аулов,— а необходимо писать или ехать в Москву. То вдруг находила такая апатия ко всему, что руки невольно опускались.

— Куда мне нужно ехать учиться? — спросил я почти обреченно.

— В Москву, в Институт языка имени академика Марра.

«Я же не специалист по языку и не хочу быть лингвистом, зачем они так со мною?» — горестно пронеслось в моей голове. И Сапарбеков понял это.

— Что делать,— развел он руками,— я бы на твоем месте сейчас поехал и туда. Потом видно будет.

Это прозвучало как предостережение.

Через некоторое время я оформил документы и поехал в Москву.

В институте имени академика Марра было всего около сорока аспирантов. Пять мест оставались свободными. Меня здесь встретили хорошо, несмотря на то, что поступать в аспирантуру у меня, собственно, не было прав, дали комнату в общежитии, которое размещалось в полуподвальном, сыром помещении. Сюда мне предстояло привезти семью.

Таежные родственники

Учеба давалась мне без особого труда. На первом курсе изучали политическую экономию, исторический и диалектический материализм, историю ВКП(б), русскую литературу XVIII—XIX веков и яфетическую теорию Марра. Все это, кроме теории Марра, я изучал в Ленинградском университете, сдавал по этим предметам зачеты, писал курсовые работы. По программе института от аспирантов требовалось знаний не больше, чем в университете.

Яфетическая теория Марра оказалась не очень трудной для усвоения, ибо основывалась она больше на предположениях, чем на точных доказательствах, поэтому и отвечать, сдавая зачеты, можно было предположительно.

Лекции аспирантам по яфетической теории читал сам академик Марр. Личность Марра производила впечатление неотразимое. Полушотландец, полугрузин, уже не молодой, франтоватый, с красивыми седеющими усами и бородкой клинышком, он быстрым шагом шел к кафедре и с ходу начинал говорить. У академика была плохая дикция, и тем не менее его лекции доставляли нам настоящее удовольствие. Я до сих пор поражаюсь, как это в голове одного человека может умещаться так много знаний. Поразительно легко он владел самыми различными языками и диалектами.

Напомню общеизвестный факт, что в истории Коммунистической партии Советского Союза академик Марр — единственный член партии, принятый решением съезда. Тем более удивительно, что спустя несколько лет

И. В. Сталин в своих работах по языкознанию подверг деятельность Марра убийственной критике. Ведь именно она, эта деятельность в области языкознания, и послужила основанием для делегатов XVI съезда партии сделать исключение для академика Марра.

Я уже говорил, что учиться в аспирантуре мне было легко. Для подготовки к семинарским занятиям времени было достаточно, библиотеки и читальные залы в Москве отличные. Хуже было в быту. Семь комнат общежития вмещали семь семей. В каждой — дети. Под общежитие приспособлено бывшее помещение овощного магазина — каменный полуподвал, перегороженный фанерными щитами. Холодно, сыро, неуютно. Денег тоже не хватает. Стипендия шестьдесят рублей, а нас пятеро: мы с женой, двое детей да свояченица, девочка четырнадцати лет. Пришлось Марьям идти работать в швейную мастерскую — это еще сорок рублей в месяц. Живем в тесноте, да еще и впроголодь.

Обычно весть о предполагаемом пополнении семейства приносит в семью радость. Скажу откровенно, я тогда этой вести не обрадовался. Марьям не может бросить работу, а на кого оставить троих маленьких детей? Первой нашлась Марьям — женщины как-то умеют найти выход из самого затруднительного положения:

— Выпишем из аула Слеусин — была у нас старая родственница, хорошо ли, плохо ли будет, все разделим пополам.

И я успокоился. А когда в середине зимы на свет появилась дочь и мы по совету друга (был среди наших аспирантов один симпатичнейший бурят) назвали ее Жанной — так буряты называют один цветок — я был снова счастлив.

Как видите, жилось мне тяжело, но я не грустил, не скучал. То ли молодости любые трудности нипочем, то ли сама жизнь резко отличалась от аульной, но в памяти моей до сих пор сохранились собрания писателей, которые я уже посещал, встречи с маститыми литераторами. Тогда, в частности, я близко познакомился с Фадеевым. Именно Александр Александрович принял участие в моей судьбе. По его совету и при его содействии я из института имени академика Марра перешел в Институт Красной профессуры. Не буду скрывать, я думал не только о моей дальнейшей учебе, но и о том, как мне лег-

че прожить с большой семьей: стипендия в четыре раза больше, двухкомнатная квартира в общежитии. У меня были основания для того, чтобы подумать о будущем детей: не выдержав тяжелых условий первых месяцев жизни, умерла маленькая Жанна. Ее смерть потрясла нас. Я чувствовал себя виноватым перед ней. Казнил себя за легкомысленное отношение к быту. Жена и дети испытывали больше трудностей, чем я сам...

...Только начала было притупляться боль от потери дочери, только-только стала налаживаться жизнь на новом месте, как пришло совершенно отчаянное письмо от Шугаипа, брата Марьям. Он писал, что народ из родных мест разбредается кто куда. Казахи едут в Челябинск, Свердловск, Тюмень. Оставшиеся в ауле живут впроголодь, многие поумирали. Он, Шугаип, забрался в тайгу и работает там. Адрес его такой: Тюменская область, Тугулимовский район, совхоз того же названия. И далее следовала просьба приехать, помочь, чем могу.

Марьям, конечно, сразу — в слезы. Что мне было делать? Пришлось ехать.

Несколько дней я трясся в поезде. В полночь сошел на разъезде Кармак. На станции — ни души. Темень. Тишина. К небольшому пристанционному поселку сплошной стеной подступает тайга. С большим трудом я отыскал начальника станции, заспанного, неразговорчивого человека. Спрашиваю, как мне отыскать хоть одну казахскую семью, недавно переселившуюся в эти места. Он добродушно взял меня за руку, вывел на дорогу и показал рукой на огни, чуть светившиеся вдали:

— Вон там стоят табором не то цыгане, не то киргизы.

Я пошел на огни. Ночь была холодная, и я не пожалел, что прихватил с собою шинель и зимнюю шапку. Огни оказались кострами. И чем ближе я подходил, тем яснее выступали из полусвета силуэты сидящих вокруг людей, тюки, перевязанные веревками, сваленные в кучи пожитки. Ни дать ни взять погорельцы или оставшиеся в живых после землетрясения. Я подошел к костру и сразу узнал по лицам — казахи. Мужчины, женщины, старики, дети. Изможденные лица, одежда клочьями. Хрустнули сухие сучья — огонь поддерживался хворостом,— лежавшие ближе ко мне поднялись, вопросительно устремили взоры в темноту. Я подошел так, что-

бы меня осветило пламенем костра, поздоровался по казахскому обычаю. Мне недружно ответили. И вдруг откуда-то из темноты возглас, удивленный и обрадованный:

— Ой-бой, да это Сабит!

Не успел я разобрать, что к чему, как меня крепко обняли чьи-то руки. Всмотрелся — знакомый казах, в свое время вместе учились на курсах учителей. Присели около костра. Разговорились. То, что я услышал, потрясло меня. Сколько людей уехало из моих родных мест! Только здесь, в Тугулимовском районе, сейчас живет около ста семей. Сюда они попали не сразу — долго бродили по городам и весям в поисках работы, крова и пищи. В городах было плохо с жильем, в селах отмахивались — не нужны, не до вас. Мне надо было что-то делать, как-то помочь землякам, не пожелавшим стать обитателями «байского городка».

Как только забрезжил рассвет, мы с учителем (забыл теперь его фамилию) отправились на железнодорожную станцию — надо было хоть расспросить сведущего человека, есть ли здесь возможности расселить и устроить людей. Первые люди, которые попались нам на глаза, были сыновья Тайкота — Аяган и Енсеген, из совхоза «Красная тайга», расположенного в сорока верстах от железнодорожного разъезда Кармак. Имя Тайкота я не раз слышал и раньше. Так звали черкеса, женившегося на казахской девушке из рода Керей. Братья Аяган и Енсеген рассказали, что в совхозе — самом крупном в районе — не хватает людей, что на работу в «Красную тайгу» могут принять всех беглецов из Казахстана. Тут же мы договорились с братьями, что они отвезут нас в совхоз.

Ехали на пароконной бричке, запряженной парой сытых лошадей, узкой расхлябанной дорогой, проложенной в тайге. Глухими высокими стенами с обеих сторон стояли вековые деревья. Чащоба такая, что собака морду не просунет. Сырость, полумрак. Даже когда деревья расступались, образуя небольшие поляны, колеса брички вязли в грязи — солнце и сюда почти не проникало. Над головами сновали белки, пушистые их хвосты мелькали в чернолесье. Мы глядели и удивлялись, а сыновья Тайкота равнодушно подсмеивались:

— Невидаль какая — белки! Тут и с медведем запро-

сто повстречаться можно. Вон следы — это совсем свежие.

И, действительно, в чащу уходили следы медвежьих лап. Не скажу, что я слишком обрадовался возможности повстречаться в тайге с медведем, хотя под шинелью на кожаном поясе у меня висел браунинг. Спутники мои, напротив, чувствовали себя привычно, без всякой опаски посматривали по сторонам, привычно позевывая в этой торжественной тишине таежного леса.

Некоторое время я раздумывал: о чем бы это завести разговор с Аяганом и Енсегеном, потом вспомнил, что об их старших родичах — Буйрекбае, Тюйтебае и особенно Садакбае в казахских аулах ходили легенды, одну из них я и поведал парням. Вот она.

Рассказывают, будто у Садакбая был сын Сулеймен. Бурлила в нем жаркая кровь кавказских предков. Отлично владел кинжалом и огнестрельным оружием этот джигит,— и тогда, когда нужно было защищать свою честь и когда доводилось угонять чужую отару овец. Словом, слыл в народе Сулеймен отчаянным головорезом. В те годы в Казахстане свирепствовали колчаковские банды. Сами колчаковцы, хоть и были бандитами, но таких, как Сулеймен, не терпели. Отдан был приказ поймать его и арестовать. А Сулеймен как ни в чем не бывало почтительно и пышно, словно дорогих гостей, встретил колчаковцев, проводил с поклоном в свою юрту, где уже был накрыт дастархан, уговорил откушать перед дальней дорогой. У казахов, мол, обычай такой, и он, хоть и преступник, но просит не обижать его перед смертью.

Солдаты пили, ели до тех пор, пока не свалились и не уснули богатырским сном. В водку-то был добавлен отвар белены.

Тогда Сулеймен вместе с верными ему людьми жестоко избил солдат шомполами от их же винтовок, а чтобы на теле не были заметны следы от побоев, бездыханные тела избитых окунали в чан с подсоленной горячей водой.

Избитых, красных от ожогов солдат Сулеймен побросал в повозку и отправил колчаковцев туда, откуда они пришли. До своих солдатам, конечно, добраться не пришлось. Спустя много дней в лесу нашли их трупы.

Аяган и Енсеген, внимательно слушавшие эту историю, не удивились. Аяган сказал, что семейные предания рода Тайкота хранят много таких историй. Одну из них, еще более страшную, рассказал мне Енсеген по пути в совхоз.

Так, рассказывая друг другу семейные предания, в которых, очевидно, вымысла было больше, чем правды, мы не заметили, как добрались до совхоза. И время прошло быстро, и мысли о неожиданной встрече с медведем меня не беспокоили. В совхозном поселке быстро отыскали директора — высокого, грузного мужчину средних лет по фамилии Бобровых. Он внимательно выслушал меня и после некоторого раздумья согласился принять на работу и обеспечить жильем всех, приехавших из Казахстана и стоящих табором на разъезде Кармак.

— Лошадей тоже дадим,— сказал он.— Десятка полтора пароконных бричек хватит?

Я утвердительно кивнул головой.

В обратный путь мы двинулись, почти не отдохнув. Надо было спешить — нас ждали с нетерпением. Вместе с нами поехали совхозные люди и врач, может, кому-нибудь нужна срочная помощь.

Когда я вспоминаю подробности этого приезда на станцию Кармак, вспоминаю стариков и старух, застывших в ожидании, ребят, бегущих с криком нам навстречу, ликование и слезы на глазах женщин, когда все узнали, что их ждут кров и работа, поспешные сборы жалкого скарба — мне и теперь становится не по себе.

В тот же день, уже к вечеру, мы все были в совхозе. Встретили сибиряки моих соплеменников сердечно, сразу распределили, кто где будет жить, выдали на первое время продуктов, нашли необходимые вещи домашнего обихода, словом, устроили мало-мальски по-человечески. О работе пока речь не заводили — надо было дать людям хоть немного передохнуть.

Потрясенный бедственным положением беженцев из Казахстана, занятый хлопотами об их устройстве, я даже забыл о Шугаипе. Когда мое волнение мало-мальски улеглось, я продолжил путь. Бобровых снова дал мне пароконный тарантас и наказал вознице не только доставить меня в Тугулимский совхоз, но и разыскать моего Шугаипа.

И снова таежный лес, болота, топкая от сырости дорога, глушь.

Шугаип и его семья работали на молочной ферме. Обстановка, что и говорить, не совсем привычная для степняков, но жить можно. А если сравнивать жизнь моих родичей с тем, как бедствовали казахи, которых я только что привез в «Красную тайгу», то можно сказать, употребляя известное народное выражение, живут так, что губы у них всегда в масле.

В семье Шугаипа я прожил несколько дней, но постоянно ловил себя на мыслях о «Красной тайге». Как живут мои подопечные, для всех ли нашлась работа, не обижен ли кто? И тревога эта нарастала. Я просыпался с мыслью о «Красной тайге» и засыпал, думая о совхозных новоселах. Шугаип, которому я в первый же день нашей встречи рассказал обо всем увиденном на разъезде Кармак, видимо, понял это. Когда я за вечерним чаем сказал, что собрался ехать обратно, он согласно кивнул головой.

— Что ж, поезжай, Сабит, тебя ждут в «Красной тайге».

То, что я увидел в совхозе на обратном пути, несколько успокоило меня: для всех нашлось дело, ни один человек не остался без крова, люди преобразились, даже внешне.

Мне очень хотелось пожить среди своих соплеменников, поговорить, просто посидеть за самоваром, но душа моя, душа скитальца и путешественника, была смущена: Бобровых мне сказал, что на днях из совхоза в Тюмень и Курган идет автомашина с грузом, ты, мол, не желаешь проведать родные места? И я не устоял. Поехал. Да еще упросил директора, чтобы он разрешил шоферу довезти меня до аула за двести километров от Кургана.

Тревоги трудного времени

Вспоминая эту давнюю поездку из тайги в родной аул, я с завистью думаю о выносливости молодости.

Сейчас езды от Тюмени до Кургана всего несколько часов по отличной дороге. В те же времена асфальтированных и даже мощеных дорог не было и в помине. По про-

торенной грунтовой дороге, как нам сказали встречные путники, ехать в это время года было нельзя — утонете, мол, в грязи. Оставался единственный путь — грейдерный. Самый долгий, ведущий зигзагами от одного районного центра к другому. Хотели мы того или не хотели, но этим путем и пришлось нам ехать до Кургана. Мы тряслись в автомашине почти шесть суток.

Тряску эту я перенес бы легко. Дорога была тяжелой совсем по другой причине. Навстречу нам то и дело попадались телеги, заваленные жалким скарбом. В повозках ехали старухи, держа на руках совсем маленьких детей. Молодые женщины, очевидно, матери младенцев, шли пешком, стараясь не отставать от телег. Бывало, дорогой двигалось целое казахское кочевье. Какой горечью дохнуло от него! Видно, эти люди давно покинули родные края. В дороге они пообносились: подолы у чапанов и юбок висели бахромой. Иногда я не выдерживал, просил шофера остановить машину, выходил из кабины и долго смотрел вслед удаляющимся повозкам. Смотрел невидящими от слез глазами.

Помню, остановились мы на ночлег в каком-то русском селе. Зашел я в первую попавшуюся избу спросить хозяйку, нельзя ли переночевать, да так и не смог переступить через порог. Открыл дверь в кухню, вижу, за столом сидит лицом ко мне старик-казах. Лицо его все в капельках пота склонилось над глиняной миской. Старик, часто поднося ложку ко рту, не ест, а глотает жирный борщ. Кажется, в ложку попался кусок мяса — он тоже проглотил его, не разжевывая. Он ел жадно, не отрываясь, не глядя по сторонам, как едят очень голодные люди, лишь изредка вскидывая на женщину, сидящую напротив, красные воспаленные глаза и жалко, виновато улыбаясь. Женщина сидела ко мне спиной, но я видел, как вздрагивали под светлой ситцевой кофтой ее плечи. Концами головного платка, завязанного под подбородком, она вытирала глаза.

Я тихо прикрыл дверь и вышел, никем не замеченный.

Мы с шофером расположились в соседней избе. Здесь же ночевала молодая казашка с двумя детьми. От хозяина дома, колхозного кузнеца, я узнал, что в деревне разместили на ночлег целый казахский кош. Несколько семей искали пристанища подальше от родного аула.

Русские люди разделили с ними и свой тесный кров, и скудную пищу. Кузнец мне даже сказал, что председатель колхоза хочет предложить казахам остаться здесь навсегда. Свои волнения, свои беды были и здесь в селе, но казахским аулам пришлось значительно труднее.

В эту ночь я почти не спал. А если и забывался на час-другой, то видел во сне то изможденное, все в капельках пота, лицо старика, то вереницу измученных, оборванных людей, бредущих неведомо куда, то вздрагивающую спину русской женщины в светлой ситцевой кофте.

Утром, когда мы, поблагодарив гостеприимных хозяев, сели в машину, ехать в родной аул мне уже не хотелось. Я даже не пытался говорить с казахами, повстречавшимися нам в селе. Что я мог им сказать? В родном краю, теперь я твердо это знал, увижу то же самое. Чем я могу утешить родичей, чем помочь им? Надо было немедленно возвращаться в Москву. Идти в ЦК партии, идти в Совнарком, идти в редакцию «Правды», может быть, идти куда-то еще, а куда именно, я точно и не знал, но мне надо было что-то делать. И именно в Москве...

...Нелегко мне было добиться приема у помощника И. В. Сталина. Но я все-таки пробился к Поскребышеву. Очень вежливый, но сухой и неразговорчивый человек внимательно выслушал меня. Я говорил волнуясь, еле переводя дух, а на его бесстрастном лице не дрогнул ни один мускул.

— Все то, что я сейчас рассказывал, изложено на бумаге,— заключил я, доставая из кармана заявление на имя Сталина,— прошу передать лично.

— Заявление пока оставьте у себя,— ответил Поскребышев.

— Почему?

— Все эти факты товарищу Сталину уже известны, и сейчас принимаются меры для исправления ошибок,— сказал Поскребышев и встал, давая понять, что прием окончен.

Только спустя много лет я понял, что такие же письма шли к Сталину со всех концов страны. На Дону, на Кубани, в Поволжье было не легче, чем у нас.

Встреча с Поскребышевым, откровенно говоря, не понравилась мне, но его слова как-то успокоили меня, и я

стал ждать более отрадных писем из Казахстана. Но, увы, вести приходили одна горестнее другой. Что мне было делать? Я буквально не находил себе места. О чем бы я ни думал, мысли постоянно возвращались к печальным дорогам Сибири и Казахстана. Может, пойти посоветоваться с кем-нибудь из ответственных работников-казахов?

В Москве их было трое — Абильхаир Досов, инструктор ЦК ВКП(б), Нигмет Нурмаков, один из секретарей ВЦИКа, и Турар Рыскулов, заместитель председателя Совнаркома РСФСР. Ближе других мне был Абильхаир Досов. А нравился больше всех Турар. Его ясный ум, блестящие организаторские способности до сих пор вызывают у меня чувство восхищения.

Но прежде, чем рассказать о моих попытках помочь землякам, я сделаю небольшое отступление и хотя бы кратко познакомлю моих читателей с Рыскуловым. На мой взгляд, правдивость известного положения марксизма о том, что формирование личности общественного деятеля в значительной степени зависит от того, какую жизнь он прожил, хорошо подтверждается примером Турара Рыскулова.

Начну с его отца — Рыскула Жылкайдар-улы. Сын бедняка, он вырос человеком работящим — дело горело у него в руках. Человеком честным и гордым. Однажды, говорят, его больно обидел аулие-атинский бай, у которого он батрачил. Рыскул пытался найти поддержку у своих аулчан, но они побоялись бая. Разве у них найдешь правду! И тогда Рыскул бросил родные места и пешком ушел в Семиречье. Близ города Верного он нанялся батраком к волостному рода Жаныс, богачу Саймасаю Ушкемпир-улы. Работящий джигит понравился Саймасаю, он даже стал как-то отличать его от других работников, и тем не менее легко нанес ему удар еще более тяжкий, чем тот аулие-атинский бай, из-за которого он покинул родной аул.

Рыскул, рано овдовевший, полюбил бедную девушку, мечтой всей его жизни стало работать так, чтобы скопить денег на калым за нее. Об этом прослышал Саймасай. Бай решил взять семнадцатилетнюю красавицу себе в младшие жены. Он дал отцу девушки богатый калым, и свадебный поезд двинулся с джайляу Асы, где жили родители девушки, в аул Саймасая.

Путь убитой горем юной невесты и богатой свиты шестидесятилетнего жениха лежал по Талгарскому ущелью, через горный перевал Қараш-Қараш. Была осенняя пора. Густые сумерки текли по ущелью. И вдруг на перевале раздался выстрел. Пуля меткого стрелка — мергена наповал уложила только одного человека — бая Саймасая Ушкемпир-улы.

Через некоторое время в верненский полицейский участок пришел оборванный заросший человек и попросил арестовать его. Он убил человека. Это был Рыскул Жылкайдар-улы.

Когда Рыскула посадили в тюрьму, его сыну от умершей жены, Турару, было десять лет. Опасаясь кровной мести родичей Саймасая, Рыскул дал знать в аул, чтобы мальчика привезли в Верный. Он упросил тюремных надзирателей не разлучать его с единственным сыном. Так в камере появился десятилетний узник.

Рыскула судили и приговорили к ссылке в страну итжеккен, где ездят на собаках. Отец умер в изгнании, а сын, глубоко пережив его трагедию, не по годам возмужавший и навсегда проникшийся лютой ненавистью к угнетателям и ко всякой несправедливости, возвратился в аул к родичам.

Следует сказать, что прообразом для главного героя прекрасной повести Мухтара Ауэзова «Қараш-Қараш», в русском переводе она названа «Выстрел на перевале», Бактыгула послужил не кто иной, как Рыскул Жылкайдар-улы.

А Турар, сын Рыскула? Он учился в русской школе, обнаружил незаурядные способности. От отца он унаследовал гордый дух и мужество в борьбе против несправедливости. В дни восстания казахов в 1916 году Турар был вместе с повстанцами. Царские власти бросили юношу в тюрьму. Здесь он встретился с профессиональными революционерами. После выхода из тюрьмы они связали Рыскулова с большевистским подпольем.

В Коммунистическую партию Турар вступил накануне Великого Октября и принял горячее участие в борьбе за победу Советской власти. В первые годы революции Рыскулов занимает ответственные посты председателя Аулие-Атинского уездного ревкома, члена Центрального Исполнительного Комитета Туркестанской республики, народного комиссара здравоохранения республики.

Время было тяжелое. Туркестан — республика узбеков, туркмен, таджиков, киргизов, казахов Сыр-Дарьинской области и Семиречья — привлекал к себе внимание хищников-колонизаторов. Переодетые в штатское платье английские и турецкие офицеры подстрекали зажиточную часть населения поднять бунт против Советской власти. То там, то здесь сновали банды басмачей. Борьбой против врагов революции руководил Турар Рыскулов.

Оценив по достоинству деятельность молодого коммуниста-казаха, его организаторские способности, личную отвагу, высокую партийность, Центральный Комитет РКП(б) выдвинул Рыскулова на пост заместителя народного комиссара РСФСР по делам национальностей. В ту пору Турар допустил серьезную политическую ошибку. Он отстаивал перед руководителями страны предложение: по типу Российской и Закавказской федераций образовать Тюркскую федерацию, объединяющую тюркоязычные народы Средней Азии и Казахстана. Рыскулов не понимал, что создание такого объединения народов по языковым признакам привело бы к обострению национализма. Центральный Комитет партии, В. И. Ленин назвали это предложение ошибочным.

Публичное признание Тураром этой ошибки мне пришлось слышать в 1923 году, в Оренбурге. В то время в Москве собирался XII съезд партии. Делегат съезда, тогда уже председатель Туркестанского Совнаркома, Турар Рыскулов по пути в столицу остановился в Оренбурге. В зале заседаний обкома перед партийным активом он выступил с докладом, в котором шла речь о задачах партийной организации области на ближайшее время, в том числе и по национальному вопросу. В докладе Рыскулов подробно рассказал о своих личных ошибках и о помощи, оказанной ему Центральным Комитетом партии в преодолении их. Это была моя первая встреча с Тураром. Он произвел на меня впечатление человека мыслящего, эрудированного и очень искреннего.

Вторая встреча состоялась в доме Сейфуллина. Я уже знал, что они большие друзья и что дружба эта началась в тяжелое для Сакена время, когда он в 1919 году бежал из колчаковского застенка, с большими трудностями достиг Туркестана, где Советская власть держалась прочно, а Рыскулов занимал высокий пост. Ко времени

второй нашей встречи Турар уже побывал за рубежом, в Германии и Монголии, где успешно выполнял ответственные дипломатические задания нашего правительства. Мне даже любопытно было посмотреть на советского дипломата, одного из первых представителей народностей Средней Азии.

Из общего застольного разговора я понял, что Рыскулов не только убежденный марксист, хорошо разбирающийся в политике партии. Турар был широкообразованным человеком и, что меня особенно радовало, большим знатоком и любителем литературы. Он умел ценить произведения пролетарских писателей, несших народу правдивое слово, и гневно обрушивался на писания литераторов пробайского, националистического толка, сознательно искажавших и историю, и советскую действительность.

До лета 1926 года, когда Рыскулов уехал в Москву и занял пост заместителя председателя Совнаркома, я очень часто встречался с ним. Больше того, уезжая, Турар поселил меня в своей квартире в Кзыл-Орде.

Наши встречи продолжались и в Москве, когда я учился в Институте Красной профессуры. Я бывал у него зимою на квартире, летом на даче и в служебное время в рабочем кабинете, в Кремле.

Турар все время был связан с родным Казахстаном. Много энергии, много своей щедрой души вложил он в строительство Турксиба. На всей трассе стройки хорошо знали его, неутомимого большевика, делового организатора и просто доброго человека.

Студентам-казахам, учившимся в конце двадцатых и тридцатых годов в Москве, отлично знакома была и отзывчивость, и принципиальность Турара. Он посещал собрания казахского студенческого землячества и охотно выступал с докладами и сообщениями и по вопросам общей политики, и по проблемам литературы и искусства. Однажды у нас шли дебаты об азиатском способе производства. Рыскулов выступил на эту тему и дал жестокий отпор всем тем, кто пытался приукрасить прошлое Азии.

Да, много у нас было запоминающихся встреч, верил я ему всегда. И вот сейчас, в состоянии душевного смятения, я решил вновь пойти к Турару.

Рассказывал я долго. Турар слушал внимательно, не

перебивая. Голова его склонялась все ниже и ниже. Я умолк. Он еще долго сидел в глубокой задумчивости.

— И все-таки, я думаю, Иосиф Виссарионович не знает этого,— наконец сказал Рыскулов. Встал и нервно заходил по своему кабинету.— В Казахстане перегнули палку. Пожалуй, сильнее, чем в других местах. Об этом надо доложить товарищу Сталину. И немедленно.

— Что мне нужно делать? — спросил я.

Турар остановился, быстрыми шагами подошел ко мне почти вплотную.

— Нужно написать письмо в ЦК. Изложи все, что ты сейчас рассказал мне.

Рыскулов опять заходил по кабинету, он нервничал все больше и больше.

— Я тоже подготовил сообщение, но тогда еще не знал, что в действительности дело обстоит еще хуже.

Письмо в ЦК я написал в этот же день. Копию отнес Турару. Через несколько дней он позвал меня к себе и прочитал вслух свою докладную записку, в которой приводились многочисленные факты искажений политики партии в Казахстане. Это письмо было написано человеком честным, смелым и глубоко партийным.

Мог ли я знать тогда, что это правдивое и аргументированное письмо сыграет роковую роль в судьбе Рыскулова. Горько об этом думать! XX съезд Коммунистической партии вернул добрые имена честным сынам советского народа, в том числе и незабываемому Турару Рыскулову.

Но вернусь к рассказу о тех днях.

Только было я обрел некоторое душевное равновесие, уверовал, что отныне все пойдет по-другому: Сталин вмешается, прекратит произвол и ошибки, допущенные руководителями на местах, будут исправлены,— как случай свел меня с Абильхаиром Досовым. Разговор снова зашел о Казахстане, о людях, покидающих родные края целыми аулами.

— Главный виновник всего этого—Сталин,— сказал, как отрезал, Абильхаир. Я даже ахнул.

— Да-да, Сталин,— повторил Досов.— Он благословил Голощекина на ту самую «революцию», которую тот сейчас делает в Казахстане. Ты же знаешь, что Голощекин утверждает, что в казахских аулах Октябрьской революции не было. Сделать ее призван он, Голощекин.

Я сидел, словно лишился дара речи. В голове шла круговерть из цитат статьи Сталина «Головокружение от успехов», мыслей, высказанных Рыскуловым и только что услышанных слов Досова.

— Я тебе, Сабит, никогда не желал зла,— донесся до меня, словно издалека, голос Абильхаира,— никому не говори того, что сказал сейчас мне. Пропадешь ни за грош.

Вечером того же дня я пошел к Нигмету Нурмакову домой. Говорили только о Казахстане, о политике, которую проводил Голощекин. Нурмаков, как и Досов, сказал, что не сомневается в осведомленности Сталина.

Все это время я прожил в постоянной тревоге. Из Казахстана все шли и шли недобрые вести. Тяжелые раздумья постоянно туманили мне голову. Перегибы продолжались. Некоторые местные товарищи пострадали от того, что писали жалобы на Голощекина. Среди партийных документов той поры известно так называемое «Заявление пяти». Среди подписавших—Габит Мусрепов и Мансур Гатауллин, много лет находившийся на партийной работе. Трое остальных, подписавших письмо,— Е. Алтынбеков, М. Давлетгалиев, К. Куанашев. Авторы письма открыто писали о печальных последствиях, которые принесли казахскому народу повсеместные перегибы. Руководство крайкома приняло это заявление как кровную обиду, осудило «поведение» авторов письма на бюро, чуть не поплатившихся исключением из партии. После этого письма жаловаться уже не осмеливались.

Именно тогда состоялась моя встреча с Горьким, которую я хорошо запомнил.

Произошло это вот при каких обстоятельствах. В 1932 году ЦК ВКП(б) принял решение об объединении РАППа с другими писательскими организациями. Съезду писателей предстояло избрать правление единого Союза писателей СССР. До съезда всеми писательскими делами ведал оргкомитет, председателем которого был утвержден Алексей Максимович Горький. Я зашел к Горькому по какому-то делу, но главный наш разговор опять был о Казахстане. Боль от всего, что я видел в родных местах, в моей груди не унималась никогда, и поэтому я должен был высказать ее любимому писателю.

— Не может быть,— воскликнул Горький, перебив мой рассказ на полуслове. И я увидел, как побелело его желтое, болезненное лицо. Горький взял со стола набитую табаком трубку, раскурил ее и сильно втянул в себя дым.

— Разве допустимо такое при Советской-то власти,— произнес он, сильно окая и медленно выговаривая слова. Он, видимо, хотел еще что-то сказать, странно раскрыл рот и закашлялся. Горький с трудом поднялся с кресла и, опираясь о стол руками, медленно добрался до дивана. Кашель не давал ему перевести дыхание.

— Воды...— слабо простонал он. Я бросился к кувшину с водою. Руки у меня тряслись. Впопыхах я не мог найти стакан. Разливая воду, налил в крышку от кувшина и протянул ее Алексею Максимовичу. Когда Горький брал из моих рук крышку с водой, его красивые тонкие пальцы коснулись моей руки — они были совершенно холодные. Я заметался по кабинету. Горький заметил мое волнение и устало махнул рукой: пройдет, мол.

И, действительно, вскоре приступ удушливого кашля прошел. Горький вынул носовой платок, вытер им вспотевший лоб, знаком пригласил меня сесть.

— Постараюсь помочь вам,— тихо сказал Алексей Максимович.— Об этом нельзя молчать... Надо обязательно рассказать Щербакову.

Не знаю, Горький ли, Рыскулов ли, другой ли кто помог мне и моему народу. Только вскоре Голощекина освободили от обязанностей секретаря краевого комитета партии. В Казахстан приехал Леон Исаевич Мирзоян, которого в народе потом назвали уважительно и ласково — Мирза-джан.

НА ВЗЛЕТЕ

Мирза-джан

Леон Исаевич Мирзоян, как сразу стало известно среди нашего казахстанского землячества, выехал в Алма-Ату в начале февраля 1933 года. Первым долгом он начал принимать меры для исправления последствий перегибов. Добрые вести, одна за другой, приходили к нам в Москву. Легче становилось на душе.

Прошло немного времени, и благие перемены в жизни колхозного аула нашли свое отражение и в художественной литературе. Посвященные этим переменам произведения начали появляться на страницах газет и журналов. Среди них особенно выделялась поэма Сакена Сейфуллина «Красный конь». В ней образным и доходчивым языком рассказывалось, как партия исправляет допущенные ошибки. Это была правдивая, яркая поэма, помогавшая осмыслить происходящие события.

Мне писали из Казахстана в Москву, что вместе с колхозниками поднялось настроение и у интеллигенции. И поэтому особенно хотелось поехать в родные края, принять участие в добрых делах.

В эти дни — кажется, это было в конце мая — я услышал, что Мирзоян приехал в Москву. Я отыскал гостиницу, где он остановился, и зашел к нему в номер.

Я увидел высокого, широкой кости человека, с большими внимательными глазами. Лицо его мне показалось несколько суховатым, даже строгим. Может быть, этому впечатлению способствовали тщательно подбритые уси-

ки. Мне понравилась его спокойная манера говорить. Впрочем, должен заметить, он больше любил слушать своего собеседника.

После моего рассказа он заговорил:

— Да, большую беду пришлось испытать казахскому народу. Но государство крепко помогло нам материально, и сейчас дела поправляются. К тому же и виды на урожай хорошие. Посеяли вовремя, и много больше плана. Всходы дружные, а сейчас идут дожди. Если и дальше не подведет погода, то пшеница вырастет по пояс.

И он сделал выразительный жест.

— А вот в животноводстве, вы сами знаете, еще тяжело. Мы тратим много сил на восстановление поголовья, но ведь на это время требуется.

У меня возникала думка совсем возвратиться в Казахстан, сразу же. Но Леон Исаевич посоветовал сперва завершить учебу.

Тогда я спросил, куда бы мне поехать на летние каникулы, чтобы как-то помочь своим работающим товарищам.

— Я бы вам рекомендовал поехать в Караганду. Сейчас, правда, в угольном бассейне размах работ еще невелик. Но зато будущее, будущее какое! Караганда по запасам угля уступает только Донбассу и Кузбассу. Сейчас решаем вопрос о строительстве железной дороги Акмолинск — Карталы. Эта дорога сулит нам большие перспективы. Когда ее построят, Магнитогорский металлургический комбинат — это ведь Магнитка, крупнейший в стране завод! — будет получать уголь не из далекого Донбасса и даже не из Кузбасса, а из Караганды, А она — под боком. Карагандинский уголь не уступает своими качествами донецкому и хорошо коксуется. Пройдет время, карагандинский уголь потребуется и казахстанским промышленным гигантам. Они у нас будут, поверьте мне.

...Наступили каникулы, и я выехал в Петропавловск, чтобы потом, воспользовавшись советом Мирзояна, побывать и в Караганде.

Уже первая серьезная беседа с председателем окрисполкома Сулейменом Ескараевым настроила меня на добрый лад.

— «Хороший гость пришел—овца двояшек родит»,— начал он поговоркой, намекая на приезд в Казахстан

Мирзояна.— Еще недавно в эту пору года высыхали и реки и озера. А нынче наш Есиль разлился, в долинах вдоволь воды, трава густая — выше жеребенка. Успеем скосить, корма хватит на несколько лет. Богатый у нас урожай и на хлеб и на сено. Радуются и стар и мал. Не то что в прошлом году. По всему думается, джуты нас больше не навестят.

— Если бы ты, Сабит, год назад приехал или даже этой ранней весной, грустно бы тебе было. Правду надо говорить, голодали люди, горевал народ, а теперь быстро поправляется, восстанавливает силы.

Чтобы я съездил в родной аул, Сулеймен Ескараев дал мне свою легковую машину. Две с половиной сотни километров надобно мне было проехать от Петропавловска. Один путь — по «линии», русскими казачьими станицами, другой путь — чуть длиннее — казахскими аулами. Я выбрал второй путь.

Ескараев нисколько не преувеличивал — урожай хлеба и трав обещал быть превосходным. Любо было глядеть и на скот: потяни, как говорится, овцу за шерстинку — жир закапает.

Приятно было разговаривать с людьми. Оправились они от прошлой беды, радушными улыбками встречают тебя, приветствуют, шутят.

И с добрым душевным любопытством расспрашивают о Мирзояне. К его фамилии всюду добавляется приставка «джан». Душа-человек! Вопросы аулчан порою наивные, смешные... Правду ли говорят, что он казах? Это верно, Сабит: Мирзоян-джан—племянник Ленина? С малолетства был рядом с ним, учился у него?

Мне было жалко разрушать эти милые легенды,— ведь они рождались от хороших чувств, от любви к честным людям, большевикам. Понимал народ и то, что партия заботится о нем, что перегибы — не вина всей партии, а отдельных людей, которые тут же назывались по именам.

...Два дня я отдохнул в своем ауле, а потом решил съездить на ескараевской машине в Майбалык.

В первой книге «Школы жизни» я рассказывал о своем земляке Хасене, сыне Дюсека. Мне хочется снова сказать о нем несколько слов.

Хасен умер в 1954 году, двух лет не дожил он до восьмидесяти. Он был богатырь с виду, отличался кротким

характером и необыкновенным трудолюбием. Всю жизнь он занимался шорным делом. Сам дубил кожу, не признавая чужого дубления, плел плети — камчи, уздечки, выделывал сбрую. Изделия Хасена были прочными и красивыми. Со всех степных сторон поступали к нему заказы. И от баев, и от мурз, и от простых людей. Мог бы Хасен стать богатым человеком, но он не умел торговаться и довольствовался тем, что ему давали. Он и не стремился к наживе. Как говорится, ему в своем хозяйстве хватало и одного колеса.

А работал он день и ночь. Его никогда не видели на аульных боях и вечеринках. Не то, чтобы поехать в гости к далеким родичам, он и в своем ауле избегал ходить на праздники. Сидит себе дома и плетет камчу.

— Что ты не отдохнешь, Хасен? — спрашивали у него, бывало. А он только улыбнется кроткой своей улыбкой:

— А зачем я буду бросать работу?

Случалось, его веселый друг и ровесник, любитель погулять, Назир сын Тоганаса силком вытаскивал его на свет божий. Хасен и в такие дни не расставался со своей сыромятной сумкой, где хранились инструменты, и на тое под песни продолжал плести свои камчи.

Чего не любил Хасен, так это собраний. С 1933 года он состоял в колхозе. Сколько бурных и скучных собраний прошло за его жизнь, но он ни разу не побывал на них. Но и дисциплины он никогда не нарушал. Все задания колхоза аккуратно выполнял шорник Хасен. И если к нему обращались из других колхозных аулов, тоже отзывался охотно и бескорыстно.

Ему не пришлось сидеть на коленях перед муллой — учиться в мусульманской школе. Он и буквы «алип» не знал, и палочки к букве. Однако Хасен был по-своему очень религиозен. Не зная ни одного арабского слова, не умея правильно прочесть ни одной молитвы, он любил повторять заученные им с детства молитвенные наговоры. Я часто слышал, как он повторял — «Алла-астапраллы».

В старости Хасен часто болел. Наступили дни, когда он вынужден был бросить работу. Он уже не мог подыматься. Но и в таком состоянии он шептал знакомые слова молитвы, как всегда их перевирая. Если его пытались поправить, спокойно отвечал: «Как бы я ни читал, но

душа у меня чиста». Ему советовали поехать в больницу, обратиться к врачу, но он отказывался, убежденный, что и болезнь ему послал бог. Врач приехал к нему домой, но он не дал себя осмотреть на этом же основании. Не принимал он и лекарств, потому что они против бога.

Достаток у Хасена был, но лошадей он не держал. Всему спиртному предпочитал простоквашу—айран, говядину считал вкуснее жирной баранины и мяса молодого жеребенка. Ездить он любил на быках, мол, спокойнее и тише. А к машинам и близко не подходил. Впрочем, о машине и Хасене и будет мой дальнейший рассказ.

Летом 1933 года, во время этой моей встречи, болезнь уже одолевала Хасена. Мне очень трудно было его уговорить поехать со мною в Майбалык. Лучшего спутника, признаться, я и не желал,— так приятно было слушать его рассказы. Я говорил Хасену, что мы быстрее быстрого доедем до Майбалыка. Уверял его, что трясти не будет. И, наконец, он согласился.

От аула до Майбалыка около тридцати километров прямой накатанной дороги. Степь была безлюдной. Прежде здесь довольно часто встречались одинокие юрты. Теперь их хозяева жили и работали в колхозе.

Мы помчались действительно быстрее быстрого. И только наш аул скрылся из глаз, как я услышал отчаянный голос Хасена. Я, сидевший рядом с шофером, оглянулся. Больной неловкий Хасен, закрыв лицо руками, медленно сползал с сиденья.

— Ой-бой, Сабит, я умираю.

Еще несколько мгновений, и он окончательно скатился вниз.

— Потерпите, Хасеке,— увещевал я его как можно ласковее.— Еще немного терпенья, и вы привыкнете.

Но слова мои до него не доходили:

— Умираю, нутро переворачивает.

Машина шла уже значительно тише.

— Остановите, а то выпрыгну на ходу.

И он уже схватился рукою за дверцу. Нет, Хасена не переубедишь. Шофер остановил машину, и я осторожно, под руку вывел старика. Он растянулся на земле и долго, словно находился в беспамятстве, не отвечал на мои вопросы. Наконец, он пришел в себя.

— Поедем, Хасеке, дальше!

— Нет, нет, спаси меня аллах!

— Ну давай отвезем тебя в аул.

— Нет, нет, спаси меня аллах! И не говори мне об этом. В тарантас этого дьявола я больше не сяду.

Я говорил Хасену, что мы далеко отъехали от аула, и ему будет трудновато добираться пешком. Тем более, что у него, у Хасена, болит нога. Я предлагал ему любой вариант — хоть домой, хоть в Майбалык. Но старик только повторял свои обращения к аллаху и по-прежнему упрямился. Мы торговались утомительно долго, и, кажется, запас моих слов для уговоров уже иссяк. Наконец, я ему предложил выход, в который и сам не верил:

— Что ж, Хасен-ага, ты не хочешь ехать ни вперед, ни назад, солнце уже склоняется к западу, мне стыдно оставить тебя, а самому уехать на машине. И не только стыдно, это бы еще ничего, а боюсь я за тебя, Хасеке. Случится с тобой что-нибудь в степи, а я буду виноватым. Нет, Хасеке. Давай договоримся так: я отправлю машину в Кзыл-Жар, а сам останусь здесь с тобой. Будем ждать вместе конных проезжих, а не дождемся — пешком дотащимся... Не умирать же нам с голода...

Так говорил я, а сам незаметно подмигивал шоферу, русскому парню, хорошо знающему казахский язык.

— Ну, хорошо,— шофер говорил громко и весело,— я сейчас уеду. Прямиком в Кзыл-Жар...

И сел в кабину, завел мотор. У Хасена, должно быть, появилось подозрение, что над ним подшучивают. Но когда машина развернулась и он решил, что дело принимает серьезный оборот, то разволновался по-настоящему.

— Сабит, останови его!..

— А зачем ему останавливаться,— я досадливо махнул рукой,— ведь он же видит, что тебя нельзя уговорить. Он — посторонний человек. Разве ты ему нужен? Взял да уехал. Что с него спросишь?

Машина тронулась. Медленно, но тронулась.

— Позови его, останови! — Хасен уже терял надежду.

— А ты сядешь в машину?

— Сяду, сяду,— заторопился сдавшийся Хасен.— Клянусь аллахом, сяду. Значит, на то его воля.

А я уже бежал за машиной... Сел рядом с Хасеном. И теперь, неожиданно для самого себя, он с каждой минутой становился спокойнее, румянее и свежее, с любо-

пытством смотрел на дорогу и, не отрываясь от стекла, спрашивал:

— Этот шайтан, значит, быстрее коня? Он и самого тулпара может обогнать?

А потом и совсем осмелел, словно всю жизнь ездил в машине:

— Может, прибавить нашему шайтану камчи, чтобы бежал?

Шофер дал газу, машина понеслась еще быстрее. Мы приближались к сопке, поросшей лесом. Сопка эта известна в степи под названием Шок Кара-Мурзы. На западном ее склоне, вплотную к лесной кромке, стоял мазар, построенный на могиле некоего бая Кунияза. Наш религиозный Хасен никак не мог проехать мимо него:

— Сабит, мой милый, давай остановимся здесь. Когда-то я принимал пищу из рук Кунеке. Наследников у него не осталось. Стыдно мне будет, если я не помолюсь на его могиле.

Я пробовал отговорить Хасена. Сколько еще могил у нас на пути. Будем останавливаться у каждой могилы — можем не доехать до Майбалыка. Но переспорить моего упрямого спутника, как знает читатель, было трудно. Он горячо стал доказывать мне, что дух — аруах Кунияза нельзя сравнивать с другими аруахами. Не почтить его молитвой — значит согрешить перед богом.

И с этими словами Хасен схватился за дверную ручку.

Конечно, мы остановились. У могилы Хасен обратился ко мне с неожиданной просьбой прочитать молитву. И долго не хотел мне верить, что я уж давно позабыл молитвы. Он, вероятно, продолжал и дальше спорить со мной, если бы не комары. Густой звенящей тучей они нависли над нами и уже начали нападать.

— Скорее читайте молитву, Хасеке,— торопил его,— от комаров пощады не будет.

И Хасен, испугавшийся комаров, поспешно забормотал свое обычное «кулкуалла», между прочим, не имеющее ничего общего с надмогильной молитвой. Он очень скоро закончил свой бесхитростный обряд, первым занял место в машине и нетерпеливо вскрикнул:

— Поехали!..

Мы снова сидели рядом. Он чувствовал себя уверен-

но, глаза его весело поблескивали, как у джигита, оседлавшего ветроногого иноходца.

После довольно продолжительного молчания мой Хасен заговорил совсем о другом:

— Скажи мне, Сабит мой милый, кто это Мирза-джан? Народ часто о нем говорит сейчас.

— А что, Хасеке, его хорошим считают или плохим? — задал я встречный вопрос.

— Хорошим-то его считают. Но вот одни говорят, что он мусульманин, другие называют его кафыром — нечестивым. Кто же из них прав, скажи, Сабит!

Я ответил Хасену, что ошибаются и те, и другие. Он с недоумением посмотрел на меня:

— Как же так?

— А вот так! Что думает Хасен-ага о Ленине — хороший он или плохой? Мусульманин он или кафыр?

Хасен обиделся:

— Как только можешь ты такое спрашивать? Кто может назвать плохим человека, сделавшего столько добра народу!

— Да я же не при людях спрашиваю, а в степи,— решил я испытать старика.

Он обиделся еще сильнее:

— И на людях, и наедине надо говорить то, что ты думаешь. Последнее дело скрывать свои мысли.

— Вот я и хочу, чтобы вы откровенно говорили со мной, Хасеке.

— Светик мой, я всегда утверждаю: бог един и честен пророк. Я не был лжецом перед ними. Я всегда говорю только правду. И правду говорю тебе. Ленин не простой человек. В нем поселился дух предков аруах. Создатель его послал нам, чтобы он вытер слезы плачущим. Как же я могу лгать перед богом и называть Ленина плохим. Ленин любил народ, и народ любит Ленина. Такого человека и бог любит. И я его люблю.

— Тогда, Хасеке, я скажу так: Мирза-джан хороший человек. Он — ученик Ленина.

— Значит, он учился, сидя перед ним? — воскликнул Хасен, считавший, что учиться можно только так, как учатся у мулл.

Я не стал разуверять старика.

— А я-то все думал: почему люди так уважают Мирза-джана? Устаз, учитель его, был мудрым. Слава Уста-

зу и ученику его Мирза-джану. Спасибо им, что они о людях думают. Да живут они многие лета.

И Хасен молитвенно провел ладонями по седой своей бородке.

Караганда

Я приехал в Караганду ночью. Еще из окна вагона я увидел на южной части холмов Ит-Жона, «собачьего хвоста», маленький городок в россыпи огней.

На перроне у приземистого, ничем не примечательно вокзальчика, среди снующих взад-вперед людей я издали увидел встречавшего меня редактора городской газеты «Карагандинский пролетариат» Джумабая Орманбаева. Его нельзя было не узнать, похожего на кубышку, низенького, толстого, большеголового, он был младше меня лет на шесть, хлебнул в детстве, как и я, бедняцкого горя, работал потом в комсомоле, кончил в Ташкенте Средне-Азиатский коммунистический университет и потом редактировал в Кзыл-Орде молодежную газету «Лениншил жас». Там, в Кзыл-Орде, мы с ним и познакомились. Он был человеком откровенным, но слегка заносчивым, любил песни и музыку.

Я знал, что Джумабай уехал в Караганду в 1932 году по своему большому желанию, и после первых же его слов на перроне понял — он влюблен в свой горняцкий город.

Я был на первых порах несколько разочарован Карагандой, неказистым зданием вокзала, тусклыми газовыми рожками вместо электричества, пустырем, начинавшимся сразу от станции. Вокзальчик не мог вместить всех приезжающих и отъезжающих, и на пустыре группами бродили и отдыхали какие-то сумрачные в туманной пристанционной полутьме люди.

— Значит, это и есть Караганда? — невесело сказал я.

— Это и есть Караганда,— повторил за мной Джумабай,— увидите город, еще больше разочаруетесь. Но если вы приедете лет через пять, уже не узнаете города. Не сомневаюсь в этом.

Редактор приехал за мной на тарантасе. Мы отправились к нему домой ночными улочками — то освещен-

ным, то погруженным в сплошную темень, то прямыми, то виляющими, как тропка в горах. Я думал о городе, возникающем в степи.

— Значит, это и есть Караганда?

И Джумабай отвечал мне снова фразой, сказанной на вокзале.

Тарантас остановился у одноэтажного продолговатого дома.

— Квартира у меня двухкомнатная, отдельная. В бывшей конторе англичан. Здесь теперь десять семейств руководящих работников.

...За чаем Джумабай с увлечением рассказывал о Караганде. Я дивился тому, как он привязался к этому городу, как хорошо знал его историю.

Может быть, не все было точно в его рассказах, но разве в этом дело?

Я слушал Джумабая и ясно себе представлял:

Почти столетие назад степь была такой же, как теперь. Может быть, зверья водилось чуть побольше. Казах-охотник с гончей травил лису. Собака уже совсем настигла ее, но лиса прянула в нору. Охотник закрыл вход в нее камнем, сходил за аулчанами, и все вместе принялись откапывать лису. Откапывая, наткнулись на камни. Мягкие и черные. Уже вечером развели костер из караганника. И случайно брошенный в костер черный камень загорелся, как свеча.

Охотники поймали лису. Но это было обычным делом. А вот горящий черный камень — настоящее чудо. И в этом ауле, и в соседних черный камень начали применять как топливо. Узнал об этом старшина, а от него — волостной. Волостной сообщил дальше.

Весть о карагандинском угле распространилась по всей России и даже проникла за рубеж. Угля, правда, добывалось немного. За тридцать лет (1857—1887 гг.) всего триста тысяч тонн — столько, сколько дает теперь в месяц самая отсталая карагандинская шахта. Но капиталисты чуяли богатую наживу. Французский капиталист Карно перекупил карагандинские копи у купца Ушакова уже за пятьдесят тысяч рублей. К тому времени в степи появляются медные рудники и первые медеплавильные заводы.

В годы революции перед своим бегством иностранные хозяйчики затопили шахты Караганды, а многие

просто завалили. Словом, если не нам, то — никому! К восстановлению карагандинских шахт Советская власть смогла приступить лишь в 1930 году. Началась откачка шахт, и одновременно разведовались запасы угля. Очищенные шахты уже в том, тридцатом году, дали тридцать тысяч тонн угля, на следующий год почти в десять раз больше. А в 1933 году план был уже солидный — полтора миллиона тонн.

— Вот так, из года в год мы и должны продвигаться вперед,— рассказывал Джумабай.— Но пока по добыче угля мы еще очень отстаем от капиталистических стран. Средней карагандинской шахте нужно работать, по крайней мере, год, чтобы выдать столько угля, сколько средняя механизированная шахта Америки добывает за один месяц. У нас добывают уголь по старинке, так же, как добывали до революции. У шахтеров и сейчас главное оружие — кирка.

— А много ли у вас рабочих? — спрашиваю.

— Да около трех тысяч. И почти все казахи. Из аулов к нам потянулись.

— Мало,— говорю.— Очень мало еще.

— Я-то это хорошо знаю, что мало,— отвечал Джумабай.— На такое богатство, что скрыто под землей,— кажется, на площади в три тысячи квадратных километров,— десятки тысяч рабочих рук потребуются. Нельзя и думать, что эти клады зря пропадать будут. Партия не допустит! Погодите, придет к нам техника, откроются новые шахты, по-новому заживет Караганда.

Джумабай,— это было видно по его глазам, по убежденности, которую он вкладывал в каждое слово,— глубоко верил в будущее нашего угольного бассейна. И годы подтвердили его правоту, правоту его товарищей, приехавших открыть Казахстанскую кочегарку.

Наутро следующего дня мы начали знакомиться с Карагандой. Нам предложили грузовик — легковых машин в городе почти не было,— но мы предпочли вначале побродить пешком.

Старая Караганда (сейчас и старый город не узнать — так он обновился) при дневном свете совсем не походила на город: вдоль бугров и оврагов, то каменистых, то рыхлых, тянулись рядами несуразно длинные, неприветливые бараки; я видел и лачуги, наскоро сбитые из досок, и даже врытые в подножья бугров зем-

лянки. Иногда поверх землянок змеисто вились людские и конские тропы. Мы заходили в бараки и землянки; некоторые бараки были разделены дощатыми перегородками на маленькие комнатки, а иные — без всяких внутренних стенок, хоть конские скачки в них проводи, посередине ход, в обоих концах лестницы-ступеньки. В таких бараках, еще не переоборудованных со времен хозяйничанья англичан, размещались несколько семей, и часто многодетных. Болью щемило сердце. Ведь здесь жили те, кто закладывал фундамент большой, богатой, культурной Караганды. Мы с Джумабаем утешались одним: со временем все здесь будет иначе. Трудно сейчас, что поделаешь! Но казахская пословица говорит: «Бейнетсиз зейнет жок»,— без труда нет добра, нет счастья!

Мы верили в будущее Караганды и дождались его. Теперь это один из крупнейших городов не только Казахстана, но и всей страны... Однако я забегаю вперед.

Вернемся к степи, в которой вырастала Караганда. Посмотрите с высоты Ит-жона вокруг. Глазу остановиться было негде — бескрайний простор. Только небольшая гора Байдаулет вырисовывается на горизонте... Ковыльная степь, безводная степь.

Речушке Сокыр трудно было напоить Караганду. Сокыр — слепая река. Она оправдывает свое название. К середине лета она уже исчезает: частью пересыхает, частью уходит под землю. С характером реки связано и название возвышенности Ит-жон. Прежде. люди только весной бывали здесь, они откочевывали к лету, исчезали вместе с водой. Но волков, лис и корсаков (казахи их так и называют собирательным именем ит-кус) было здесь, хоть отбавляй.

Зимою, рассказывали мне, Ит-жон и прилегающие к нему урочища становились местом выпаса конских табунов. Казахские баи Азна, Сапак, Мати, Даулен, Байтурсун владели многотысячными косяками лошадей. А лошади охочи до травы бетеге — лакомого их корма — и еще до кустарника, напоминающего таволгу. Этот кустарник так и называется караганом или караганником. Вот поэтому и степь эту издавна именовали Караганды. Когда зимою проходили дожди и наступал гололед, лошади, находящиеся на тебеневке, обгладывали верхушки караганника. И верхушки эти, представьте,

оказывались таким полезным кормом, что кони даже жирели от него. Недаром в этих местах сложили поговорку:

Нам не будет страшен и суровый джут,
Если кони наши караган жуют.

У караганника много удивительных свойств. В аулах, бедных лесом, его скашивали на топливо. А к лету он вырастал снова, густой и высокий. И еще стриженые овцы любят укрываться в караганнике и от непогоды, и от солнца. Но как бы ни был хорош караганник, не им, а углем знаменита теперь Караганда.

Я уже говорил о речке Сокыр, но я ничего еще не сказал о другой реке, поистине знаменитой реке в нашей степи Арка. Это — Нура со своим западным притоком Чурубай-Нура.

В ту пору, когда я там был, Караганда очень нуждалась в воде. Нуринскую воду привозили сюда в бочках, мечтали о строительстве насосной станции. Мало кто предполагал тогда, что люди перекроют Нуру плотиной и создадут огромное озеро, которое и за день не обскакать на лошади. На берегу этого озера построены металлургические заводы и мощная Карагандинская ГЭС... Но в середине века, когда вырос наш крупнейший индустриальный район и этой большой воды стало недостаточно, начал строиться канал Иртыш — Караганда. Он-то уж вдоволь напоит и заводы и шахты, жителей городов и аулов. Он-то поможет многочисленным карагандинским совхозам. А в тот, 1933 год, был всего один совхоз «Нура-Талды», восточнее Чурубай-Нуры.

...Я знакомился со степью, я смотрел, как живут горняки, но я не забывал и о том, что мне надо побывать в шахтах. Я думал, может быть, они похожи на Байконурские копи? Оказалось, карагандинские шахты значительно совершенней. Ходить в них свободнее, легче. Штреки куда шире и выше. Под землю уже проникло электрическое освещение. Добытый в забоях уголь уже не вывозится вручную.

Меня поразила мощность пластов карагандинского угля. Да и по качеству он не шел ни в какое сравнение с байконурским. Он настолько черный, что кажется жирным, и поблескивает антрацитовым блеском при электрическом свете.

Мне очень хотелось бы, дорогой читатель, побольше рассказать о Караганде, о ее нынешней богатой технике, о ее дворцах и парках, о ее современных городских кварталах. Но события, описываемые мною в этой книге, завершаются тысяча девятьсот тридцать шестым годом. И свое желание я смогу осуществить только в других, будущих книгах.

Забавные истории охотника Мукаджана

Я уже несколько дней жил в Караганде, знакомился с бытом горняков, с производством. Однажды Джумабай пригласил меня на охоту. Я заколебался. Мол, стоит ли? Джумабай хитровато улыбнулся:

— Вспомните Кзыл-Орду, Сабит. Вам часто приходилось бывать у Сакена. И вы обязательно встречали у него одного веселого джигита. Белолицего, сероглазого. Но самая памятная примета — рваная верхняя губа.

Долго вспоминать мне не пришлось.

— Знаю, о ком вы говорите. Это Мукаджан.

— Совершенно верно, Мукаджан.

Вот фамилию я не мог назвать. Может быть, я ее никогда и не слышал.

— Мукаджан Байтурин,— подсказал Джумабай.— Какой он меткий стрелок, если бы знали. Он легко попадает в самку серны — куралай. А кто в степи пугливей и осторожней куралай? Охотиться с Мукаджаном одно удовольствие. С богатой добычей вернемся.

Дней пять-шесть мы охотились втроем и у горы Байдаулет, и вдоль речек Нура-Талды и Чурубай-Нуры. Я не мог надивиться зоркости и меткости Мукаджана. Если уж зверь попадал под его прицел, спасенья ему не было.

На склонах Байдаулета водилось множество зайцев. Покажется заяц на расстоянии выстрела, Мукаджан уже спрашивает нас: куда попадать — в голову или в заднюю лапу? Мы заказываем. Он стреляет, и скоро мы убеждаемся, что заказ выполнен точно.

Много было в степи и дроф. Ленивые тяжелые птицы, незнакомые с охотниками, не боялись нашего приближения. Можно было подходить к ним почти вплотную и бить наповал. Мукаджан так и делал. Немало

сурков и сусликов, торчащих у нор, погибли от его пуль. А вот встретить волков и лис нам никак не удавалось.

Особенно запомнились мне два случая, когда Мукаджан показал сказочную свою меткость, чуть ли не орлиную зоркость его серых спокойных глаз.

Мукаджан на охоте — пеший ли он, на коне ли — озирается, словно беркут, высматривающий добычу. И примечает ее так далеко, когда мы при всем желании ничего не можем увидеть. Сухой, легкий, ловкий, завидев дичь, он пригибается к земле и стремительно несется к цели. Мукаджан в зоркости — беркут, в беге — гончая.

Мы шли пешком по склону невысокого холма. Как и обычно, Мукаджан зорко посматривал по сторонам. И вдруг он воскликнул в изумлении:

— Ой-бай, глядите-ка туда!

Охотник всем телом прижался к земле и показывал пальцем в какую-то определенную точку. Так было уже не в первый раз. Мы даже предполагали, что он подшучивает над нами. Ведь мы ложились рядом с ним и напряженно смотрели туда, куда указывал Мукаджан. Но ничего не могли увидеть.

— Глядите-ка! — настойчивым шепотом повторил Мукаджан и жестом предложил залечь вместе с ним в траву.

Мы повиновались, но снова ничего не увидели.

— Туда смотрите, на куст.

Метрах в пятидесяти от нас действительно был куст чия. Но ничего особенного мы на нем не обнаружили.

— Всмотритесь: прямо над кустом парит жаворонок, боз-торгай.

Наконец-то мы разглядели едва приметную точку.

— Теперь внимательно смотрите на куст. Ничего не заметили? А я хорошо вижу змею. Она подняла голову и гипнотизирует жаворонка. Она вот-вот собьет его и проглотит. Нет, я не дам ей этого сделать. Я ее в голову сейчас, в голову!

Мукаджан нацелил ружье, подарок Сакена. Прогремел выстрел.

— Упала! — с торжеством воскликнул Мукаджан и бросился к кусту. За ним побежали и мы. Под чием в смертельной судороге изгибалась огромная змея. Охотник наступил сапогом на ее шею. Голова змеи была раздроблена пулей.

Мукаджан удивил нас и второй, по цирковому веселой проделкой.

Мы располагались на ночлег у одного глубокого водоема Нуры-Талды, тальниковой Нуры. Река эта пересыхает летом, образуя в некоторых местах полноводные озерца.

Солнце уже село. Неподалеку от нас на воду опустились две утки.

— Ах, как обнаглели! — пригрозил Мукаджан.— Сейчас я вас обеих.

— Если только сможешь,— подзадорил я стрелка.

— Ладно, я их вам принесу.

Мукаджан прокрался к тальнику. Я — за ним. Утки продолжали плавать и нырять, не подозревая, что находятся на расстоянии выстрела.

— Одну я подобью в хвост, когда нырнет, другую — в голову, когда вынырнет,— быстро шепнул Мукаджан.

— Твое дело,— ответил я.

Словно поддразнивая Мукаджана, нырнула передняя утка. Только ее голова показалась из воды, раздался выстрел. Когда другая утка в страхе нырнула под воду, грянул второй...

— Готово! — и довольный Мукаджан поспешно стал раздеваться.— Сейчас я их притащу.

Он был отличным пловцом. Мы не раз это наблюдали. Сейчас он особенно легко и быстро плыл за подбитой дичью. Вернулся и бросил на траву перед уже сложенным, но еще не разожженным костром двух подбитых уток. У одной была окровавлена голова, у другой — подбрюшье.

Мукаджан был мастаком приготовлений охотничьей пищи. Он ловко освежевывал зайца, ощипывал и потрошил птицу, аккуратно опаливал ее на огне. Готовил он быстро и вкусно, а за едой развлекал нас всяческими историями, в которых не так-то легко было отличить выдумку от правды. Много раз, оказывается, он бывал в гостях у смерти.

Еще четырехлетним мальчуганом, играя со своими сверстниками, он подбежал сзади к строптивому коню, и конь так лягнул его, что он потерял сознание.

— Вот тогда мне и порвало губу. Вся верхняя челюсть была раздроблена. Спасибо аульному костоправу. Собрал он мои косточки. Помог им срастись.

Мукаджан был уже джигитом и ездил в соседний аул к одной девушке-красавице. Богатый соперник приревновал его и решил отомстить. Мукаджана подстерегли и избили. Да так избили, что он замертво упал. Тогда они повесили ему на шею корягу и бросили в озеро.

— Но дерево не тонет,— с улыбкой добавил Мукаджан,— я плавал вместе с ним и потом очнулся.

Напасти на этом не завершились. Когда вместе с Сакеном Мукаджан приехал в Кзыл-Орду, он некоторое время был артистом. Как-то зашел он в гости к председателю рабоче-крестьянской инспекции Хамзе Джусупбекову, а Хамза попросил его поколоть саксаул. Саксаул, как известно, колют о камень. Размахнулся Мукаджан здоровенной саксаулиной, ударил по камню, отлетел здоровый сук и прямо ему в голову. Два месяца пришлось пролежать в больнице бедному артисту.

Не успел он оправиться — новое несчастье. Убил Мукаджан собаку, напавшую на него, а она оказалась бешеной. Сорок дней пришлось делать уколы.

— Такая уж судьба выпала на мою долю,— сокрушался Мукаджан,— лягали меня жеребцы, кусали собаки, били джигиты и воры. Даже стреляли в меня.

Вот такие печальные истории случались с нашим Мукаджаном Байтуриным. А смешных еще больше. Но самые интересные приключения бывали с ним на охоте. Тут уж сказку от были никак не отличишь. И, конечно, не докажешь, что эта история произошла с другим охотником, а не Мукаджаном.

— А сказку о черном волке вы знаете? — спросил Мукаджан.— Нет, говорите. Тогда я вам расскажу.

Жил где-то в степи черный волк. Чернее нельзя найти. Сильный волк, матерый волк. На всех нагонял страх, а сам никого не боялся. Задерет скотину, нажрется и спокойно уйдет в свое логово. Никто не смел его преследовать. И все-таки нашелся один охотник. На коне погнался за ним. Напрасно решился. Волк стащил его с седла и загрыз. Можно ли поверить этому?

— Так это ведь сказка,— ответил я Мукаджану.

— Я прежде тоже думал, что сказка,— голос Мукаджана стал серьезным, внушительным,— а теперь сам убедился, что правда. Собственными глазами видел.

— Кого видел?

— Черного волка, конечно. Но погодите, я обо всем расскажу по порядку. У дяди моего было много коней, а я любил ездить по степи. Дядя и сделал меня табунщиком. Было нас трое или четверо. Пасли и спали поочередно. Находили время и для охоты. Не было дня, чтобы к седлу не приторачивали добычу. А порою забивали и хищного зверя. То карсака, то лису, а то и волка. Однажды я уснул в шалаше, а мои товарищи табун охраняли. Вбегают они в шалаш, кричат наперебой: «Чудо видели. Черного волка. Да не волка, а волков. Целое семейство. Матерого самца, волчицу и двух волчат. Черные, как уголь. Злые-презлые. На наших глазах напали на табун. Вцепились в пах жирной кобылы и задрали ее. Мы к ним. Кричим, размахиваем соилами, а они и не думают убегать. Вот тут и пришлось вспомнить сказку о черном волке. Не осмелились мы их тронуть...»

— И все? — спрашиваю я.

— Нет, не все. Как улышал я про это,— решил сразиться с черным волком. Думаю, чего мне бояться? Однажды родился, однажды и умру. Стал я готовить для встречи с ними своего вороного жеребца. Не боялся он зверей. Смело шел за ними в погоню. Подкормил я его, лоснится мой жеребец. Езжу я с ним степью, выслеживаю логово черных волков. И, представьте, нашел. В развалинах старой шахты, которую разрушили англичане при бегстве своем. Теперь я уже знал, где их надо подстерегать. Пришел срок, и черные волки действительно мне повстречались. Приметили они меня издали. Немного постояли. Потом волчица с волчатами потрусила в сторону своего логова, а самец словно поджидает меня. Могучий зверь. Таких самцов арланами у нас зовут. Вижу, прилег черный арлан на землю, морду вытянул и глядит прямо на меня. Что ж, думаю, была не была, надо начинать. И помчался к нему. Черный мой жеребец не раз имел дело с волками. Ударял их передними копытами и задними. Смотря по тому, он ли догонял хищника, или хищник подкрадывался к нему. Но не успел на этот раз вороной ударить зверя передними копытами. Волк опередил коня, прыгнул и вцепился ему в ноздри. А когда жеребец попытался лягнуть зверя, я не смог удержаться в седле. Волк ринулся на меня, и тут верный мой конь ударил его задними копытами. И так ударил, что черный волк бросился убегать

к своему логову. Когда я снова вскочил в седло, он был уже далеко и успел спрятаться в свою нору. Так вот, эти черные волки,— закончил Мукаджан,— до сих пор живут в развалинах старой шахты, но, завидя человека, убегают.

— Это сказка не про черный ли уголь? — засмеялся я.— Долго он прятался под землей, и пугал людей, и скрывался от них. Но теперь его нашли и заставили изменить свой упрямый злой характер.

— Кто его знает,— весело ухмыльнулся Мукаджан.— Может быть, так оно и есть.

Так к моему знакомству с шахтерской Карагандой, о которой я позже писал и очерки, и стихи, прибавилось знакомство с этим забавным охотником.

Рука об руку

Путь мой теперь лежал в Алма-Ату. Долго странствовал наш карагандинский вагон. Он побывал и в Петропавловске, и в Новосибирске, и в Семипалатинске, прежде чем попасть в столицу Казахстана. Как там, в новой столице? Что изменилось в жизни республики после смены руководства? Многое меня интересовало, в том числе и литературные дела.

После того, как постановлением Центрального Комитета партии была ликвидирована Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и создан Союз советских писателей, аналогичные изменения произошли и у нас, в Казахстане. Съезды писателей нигде еще не проводились. Я знал, что в Алма-Ате создано организационное бюро под председательством Ильяса Джансугурова. Но о планах оргбюро, о его работе я не имел никакого понятия.

После встреч со своими старыми друзьями и товарищами по профессии я тогда же, в Алма-Ате, составил себе ясное представление о том, что происходит в казахской литературе.

Но тут я сделаю небольшое историческое отступление.

Я хочу напомнить, что наша письменная литература появилась только во второй половине XIX века. Писателей в настоящем смысле слова до Октябрьской револю-

ции можно было перечесть по пальцам. И уж, конечно, не могло быть и речи о каких-то серьезных литературных объединениях. Только еще при жизни Абая Кунанбаева вокруг него группировались его пишущие близкие родственники и друзья-акыны: младший двоюродный брат Шахкарим Кудайбердин, сыновья поэта Акылбай и Магавья, друзья Кокпай и Арип. Все они тянулись к Абаю, подражали его стихам. Но со смертью поэта эта группа распалась, и каждый жил и писал сам по себе, не оставив заметного следа в поэзии. Тем не менее, это содружество было единственным в истории нашей письменной литературы. Объединившееся вокруг газеты «Қазах» и журнала «Айкап» небольшие писательские силы никак нельзя назвать группами, тем более организациями.

В 1917 году в казахской литературе наметились два направления, противоположные друг другу. Писатели первого направления душевно приветствовали Октябрьскую революцию и воспевали ее. Они боролись вместе с Коммунистической партией за диктатуру пролетариата, за Советскую власть. Первую тропу здесь проложил Сакен Сейфуллин. Второе направление связано прежде всего с именем Магжана Жумабаева, воспевавшего вместе со своими единомышленниками врагов Октябрьской революции, Коммунистической партии.

Писатели, представляющие эти направления, в середине двадцатых годов стали объединяться в группы, в организации. Группа, возглавляемая Сакеном Сейфуллиным, в 1925 году оформилась в КазАПП, стала ее ядром. Она опубликовала свою платформу, то есть вслух заявила о своих взглядах, о своей цели. Она превратилась в официальную организацию.

Иначе обстояло дело с группой, возглавляемой Магжаном Жумабаевым. Она тоже попыталась создать свою организацию «Алка» («Круг», «Собрание»). Но так как целью этой группы было сопротивление советскому строительству, то официально действовать в качестве организации она не могла. Ее идеи лишь просачивались в отдельных статьях и произведениях.

Таким образом, казахская литература ко времени образования Союза советских писателей была представлена двумя организациями: открытой, официальной — КазАПП и неофициальной, скрывавшей свои цели,—

«Алка». Как известно, в русской литературе было несколько организаций со своими, часто противоречивыми, платформами. Все они влились в Союз советских писателей. У нас в Казахстане было не так. КазАПП целиком вошел в Союз советских писателей, а из «Алка» — только несколько человек.

Я уже говорил, что Сакен Сейфуллин первым проложил тропу советской литературы. Некоторые наши литературоведы до последнего времени называли его одним из основоположников казахской советской литературы. Если это так, то рядом должны стоять и другие имена. Но в действительности этих других имен нет. Повторяю, Сакен Сейфуллин и в последующие три года (1917—1920 гг.) был единственным поэтом, воспевавшим Октябрьскую революцию, партию, В. И. Ленина. В эти три года еще не было другого казахского писателя, работавшего над этими темами. Но именно в эти три года Сакен Сейфуллин почти во всех жанрах художественной литературы воспел Октябрьскую революцию, социалистическое строительство. Значит, наш Сакен не «один из основоположников», а писатель, единолично заложивший эту основу. В последние годы в ряде научных работ и официальных документов дается именно такое определение роли Сакена Сейфуллина. Достойная, единственно верная оценка его деятельности!

Никогда не изменявший ленинской партии, Сакен и в годы образования Союза советских писателей Казахстана оставался по писательскому стажу, идейности, мастерству старшим среди казахских советских писателей, их признанным учителем.

Беимбет Майлин тоже взялся за перо до революции, в одно время с Сакеном, он по возрасту был его ровесником. Но позже Сакена, только после победы Советов, Беимбет стал в литературе активным защитником завоеваний Октябрьской революции, поэтом казахских трудящихся. Это и естественно: он родился в самой бедной семье кедея, отец и родственники его батрачили всю жизнь и только при Советской власти почувствовали себя людьми. Как говорится, ноги достигли стремян, губы — белого молока. Батрачил и сам Беимбет, испытал всю горечь кедейской жизни.

Начало социалистического строительства в Казахстане Беимбет воспевал в полный голос. Свои послеок-

тябрьские произведения он посвятил изображению тяжелой судьбы казахского кедея до революции и свободной жизни строителя новой жизни. Он был певцом Октября и в поэзии, и в прозе, и в драматургии, и в журналистике. Таким образом, ко времени создания нашего Союза Беимбет Майлин был уже уважаемым писателем, одним из старейшин казахской советской литературы.

К этому же поколению принадлежит и ровесник Беимбета выдающийся казахский советский поэт Ильяс Джансугуров. По обнаруженным уже в последнее время документам он начал писать с 1917 года. Несколько его стихов впервые были напечатаны в 1917—1919 гг. в газете «Сары-Арка» («Золотая степь»), выходящей в Семипалатинске. В советской печати стихи Ильяса начали публиковаться в первой половине двадцатых годов в газетах «Тильчи», выходившей в Алма-Ате, «Ак жол» — в Ташкенте, в журналах «Шолпан» и «Сана», в том же Ташкенте, под псевдонимами «Танкыбай» и «Матай».

С Ильясом я познакомился летом 1927 года. В это время Ильяс учился в Москве, в Институте журналистики (КИЖ). Во время летних каникул Ильяс на пути в родное Семиречье заехал в Кзыл-Орду и предложил свой сборник стихов Казахскому государственному издательству, где я работал тогда главным редактором. Из большого количества оставленных Ильясом стихов было отобрано около трех печатных листов. В 1928 году вышла его книжка под названием «Саганак» (Саганак — один из элементов остова юрты). Я написал к ней предисловие, где указывал, что классовая борьба в стихах Ильяса выражена нечетко. Между мной и Ильясом в связи с этим вспыхнул спор в печати. Однако позднее мы нашли общий язык. Нашему сближению способствовало трудное время конфискации имущества крупных баев по особому декрету в 1928 году и ликвидации баев и кулаков на основе сплошной коллективизации в 1929—1930 годах. Самым активным участником этих кампаний из числа казахских советских писателей был Ильяс Джансугуров. Тут я уже не мог сделать ему упрека в нечеткости классовой позиции. Ильяс был в это время одним из руководителей КазАППа. Под платформой ассоциации, опубликованной в 1930 году,



к стр. 420

стояли подписи Ильяса, Беимбета и моя. Когда же в 1932 году КазАПП была ликвидирована и создано оргбюро Союза советских писателей Казахстана, то председателем его — я уже говорил об этом — был назначен Ильяс. Он уже вырос тогда в зрелого яркого писателя. Его наиболее ценные произведения «Картины Джетысу», «Гималаи», «Кюй», «Дала» писались именно в эти годы.

Творческая биография первого поколения казахских советских писателей, представленных именами Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова, начиналась еще до революции. Начало творческой биографии второго поколения приходится на середину двадцатых годов. К этому поколению можно отнести Аскара Токмагамбетова, Жакана Сыздыкова, Утебая Турманжанова, Галыма Малдабаева. Их имена становятся известными народу, они оттачивали идейность и мастерство в пору КазАППа и образования Союза советских писателей.

Когда под председательством Джансугурова было создано оргбюро, в него вошел и Габит Мусрепов. Это вовсе не было случайностью. Активная творческая деятельность писателя началась в 1928 году. Он быстро завоевал уважение читателей и своих товарищей по профессии. Габит тогда наиболее ярко проявил себя в двух жанрах: в художественной прозе и журналистике. Драматические произведения он стал писать лишь с 1932 года, поэтому здесь я не буду останавливаться на этой весьма плодотворной стороне его творчества. Удачными были первые шаги Габита-прозаика. В конце двадцатых и начале тридцатых годов он написал несколько рассказов и повестей о коллективизации сельского хозяйства. Они были настолько зрелы, что вошли в золотой фонд казахской литературы. Занятия прозой совпали у Габита с увлечением публицистической работой, в которой он достиг и политической остроты и художественности. Габит много писал на общественные и литературные темы. Как настоящего большевика и опытного журналиста крайком партии летом 1933 года назначил его редактором газеты «Социалистик Казахстан».

В начале тридцатых годов признанным интересным поэтом становится Абдильда Тажибаев. Начало его писательской биографии — 1927 год. Сын бедняка, вос-

питанник детского дома, он уже в первых своих произведениях обнаруживает четкую классовую позицию. Своими литературными взглядами и писательским почерком Абдильда в ту пору был близок Сакену и мне, в особенности мне. Мы оба тогда слегка увлеклись «левизной», и неудивительно, что изданный в 1933 году первый сборник Абдильды «Жана ирган» («Новый ритм») вышел с моим предисловием.

Одним из имен, засверкавших в казахской поэзии в начале тридцатых годов, было имя Таира Жарокова. С той поры Таир шагал в ногу с социалистическим временем. Его стихи «Молот пятилетки», «Солнце заговорило» превратились в народные песни-джиры.

Можно было бы расширить этот список КазАППовцев, но здесь я не пишу историю КазАППа, не даю ей оценку, а просто помогаю представить читателю, откуда вливались кадры в Союз советских писателей Казахстана. Скажу без преувеличения, девяносто девять процентов Союза писателей составили члены нашей пролетарской организации.

Из «Алки» к нам перешел лишь один Мухтар Ауэзов. Мотивы своего вступления в Союз он полностью объяснил в большом письме, опубликованном в газете «Казахстанская правда» от 10 июня 1932 года. Я не стану разбирать это известное письмо. Хочу лишь добавить, что переход Мухтара на платформу советской литературы сыграл огромную роль не только для казахской национальной литературы, но и для всей нашей национальной культуры. Мухтар открыто признал свои политические заблуждения, успешно работал творчески и как общественный деятель. Он оставил нам произведение, составляющее гордость казахской советской литературы. Я говорю о всемирно известной эпопее, о многих повестях, рассказах и пьесах Мухтара. Велик был его труд и в продвижении вперед литературной науки.

В 1933 году в Алма-Ате я убедился, что выросшая казахская советская литература круто шагает в гору, а ее деятели объединены одними стремлениями и идут рука об руку вперед. Радостно было чувствовать себя участником этого подъема. Давно я не испытывал такого хорошего настроения.

Приподнятым, полным бодрости возвратился я из Казахстана в Москву. Приступил к занятиям с настойчивым желанием и верой в свои силы.

ИКП, как в сокращении всем был тогда известен Институт Красной профессуры, только формально являлся аспирантурой, а по существу, был самым высшим партийным учебным заведением. В число аспирантов принимались только члены партии, уже испытанные на партийной работе, проявившие себя на практике.

И в системе обучения ИКП совсем не походил на обычную аспирантуру. В аспирантуре, например, слушание лекций не обязательно. А у нас нельзя пропускать ни одной. Если кто-нибудь из аспирантов не явился на лекцию, то завтра же его приглашали в дирекцию или партком. В обычной аспирантуре коллоквиумы проводятся довольно редко, а здесь ты должен ежемесячно беседовать с каждым преподавателем, консультироваться у него; в противоположность обычной аспирантуре и в конце каждого семестра, и в конце года у нас проверялась успеваемость по всем предметам. Даже к физкультуре у нас было иное отношение. Зарядки проводились рано утром и в полдень. И никто не имел права нарушать спортивную дисциплину.

В ИКП в мои времена принято было серьезно интересоваться и семейной жизнью учащихся. Существовала специальная комиссия, занимавшаяся трудоустройством жен аспирантов, заботившаяся, чтобы их дети обеспечивались яслями и детскими садами. Для неработающих жен создавались различные культурные кружки. Между прочим, жен заставляли вместе с мужьями заниматься физкультурой.

А какая была в ИКП библиотека! Должно быть, одна из лучших в стране. Богатым был ее основной фонд, она получала всю выпускаемую в Советском Союзе литературу, и, что было редким в те годы, много книг из-за рубежа, в том числе издаваемые нашими врагами в эмиграции.

В ИКП создавались идеальные условия для учебы — от аудиторий и кабинетов до комнат общежитий — все содержалось в образцовом порядке.

Не могу похвастаться, что я находился в первых рядах аспирантов. Но был в золотой середине, занимался не хуже других. Особенно увлекался я историей и теорией художественной литературы.

С благодарностью я вспоминаю своих преподавателей. Наши профессора, можно сказать, советские олимпийцы! Чего стоит в течение двух лет слушать Анатолия Васильевича Луначарского!

Расскажу об одном эпизоде, связанном в моей памяти с Луначарским.

Осенью 1932 года отмечалось столетие со дня смерти величайшего немецкого поэта Гете. Торжественное собрание в Москве проходило в клубе Коммунистической академии (в годы Великой Отечественной войны этот дом пострадал от бомбежки, и погибли многие культурные ценности). Когда зал был уже заполнен, неожиданно стало известно, что у докладчика сердечный приступ и он, естественно, выступить не может. Организаторы вечера в смятении обратились к Луначарскому: «Что же делать, Анатолий Васильевич?» Он попросил дать третий звонок на пять минут позднее назначенного срока. За эти пять минут он обещал набросать тезисы и выступить.

Пять минут готовился Луначарский, говорил три часа. Доклад-экспромт «Гете и его эпоха» слушали не шелохнувшись. Он показал поэта на историческом фоне, воссозданном им с впечатляющими деталями. Стихи Гете Анатолий Васильевич цитировал наизусть и на языке оригинала, и в переводах. Нельзя было не восхищаться эрудицией оратора, выступающего, по сути дела, без подготовки.

Анатолий Васильевич мог, мне кажется, прочитать подобный доклад и о любом другом классике.

...Успешно закончив 1933—1934 учебный год, я по приглашению моего брата Шакена Мустафина всей семьей выехал на каникулы в родной аул. Лето было спокойным, урожайным. Земляки мои радовались жизни, забывались мало-помалу прежние тревоги.

Нам удалось отдохнуть на редкость хорошо, и, вернувшись в Москву, я с окрепшими силами приступил к занятиям. 29 января 1934 года мой дом посетила новая радость — родился третий сын Алтай, ставший теперь военным инженером.

Когда учебный год близился к концу и экзамены почти все были сданы, из канцелярии института мне сообщили, что секретарь Казкрайкома Мирзоян вызывает меня к себе.

Я пошел к нему в гостиницу «Националь».

Леон Исаевич расспрашивал меня о житье-бытье, о здоровье. Потом задал показавшийся мне не случайным вопрос, где я думаю провести нынче лето. Я сказал, что собираюсь, как обычно, поехать в родной аул.

— Спору нет, там ты хорошо отдохнешь,— чуть усмехнулся Мирзоян,— а если тебе предложить поехать в другую сторону, а блаженство аула на этот раз предоставить семье?

Любопытство так и подогревало меня.

— Вчера в ЦК я встретил секретаря Челябинского обкома партии Кузьму Васильевича Рындина, давнего моего товарища,— начал издалека Леон Исаевич.— Он просил меня найти возможность направить к ним в область казахских артистов и писателей. Дело в том, что на крупных челябинских предприятиях много казахских рабочих. Тех, что откочевали в трудное время из своих аулов. Теперь там есть казахские школы, в Магнитогорске выпускается газета на казахском языке. Еще что-то делается. Но этого мало. Поэтому Рындин и обратился к нам с просьбой. Что ты думаешь на сей счет?

— По-моему, доброе дело, Леон Исаевич,— отвечал я.

— Ну, если доброе,— Мирзоян широко улыбнулся,— ты в нем и прими участие. На каникулы отвези семью в аул, а сам скорей добирайся до Челябинска. Что делать дальше, посоветуешься в обкоме.

Я согласился, тем более, что поездка представлялась увлекательной.

Мирзоян написал толстым красным карандашом какую-то записку и вложил в конверт. Записка была адресована Кузьме Васильевичу Рындину.

Как мы договорились, так я и сделал.

Я привез семью в аул, а сам без промедления отправился в Челябинск. Никого не известив о своем приезде, устроился в гостинице и пошел пообедать в ресторан. К моему столику подсел невысокий татарин с оспинками на лице. Внимательно посмотрел на меня и неожиданно протянул руку:

— Шарипов, редактор здешней газеты. А вы случайно не Сабит Муканов?

— Муканов. Но как вы догадались?

— Посмотрел на вас, и вдруг решил, что это вы и есть. Дело в том, что меня недавно вызывал секретарь обкома Рындин и говорил о вашем приезде. Он даже обязал меня консультировать вас. Я думал, вы дадите телеграмму. Ежедневно звонил в обком — не приехал ли. А сейчас смотрю — сидит казах, не из местных. И меня осенило: да это ведь и есть Сабит. Очень удачно вышло!

Утром мы были с Шариповым у Кузьмы Васильевича Рындина.

— А-а-а, приехал, товарищ Муканов?.. Леон Исаевич мне звонил из Москвы, рассказывал о вас. Мы ждали вас раньше... Хорошо ли вас встретили? — И Рындин бросил взгляд на Шарипова.

Редактор сказал, что я приехал без предупреждения, мы случайно встретились в гостинице...

— Как же так?! — шутливо негодовал Рындин.— Едет известный казахский писатель к челябинским рабочим, а мы даже встретить его как следует не можем.

На шутку я отвечал шуткой:

— Во всем виноват сам. Каюсь. И не такой уж я известный. Это во-первых. А во-вторых, я ведь приехал по делу.

И передал Рындину письмо Мирзояна. Он быстро пробежал его:

— По телефону Леон Исаевич сказал мне гораздо больше. Кстати, по его словам я представлял вас человеком пожилым, бородатым. А вы, оказывается, совсем молодой...

Рындин помог мне составить маршрут поинтереснее, позаботился о спутниках, о моем житье-бытье во время этой командировки.

Миасская электростанция — энергетическое сердце челябинской промышленности. С нее-то и начался мой маршрут. Построенная за три года, она была из крупнейших в стране. Я знакомился с машинным залом, с системой электропередач. Я не был силен в физике и об электротехнике имел слабое представление. Поэтому, честно говоря, многое из объяснений инженеров не понял. Твердо запомнил лишь одно: что ни в Москве, ни

в Ленинграде, не говоря уже о нашем Казахстане, таких электростанций тогда не было.

Рядом с электростанцией — рабочий городок. Многоэтажный, красивый. На широких улицах — молодые деревья и цветочные газоны. В рабочем городке — много казахов. Но степные мои земляки и здесь оставались верными своей извечной привычке. Они неохотно селились в центре, в больших домах, а предпочитали строиться на окраине, чтобы держать свой скот и всегда иметь под рукой свое мясо, свое молоко, свой кумыс.

Порадовало меня, что в рабочем городке была выстроена школа для казахских детей. О такой школе я мог только мечтать в годы своего аульного детства. При школе — казахская библиотека для рабочих. Мне рассказали, что и в больнице имеются врачи-казахи для рабочих, не знающих русского языка.

В окрестностях Челябинска я познакомился еще с двумя крупными заводами — с заводом ферросплавов, выпускающим сталь высокого качества, и с ЧТЗ — Челябинским тракторным. И вокруг этих заводов — молодые города!.. И повсюду я встречал казахов-рабочих. Как они изменились за эти годы, сыны аулов, приобретая пролетарскую закалку в металлургических цехах и на лесах новостроек, какая тяга к культуре появилась у них!

...Навсегда запомнились мне картины плавки.

Сверкающим горным водопадом стремительно вырывался из мартеновской печи поток металла. Струи разливались по желобам. Одни змеились тонкими огненными ручьями, другие — горячей рекой. Остывая в формах, металл становился мутно-серым, а потом снова отсвечивал тусклым блеском. Я видел гигантские магниты, укладывающие готовую сталь в вагоны. Вот где заключена богатырская сила, думал я. Ведь прежде мне только однажды пришлось видеть магнитную подковку, притягивающую иглу.

Челябинский тракторный и тогда мне показался сказочно гигантским сооружением. А ведь потом он расширился во много раз!

Металл в цехах завода проходит сложный и долгий путь — тысячи форм узлов, деталей приобретает он, чтобы выйти целыми караванами готовых тракторов.

В памяти у меня были слишком живы копи Байкону-

ра и Караганды. И, естественно, с большой охотой я побывал на челябинских угольных шахтах. Условия труда здесь были легче, чем у нас, и технически шахты оснащены лучше. Но уголь по качеству своему значительно уступает и карагандинскому, и кузбасскому. Уральцы до сих пор привозили себе коксующий уголь из Кузбасса, а ведь Караганда к ним намного ближе. В этот год сюда уже начали прибывать первые эшелоны карагандинского угля. Они пойдут потоком, когда будет построена линия Акмолинск — Карталы.

Больше всего мне хотелось посмотреть Магнитогорск, город почти легендарный в те годы. Первая пятилетка, молодость, Магнитка — это слова-синонимы. Когда я узнал, что мы прибываем в Магнитогорск ночью, попросил проводника заранее нас разбудить. Помню, как я прильнул к окну: такую панораму я не мог представить себе и во сне. Огромное красное зарево полыхало в ночи. Казалось, пожар охватил всю уральскую степь, весь мир.

— Значит, это и есть Магнитогорск...

— Это и есть Магнитогорск,— подтвердил сосед-пассажир, оказавшийся инженером металлургического комбината.

Я объяснил инженеру, что еду впервые на Магнитку и еще никогда в жизни не видел подобного зрелища. И буду благодарен ему, если он хоть немного расскажет мне об этом потоке огня.

Я узнал, что в этот час мартеновская печь выдавала расплавленный металл. Это его огненная струя выливалась из леток в изложницы. А несколько дальше отсвечивало зарево коксовых батарей, приготовляющих чистый кокс из угля.

Когда сопровождающий меня инженер пытался нарисовать мне картину металлургического процесса, я снова испытал неловкость, как там, на Миасской электростанции: слишком трудно мне было все понять, слишком мало я разбирался в технике.

Но и не разбираясь в технике, я искренне любовался ночным индустриальным пейзажем и не заметил, как мы доехали до вокзала.

На перроне вокзала меня встречали заведующая агитпропом Магнитогорского комитета партии Солдатова, моя однокашница по Оренбургскому рабфаку, и ре-

дактор газеты «Магнитогор жумысшысы» Балтабек Асанов. Впоследствии он редактировал ряд областных газет в Казахстане.

Балтабек был моим гидом в Магнитогорске. Он меня посвятил в его историю, раскрыл передо мной нынешний день молодого города.

В давние времена в этом краю кочевал казахский род Жагалбайлы. Одна из самых распространенных лиро-эпических поэм «Қыз-Жибек» («Шелковая девушка») сложена певцами рода Жагалбайлы. Қыз-Жибек говорит:

Мне Жагалбайлы стал кровно близок род,—
Кони их несчетны, избранных пород.
Если в самом деле умер Тулеген,
Что ж, господь и меня к себе не возьмет.

И еще есть в этой поэме строки:

Жениться желая, Тулеген,
Сын Базарбая — Тулеген,
Восемьдесят взяв дружков,
Пятнадцать взяв проводников,
Снарядился на Ак-Жаик.[1]

Реку Жаик, как ее называли казахи, или Яик, как произносили русские, после восстания Емельяна Пугачева Екатерина Вторая переименовала в Урал. Но местные жители называли и называют ее по-прежнему. Жаик. Ак-Жаик, Белый Жаик. Так в народе любовно величалась река в ее верховьях, в горах Урала. У истока реки находится русский городок Белорецк, бывшая крепость Белорецкая, известная у казахов как Тал-кала, Тальниковый городок. Род Жагалбайлы принадлежит к Малому жузу, присоединившемуся к России в первой половине XVIII века. Долина реки Урала издавна являлась краем его кочевий. Позднее жагалбайлинцы селились вдоль Ак-Жаика. Во время моего приезда между Белорецком и Магнитогорском находилось девять казахских колхозов.

Руда для металлургического комбината добывается неподалеку от этих мест на горе Магнитной. У невысокой этой горы две вершины — Айдахарлы и Атеш.

---

[1] Перевод Л. Пеньковского.

С происхождением этих названий связаны две легенды.

Давно приметили окрестные жители: во время грозы молнии избирали своей мишенью вершину горы. Они упрямо, одна за другой, ударяли в нее. И люди верили: под горой живет дух Айдахар; и джай — небесные стрелы — падают на него.

Другая легенда носит несколько прозаический, бытовой характер. Девушка из приуральской казачьей станицы пасла свиней. Как-то она забрела на гору. И вдруг подошвы кованых ее сапог прилипли к камню. Никак не могла она их оторвать. Ей так было жалко сапог, что она расплакалась. Прохожий услышал громкий плач казачки, пришел ей на помощь и с превеликим трудом оторвал сапоги от земли. С тех пор вершину горы и называют «Атеш». Петух, если сказать по-русски. А почему петух? Да потому, что девушка плакала так громко, словно раскукарекавшийся петух. Весть об этом скоро докатилась до Петербурга. Дальше легенда кончается, начинается правда. Специальная экспедиция обследовала гору и обнаружила в ней руду с высоким содержанием железа. Руды оказалось много и в Айдахарлы, и в Атеш. Но приступить к разработкам этого богатства царской России было не под силу. И только при Советской власти гора Магнитная раскрыла людям свои недра. Магнитогорский комбинат — гордость первой пятилетки! Он рос, расширялся, стал одним из крупнейших в стране.

Я восторгался масштабами завода, мне нравились его люди. Я понял, как закаляется сталь, как вырабатывается рабочий характер.

И вокруг Магнитогорска я встретил много интересного, о чем не подозревал.

С Балтабеком Асановым мы отправились в большую автомобильную поездку. Уже на выезде из города наш молодой веселый шофер сказал:

— А хотите, я вам покажу всю Европу.

— Европу? — удивился я.

— Так-таки всю? — прищурил глаза Балтабек.

— Да! Серьезно! — и добавил: — Мы побываем с вами во многих знаменитых европейских городах. Ей-богу, не вру. Вот увидите.

Конечно, мы не поверили нашему автомобильному джигиту. Но под вечер он, чуть улыбнувшись, озадачил нас снова:

— Сегодня мы ночуем в Варшаве.

И в самом деле: село, где мы остановились на ночлег, называлось Варшавой.

Дальше мы проезжали небольшие поселки — Берлин, Париж, Версаль, Вена, Прага...

Смешливый шофер оказался прав. Но несмотря на наши горячие просьбы, он так и не открыл нам секрета, откуда возникли в Приуралье громкие эти названия.

Их историю мы узнали несколько позднее.

В Отечественную войну 1812 года в русской армии, сокрушившей Наполеона, были и башкиры, и калмыки, и татары, и казахи! Рассказывают о соединении крещеного татарина Ногайбака, отличавшегося особенной храбростью. Русская армия продолжила поход в странах Европы.

Воины возвратились домой. И в память о славном походе маленькие селенья на Урале были названы громкими именами больших европейских городов. Вот почему неподалеку от горы Магнитной оказалась чуть ли не вся Европа.

Когда я вернулся из Магнитогорска в Челябинск, то зашел к Кузьме Васильевичу Рындину рассказать о своих впечатлениях.

Рындин был очень занят: он готовился проводить бюро обкома. Но любезно предложил мне вместе провести завтрашний воскресный день:

— Поедем в сосновый лес на озеро Чебаркуль. Там у нас дом отдыха, можно всласть поговорить!

И вправду, есть чудесные уголки на Урале. Вряд ли я когда-нибудь забуду озеро Чебаркуль. Сосны, березы и осинник отражались в его зеркале. Мы удили рыбу, катались на моторке и видели вокруг сквозь зелень леса то палатки пионерских лагерей, то светлые корпуса домов отдыха.

Дождь, частый гость этого края, миновал нас, и, когда начало вечереть, мы увидели темное глубокое небо, кое-где по краям опушенное белесыми облаками.

Вдыхая смолистый хвойный воздух, любуясь мерцающим звездным небом, я думал о щедрой красоте Урала, которая проявляется во всем — и в машинах,

и в стальном литье, и в самоцветных камнях, и в этой природе, так напомнившей мне родные края.

...Мы отдыхали на широкой террасе. Кузьма Васильевич Рындин представил меня присутствующим, а потом сказал:

— Наш гость сегодня шутливо заметил, что вокруг Магнитогорска собралась вся Европа. Он говорил о тех поселках, что носят названия крупных европейских городов. Но можно утверждать и всерьез. Шутки шутками, не в каждой, даже большой европейской стране, есть такие заводы. Мы еще обгоним старушку Европу, помяните мое слово. А пока я хочу сказать,— и Рындин повернулся в мою сторону,— в добрый час приехали вы к нам. Для каждого писателя у нас найдется тема. Есть что посмотреть на Урале. Знают нас и в Берлине, и в Париже.

И Рындин повторил мои слова под смех присутствующих:

— Вся Европа у нас!

Звенит казахская песня

Я поспел к самому началу учебного года. А в декабре на нашем курсе Института Красной профессуры заканчивалось чтение последних лекций, и нам предстояла усиленная работа над диссертацией.

Экзамены я сдал успешно. Хотелось отдохнуть, встретиться с друзьями-товарищами, и я не мог отказать себе в удовольствии побывать в Алма-Ате.

Я ехал из столицы Союза в столицу республики с хорошим настроением еще и потому, что уже в прошлый раз убедился во многих добрых начинаниях, в подъеме экономики и культуры Казахстана.

В гору шло просвещенье. Выросла и окрепла казахская национальная школа — плод Великого Октября. Начальные школы насчитывались тысячами, средние — сотнями. Одно за другим появлялись высшие учебные заведения. На них правительство не жалело денег.

Понятно, не все шло гладко. Прежнее руководство почти не занималось строительством школьных зданий, и некоторые городские школы ютились в старых, неприспособленных для занятий помещениях. Наркомом про-

свещения республики в это время был назначен Темирбек Жургенев. Экономист по специальности, он отличался широтой взглядов и занимался вопросами культуры умело и с любовью. Он кончил Среднеазиатский университет в Ташкенте и на практической руководящей работе хорошо подготовился к деятельности наркома.

Прежде всего он взялся за строительство школ. За четыре года (1933—1937 гг.) можно было насчитать сотни школ, построенных по инициативе Жургенева. При нем принял настоящий размах выпуск школьных учебников и наглядных пособий. Он любил школу, вникал в ее дела. Я был знаком со всеми, кто руководил школами Казахстана, начиная со дня основания республики. И если я скажу, что Жургенев зарекомендовал себя одним из самых сильных, то это будет отнюдь не выше той оценки, которую он по справедливости заслужил.

А как быстро начали расти высшие школы... В 1934 году в Алма-Ате был открыт Казахский государственный университет, за ним — горнометаллургический институт. Один за другим появлялись в республике педагогические институты. Становился на ноги Казахский филиал Академии наук СССР, оказывая все большую помощь предприятиям, хозяйствам и культурным учреждениям республики.

Наступало время становления казахского профессионального искусства. Казахстанский крайком партии в 1933 году принял постановление о его развитии, встреченное интеллигенцией и всем народом, как доброе предзнаменование. В 1934 году в Алма-Ате уже был создан музыкальный театр, поставивший музыкальную драму «Айман—Шолпан» Мухтара Ауэзова и «Шуга» Беимбета Майлина. В этом же году проходил республиканский слет народных певцов, кюйши, акынов. На слете в полный голос заявили о себе такие мастера народного искусства, такие драгоценные таланты, как народный композитор Дина Нурпеисова, как певцы и композиторы Шашубай Қошкарбаев и Қенен Азербаев, как наши акыны Джамбул Джабаев, Нурпеис Байганин, Нуртай Бегжанов.

Следующий 1935 год принес такие же созревшие крупные плоды. В начале года в Алма-Ате была открыта Казахская государственная филармония, сформиро-

ван оркестр народных инструментов. Весною в столицу снова съехались представители народного искусства, чтобы принять участие в съезде работников культуры. Едва ли не по каждой отрасли культуры и искусства были прочитаны доклады, и многие из них по своим интересным фактам и глубоким обобщениям имели научное значение.

И когда я узнавал обо всем этом, мне хотелось как можно скорее закончить учебу и вернуться в Казахстан.

В 1936 году я приехал в Алма-Ату на каникулы. На подъеме было наше искусство, наши театры. Были поставлены две оперы — «Қыз-Жибек» по либретто Габита Мусрепова и «Жалбыр» по либретто Беимбета Майлина. Музыка Евгения Брусиловского.

Здесь я должен сделать краткое, но необходимое, на мой взгляд, пояснение. Дело в том, что в операх, только что упомянутых мною и в поставленных раньше,—«Айман—Шолпан» и «Шуга», оригинальной музыки авторов, в сущности, очень немного. Музыка этих спектаклей — обработанные народные песни и кюи. Творческий труд композитора Брусиловского состоял в том, что он их мастерски и органично соединил в единое целое. Благодаря его обработке, одноголосые народные песни зазвучали в хоровом исполнении. Одна песня стала арией, другая — дуэтом. Кюй, сложенный на домбре или кобызе, обрел в оркестре вторую жизнь — яркую и полнозвучную. Казахская музыка, казахская опера обязаны Евгению Брусиловскому так же, как Евгений Брусиловский обязан казахской народной музыке. Это путь многих современных композиторов. Богатое музыкальное творчество казахов, я уверен, еще послужит благородным и чистым источником для многих опер.

В подъеме казахской музыки важная роль принадлежит нашей Государственной филармонии, носящей теперь имя Джамбула. Самая большая заслуга филармонии — создание оркестра казахских народных инструментов. Особенно много потрудился для него известный ныне композитор академик Ахмет Жубанов. Струнные инструменты — домбра и кобыз, свирель-сыбызгы, звучавшие прежде только в одиночку, объединились в оркестре. Их звуки стали звонче и чище. В этой области многое сделал мастер-умелец Камар Касымов. Это в его

талантливых руках родилась домбра-бас и домбра-пикколо. В репертуар нашего оркестра вошли не только казахские мелодии, но произведения музыкальных классиков России и Запада.

Оркестр народных инструментов любят у нас в республике, любят во всей нашей стране и за рубежом — он тоже приобрел заслуженную славу.

С первых шагов своей деятельности наш музыкальный театр, как назывался тогда нынешний академический Театр оперы и балета, кровно связан с талантливыми мастерами сцены — Қанабеком Байсеитовым, Куляш Байсеитовой, Курманбеком Джандарбековым, Шарой Джандарбековой, Манарбеком Ержановым и другими. Из них самой любимой артисткой стала Куляш. Я видел ее в 1934 году в роли Айман в «Айман—Шолпан» и в роли Шуги в одноименном спектакле. Она была совсем молодой, двадцатилетней. Ее игра пленила зрителей. В ней уже тогда видели надежду казахской сцены, большую оперную актрису. Увидев ее снова в «Қыз-Жибеке» и «Жалбыре», я понял, я почувствовал, что наша надежда исполняется...

Наступал расцвет казахского искусства. Радостное сознание этого не покидало меня и в Москве после каникул. Но наша радость перемежалась тревогой, волнениями. Еще бы! Скоро в Москве должна была состояться Декада казахского искусства. На спектакли нашего театра придут зрители высокой культуры — москвичи. Понравятся ли им казахские артисты? Выдержат ли наши коллективы трудный столичный экзамен? А если нет?.. Как горько будет нам всем. Я и надеялся на успех и сомневался.

Декада казахского искусства в Москве открывалась 17 мая 1936 года в филиале Государственного академического Большого театра Союза ССР. Я пришел не: ого раньше начала. В фойе было так многолюдно, что я с трудом протискивался к дверям, ведущим в партер. Раздался звонок, зрители стали заполнять зал...

Перед тем, как погас свет, в тот же ряд, где сидел я, прошли знаменитый русский артист Иван Михайлович Москвин со своей женой известнейшей актрисой Аллой Константиновной Тарасовой. Их места оказались рядом с моим. С Иваном Михайловичем я был слегка знаком, а жену его видел только на сцене. Москвин меня позна-

комил с Аллой Константиновной и неожиданно предложил:

— А садитесь-ка вы между нами: музыку мы поймем, а слова — нет.

Мы пересели, и я уже мысленно стал готовиться к своим обязанностям переводчика. Но волненье мое дошло до предела. Как там выступят наши... Скорей бы, что ли, погас свет, чтобы соседи не заметили, как я нервничаю.

...Люстры погасли. В полумраке мое беспокойство еще усилилось. В это самое время оркестр под управлением Ахмета Жубанова начал увертюру «Қыз-Жыбек». Чудная музыка, кажется, слегка успокоила меня.

Поднялся занавес. Всю сцену заняла огромная казахская юрта. Джигиты и девушки начали игры и танцы. Окруженная свитой вышла Жибек. Появился разбойник с большой дороги — каракчи Бекежан, мечтающий завладеть «шелковой девушкой»... А за юртой, в степи, возникает песня Тулегена. Он приехал издалека, охваченный страстным желаньем увидеть Жибек. Вот и он со своими нукерами.

Я то и дело наклоняюсь то к Ивану Михайловичу, то к Алле Константиновне и быстрым шепотом объясняю, что происходит на сцене.

И в те самые мгновенья, когда я передавал Тарасовой слова арии Жибек, она вдруг сделала нетерпеливый жест: не надо! Посмотрел на Ивана Михайловича — он тоже меня совсем не слушает. Они были во власти сцены, во власти Куляш. Они, как и все вокруг, не спускают с нее глаз. Я чувствую: каждое ее движение, каждое слово, каждый звук пленительного голоса отдается в сердцах. Я слышу вздохи восхищения и восторга.

Действие на сцене становится сложным. Я снова пытаюсь объяснить моим знаменитым соседям отдельные повороты сюжета. И Алла Константиновна снова тихо говорит:

— Не надо. Мы все понимаем и так. Без слов... Это по-настоящему прекрасно!

Игра Куляш и прежде восхищала меня, но мне казалось, что на этом спектакле ее мастерство внезапно и безмерно выросло. Я забывал, что нахожусь в театре. Я видел жизнь. Я видел не артистку Байсеитову, а девушку Жибек, и верил до конца ее самоцветной красоте,

ее цельной степной натуре. В мимике Куляш, в ее жестах, в ее ариях все было естественно, просто, грациозно. Об ее игре нельзя было говорить: вот это лишнее, вот здесь чего-то не хватает. Только так могла повернуться Жибек, только так говорить. И я давался диву: неужели в спектакле, полном романтических условностей, можно быть такой реально правдивой?

В антракте вместе с моими соседями я вышел в фойе. Москвин и Тарасова наперебой восторгались Куляш.

— Игра Куляш — не игра, а сказка. Обычно бывает так: если у оперной актрисы хороший голос, ей не хватает актерского мастерства. А если она хорошая драматическая актриса, у нее слабенький голос. У Куляш все гармонично, у нее — и голос, и дар сценического перевоплощения. Мастерство актера — уменье показывать жизненную правду, говорил Станиславский. Так достоверно ее показывать может только редкостный крупный талант. У вашей Куляш Байсеитовой именно такой талант.

Я переживал прилив гордости за Куляш.

Ведь это говорили не рядовые зрители, а выдающиеся мастера русской сцены.

Начался второй акт. Он прошел так же хорошо. Мои соседи продолжали восторгаться.

Последний акт превзошел все ожидания. Особенно в той сцене, когда Жибек тоскует по Тулегену, узнает о смерти его. Голос Куляш достиг небывалой силы, игру ее я мог сравнить только с волшебством. Весь зал вместе с моими соседями, со мной переживал безысходное горе Жибек.

Вода в Ак-Жайыке мутна.
Лицом я бледней полотна.
Совсем я ослепла от слез...

На какое-то мгновенье я увидел Москвина и Тарасову. Они подались вперед, напряженно и сосредоточенно всматриваясь, впиваясь в сцену. Но в другую секунду я уже забыл о соседях. Я видел только Жибек. Вдруг сцена как бы качнулась. Туман застил мне глаза. Инстинктивно я дотронулся до глаз — пальцы стали влажными. Вот что сделала песня Жибек. Я плакал. Это ее слезы были в моих глазах. Мне стало стыдно за

свою слабость. Я торопливо вытащил платок, вытер глаза и украдкой взглянул на соседей. Пусть для вас это будет преувеличением, выдумкой. Для меня это правда: Алла Константиновна, вытирая платком скатывающиеся по щекам слезинки, вглядывалась в Жибек. Влажно блестели глаза и у Ивана Михайловича.

Кончился спектакль, и зал, стоя, приветствовал казахских артистов. Зрители не хотели уходить, благодарили театр, вызывали Куляш. Занавес подымался и опускался несколько раз.

В шуме этом Москвин мне шепнул:

— Эта ваша актриса может стать в ряд с лучшими мировыми мастерами... Поздравляю!

И он крепко пожал мою руку.

— Чудо, настоящее чудо! — повторяла Алла Константиновна.

— Подняла ваша Байсеитова казахское искусство.

Спасибо, степь! Спасибо, Семиречье! Спасибо тебе, Куляш, за песню!

Праздник казахской литературы

На первых спектаклях Декады Леона Исаевича Мирзояна не было. Он незадолго до этого выезжал в Париж на лечение и возвратился в Москву лишь перед заключительным концертом. Среди встречавших Мирзояна на Белорусском вокзале находился и я. Нам было приятно узнать, что Леон Исаевич внимательно следил за ходом Декады. Ее волна докатилась и до Франции: в Париже Мирзоян слушал по радио наш московский концерт.

— Что вы удивляетесь? Разве вам неизвестно, как высоко оценил Ромен Роллан сборник казахских песен А. В. Затаевича. Французы уже знают казахское искусство, следят за его развитием.

Мирзоян привез радостную весть и лично для меня: моя поэма «Слушаш» недавно вышла в одном из парижских издательств.

Известно, с каким успехом прошла наша Декада в Москве. Сколько было оваций, восторженных отзывов в печати, сколько наград! Куляш Байсеитовой было присвоено звание Народной артистки Союза ССР, и она вошла в число первых шести мастеров сцены, удостоенных этой высокой чести.

Два представителя художественной литературы были награждены орденами Трудового Красного Знамени: старейшина казахской советской литературы Сакен Сейфуллин и народный акын Джамбул.

Вскоре после Декады я встретился с Мирзояном и заговорил о том, что хорошо бы широко отметить двадцатилетие творческой деятельности Сакена. Но едва я начал доказывать необходимость этого, как Мирзоян меня перебил:

— Знаю, хорошо знаю. Сейфуллин — настоящий революционер-большевик, первый пролетарский писатель-казах. Подумаем о юбилее, я посоветуюсь с товарищами.

Прошло несколько дней, и этот разговор был продолжен. Мирзоян сообщил, что юбилей решено провести в июле. И еще Леон Исаевич отговорил меня защищать диссертацию:

— Вы что — собираетесь стать ученым или идти на преподавательскую работу? А может быть, вы хотите быть просто образованным писателем?

Я ответил, что предпочитаю последнее.

— Тогда не тратьте зря времени. Не надо вам защищать диссертацию. Возвращайтесь вы лучше поскорее в Алма-Ату. Поработайте в Союзе писателей и пишите. Главное, пишите!

Леон Исаевич убедил меня.

Я вернулся в Алма-Ату и стал председателем Правления Союза писателей. И сразу взялся за подготовку празднования юбилея Сакена. Сделать доклад о двадцатилетней творческой деятельности Сейфуллина поручили мне.

Сакена я знал хорошо. Но, работая над докладом, я убедился, что почти не знаком с дореволюционным периодом его жизни. Надо было как-то восполнить этот пробел в моих знаниях. Лучше всего, конечно, было расспросить его самого. Я и отправился к нему, в большой деревянный дом на углу улиц Карла Маркса и Виноградова.

Я застал Сакена в саду. Он прогуливался, посадив на шею своего младшего сына Аяна. Меня несколько удивила эта его отцовская нежность. Как-то он сам рассказывал мне, что его отец Сейфулла никогда не возился с детьми, не нянчил их, не целовал. Мне каза-

лось, что и Сакен был точно таким же. Тем более, что первую свою дочь Лауру (это я точно знал от ее матери Гульбахрам) он и на руки-то не брал ни разу. Но тут, в саду, я его впервые увидел заботливым и счастливым отцом.

Я сказал Сакену о цели своего прихода.

Он отдал ребенка матери, попросил принести в сад холодного кумыса. И, попивая его в тени фруктовых деревьев, я внимательно слушал рассказ Сакена. В этот его рассказ, записанный тогда мною, я не хочу добавлять свои слова. Пусть все будет здесь по Сакену!

Рассказ Сакена

Я родился и вырос в самом центре широкой казахской степи Сары-Арка. Есть там две горы — Ор и Аба. Их одолевает конь на полном скаку. Я родился в урочище Кара-Шилик, у горы Аба. Много ручьев рождается на склонах горы. Есть и речка Жаман. Весной она разливается, а летом мелеет. У подножья горы лес. Березы, осины, тальник. Кое-где выступают красными камнями скалы. Когда заберешься на вершину горы, перед тобой во все стороны раскинется степь, кое-где приподнятая цепочками сопок и взгорий. Аулы моего эля, моего родного края, зимовали в отрогах гор, а на джайляу уходили верст за пятьсот-шестьсот к северу, к городу Акмоле. Акмола — самый близкий к нам город, а самый близкий русский поселок — Успенский. По-казахски его называли Нильды. Это в ста пятидесяти верстах от нас. Рядом с поселком — медный рудник.

Мы принадлежали к роду Аргын, к подроду Куандык, к ветви Тока. Тока объединяла пять-шесть волостей. В нашем колене старший предок — Мирзамбет. От него пошел Ескене, от Ескене — Джанибек, от Джанибека — Оспан, от Оспана — мой отец Сейфулла. Самым богатым и сильным был среди нас Джанибек.

Оспан умер молодым джигитом, и Сейфулла остался сиротой в полтора года. Ему было шесть лет, когда умерла мать. Сейфуллу воспитывал дядя, родной брат Оспана бай Жакаджан. Когда моему отцу исполнилось восемнадцать лет, дядя его женил и выделил приданое — енчи. Мать Джамал родила отцу шестерых: четырех сыновей — меня, Малика, Атена, Мажита — и двух дочерей — Рахиму и Салиму.

Прадед мой, и дед, и отец были желтолицыми и рыжеволосыми. Вот у моего брата Мажита и сын Орымбек, и дочь Рымжан выросли такими. Должно быть, поэтому я их особенно и люблю. А мы все выдались в нашу мать Джамал — смуглыми и черноволосыми.

Вольная степь и характер дяди Макаджана наложили свой след на характер отца. Он любил легконогих коней, цепких беркутов, быстрых гончих. Он рано стал метким стрелком-мергеном, любил охоту, домбру, гармонику и песни. До ста лис и волков добывал он в один охотничий сезон — сонар со своей гончей и беркутом.

Мать моя, женщина спокойная и чадолюбивая, следила за порядком в семье, за детьми. Небольшим было наше богатство. И не отец с матерью, а родичи ухаживали за скотом. Все мои братья и сестры походили на мать выдержкой и рассудительностью. Все, кроме Малика, выросшего вспыльчивым и задиристым.

Не знал я в детстве ни школы, ни медресе. Темный мулла обучил меня мусульманской грамоте. Но отец не довольствовался этим и задумал отдать меня в русскую школу. Проездом в Успенское, в Нильды, останавливался у нас в ауле некий человек. И меня, десятилетнего, отправил с ним отец: мол, езжай, поучись в русской школе.

Я поехал в Успенск и год прослужил мальчиком на побегушках в лавке у русского торговца. Привык за год к русской речи и поступил тогда в двухклассную русскую школу при Успенском руднике.

Рудник в то время принадлежал французам. Работали главным образом казахи и немного русских. Жили горняки плохо: заработок жалкий, работа под землей тяжелая, общежитие плохое, грязное. Бывало и так — спустятся в рудник, а из рудника не выйдут. А с кого ответ спросишь. Уйти с работы? Чем тогда кормиться? Ведь это были бедняки без скота. Им было жить тяжелее, чем в ауле.

К ним доходили вести о восстаниях в России. Терпеть дальше было нельзя. И в декабре 1905 года поднялись и они. Помню, утром я уходил в школу и услышал гул, громкие голоса. Рабочие с красными знаменами в руках окружили контору. Хозяева перепугались, попрятались. Горняки требовали улучшить условия работы и жизни.

Что сделали хозяева? Обратились к окрестным баям. Мол, пообещайте от нашего имени исполнить все требования. Только уговорите их разойтись. Сулил хозяин прибавку, обещал поехать в Акмолу и привезти денег.

Рабочие бастовали дней пять, но потом поверили обещаниям. Капиталист и вправду поехал в Акмолу, но привез не деньги, а вооруженный отряд, всех зачинщиков волнений изловили и отправили зимой по этапу. Остальных припугнули.

Об этом я узнал позже. Забастовка в Нильды вспыхнула от искр революции 1905 года, залетевших из Москвы и Петербурга в нашу степь. Забастовку в Нильды организовал ссыльный большевик. Его схватили тогда, и с тех пор о нем ничего не известно.

Я все время помнил об этом восстании. И о том, как расправлялись с рабочими. Словно мне нанесли рану, и я не знал, как ее излечить...

В 1912 году я уехал в Омбы, как называли у нас в степи Омск, и поступил в учительскую семинарию. Когда я ее кончал в 1916 году, я уже был знаком с большевистским подпольем. Я уже знал, каким путем могут рабочие, все трудящиеся избавиться от гнета, от рабства. И вступил на этот путь.

* * *

Всем известен трудный революционный путь Сакена, его биография борца, писателя, коммуниста. Его книги знают и любят у нас в республике и за ее пределами.

Менее известна преподавательская деятельность Сейфуллина — несколько лет он читал историю литературы в высших школах республики.

В июле 1936 года в зале Казахского театра драмы (более вместительного зала в Алма-Ате тогда не было), праздновался юбилей Сакена. Двери и окна пришлось открыть настежь: слишком много желающих приветствовать любимого писателя осталось на улице. Они тоже хотели слышать добрые слова о нем и его, Сакена Сейфуллина, слово.

Это был торжественный день, настоящий народный той. Той не только в честь Сакена, но и первый большой праздник казахской советской литературы.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Когда книга завершена, два противоречивых чувства обычно владеют автором: чувство неизбежности расставания со своими героями — ведь уже поставлена точка, уже написано магическое слово «конец», и чувство невозможности расставания, настойчивое желание быть по-прежнему в кругу своих героев, продолжать их пути, радоваться и горевать вместе с ними.

Я не хочу быть нескромным, но, думается, имею право сказать, что моя автобиографическая трилогия «Школа жизни» — книга не совсем обычная, и мне не так-то просто разлучиться со своими героями.

Начну с того, что «Школу жизни» я писал бесконечно дольше любой другой своей книги.

Да... Почти три с половиной десятилетия я работал над «Школой жизни». В 1930 году я, тогда еще молодой казахский писатель, написал небольшую книжку для детей, которой дал название «Мои мектебы». Читатели и критики справедливо могли догадаться, что на меня произвели неизгладимое впечатление «Мои университеты» Максима Горького. Книжка моя встречена было тепло, неоднократно издавалась на русском языке, на языках братских народов и за рубежом. У меня же после ее выхода возникла настойчивая мысль — расширить и продолжить «Мои мектебы». И спустя несколько лет я действительно принялся шаг за шагом описывать свой путь, слитый с путем казахского народа. И чем

дальше я писал, тем крепче становилось мое убеждение, что именно это произведение едва ли не главное дело всей моей жизни.

Родившийся на самой заре нашего двадцатого столетия, я был свидетелем горьких испытаний, выпавших на долю моих сверстников, всего моего народа до Октября. Не баловала жизнь и меня. Ведь и мою жизнь нельзя было отделить от жизни и отчего аула, и родной степи.

Мы привыкли говорить, что Октябрь открыл новую эру в жизни всех народов, населявших Россию. Мы привыкли говорить о возрождении казахского народа, как и других народов страны. Эти слова не только азбука политической грамоты, не только известная всем формулировка. В них — великая живая суть времени. В них — судьбы миллионов. И моя судьба, и твоя судьба, дорогой мой читатель.

Память постоянно подсказывает мне картины прошлого. Казахская пословица говорит: «В дни изобилия не забывай того, что ты ел во время голода».

Я и сейчас могу остро почувствовать всю невыразимую сладость черствой лепешки или жидкой похлебки, которую щедро делил со мной в дни моей ранней юности бедный омский железнодорожник.

Но еще больше волнуют меня первые годы борьбы за новую жизнь. Борьбы тяжелой и упорной. Я видел героев этой борьбы и сам боролся рядом с ними в меру своих сил. И в своих книгах—говорю не только о «Школе жизни» — ставил задачу показать перипетии этой борьбы.

Создавая свои романы,— условно назову их произведениями, где многие образы современников были обобщенными, собирательными,— я не переставал думать о тех реально существовавших людях, которые были прототипами моим вымышленных героев. Они встречались на моем пути. Одни из них были моими учителями, моими наставниками, другие — сверстниками, друзьями, товарищами, третьи — просто знакомыми, с четвертыми мне приходилось бороться, ибо они враждебно относились к Октябрю и всем своим существом отстаивали старый байско-феодальный уклад жизни.

В работе над автобиографической трилогией я мысленно присматривался прежде всего к людям с наибо-

лее интересной судьбой. К акынам-самородкам и аульным музыкантам, к зорким охотникам и умелым ремесленникам, мастерам своего дела, к чабанам, к первым в нашей степи хлебопашцам. Но самая волнующая, высокая судьба была у тех, кто возглавлял народное революционное движение, борьбу за утверждение Советской власти, за социалистическое строительство. С нежным сыновьим чувством я вспоминаю тех первых коммунистов, под руководством которых мне посчастливилось работать в далекие уже годы гражданской войны. Я вижу как сейчас приветливого и решительного Владимира Гозака, погибшего в дни кулацкого мятежа. Это ему обязан я своим вступлением в партию в 1920 году. Я берегу в памяти образ боевого комиссара Абдуллы Асылбекова; интервенты на Дальнем Востоке, колчаковцы в Сибири, алаш-ордынцы у нас убедились на собственном примере в его храбрости и уменье бороться.

Мне выпали на долю незабываемые встречи с выдающимися деятелями Коммунистической партии, руководителями нашей республики. И на страницах «Школы жизни» нашли место, пусть беглые, портреты Абильхаира Досова, Ораза Исаева, верного ленинца, чудеснейшего человека Леона Исаевича Мирзояна.

Трудно было вместить всех невымышленных героев в одну книгу. Детство, юность, годы возмужания... Речь ведь шла не только о моем детстве, моей юности, моем становлении. Если бы это было так, дело представлялось куда проще.

Вот поэтому я и не торопился, и писал эту свою книгу на протяжении почти трех с половиной десятилетий. И пока я писал, самый требовательный и зоркий редактор — Время вносило свои поправки, и я охотно с ними соглашался.

Я душевно благодарен нашему времени, нашей Ленинской партии за то, что она возвратила народу многие дорогие имена, и среди них имена замечательных писателей — Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Ильяса Джансугурова.

В 1964—1965 гг. их семидесятилетние юбилеи прошли как большие народные праздники культуры.

Они были почти однолетками и ушли из жизни совсем молодыми, хотя в свое время из-за разницы в семь-

шесть лет люди моего поколения справедливо смотрели на них как на старших, как на учителей.

Мне выпало счастье уже как аксакалу, как одному из старых писателей принимать участие во всех трех юбилеях, побывать в родных местах наших знаменитых художников слова.

Знал бы уроженец Жана-Арки Сакен, что на его родине подымается город, делающий честь любому европейскому индустриальному району. Понятно, я говорю о Караганде. Но и огни молодого Темиртау освещают родную степь Сакена Сейфуллина.

Знал бы Беимбет, что на месте бедной зимовки его отца у берегов Тобола вырастает новый город Рудный, ставший уже теперь красивее и больше тогдашнего Кустаная, казавшегося юному Беимбету неправдоподобно огромным.

Знал бы Ильяс, что неподалеку от его родного селения Аксу возникнет крупный промышленный комбинат Семиречья — Текели, и вместе с чабанами высокогорных пастбищ спустятся к нему в аул сыновья и внуки его ровесников, бывалые горняки и металлурги.

Я оглядываюсь назад и вижу, на какую высоту поднялся мой Казахстан. Он обрел свою свободу, государственность, стал республикой индустрии, молодых городов, преображенной степи, разведанных горных недр.

До Октябрьской революции население кочевых аулов нашей степи было почти сплошь неграмотным, а такие выдающиеся ученые и мыслители, как Чокан Валиханов, встречались единицами. Недаром академик Веселовский сравнил Чокана с метеором. Метеоры внезапно возникают в небе, прочерчивают яркую полосу и так же быстро исчезают. Чокан только мог мечтать о таком будущем своей страны, когда в ее большой столице будет своя Академия наук...

Казахи всегда любили песню, и песня кочевала вместе с ними в степи. Должно быть, в Абае песенная народная душа нашла свое наиболее полное воплощение. Но тогда, до Октября, нашего Абая знала только его родная степь, а теперь он известен повсюду в стране и многим миллионам читателей за рубежом. Казахская литература стала зрелой культурной силой. Кому неизвестны теперь книги Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина, Мухтара Ауэзова. А ведь на моей памяти и в

моей трилогии, годы, когда они только входили в литературу, молодые, полные сил, страстно вглядывающиеся в будущее.

...Я покидал свой аул в сумерках, в ночь. Меня влекло стремление к знанию, еще безотчетный поиск своего места в жизни. На дорогах рыскали колчаковские отряды. Важные алаш-ордынцы собирали аксакалов и затуманивали головы то сладкими речами, то скрытыми или явными угрозами.

Мне не удалось даже попрощаться со своей единственной, оставшейся в живых сестрой Ултуган, проданной родичами за калым человеку, втрое старше ее.

Я покидал свой аул в сумерках и скоро очутился в самом водовороте тревожных и бурных событий.

Я вернулся в Жаман-Шубар при свете солнечного дня советским работником и начинающим поэтом, чьи стихи уже печатались в газетах. Но моей сестры Ултуган не было в живых, и я не мог поделиться с ней моей радостью.

Читатель «Школы жизни», вероятно, заметил, что я никогда не порывал связи с моим аулом, моим Жаман-Шубаром, и куда бы меня ни забрасывала судьба, находил возможность и время раз в год побывать у своих земляков. Так было в течение трех десятилетий, описанных мною в трилогии. Так продолжается и в последние годы. Сверять пульс республики с пульсом Жаман-Шубара стало моей душевной потребностью, как и сопоставление прошлого с настоящим.

Я вижу перемены в малом и большом. Когда к моим землякам в совхозы «Майбалык» и имени Докучаева поступила по водопроводу чистая прозрачная вода Есиля — Ишима, мог ли я не вспомнить, как в дни моего детства и юности безводье было бедой жаман-шубаровцев. Как зажиточные хозяева на ночь запирали колодцы со скудненьким запасом воды пятифунтовыми чугунными замками. Как поили скот, растапливая снег. А когда электричество засияло в новых домах земляков, в моем воображении возникал тусклый дымный свет кизячного огня. Подумать только, керосиновая лампа в ауле уже была признаком невероятного богатства и комфорта. Уделом одних богатых были нарядные шелковые одежды, а посмотрите, как сейчас одеваются наши аульные красавицы. И едут учиться в город в техникумы и

институты, и не подозревая, какие барьеры приходилось преодолевать их бабушкам, чтобы получить возможность закончить хотя бы начальную школу.

Эти общеизвестные приметы новизны становились особенно дорогими моему сердцу, когда я во время многочисленных зарубежных путешествий вдруг обнаруживал во многих странах Азии и Африки, что мой Жаман-Шубар прошлого там еще существует. До Октября мы были самыми отсталыми, самыми неграмотными. Ныне мы ушли далеко вперед. Внешний лоск и яркие краски многих городов стран Востока не могли обмануть меня. Когда удавалось отклониться от магистральных туристских дорог, частенько встречались мне так хорошо знакомые по воспоминаниям нищета, убожество, беспросветная темнота. И не раз мне думалось, что где-нибудь там вырастают свои Жакипы Кистаубаевы и Баймагамбеты Зтулины...

...Я довел свое повествование до середины тридцатых годов. Возмужали мои сверстники, возмужала республика. Много испытаний предстояло нам впереди — и трудное время Отечественной войны и нелегкие послевоенные годы.

Продолжать ли мне дальше мою «Школу жизни»?

Пока меня влекут иные темы, иные произведения. Сейчас я приступил к работе над романом о Чокане Валиханове. Образ этого передового ученого и просветителя волнует меня прежде всего потому, что не кто иной, как Чокан, сознательно и последовательно содействовал своей культурной деятельностью укреплению дружбы казахского и русского народов, дружбы, возникшей еще в XVIII веке. Мы глубоко обязаны русскому народу, поднявшему во главе с Лениным священное Октябрьское знамя, должны в полный голос рассказать и об истоках нашей дружбы.

Другой труд, которым я занят,— пьеса о моем дорогом учителе, герое гражданской войны и основоположнике казахской советской литературы Сакене Сейфуллине. Я мечтаю о том дне, когда многие действующие лица «Школы жизни» заговорят со сцены театра.

Что касается самой «Школы жизни», то ее можно считать завершенной. Тем более, что у мемуарного жанра есть свои законы и особенности: о годах недавних, о невымышленных героях, живущих и работающих бок

о бок с тобой, писать иногда бывает слишком сложно. Многие оценки еще не устоялись, порою случайное кажется важным.

Но разве я в силах, как мог бы это сделать в качестве романиста, попрощаться со своими героями? Ведь они рядом, ведь в их числе — и я сам. И меня, совершенно естественно, продолжает занимать их судьба.

И мне в этом случае трудно поручиться за себя.

Если наступит срок и время вновь прикажет — пиши! — я подчинюсь времени, потому что оно всегда говорит от имени народа.

СОДЕРЖАНИЕ

Республика набирает силу

Сакен — наша гордость 3
Мои огорчения 11
Сватовство 16
Невеста 32
Женитьба 42
Веселая наша молодость 53

На перекрестках борьбы

В Москву! 62
Казахские рабфаковцы в столице 67
Маршал поэзии 76
Судьба первого сборника 80
О красном стекле 85
Необычайная поездка 93
Флаг с полумесяцем 114
Из жизни одного волкома 127
В губернской газете. Рождение сына . . 136
И на работе трудно, и дома беда 145

Враг не дремлет

Путь, решивший многое в моей судьбе . . 159
Образование КазАППа 170
Первые шаги 184
Рождение казахского театра 195
Горе и радость 205
Шильдахана 214
После тонкерисского тоя 225
Между спорами 234
Прощай, Жаман-Шубар 240
Гибель Жампеиса 245

Путешествие в Карсакпай

Ленинград и снова родные аулы 251
Завод, перевезенный на верблюдах . . . 266
Степные звезды 279
Завод, рудник и «Ботпай» 288
Встреча с Канышем Сатпаевым. «Страницы старины 298

Время трудных переходов

Повелитель змей 313
Наш ответ Чемберлену 322
Новые голоса 335
Уэптон Стивенсон ошибся 348
Новые заботы, новые волнения . . . 355
Таежные родственники 363
Тревоги трудного времени 369

На взлете

Мирза-джан 379
Караганда 387
Забавные истории охотника Мукаджана . . 392
Рука об руку 397
Вся Европа здесь 403
Звенит казахская песня 412
Праздник казахской литературы 418

Послесловие 423

Муканов Сабит Муканович

ШКОЛА ЖИЗНИ

Книга третья. Годы возмужания. Повесть. Алма-Ата, издательство «Жазушы», 1966, 432 стр.

Редактор Н. Муханова
Худож. редактор Э. Полякова
Техниц. редактор П. Вальчук
Корректоры Н. Ершова и Н. Шерман.

Сдано в производство 21/III 1966 г. Издат. № 135. Подписано к печати 28/V-1966 г. Бум. тип. № 2 $84\times108^{1}/_{32}=13{,}5$ печ. листов—22,68 усл.-печ. листов. (Уч.-изд. 24,03 листа+ +6 вкл. 0,66 л.) Тираж 100000 экз. Цена 96 коп.

Заказ № 710. Полиграфкомбинат Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров Казахской ССР по печати, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 39.